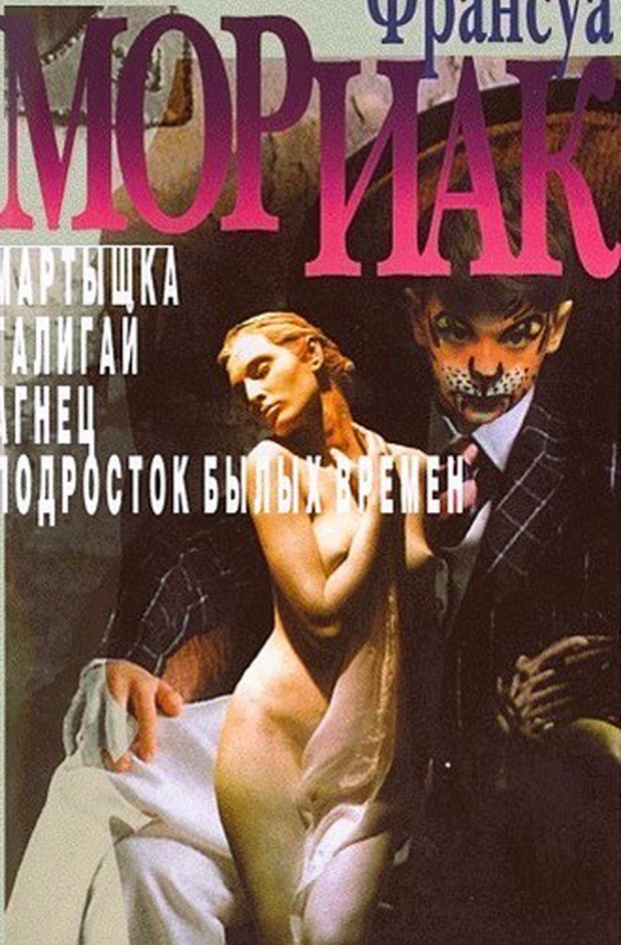
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа
МОРИАК

МАРТЫШКА
ГАЛИГАЙ
АГНЕЦ
ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН



МАРТЫШКА
ГАЛИГАЙ
АГНЕЦ
ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Франсуа МОРИАК

Том 3. Мартышка. Галигай. Агнец. Подросток былых времен

Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак
МАРТЫШКА
I
II
III
IV
ГАЛИГАЙ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
АГНЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Глава I
Глава II

Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

В центре сюжета повести *«Мартышка»* лежит судьба больного с рождения двенадцатилетнего мальчика, отстающего в развитии от своих сверстников. С юным Гийомом несправедливо обошлась не только природа. Малыш не чувствует любви и поддержки близких, подвергается постоянным нападкам со стороны родной матери. Мартышка, дегенерат, заморыш — вот те эпитеты, которыми она награждает своего сына. Просто он слиш-

ком сильно похож на своего отца — её мужа. И слишком часто и больно напоминает о том, что брак по расчету не принес ей ни богатства, ни положения в обществе, ни счастья. И как многие женщины находят спасение в любви к своему ребенку, так Поль де Сернэ нашла выход для своего раздражения и обид — маленького Гийу.

Повесть *«Галигай»* — любовная история, еще одна вариация Мориака на тему фарисейства, жестокости мира, в котором найдется ли хоть кто-то, живущий по Евангелию? Как и почти всегда у Мориака, в повести много места уделено эмпирической Церкви, «лжехристианам» — посещающим мессу, но не имеющим Бога в себе, и в то же время запутавшимся людям, ищущим Его Присутствия.

«Агнец» — своеобразное продолжение романа «Фарисейки», в котором выражена одна из заветных идей Мориака — «чудо христианства состоит в том, что человек может стать Богом». «Агнец» стоит особняком от остального творчества Мориака, попытавшегося изобразить святого. Молодой человек поступает в семинарию, однако сбивается на путь

искушений. Но главное: его толкает вперед жажда Жертвы, стремление к Кресту. По сути, «Агнец» — история о том, как смерть святого меняет мир. Роман разоблачает основанную на лжи респектабельность знатной семьи в буржуазном обществе, где человеческие отношения подменяются холодным эгоистическим расчетом и превращаются в игру низменных страстей. Он свидетельствует о гуманизме Мориака, продолжателя традиций французского классического реализма.

В романе *«Подросток былых времён»* юноша из богатой семьи пытается выбраться из пут, которыми оплели его властная мать, духовный наставник, общественное мнение… Но с каждым годом сделать это становится всё труднее. И постепенно молодой человек успокаивается и начинает сдаваться.

Франсуа Мориак

МАРТЫШКА

I

— И ты еще смеешь говорить, что знаешь урок? Ты ровно ничего не знаешь!.. Изволите видеть, он учил урок! Учил? Наизусть выучил?

Раздался звук пощечины.

— Марш в свою комнату! И до обеда не смей показываться мне на глаза!

Мальчик схватился за щеку и завизжал так отчаянно, как будто ему сломали челюсть.

— Ой-ой-ой! Больно! (Выгоднее было преувеличить силу удара.) Вот я скажу бабусе…

Рассвирепев, Поль схватила сына за худенькое плечико и залепила ему вторую пощечину.

— Ах, ты бабусе скажешь? Бабусе? Пойди еще папочке своему пожалуйся! Ну? Чего ты ждешь? Вон отсюда!

Мать вытолкнула его в коридор, захлопнула дверь, потом снова открыла и вышвырнула учебник и тетрадки. Мальчик с громкими всхлипываниями подобрал их, ползая по полу. Потом настала тишина, из темноты только чуть слышно доносились всхлипывания. Убрался-таки наконец!

Мать прислушивалась к удаляющемуся топо-

ту детских ног. Конечно, к отцу он не побежит искать сочувствия и защиты. Бабушки, его драгоценной «бабуси», нет дома — как раз пошла по его делам к учителю. Значит, побежал на кухню плакаться фрейлейн. Наверно, сейчас «вылизывает какую-нибудь кастрюльку», а старуха-австриячка смотрит на него жалостливым взглядом. «Так и вижу его…» Когда Поль думала о своем сыне, она представляла себе только его кривые коленки, его тонкие, как спички, ноги, носки, спустившиеся на ботинки. Она совсем не замечала, что у заморыша, которого сама произвела на свет, огромные бархатистые, темные глаза, зато с отвращением смотрела на его рот, вечно полуоткрытый, как у всех детей, которым мешают дышать полипы, на его нижнюю губу, правда, не такую отвислую, как у отца, но все же напоминавшую матери рот ненавистного ей мужа.

Опять в ней закипела бешеная злоба — злоба, а может быть, чувство отчаяния. Иной раз не так легко отличить отчаяние от ненависти. Она возвратилась в свою комнату и, остановившись на минуту перед зеркальным шкафом, оглядела себя. Которую уже осень она носит эту зеленую шерстяную кофточку, ворот совсем растянулся, всюду пятна. Сколько ни чисти, жирные пятна

все равно выступают. К коричневой юбке присохли брызги жидкой грязи, перед вздернулся, как у беременной. Один бог видит, что это не так!

Она произнесла вполголоса: «Баронесса де Сернэ. Баронесса Галеас де Сернэ. Мадам Поль де Сернэ…»

Губы ее тронула улыбка, от которой ничуть не просветлело желчное лицо, покрытое заметным пушком над губой и по подбородку — парни в деревне посмеивались над бакенбардами барыни Галеас. Поль де Сернэ усмехнулась, вспомнив, как тринадцать лет назад она, молоденькая девушка, точно так же стояла перед зеркалом и, чтобы легче было переступить роковой порог, твердила про себя: «Барон и баронесса Галеас де Сернэ. Господин Констан Мельер, бывший мэр города Бордо, и его супруга мадам Мельер честь имеют уведомить вас о бракосочетании своей племянницы Поль Мельер с бароном Галеас де Сернэ».

Ни дядя, ни тетка, хотя им очень хотелось поскорее сбыть с рук племянницу, не толкали ее на этот безумный шаг, напротив, даже отговаривали. Кто же внушил ей почтение к дворянским титулам? Может быть, она вынесла его из лицея? Какому побуждению она поддалась? Теперь она уже не могла бы этого сказать. Может быть, в

ней заговорило любопытство, захотелось проникнуть в заказанную ей среду… Никогда ей не забыть: в большом сквере резвятся девочки, отпрыски родовитых семейств — Кюрзэ, Пишон-Лонгвиль, — но ты и не смей мечтать о дружбе с ними. Напрасно племянница мэра вертелась вокруг этих чопорных дурочек. «А мама нам не велит с тобой играть…» Вот взрослая девушка и решила отомстить за ту девчушку. Да еще казалось, что замужество откроет ей путь к чему-то неизведанному, к какой-то иной, удивительной, необыкновенной жизни. А теперь она прекрасно знает, что такое «замкнутая среда». Действительно замкнутая! Кажется таким трудным, почти невозможным проникнуть в нее, но попробуй-ка вырваться отсюда!

И ради этого испортить всю свою жизнь! Нет, не чувство сожаления, налетавшее временами, даже не мучительная мысль, ставшая наваждением, а именно вот эта непреложная очевидность, неотступное сознание своего идиотского тщеславия, преступной своей глупости, непоправимо смявших ее судьбу. Вот где разгадка всех ее бед! И в довершение всего она даже не стала «баронессой». Существует лишь одна баронесса Сернэ — старуха свекровь. А Поль, жена ее сына, на-

всегда осталась просто-напросто мадам Галеас. Приклеили ей нелепое имя какого-то кретина — теперь она навеки связана с ним, раз вышла за него замуж; его жалкая участь навсегда, навсегда будет и ее участью.

Даже ночью ее не оставляла мысль об этой насмешке судьбы, об этом ужасе: продалась из тщеславия и так обманута! Нет даже слабой тени удовлетворения честолюбивых надежд. И она все думала об этом, не спала до рассвета. Даже когда она пыталась отвлечься, придумывая какие-нибудь занимательные, иной раз непристойные истории, в голове у нее неизменно копошилась одна и та же мысль. Поль словно билась в темной яме, в которую сама бросилась очертя голову, и хорошо знала теперь, что ей уже не выбраться оттуда. Ночи были одинаково мучительны во всякое время года. Осенью в старых тополях, чуть не под самыми окнами спальни, протяжно ухали совы, будто выли на луну псы. Но во сто раз омерзительнее их воплей было безжалостное пение весенних соловьев. А утром, в миг пробуждения, особенно зимой, когда фрейлейн резким движением раздвигала на окнах занавески, вдруг так больно пронизывала сердце мысль, что судьба жестоко обманула ее: вынырнув из потемок сна,

Поль видела за окном похожие на призраки деревья в лохмотьях ржавой листвы, раскачивавшие по ветру свои черные ветви.

И все же это были лучшие минуты за день! Можно было полежать в оцепенении дремоты, пригревшись под одеялом. Гийом охотно «забывал» зайти поцеловать мамочку. Нередко Поль слышала, как в коридоре свекровь вполголоса уговаривала мальчика зайти пожелать маме доброго утра. Старая баронесса терпеть не могла невестку, но не допускала нарушения традиций. Гийом робко входил в комнату и с порога со страхом устремлял взгляд на эту грозную голову, утопавшую в подушках, на эти черные, прилизанные на висках волосы, узкий, заросший, слабо очерченный лоб и на желтую щеку с родинкой, выглядывавшую из-под темного пушка. Наклонившись, он быстрым поцелуем касался этой щеки и уже заранее знал, что мама торопливо вытрет ее и брезгливо скажет: «Опять всю обслюнявил!..»

Поль не пыталась бороться с чувством брезгливости в отношении к сыну. Разве она виновата, что ее сын такое жалкое существо? И ничего нельзя с ним поделать! Ну что можно сделать с таким слабоумным и скрытным ребенком,

который к тому же всегда чувствует за собой поддержку бабушки или старой фрейлейн? Но, кажется, уже и сама баронесса начинает прозревать: согласилась, например, поговорить о мальчике со школьным учителем. Да-да, с учителем светской школы. Впрочем, выбора у них нет, священник обслуживал три прихода, да и жил в четырех километрах от усадьбы. Уже два раза, в 1917 и 1918 годах, после заключения перемирия, Гийома пробовали отдать в пансион: сначала устроили его в Сарла, к иезуитам, а потом отдали в семинарию в Нижних Пиренеях. Оба раза его через три месяца возвращали к родителям. Мартышка портил простыни. Учебные заведения, которые содержались духовными особами, не были приспособлены в те годы для воспитания отсталых или больных детей. А как примет старуху баронессу этот молодой кудрявый учитель, чудом уцелевший под Верденом? У него такие веселые глаза. Может быть, ему будет лестно, что сама баронесса пришла к нему в качестве просительницы? Поль не пожелала принять участия в этих переговорах — теперь она ни с кем не решалась встречаться, и больше всех она боялась этого учителя, прославившегося своими блистательными педагогическими талантами.

Управляющий поместьем Сернэ, Артур Лусто, хоть и состоял в «Аксьон франсез»[1], восторгался учителем, уверяя, что малый пойдет далеко… «Старая баронесса, — думала Поль, — как и все дворяне, выросшие в деревне, умеет говорить с крестьянами. Знает все тонкости местного диалекта. Пожалуй, одной из черточек обаяния, еще сохранившегося у нее, как раз является ее речь — все эти старинные слова и выражения, которые она произносит с каким-то старомодным изяществом. Да, но ведь школьный учитель — социалист, человек совсем другой породы; чрезмерная любезность баронессы, возможно, покажется ему оскорбительной. Людей этого сорта не возьмешь подчеркнутой учтивостью, якобы уничтожающей социальные различия. Впрочем, кто его знает. Он был ранен под Верденом. Это обстоятельство может сблизить его со старухой, ведь ее младший сын, Жорж де Сернэ, без вести пропал в Шампани».

---

[1] Примечания: 1

Action française (буквально — «Французское действие») — монархическая политическая организация, возникшая во Франции в 1899 г. и просуществовавшая под этим названием до 1944 г. Опиралась на националистически настроенные круги армии и аристократии. Идеология «Аксьон Франсэз» подразумевала реставрацию монархии во Франции, создание корпоративного государства, национализм, строгую приверженность католицизму, упразднение системы департаментов и возврат к дореволюционному территориальному делению Франции.

Поль отворила окно и увидела в конце аллеи худую и сгорбленную фигуру свекрови. Баронесса шла, сильно налегая на палку. Черная соломенная шляпка забавно торчала у нее на самой макушке. Старуха медленно шествовала меж двух рядов старых вязов, пламенеющих в лучах заката, заливавшего своим светом и ее самое. Сноха заметила, что баронесса сама с собой разговаривает и жестикулирует. Значит, она очень взволнована, а это дурной признак. Поль спустилась по великолепной лестнице (гордость замка де Сернэ), расходившейся двумя полукружиями, и подождала свекровь в вестибюле.

— Это настоящий хам, моя милая! Хам! Как и следовало ожидать.

— Он отказался? Может быть, вы оскорбили его? Должно быть, держали себя чересчур высокомерно? Я же вам говорила и предупреждала…

Баронесса затрясла головой, словно отрицая обвинения снохи, на самом же деле это были те непроизвольные движения, которыми старики как будто говорят «нет!» стоящей перед ними смерти. Белый матерчатый цветок смешно подпрыгивал на черной соломенной шляпке. В глазах старухи застыли слезы.

— А под каким предлогом он отказался?

— Говорит — некогда. Очень много времени отнимают обязанности секретаря мэрии…

— Да бросьте! Наверно, еще какие-нибудь причины приводил…

— Да нет, дитя мое, уверяю вас… Все время рассказывал, какой он занятой человек. Только о том и твердил.

Держась за перила, баронесса поднималась по лестнице, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Сноха шла за ней по пятам и с безотчетной бешеной злобой упрямо продолжала свой допрос. Заметив наконец, что совсем запугала старуху, Поль постаралась сбавить тон, но слова вырывались у нее с каким-то змеиным шипением.

— Почему же вы тогда сказали, что он вел себя по-хамски?

Баронесса присела на мягкую банкетку, поставленную на площадке лестницы; голова у нее по-прежнему тряслась, а губы искривила гримаса, похожая на усмешку. Поль опять принялась кричать. Да или нет? Назвала свекровь учителя хамом или не называла? Пусть скажет!

— Да нет, моя милая, нет. Я преувеличила… Может быть, я не так поняла его слова. Вполне возможно, что он говорил искренне… Может

быть, я усмотрела намек там, где никакого намека и не было.

Поль прицепилась к этим словам. Что за намек? Какой намек? По поводу чего?

— Да вот, когда он спросил, почему мы не обратились к священнику. Я ответила, что священник живет далеко, что у него на руках три прихода. И вдруг, представьте себе, что мне заявляет этот школьный учитель… Да нет, вы, чего доброго, рассердитесь, дочь моя…

— Что он вам сказал? Извольте повторить слово в слово! Слышите?

— Ну, хорошо. Ухмыльнулся и сказал, что единственно в этом вопросе он полностью солидаризируется со священником, он, видите ли, не любит историй и не желает, чтобы у него были истории в нашем замке. Я сразу поняла, на что он намекает… Право, если б этот человек не получил ранения под Верденом, я, моя милая, уж будьте уверены, заставила его высказаться до конца и уж сумела бы вас защитить…

Злобное возбуждение снохи сразу утихло. Она понурила голову. Не сказав ни слова, она стремительно сбежала по лестнице и сдернула с вешалки свою тальму.

Баронесса выждала, пока хлопнула дверь, и вся

просияла в улыбке, обнажившей превосходно сделанные вставные зубы. Перегнувшись через перила, она буркнула: «Что, съела?» — и вдруг дребезжащим, но пронзительным, тонким голосом позвала:

— Галеас! Гийу! Детки!

Снизу, из недр людской и кухни, тотчас донесся ответный крик:

— Бабуся! Мамуленька!

Отец и сын взбежали по лестнице совсем бесшумно, потому что оба скинули деревянные башмаки в кухне и остались в толстых шерстяных носках. Призыв старухи означал, что враг на короткое время удалился. Можно собраться всем вместе и посидеть у огонька в уютной бабушкиной комнате.

Галеас взял мать под руку. У него были узкие и покатые костлявые плечи, обтянутые коричневой вязаной фуфайкой, слишком большая по росту голова с целой копной волос, довольно красивые глаза, смотревшие каким-то детским взглядом, и уродливый, вечно открытый рот с мокрыми губами и толстым языком. Он был худ как скелет — брюки болтались на его тощих ногах, свисали сзади крупными складками.

Гийом ухватился за свободную бабушкину руку

и терся щекой о ее ладонь. Из разговора взрослых он уловил только то, что было важно для него: школьный учитель не хочет давать ему уроки. Значит, не надо будет трепетать перед учителем, страшная тень чудовища удалилась. Все остальное он не совсем понял. Бабушка сказала: «Я подпустила твоей супруге шпильку…» Что это значит — «подпустила шпильку»? Какую шпильку? Все трое вошли в свою любимую бабушкину комнату. Гийом тотчас прошмыгнул в свой заветный уголок — между кроватью и скамеечкой, на которую бабушка во время молитвы преклоняла колени. Верхняя крышка скамеечки открывалась, там был устроен шкафчик. Здесь хранилась целая коллекция старых четок: одни четки были из перламутра, их благословил сам папа Римский; другие четки — из оливковых косточек, бабушка привезла их из Иерусалима. Была там еще металлическая шкатулка с изображением Собора святого Петра в Риме — воспоминание о крестинах: на шкатулке блестело серебряными буквами имя Галеаса. Были у бабушки еще молитвенники с множеством картинок, с которых улыбались лица каких-то неживых людей. Бабуся и папа шушукались у стола, освещенного висячей лампой. В камине жарким огнем горели

сухие виноградные лозы; дрожащие отсветы пламени освещали все углы комнаты. Бабушка достала из ящика круглого столика засаленные пасьянсные карты.

— Ну, сегодня хоть вздохнем спокойно. До ужина она не вернется. Можешь поиграть на пианино, Галеас…

И бабушка углубилась в раскладывание пасьянса. Пианино перенесли в ее комнату, и без того заставленную всякой мебелью, по требованию Поль: она не выносила, когда ее муж «бренчал» на пианино. Гийому заранее было известно, какие марши, вальсы и этюды будет играть отец, все эти музыкальные пьесы следовали одна за другой в неизменном порядке. Сначала раздавались звуки «Турецкого марша». Гийу уже знал, в каком месте отец собьется, и каждый вечер ждал этой фальшивой ноты. Иногда Галеас, не прерывая игры, перебрасывался с бабушкой краткими репликами. Его бесцветный голос казался еще тусклее.

— Скажите, мама, этот учитель красный?

— Лусто говорит, просто ужас какой красный.

Мелодия «Турецкого марша» заковыляла дальше. Гийом старался представить себе этого красного человека, измазанного с головы до ног бычьей кровью. Правда, он несколько раз его

встречал, вечно ходит без шляпы, прихрамывает и опирается на красивую палку черного дерева. Должно быть, это из-под одежды не видно, что он красный. А сам красный, как рыбки в аквариуме. Сквозь задернутые занавески еще пробивался сумеречный свет. Мама будет бродить в полях до самого ужина. Она всегда где-то бродит, если рассердится. Вернется растрепанная, в забрызганном грязью платье, от нее будет пахнуть потом. Как только встанут из-за стола, уйдет к себе в спальню и ляжет в постель. До ужина еще долго, можно посидеть у бабушкиного камелька. В комнату вошла фрейлейн — высокая, толстая, рыхлая старуха. Она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы побыть с ними, пока общий враг носится где-то по дорогам. Какие подать каштаны? Вареные или жареные? Не надо ли сварить яичко для Гийу? Фрейлейн приносила в бабушкину комнату запах лука и кухонного чада. Мнение хозяев она спрашивала только для порядка: яйца для Гийу все равно были бы поданы к обеду (с начала войны мальчика стали звать Гийу, потому что он, на свое несчастье, был тезкой кайзера Вильгельма, или «кэзера», как произносила бабушка).

И сразу разговор пошел о *ней:* «А она мне,

значит, сказала: „У вас на кухне грязно“. А я ей говорю: „Уж извините, но на кухне хозяйка я…“» Гийу наблюдал за взрослыми: бабушка и папа, вытянув худые шеи, внимательно слушали фрейлейн. Ему-то самому были совершенно не интересны такие истории, он не чувствовал к другим людям ни ненависти, ни любви. Бабушка, отец и фрейлейн создавали вокруг него зону безопасности, откуда мать яростно старалась его извлечь, как хорек, нападающий на кролика, забившегося в самую глубину норы. Ошеломленному, испуганному зверьку волей-неволей приходилось выползать из своего спасительного убежища, терпеть нападки рассвирепевшей женщины; он весь съеживался и покорно ждал, когда пройдет гроза. Однако благодаря междоусобной войне, никогда не затихавшей в доме, мальчик пользовался относительным покоем. Он прятался за широкую спину фрейлейн, и старуха-австриячка простирала над ним благодетельную сень своего грубоватого покровительства… Комната бабуси представляла собой более надежное убежище, чем кухня, но безошибочное чутье говорило мальчику, что не стоит слишком доверять бабушкиным ласкам или словам. Одна только фрейлейн любила своего «цыпленочка»,

своего «утеночка» неизменной, нерассуждающей материнской любовью. Она до сих пор мыла его в ванне и терла намыленной перчаткой, не жалея своих шершавых заскорузлых рук.

Выбежав из подъезда, Поль свернула на тропинку, которая шла влево от крыльца, и, никем не замеченная, вышла задами на узкую, почти всегда пустынную дорогу. Она шла решительным мужским шагом, с какой-то странной торопливостью, хотя ей никуда не нужно было спешить и некуда было идти. Но быстрая ходьба помогала ей вникнуть в слова учителя, которые пересказала свекровь, а в словах этих, несомненно, заключался намек на ее отношения с прежним приходским священником.

Никогда не исчезавшую горечь сознания, что она сама виновата в своей злосчастной судьбе, еще можно было бы перенести, если б в первые же годы замужества на нее не обрушился незаслуженный позор; и теперь уже ничего нельзя было сделать — в глазах всех она несла на себе клеймо не совершенного ею греха, низкого, а главное, смешного проступка. Но виновниками клеветы, ее замаравшей, были на сей раз не муж и не баронесса, и она ничем не могла отомстить своим неведомым врагам. Лишь один раз она

видела в церкви этих главных викариев, этих каноников, считавших сноху баронессы де Сернэ особой, пагубной для священнослужителей. Гнусную выдумку разнесли по всей епархии. В Сернэ уже сменилось три священника, и каждому епархиальное начальство напоминало, что теперь служить мессу в домовой часовне замка в Сернэ не дозволено: невзирая на блеск прославленного, знатного имени, надлежит, соблюдая все правила учтивости, сторониться этого семейства, ибо «всем памятен разыгравшийся скандал».

Уже много лет из-за мадам Галеас в часовне баронов де Сернэ не отправляли богослужения; это обстоятельство ничуть не огорчало Поль (наоборот, поскольку приходская церковь была расположена довольно далеко, можно было под этим предлогом и вовсе туда не заглядывать). Но ведь на десять лье в округе все прекрасно знали, почему часовня попала под запрет: из-за невестки старой баронессы, у которой была история с приходским священником. Более снисходительные добавляли, что, конечно, никто не знает, как далеко зашло дело. Не хочется верить, что тут было что-то дурное. Но, во всяком случае, священника пришлось перевести в другой приход…

Стволы деревьев потемнели, но на горизонте

еще алела полоска заката. Уже давно Поль не обращала внимания на деревья, на облака, на широкие дали. Если она иной раз и вглядывалась в них, то как вглядываются крестьяне, чтобы угадать, какая завтра будет погода, холодно будет или тепло. В ней умерла та частица души, которая когда-то так жадно воспринимала весь зримый мир. Когда-то в такой же самый час она шла той же самой дорогой рядом со священником, высоким, тощим и совсем наивным юнцом. Он вел свой велосипед за руль и вполголоса разговаривал с Поль. Крестьяне, видевшие их прогулки, не сомневались, что они ведут любовные разговоры. Но у них и речи не было о любви. Просто встретились в жизни два несчастных и одиноких существа.

Поль услышала за поворотом дороги веселый хохот: шла деревенская молодежь — парни и девушки, они подходили все ближе; Поль бросилась в лесок, чтобы их не видеть, чтобы они ее не увидели. Совершенно такое же безрассудное бегство возбудило в прошлом первые подозрения, когда она свернула однажды на боковую дорожку, увлекая за собой спутника. Сейчас земля была сырая, но Поль всё же присела под каштаном на груду желтых опавших листьев и, подтянув колени к

подбородку, обхватила их руками. Где он теперь, этот несчастный мальчишка, этот священник? Она не знала, что с ним, где он мучается, но если он еще жив, то уж, конечно, мучается. А ведь ничего между ними не было, совсем не это их связывало. Интрижка со священником казалась ей немыслимой. Поль с детства внушали отвращение к сутане. А это дурачье ни с того ни с сего причислило ее к каким-то маньячкам, которые гоняются за служителями церкви. И теперь уже не сорвать с себя этот ярлык. А он, бедняга, — в чем была его вина? На горькие излияния молодой женской души он отвечал не советами духовного пастыря, а сам открывал ей душу: вот и все его преступление. Она искала у него поддержки — это было ее право; он же отнесся к ней, словно потерпевший кораблекрушение, выброшенный на необитаемый остров и вдруг увидевший, как на берег выходит другой несчастный, его сотоварищ в беде.

Она так и не поняла как следует тайные причины отчаяния этого священника, еще сохранившего юношеский облик. Насколько Поль могла судить (а такого рода вопросы ее не интересовали), он считал себя выброшенным из жизни, никому не нужным, бесполезным. В нем зароди-

лась ненависть к косной крестьянской среде; он не умел говорить с этими толстокожими людьми, у которых на уме был только свой надел и которые ничуть не нуждались в духовном наставнике. Эта отчужденность сводила его с ума. Да, он почти помешался от одиночества. И господь бог не пожелал ниспослать ему помощь. А ведь этот болезненный юноша рассказывал Поль, что принял решение пойти в священники в минуту экстаза, когда почувствовал, что его осенила «благодать божия», как он сам выражался, что с тех пор, как он принял сан, ничего подобного с ним не повторялось, и таким образом попался в силки… Словно кто-то заманил его в ловушку. Поймал, а потом и думать о нем забыл. Так по крайней мере Поль истолковала его жалобы. Но все это принадлежало, по ее мнению, к совершенно нелепому, «немыслимому» строю чувств. Она рассеянно слушала сетования своего собеседника, и, лишь только он умолкал, чтобы перевести дыхание, она сама начинала жаловаться: «А у меня…» — и вновь на все лады перебирала историю своего замужества. Однажды, когда они беседовали в саду церковного дома, он, едва не лишившись чувств от слабости, на краткое мгновение опустил голову ей на плечо. Она тотчас же отстранилась.

Но сосед увидел их. Все от этого и пошло. Из-за такого пустяка (а ведь из-за него, должно быть, перевернулась вся жизнь этого юноши) никогда больше не затеплится лампада в алтаре домовой часовни усадьбы Сернэ. Старуха баронесса даже почти не роптала против этого запрещения, как будто считая его вполне естественным: для бога стало неудобным пребывание в Сернэ с тех пор, как там поселилась жена ее сына, урожденная Мельер.

В роще совсем стемнело. Поль дрожала от холода. Она поднялась и, отряхивая платье, вышла на дорогу. Меж темных верхушек елей показалась одна из башен замка — та, что была выстроена в XIV веке. Стало так темно, что повстречавшийся на дороге погонщик мулов и вправду не узнал ее.

Двенадцать лет она сносила позор грязной клеветы, распространявшейся о ней повсюду, и вдруг ей стало нестерпимо, что эти лживые наветы дошли до какого-то учителя, с которым она никогда и словом не перемолвилась. Она хорошо знала в лицо всех мужчин в окрестностях и любого узнала бы издали, но, должно быть, образ этого кудрявого незнакомца, образ школьного учителя, глубоко запал ей в душу и запомнился,

хотя она даже не знала его имени. Впрочем, ни учитель, ни священник не нуждаются в именах — исполняемые обязанности вполне достаточно их определяют. Поль не могла примириться с мыслью, что учитель еще один лишний день будет считать правдой те мерзкие слухи, которые о ней распустили. Она решила рассказать ему всю правду. Ее снова томила потребность излить все, что накипело в душе, сбросить невыносимое бремя, — та же мучительная потребность, которая двенадцать лет назад толкнула ее на откровенные и неосторожные признания человеку слишком молодому и слабому. Придется побороть свою робость, пойти к учителю и еще раз обратиться к нему с просьбой, в которой он отказал старухе баронессе. Может быть, он согласится. Во всяком случае, они познакомятся, а возможно, и сблизятся.

Она повесила тальму в вестибюле. Обычно она мыла перед обедом руки под краном в буфетной, а потом шла в столовую для прислуги, со времен смерти Жоржа, младшего сына баронессы, служившую для господских трапез. Парадная столовая, огромная и холодная, как погреб, отпиралась только на рождество и в сентябре, когда из Парижа приезжали гости: старшая дочь ба-

ронессы, графиня д'Арби, с детьми и маленькая Даниэль, дочка покойного Жоржа. Тогда два сына садовника облачались в ливреи, баронесса нанимала кухарку, брала для парижан напрокат двух верховых лошадей.

Но в этот вечер Поль хотелось начать поскорее спор по поводу учителя, и она направилась не в столовую, а в комнату свекрови, в которую заглядывала не больше десяти раз в год. У двери она в нерешительности остановилась на минутку, прислушиваясь к веселому гулу голосов трех заговорщиков и звукам пианино, на котором Галеас наигрывал одним пальцем мелодию какой-то песни. Явственно раздался голос фрейлейн. По-видимому, она отпустила какую-то шутку, потому что старуха баронесса громко засмеялась своим снисходительным и деланным смехом, который Поль ненавидела. Тогда она, не постучавшись, распахнула дверь и вошла. В комнате сразу все замерли, как заводные фигуры на старинных часах. Баронесса застыла с поднятой рукой, в которой держала карту. Галеас, захлопнув крышку пианино, круто повернулся на табурете. Фрейлейн обратила к недругу свое широкое лицо и всем своим видом напоминала кошку, которая, увидев перед собой

собаку, смотрит на нее, прижав уши, выгнув дугой спину, — вот-вот фыркнет. Гийу, вырезавший из журнала картинки с аэропланами, бросил ножницы на стол и снова забился в свой уголок между спинкой кровати и скамеечкой. Там он сжался в комочек и оцепенел, как неживой.

Все это было для Поль привычно, но еще никогда она так ясно не чувствовала силу своей пагубной власти над тремя этими существами, с которыми ей приходилось жить. Однако старая баронесса быстро оправилась от страха и, криво улыбаясь, заговорила со снохой с подчеркнутой, слащавой любезностью, словно обращаясь к постороннему человеку, занимающему подчиненное положение. Бедняжка Поль, наверно, совсем промокли ноги, пусть скорее сядет у огня погреться и обсушиться.

Фрейлейн заворчала, что не стоит задерживаться, сейчас она подаст суп. Как только фрейлейн двинулась к двери, Галеас и Гийом бросились за нею следом. «Ну, разумеется, — подумала баронесса, — оставили меня одну на съедение».

— Разрешите, дитя мое… Я сейчас поставлю у огня экран, а то еще вылетит искра.

У порога она деликатно посторонилась, ни за что не пожелала выйти первой и все время го-

ворила, говорила, так что сноха, пока не сели за стол, не могла вставить ни слова. Галеас и Гийу уже ждали их, стоя у своих стульев, а как только сели, принялись шумно хлебать суп. Баронесса то и дело обращалась к ним, призывала их в свидетели того, что вечер необыкновенно теплый и что в ноябре в Сернэ никогда не бывает холодов. Как раз сегодня она начала варить варенье из дыни. Нынче она собирается добавить к дынному варенью сушеных абрикосов.

— Хочу взять тех самых, которые мой бедный Адемар так забавно называл «старушечьи уши». Помнишь, Галеас?

Баронесса говорила, говорила, лишь бы только не молчать. Для нее важно было одно: помешать Поль снова начать пререкания. Но, исподтишка наблюдая за снохой, она заметила на ее ненавистном лице опасные признаки раздражения. Гийом сидел, втянув голову в плечи, чувствуя, что мать не спускает с него глаз. Он тоже чуял надвигающуюся грозу и догадывался, что речь пойдет о нем. Напрасно он старался слиться как можно плотнее со столом, со стулом, он чувствовал, что бесконечные бабусины речи не могут заполнить зловещих минут молчания, что они слишком слабая преграда для грозного потока

слов, готовых прорваться из-за плотно сжатых губ противника.

Галеас ел и пил, не поднимая глаз, так низко нагнувшись над тарелкой, что Поль видела перед собой только копну седеющих волос. Он сильно проголодался, так как весь день работал на кладбище, наводя там порядок, — это было его любимым занятием. Благодаря ему на кладбище в Сернэ все могилы были ухожены. Галеас чувствовал себя спокойно, жена теперь совсем не замечала его, ему повезло: она вычеркнула его из своей жизни. Поэтому только он один держал себя за столом непринужденно и мог безнаказанно исполнять все свои прихоти: «делать бурду» (наливать вино в суп), изобретать всякого рода смеси, «мешанину», как он говорил. Он крошил, раздавливал, разминал каждое кушанье, размазывал его по тарелке, и баронессе стоило большого труда удерживать Гийома от подражания отцу, причем в своих наставлениях она старалась не умалять отцовского авторитета: «Папа имеет право делать все, что он хочет», «Папа может позволить себе все, что ему угодно…» А Гийу должен держать себя за столом как благовоспитанный мальчик.

Гийу и на ум не приходило судить отца, он

даже помыслить об этом не мог. Папа принадлежал к совсем особой породе взрослых — к разряду безопасных, которых можно не бояться. Таково было мнение Гийу, хотя он и не умел его выразить. Папа все делал бесшумно, не мешал Гийу рассказывать самому себе увлекательную историю, даже мог сам войти в фабулу на манер безгласного и безвредного персонажа вроде вола или собаки. Зато мать насильно врывалась в его внутренний мир и оставалась там наподобие инородного тела, присутствие которого чувствуется не всегда, но вдруг безошибочно обнаруживаешь пораженный им участок. Вот она произнесла его имя… Началось! Опять будут говорить о нем. Мать упомянула имя учителя. Гийом пытался понять, о чем идет речь. Бедного кролика схватили за уши и вытащили из норы на свет, на яркий, ослепительный свет, привычный для взрослых.

— Так вот, дорогая мама, скажите, пожалуйста, что вы намерены делать с Гийомом? Думали вы о его будущем? Вы же знаете, он умеет читать, писать, считает с грехом пополам. И только. А ведь ему тринадцатый год!.. Куда это годится?..

По мнению баронессы, ничего еще не было потеряно. Следовало осмотреться, поразмыслить…

— Но ведь его уже выгнали из двух коллежей. Вы уверяете, что здешний учитель не хочет давать ему уроки. Остается только одно: нанять гувернера или гувернантку. Пусть живет тут и занимается с Гийомом.

Баронесса живо запротестовала. Нет-нет, не надо вводить в дом посторонних… Она трепетала при мысли, что появятся свидетели их жизни в Сернэ, той ужасной жизни, которая установилась в замке с тех пор, как Галеас дал свое имя этой фурии.

— А у вас, моя милая, есть какой-нибудь план?

Поль залпом выпила рюмку и налила себе еще вина. С первого же года женитьбы Галеаса баронесса и фрейлейн заметили, что их враг питает склонность к алкоголю. Фрейлейн стала отмечать карандашом уровень вина в бутылке, тогда Поль начала прятать в своем шкафу водку и ликеры: анисовку, шерри, кюрасо. Старуха фрейлейн обнаружила и их. Баронесса сочла своим долгом предостеречь «дорогую дочь», указав ей на опасность злоупотребления крепкими напитками, но тут Поль устроила такой скандал, что свекровь уже никогда больше не поднимала этого вопроса.

— Я считаю, дорогая мама, что нам ничего

другого не остается, как хорошенько попросить учителя…

Всплеснув руками, баронесса возмущенно запротестовала. Нет-нет, ни за что на свете она не согласится еще раз выслушивать дерзости этого коммуниста. Но Поль заверила, что об этом и речи быть не может — теперь уже к учителю пойдет не баронесса, а она сама, и, может быть, ей удастся уговорить его. Возражения свекрови она пресекла, заявив резким тоном, что она так решила, а в вопросах воспитания Гийома последнее слово должно оставаться за ней.

— Однако мне думается, что и мой сын может сказать тут свое слово.

— Вы прекрасно знаете, что никакого своего слова он сказать не в состоянии.

— Во всяком случае, моя милая, я имею право потребовать, чтобы вы говорили с этим субъектом только от своего имени. Можете сказать ему, что я ничего не знаю о ваших хлопотах. А если эта невинная ложь вам неприятна, прошу вас уведомить его, что вы обращаетесь к нему вопреки моему желанию, выраженному мною совершенно ясно и определенно.

Поль издевательским тоном посоветовала старухе баронессе во имя блага ее внука перенести с

христианской кротостью это унижение.

— Ну уж нет, дочь моя, я ни в малейшей степени не беру на себя ответственность за то, что вы уже сделали или в дальнейшем собираетесь сделать. Не в обиду вам будь сказано, но можно только диву даваться, как вы не подошли к нашей семье!

Баронесса говорила учтивым тоном светской дамы и даже улыбалась любезной улыбкой, от которой вздергивалась ее длинная верхняя губа, открывая слишком ровные и белые зубы.

Поль уже не в силах была сдерживать раздражение.

— Вы совершенно правы, дорогая мама. Я нисколько не стремлюсь походить на господ де Сернэ.

— Ах, так! Что ж, дорогая моя, вы можете радоваться: никто никогда не сочтет вас принадлежащей к людям нашего круга. Вы избавлены от такой несправедливой обиды. Вы всегда были, есть и будете сами собой.

Гийому очень хотелось улизнуть из столовой, но он не осмеливался. К тому же его заинтересовала битва богов, гремевшая над его головой, хотя он и не понимал смысла тех оскорблений, которые наносили друг другу противники. Галеас, не любивший сливочного крема, встал из-за

стола, когда подали сладкое, и вышел, предоставив сражению идти своим чередом.

— К несчастью, меня все равно сочтут членом вашей семейки в тот день, когда придут поджигать с четырех концов ваш замок…

— Вы хотите запугать меня? Не удастся! Слава богу, наш род всегда уважали и любили. И в этом нет ничего удивительного. Четыреста лет де Сернэ делали здесь добро людям и подавали пример…

От негодования у баронессы дребезжал голос.

— Вас любят? Уважают? Кто это вам сказал? Да в деревне вас ненавидят. Вы вот, например, во время войны не пожелали расстаться со своей австриячкой…

— Ах, не смешите, пожалуйста! «Моей» австриячке шестьдесят четыре года. Она поступила к нам девчонкой и с тех пор неотлучно живет в нашем доме… Военные власти и те благоразумно закрывали глаза…

— А здешние жители с радостью ухватились за этот предлог… Нет, право, какое ослепление! Просто невероятное ослепление! Ведь вас всегда ненавидели! Неужели вы думаете, что ваши арендаторы и торговцы очарованы вашей медоточивой любезностью? А из-за вас люди

ненавидят всех, кого вы любите: священников и прочих! Вот увидите, вот увидите… К несчастью, и я погибну вместе с вами, и все-таки, хочу надеяться, я умру довольная.

И в виде заключения Поль произнесла вполголоса такую грубую фразу, что баронесса застыла на месте. Она никогда не слышала ничего подобного. «Как речь выдает человека!» — подумала она и сразу же успокоилась. Иногда случалось, что ее дочь, приезжавшая из Парижа, и даже внуки позволяли себе употреблять при ней жаргонные словечки, но подобных вульгарных выражений она никогда от них не слыхала. «Заткни лучше хайло…» Да, она именно так и сказала. Как всегда, бешеная злоба невестки возвратила старухе баронессе спокойствие. Она сразу получила перевес, который дает самообладание.

— Да нет, нет… Ваша ненависть к дворянам нисколько меня не удивляет, но что бы вы ни говорили, а крестьяне нас любят. Они чувствуют себя с нами на равной ноге. Если кто и ненавидит нас, то только буржуазия, мелкая и средняя, и ненавидит потому, что завидует. Во времена террора больше всего палачей дала именно буржуазия.

Сноха с самодовольным видом заметила, что

предательство эмигрантов вполне оправдывает террор — он был необходимой и справедливой мерой.

Баронесса, величественно выпрямившись, ответила:

— Мой прадед и два моих двоюродных деда погибли на эшафоте, и я запрещаю вам…

Поль тотчас подумала об учителе. Ведь это ради него она говорила все это, ему, конечно, понравилось бы, он бы ее одобрил, а она просто наслушалась таких тирад от своего дяди Мельера, радикала и франкмасона, человека с узким кругозором. Но какой страстной выразительностью вдруг окрасились эти слова в устах Поль Галеас, когда она произносила их во имя кудрявого учителя! Она решила пойти к нему завтра же, в четверг, в этот день он свободен, занятий в школе нет. Она уже говорила под его влиянием (ее дядя, старик Мельер, был тут ни при чем) — под влиянием человека, с которым она никогда не перемолвилась словом, лишь встречала его изредка на дороге; если она проходила по деревне, когда он копался в своем садике, он даже не кланялся ей, только переставал орудовать лопатой и смотрел ей вслед.

— Знаете, кто вы такая, дочь моя? Поджигатель-

ница, просто-напросто поджигательница!..

Гийом поднял голову. Ему было известно, что такое «поджигательница». Он сто раз видел в старом иллюстрированном журнале картинку, посвященную событиям 1871 года: две женщины сидят во мраке на корточках около подвальной отдушины какого-то большого дома и разводят нечто вроде костра. У обеих на головах высокие чепцы, какие носят женщины из простонародья. Костер уже разгорелся, и языки пламени поднимаются выше этих чепцов. Открыв от изумления рот, Гийом уставился на мать. Поджигательница? Ну да, конечно…

Поль схватила его за руку.

— Ну-ка, вставай из-за стола! Живо!

Бабушка торопливо перекрестила его, но не поцеловала, а, когда он вышел из комнаты, заметила:

— Нам следовало бы избавить ребенка от таких сцен.

— Успокойтесь, дорогая мама, он нас не слушает, а если и слушает, то ничего не понимает.

— Вы ошибаетесь. Бедненький мой котенок! Он понимает гораздо больше, чем нам кажется… Поэтому нам следует вернуться к тому самому вопросу, от которого мы совершенно напрасно

отклонились. Так вот… Я думаю и очень надеюсь, что учитель опять откажется…

— Ну что ж! Пусть тогда ваш Гийом растет, как деревенский мальчишка. Смотреть тошно, когда богатым олухам дают образование, которого они недостойны, а простые мальчики, дети народа…

Опять ее опьянили те общеизвестные истины, которые в ее присутствии любил развивать дядюшка, радикал Мельер. Наверно, учитель держится таких же убеждений. Поль приписывала ему все те взгляды, которые считаются передовыми. Она не сомневалась, что в этом отношении он вполне соответствует установленному образцу.

Желая избежать новой вспышки, старая баронесса ничего не ответила и встала из-за стола. Поль двинулась вслед за ней по лестнице.

— А не могли бы мы с вами сами заниматься с ним и передать ему наши скромные познания? — сказала баронесса.

— Занимайтесь, дорогая мама, если у вас хватит терпения, но я уже совершенно измучилась.

— Ну, утро вечера мудренее. Спокойной ночи, дочь моя. Прошу вас, забудьте, если я сказала что-нибудь для вас обидное. И я тоже охотно прощаю вам обиду.

Невестка пожала плечами.

— Ах, все это слова! Разве они изменят хоть сколько-нибудь подлинные чувства? Мы с вами уже не можем питать иллюзий…

Они стояли друг против друга в коридоре, который вел в спальни, и обе держали в руке по зажженной свече. Дрожащее пламя ярко освещало их черты, и у той, которая была моложе, лицо казалось особенно грозным.

— Поверьте, Поль, я совсем не так несправедлива к вам, как вы, очевидно, считаете. И если вы нуждаетесь в извинении, достаточно вспомнить, какую жизнь вы ведете здесь, ведь для молодой женщины это тяжкое испытание.

— Мне было тогда двадцать шесть лет… — сухо сказала Поль, прерывая ее. — Я никого не обвиняю. Я сама выбрала свою участь. Впрочем, и вы, бедная мама…

Слова эти означали: прежде всего мой жалкий муж приходится вам родным сыном. Поль утешалась мыслью, что она не одна страдает в этом аду — вместе с нею адские муки терпит и давний ее недруг. Но баронесса не пожелала понять намек.

— О нет, мне выпала совсем иная судьба! — воскликнула она, и голос ее дрогнул от волнения. — У меня был дорогой мой Адемар. Мы прожили с ним в любви и согласии двадцать пять лет, я была

счастливейшей из женщин…

— Возможно, но не счастливейшей из матерей!

— Вот уже скоро пять лет, как мой Жорж пал смертью храбрых: я его не оплакиваю. У меня осталась малютка Даниэль, его дочка. Остался Галеас…

— Вот именно… Галеас!

— У меня в Париже живет дочь, у нее дети, — упрямо не желала сдаваться баронесса.

— Совершенно верно… Но ведь семейство Арби вас обирает. Вы всегда были для них дойной коровой — и только. Нечего вам качать головой, вы прекрасно знаете, что это правда. Фрейлейн тоже упрекает вас за это, когда вы обе думаете, что я вас не услышу… Погодите, не перебивайте… Если я захочу, так во весь голос буду кричать…

Слова эти гулко разнеслись по коридору и разбудили Гийома. Он поднялся и, сев на постели, прислушался. Ага, боги все еще ведут свою битву над его головой. Он опять забрался под одеяло. Уткнулся ухом в подушку, а к другому уху прижал ладонь в ожидании того мгновения, когда к нему снова придет сон, принялся сам себе рассказывать замечательную историю о том, как он нашел необычайный остров в океане и там оказалась пещера — словом, все как у «Двенадцатилетнего

Робинзона». Тусклый свет ночника едва озарял тесную каморку, в которой он спал, нечто вроде чуланчика, и перед его глазами в неверном свете чадившей лампочки проходили милые сердцу картины и прирученные чудовища.

— Мы живем в этом замке, как нищие, ради того, чтобы ваша драгоценная дочь, мадам Арби, могла жить на широкую ногу и вести «брачную политику», как она выражается. Если мы тут все сдохнем с голоду, она и глазом не моргнет, лишь бы ее Иоланта вышла за какого-нибудь герцога еврейских кровей, а ее милейший Станислав женился бы на бесстыжей вертихвостке-американке…

Поль наседала на старуху баронессу, а та, решив молчать, отступила к своей комнате и, юркнув в нее, заперлась на ключ. Но и сквозь запертую дверь до нее донесся неумолимый голос невестки, крикнувший на прощание:

— Можете распроститься со своими надеждами… Станислав никогда ни на ком не женится… Это же девчонка…

И в заключение она отпустила такую шуточку, что баронесса все равно не поняла бы ее, даже если бы расслышала, даже если бы, не рухнув на скамеечку, не начала молиться, обхватив голову

обеими руками.

Но лишь только Поль вошла в свою спальню, гнев ее сразу утих. В камине еще тлели две-три головешки. Она бросила туда вязанку хвороста, зажгла керосиновую лампу, стоявшую на столе около шезлонга, разделась перед огнем, накинула на себя старый халат на теплой подкладке.

Про человека говорят иногда: «Он предается любви». С таким же правом можно сказать: «Предается ненависти». Предаваться ненависти приятно, это дает отдых, нервную разрядку. Поль отперла дверцу шкафа и нерешительно протянула руку. Что взять? Она выбрала кюрасо. Потом бросила на ковер подушки с дивана, поближе к огню, и легла у камина так, чтобы бутылка и стакан были под рукой. Она курила сигарету за сигаретой, прихлебывала кюрасо и все думала об учителе, о враге аристократов и богачей. Ведь он красный, может быть, даже коммунист. Он терпит презрение тех же самых людей, которые презирают и ее тоже. Она завоюет его своим смирением… И в конце концов войдет в его жизнь. Он женат. Какая у него жена? Она ведь тоже учительница. Поль совсем ее не знала, даже ни разу не видела. Сейчас Поль ее отстраняла, не хотела, чтобы эта фигура попала

в тот роман, который она создавала в своем воображении. Она погрузилась в свои вымыслы, вкладывая в них куда больше фантазии, чем те, в чью обязанность входит рассказывать читателям воображаемые истории. Видения, возникавшие перед ее внутренним взором, превосходили все то, что может выразить человеческий язык. Она лежала неподвижно, приподымаясь лишь для того, чтобы налить себе вина или подбросить хворосту в огонь. Потом снова вытягивалась на подушках, и порой вспыхнувшее пламя вдруг освещало ее запрокинутую голову и худое лицо — лицо преступницы или мученицы.

II

На следующий день после завтрака, надев непромокаемый плащ и ботинки на толстой подошве, низко надвинув на лоб берет, она направилась в деревню. Шел дождь, но так даже лучше, думалось ей, по крайней мере холодные струи смоют с лица следы ее одинокой оргии. Вело ее не вчерашнее возбуждение, а только одна воля. На ее месте другая женщина тщательно выбрала бы туалет, подходящий для подобного визита, и, уж во всяком случае, постаралась бы прихорошиться. Мадам Галеас даже и в голову не пришло, что ей надо напудриться и попытаться сделать менее заметным темный пушок над губой и на щеках. Она не позаботилась вымыть голову, чтобы волосы не висели сальными прядями. У нее не возникло мысли, что незнакомый ей учитель, как и большинство мужчин, возможно, чувствителен к хорошим духам… Нет, она уделила заботам о своей наружности не больше внимания, чем обычно, и, решив в последний раз попытать счастья, двинулась к своей цели такая же неухоженная, как и всегда.

А ее герой, этот школьный учитель, сидел у

себя на кухне напротив жены и, разговаривая с ней, лущил горошек. Это было в четверг, в самый благословенный день недели. Здание школы стояло у самой дороги, так же как все прочие дома в этой неуютной деревне Сернэ. Кузница, мясная, бистро, почтовое отделение не располагались живописной группой вокруг церковной колокольни. На холме, который, словно мыс, выступал над долиной Сирона, одиноко вырисовывалась церковь, возле которой теснились могилы. В Сернэ была лишь одна улица — в сущности, она представляла собой шоссейную дорогу. Школа стояла на окраине деревни. Дети входили через главную дверь, а дверь в квартиру учителя была с правой стороны здания, в узком проходе, который вел на школьный двор, где ученики играли на переменках. Позади двора разбит был сад и огород.

Супружеская пара, Робер и Леона Бордас, не тревожась никакими предчувствиями относительно гостьи, приближавшейся к их дому, все еще говорила о странной посетительнице, которая явилась к ним накануне.

— А все-таки, — возражала жена, — это составит сто пятьдесят, а может быть, даже двести франков ежемесячной прибавки к нашему жа-

лованью; урок с баронским мальчишкой — это ведь не пустяк. Давай-ка еще раз подумаем хорошенько…

— Да что у нас, горькая нужда, что ли? Чего нам, скажи, пожалуйста, не хватает? Теперь я даже получаю бесплатно почти все книги, которые мне нужны. (Он писал для «Учительской газеты» обзоры романов и стихов.)

— Ты только о себе думаешь, а ведь у нас сын растет.

— Жан-Пьер тоже ни в чем не нуждается. Может быть, ты хочешь, чтобы я ему репетиторов нанимал?

Жена снисходительно улыбнулась. Разумеется, их сын нисколько не нуждался в репетиторах. Он шел первым по всем предметам. В тринадцать лет уже был в предпоследнем классе — на два класса обогнал своих сверстников. Вероятно, ему предстояло два года пробыть в выпускном классе, потому что вряд ли ему разрешат в четырнадцать лет держать экзамен на аттестат зрелости. Его уже прославляли и баловали как будущую гордость лицея. Преподаватели не сомневались, что он выдержит конкурсные экзамены в Эколь

Нормаль[2] сразу по литературе и математике.

— А вот представь себе, я хочу, чтобы он брал частные уроки.

Леона сказала это — вернее, сделала это заявление, — не сопроводив его ни взглядом, ни жестом, говорящим о сомнениях или о просьбе. У этой худенькой, бледной, чуть рыжеватой женщины были мелкие черты, прелестное, хотя уже увядшее лицо; говорила же она резким, пронзительным голосом, так как привыкла кричать в классе.

— Да-да, ему надо брать уроки верховой езды.

Робер Бордас продолжал лущить горошек, делая вид, что считает слова жены милой шуткой.

— Ну, конечно, ну, разумеется! Как же без верховой езды? И вдобавок еще уроки танцев, если уж ты так размахнулась!

Он смеялся, щуря свои миндалевидные, узкие глаза. Хотя он был небрит, одет в старую рубашку с расстегнутым воротом и был не так уж молод

---

[2] Примечания: 2

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

— лет сорока, в нем еще сохранилось юношеское обаяние. Каждый мог представить себе, какое лицо было у этого человека в детстве. Он поднялся с места и обошел вокруг стола, опираясь на палку с резиновым наконечником и слегка прихрамывая. В линиях его худой и гибкой, как у кошки, спины было что-то мальчишеское. Он закурил сигарету и сказал:

— Подумать только! Жаждет революции и при этом мечтает, что ее сын будет держать скаковых лошадей.

Она пожала плечами.

— Почему же в таком случае ты хочешь сделать из Жан-Пьера кавалериста? — настаивал он. — Чтобы он поступил в Либурнский драгунский полк и всякие шалопаи издевались бы над учительским сынком?

— Ну-ну, не волнуйся, побереги свои голосовые связки для публичного выступления одиннадцатого ноября.

По лицу Робера жена поняла, что зашла слишком далеко, поэтому она быстро пересыпала из фартука горошек на блюдо и подошла к мужу. «Послушай, Робер», — сказала она, прижимаясь к нему. Все желания Леоны совпадали с желаниями мужа, и он отлично это знал. Она шла за

ним слепо, с безоговорочным доверием. Пусть она слабо разбирается в политике, пусть даже не совсем ясно представляет себе, каким будет мир после победы революции. Одно она знала твердо: управление страной поручат лучшим людям, самым культурным, самым образованным и, конечно, тем, кто обладает всеми качествами вождя.

— Ну и что такого? Да, я хочу, чтобы наш Жан-Пьер умел ездить верхом, хочу сделать из него человека ловкого, храброго, мужественного, ведь согласись, что ему чуточку недостает этих качеств. Природа наделила его всем, а вот в этом отношении…

Робер Бордас растерянно смотрел на жену, но она не замечала этого. Сейчас ее душа была далеко от мужа.

— Эколь Нормаль готовит сливки университетской профессуры, — заметил он сухо. — Ради этого она и существует.

— Ну, что ты! А министры, а великие писатели, а партийные вожди, которые оттуда вышли?

Вспомни хотя бы Жореса[3], Леона Блюма[4]!..

— Меня лично вполне бы устроило, если бы Жан-Пьер удачно защитил диссертацию и стал преподавателем факультета словесности, — прервал ее Робер. — Большего и не требую. И кто знает, может быть, даже в Сорбонне? Или в Коллеж де Франс? Вот это действительно было бы чудесно!

Жена ядовито засмеялась.

— Вот так так, ну и революционер, как я погляжу! Значит, по-твоему, все эти древности уцелеют?

— Безусловно, уцелеют! Обучение в университете будет перестроено, обновлено, но высшее образование во Франции останется высшим образованием... Ты просто не понимаешь, о чем говоришь...

Робер внезапно умолк: из пелены тумана выступила женская фигура и направилась к стеклянной двери.

---

[3] Примечания: 3

Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, философ, историк.

[4] Примечания: 4

Андре Леон Блюм (1872–1950) — французский политик, первый социалист и еврей во главе французского правительства., один из организаторов антифашистского Народного фронта.

— Это еще что такое?

— Должно быть, какая-нибудь мамаша будет приставать и жаловаться, что ее малыша зря обидели.

У входа Поль долго скребла о скобку подошвы, чтобы не нанести в помещение грязи. Супруги не узнали ее. Они с удивлением смотрели на странную посетительницу — берет был надвинут низко, до самых бровей, черные, обведенные синевой глаза блестели, щеки были покрыты темным пушком, как у юноши. Поль не назвала себя. Она просто сказала Роберу, что она мать того ребенка, по поводу которого баронесса де Сернэ приходила сюда накануне. Пока муж старался понять, о чем идет речь, Леона уже все сообразила.

Она пригласила госпожу Галеас пройти в соседнюю нетопленую комнату и открыла ставни. Тут все блестело: паркет, буфет и стол. На окне — занавеси из небеленых кружев. По широкому карнизу шли огромные букеты гортензий. Обои были темно-красного цвета.

— Тут вы можете без помехи побеседовать с моим мужем.

Поль запротестовала — у нее нет никаких секретов, ей хочется только выяснить вчерашнее недоразумение. Кровь вдруг прилила к бледным

щекам Робера Бордаса — досадную манеру краснеть некстати он сохранил еще с юношеских лет. Уши его запылали. Значит, эта дама с недобрым взглядом решилась требовать у него объяснения по поводу вчерашнего шутливого намека? Очевидно, так! У нее хватило нахальства заговорить об этом, и притом без всякой неловкости. Однако гостья сказала только, что ее свекровь, по-видимому, не совсем поняла его невинное замечание и зря погорячилась. Она вовсе не желает вырывать у господина Бордаса согласие, поскольку он отказался, но она была бы просто в отчаянии, если бы из-за этого пустякового инцидента у нее, беззащитной женщины, появился здесь, в деревне, новый враг, и кто же? — единственный человек, от которого она вправе ждать понимания.

Ее блестящие глаза перебегали с Робера на Леону. Опущенные уголки губ придавали ее большому, покрытому темным пушком лицу выражение трагической маски. Робер пробормотал, что он очень огорчен, но в его словах не было ни малейшего намерения кого бы то ни было оскорбить. Поль, не дослушав, обратилась к Леоне:

— Я так и думала. Вы оба испытали на себе здешние нравы, а следовательно, знаете, как здесь охотно разносят любую сплетню.

Поняли ли супруги Бордас намек, заключавшийся в ее словах? Дошел ли до них слух, который облетел всю деревню, — учитель, мол, во время войны окопался в тылу и был ранен где-то за тридевять земель от фронта? Кое-кто из злопыхателей утверждал даже, что слишком уж неловко он разрядил ружье… Но чета Бордасов не проявила ни малейшего волнения. Поэтому Поль не поняла, достиг ли ее удар цели. На всякий случай она добавила:

— Я знаю, сударыня, что вы принадлежите к старинному семейству из окрестностей Бордо.

На самом деле родители Леоны принадлежали к старинному роду мелких крестьян-землевладельцев, но односельчане косились на них как на вольнодумцев: дочь в церкви не венчалась, и не известно еще, крещен ли их Жан-Пьер. Не желая расставаться с родными, Бордасы недавно отказались от повышения.

— Наше Сернэ, — сказала Поль, — не заслуживает такого учителя.

Моложавое лицо Робера снова залилось краской, но гостья веско повторила: «Не заслуживает». Она-то, слава богу, знает, что при желании Робер Бордас мог бы заседать в Бурбонском дворце. Робер снова покраснел и пожал плечами:

— Вы, очевидно, насмехаетесь надо мной!

— Да-да, сударыня, — весело подхватила Леона, — мой бедный Робер теперь совсем загордится!

Робер улыбнулся, его миндалевидные молодые глаза сузились.

— Я тут ни при чем, я повторяю только слова господина Лусто, нашего управляющего и, если не ошибаюсь, вашего друга. Хотя он роялист, он умеет отдать должное противнику. И когда, сударыня, имеешь такого мужа, как ваш, нет ни малейшей опасности оказаться слишком тщеславной.

Поль добавила вполголоса: «Ах, будь я на вашем месте…» Слова эти были произнесены как раз тем тоном, каким требовалось их произнести. В них прозвучал пусть еле слышный, но явный намек на ее злополучного супруга.

— В нашем семействе место великого человека уже занято заранее, — возразил, смеясь, учитель, — и занято оно нашим сыном Жан-Пьером, правда, Леона?

Их маленький Жан-Пьер? Любезная улыбка смягчила суровые черты гостьи. Ну, конечно, она слышала про него, тот же господин Лусто все время о нем твердит. Как, должно быть, гордятся

таким сыном счастливые родители! Снова вздох, снова намек на свое собственное несчастье. Но на этот раз она смело добавила:

— Раз уж мы заговорили о вашем чудесном мальчике, разрешите мне все же поговорить о моем несчастном сыне. Возможно, моя свекровь преувеличила. Не спорю, это отсталый ребенок. И я прекрасно понимаю, что вас это и отпугивает!

Робер горячо запротестовал, его отказ обусловлен полным недостатком досуга — и только; кроме того, он просто опасается, что не сумеет уделить частному уроку достаточного внимания: секретариат мэрии и собственные труды отнимают буквально все свободное от школы время.

— Да, я знаю, что вы неутомимый труженик, даже слышала про некоторые появившиеся без подписи статьи в газете «Франс дю Зюд-Уэст», — добавила она заискивающим и заговорщическим тоном.

Щеки и уши Робера снова запылали. Желая перевести разговор на другую тему, он стал расспрашивать гостью о Гийоме: умеет ли мальчик бегло читать, пишет ли он? Берется ли он когда-нибудь за книгу не по принуждению, а по собственному почину? В этом случае еще не все потеряно.

Поль заколебалась. Ей не хотелось отпугнуть учителя заранее, но в то же время необходимо было хоть отчасти подготовить его к встрече с будущим учеником-полуидиотом. Да, произнесла она твердо, он читает и перечитывает две-три любимые книжки, например без конца листает альманахи «Сен-Никола» (выпуск девяностых годов), но никому не известно, запоминает ли он прочитанное, понимает ли что-нибудь. Увы, ее несчастная мартышка не слишком располагает к себе сердца, не слишком привлекательна, куда там! Она, родная мать, и то подчас с трудом его выносит…

Учитель страдал за нее. Он предложил привести мальчугана сюда завтра к пяти часам, после того как ученики разойдутся. Он посмотрит, а пока ничего обещать не может. Поль схватила его за руки. Наполовину притворное волнение сжимало ей горло, она произнесла задыхаясь:

— Я с ужасом думаю, что вы неизбежно будете проводить параллель между моим несчастным мальчиком и вашим Жан-Пьером.

Она отвернулась, как бы желая скрыть краску стыда. Право, сегодня она действует по наитию! Эта учительская чета, уже давно живущая во враждебной атмосфере — крестьяне относились

к Бордасам с недоверием как к богачам, духовенство косилось на этих врагов общества, — даже не могла себе представить, что нечто подобное вообще возможно: один из обитателей замка добивается от них милости, молит их об одолжении, мало того, восхищается ими, завидует им. С каким смирением эта дама открыто намекнула на своего мужа, на своего дегенерата сына! Робер, несколько взволнованный всем этим происшествием и тем, что к нему явилась настоящая баронесса, пусть в нахлобученном на лоб берете и непромокаемом плаще, произнес добродушным тоном:

— Знаете, сударыня, я даже удивлен, как это вы не боитесь моего дурного влияния на вашего сына… Вам ведь, надеюсь, известны мои зловредные мысли?

Он улыбнулся, глаза его сузились, и Поль видела теперь только две ярко горящие щелки.

— Вы меня не знаете, — веско произнесла она, — вы не знаете, какая я.

Скажи она, что даже рада их влиянию, лишь бы оно оказало свое действие на ее мальчика, они все равно не поверили бы.

— Ведь мне, так же как и вам, чужды идеи моей среды… Когда-нибудь после я вам расскажу.

Это было уже преддверием будущих откровенных излияний. И не надо больше ничего добавлять, только напортишь. Поль поднялась и стала прощаться с хозяевами, которые удивленно переглядывались, вспоминая ее слова об идеях. Было условлено, что завтра после четырех она приведет Гийома. Но вдруг гостья заговорила светским тоном, подражая своей свекрови и золовке Арби.

— Весьма вам признательна! Вы представить себе не можете, какое вы мне сделали одолжение. Да-да, именно одолжение!

— Ты ей понравился, я сразу заметила, — сказала Леона.

Она освободила угол стола и со вздохом пододвинула кипу тетрадей.

— А по-моему, она не такая уж противная.

— Смотрите-ка вы! Она перед тобой лебезит, но, попомни мое слово, остерегайся ее.

— Мне кажется, что она не совсем в своем уме… Во всяком случае, особа чересчур экзальтированная.

— Не в своем уме, а отлично знает, чего хочет. Вспомни-ка, что о ней говорят, хотя бы эту историю со священником! Смотри, берегись.

Робер встал со стула, потянулся, широко раски-

нув свои сильные руки, и сказал:

— Ну, знаешь, я не любитель бородатых дам.

— Если бы она за собой следила, она была бы ничего, — заметила Леона.

— Я теперь вспомнил, что мне рассказывал Лусто. Она сама не аристократического происхождения, не то дочь, не то племянница Мельера, бывшего мэра Бордо. А почему ты смеешься?

— Потому что ты как-то огорчился, что она не настоящая аристократка…

Робер сердито взглянул на жену и, сутулясь, подошел к порогу; там он прислонился к стене и яростно, даже с присвистом, стал сосать трубку.

В то время пока мать предавала сына в руки красного учителя, ее несчастный кролик, извлеченный на свет божий из своего укромного убежища, куда, увы, уже не было возврата, глядел на взрослых и растерянно моргал, словно от слишком яркого света. В отсутствие мамы между тремя добрыми богами — папой, бабусей и фрейлейн — начался спор. Откровенно говоря, бабушка и фрейлейн часто сцеплялись, но обычно по самым нелепым поводам. Австриячка иной раз позволяла себе дерзкие выражения, которые казались особенно странными оттого, что в разговоре со своей баронессой она почтительности

ради употребляла третье лицо. Но сегодня Гийом догадался, что и фрейлейн тоже хочет отдать его красному учителю.

— Почему бы ему не стать образованным господином? Он не хуже прочих, уж поверьте!

И, повернувшись к Гийому, она произнесла:

— Поди поиграй, детка, в комнатах, иди, мой цыпленочек…

Мальчик вышел, но тут же снова проскользнул в кухню: ведь все равно считалось, что он ничего не слышит, а если слышит, то не понимает.

Баронесса, даже не удостоив ответом дерзкую фрейлейн, отчитывала сына, который сидел в своем любимом соломенном кресле у кухонного очага: зимой он проводил все вечера за выделкой бумажных спичек или начищал до блеска отцовские ружья, хотя ни разу сам не выстрелил.

— Покажи хоть теперь свою власть, Галеас, — умоляла его старая баронесса, — скажи только: «Нет, не желаю! Не желаю доверять своего сына этому коммунисту», а гроза тем временем пройдет.

Но фрейлейн снова вмешалась в разговор:

— Не слушай баронессу (она была кормилицей Галеаса и поэтому говорила ему «ты»). Почему это Гийу не должен быть таким же образованным,

как дети Арби?

— Оставьте детей Арби в покое, фрейлейн. Они здесь совершенно ни при чем. Я просто не желаю, чтобы мой внук набрался у этого человека вредных идей, вот и все.

— Бедный мой цыпленочек, да неужели с ним будут о политике говорить…

— При чем тут политика… А религия — это, по-вашему, ничего не значит? Он и так слаб в катехизисе…

Гийом не спускал глаз с отца, который неподвижно сидел в кресле, глядя на пылавшие в очаге сухие виноградные лозы, и только время от времени слегка покачивался — налево, потом направо. Мальчик, открыв рот, старался понять, о чем же идет речь.

— Баронессе, конечно, наплевать, что он вырастет неучем. Кто знает, может быть, баронесса как раз этого и хотят!

— Совершенно излишне защищать от меня интересы моего собственного внука! Это уж чересчур, — твердо проговорила баронесса, но в ее притворно-негодующем голосе послышались смущенные нотки.

— Разумеется, баронесса очень любят Гийу, они рады, что он при них живет, а вот когда речь

заходит о будущем, о семье, так баронесса кое на кого другого рассчитывают.

Баронесса заявила, что фрейлейн повсюду сует свой нос. Но пронзительный голос австриячки без труда заглушил реплику хозяйки.

— Пожалуйста! Вот вам и доказательства! Ведь было же решено после смерти Жоржа, что старший Арби, Станислав, присоединит к своему имени имя Сернэ, будто нет на свете, кроме него, других Сернэ, будто наш Гийу не зовется Гийом де Сернэ…

— Мальчик слушает, — вдруг произнес Галеас. И снова замолчал.

Фрейлейн взяла Гийу за плечи и тихонько выставила его за дверь, но он остановился в буфетной и услышал ее крики:

— Однако ж кого-то не пожелали назвать Дезире[5], когда он родился! Пусть баронесса вспомнят, что они мне тогда говорили: «Нечасто бывает, чтоб больной сделал сиделке ребенка…»

— Ничего подобного я вам не говорила, фрейлейн. Галеас чувствовал себя прекрасно. И к тому же говорить такие грубости вообще не в моих привычках.

---

[5] Примечания: 5
Дезире — желанный *(франц.)*.

— Тогда пусть баронесса вспомнят, что мальчик явился на свет, так сказать, вне программы. Я-то хорошо знаю моего Галеаса, я знаю, что он не ротозей какой-нибудь, не хуже, слава богу, других, это всем известно.

Подозрительный огонек зажегся между розовых, лишенных ресниц век австриячки. «У вас судачьи глаза», — сказала ей как-то мадам Галеас. Шокированная баронесса повернулась к фрейлейн спиной.

Сплющив нос об оконное стекло, Гийу стоял в буфетной и смотрел, как дождевые капли подпрыгивают, словно маленькие танцующие человечки. Взрослые без конца занимались им и никак не могли договориться на его счет. Его не захотели назвать Дезире. Хорошо бы сейчас вспомнить те истории, которые он сам себе рассказывал, которые знал он один, но сегодня отвлечься ему не удавалось, он должен сначала убедиться в окончательном отказе учителя. Вот-то будет радость, вот-то будет счастье, и он ничуть не станет жалеть, что оказался нежеланным. И вообще ничего ему не надо, пусть только не заставляют быть вместе с другими детьми, которые изводят его, пусть только не нанимают учителей, которые говорят таким громким голо-

сом, раздражаются, так сердито выкрикивают какие-то бессмысленные слова.

Бабуся не желала его, а мама и подавно! Неужели они заранее знали, что он получится не такой, как другие мальчики! Ну, а бедный папа? Во всяком случае, папа не отдаст его учителю. А баронесса тем временем наставляла сына:

— Ты только скажи «нет»... Неужели так трудно сказать всего одно слово! Ведь я же тебе повторяю, скажи только «нет»... Скажи только «нет».

Но сын молча качал тяжелой головой в шапке седеющих кудрей и наконец заявил:

— Я не имею права.

— Как так, Галеас? Отец имеет все права в вопросах воспитания детей.

Но он упрямо качал головой и твердил: «Я не имею права...»

В эту минуту в кухню ворвался Гийом и, рыдая, уткнулся в колени фрейлейн.

— Мама идет! Идет и смеется сама с собой. Значит, учитель согласился.

— Ну и что из того? Не съест же он тебя, дурачок. Утрите ему нос, фрейлейн, на ребенка противно смотреть.

Когда торжествующая мама переступила порог кухни, Гийу успел спрятаться за лохань.

— Ну, все уладилось, — сказала она. — Завтра в четыре часа я отведу к нему Гийома.

— Если только ваш муж даст свое согласие.

— Безусловно, мама, но он, конечно, согласен, не правда ли, Галеас?

— Во всяком случае, милая дочь моя, мальчик задаст вам хлопот.

— Кстати, где он? — спросила Поль. — По-моему, он где-то тут сопит?

При этих словах из-за лохани вылез Гийом; вид у него был особенно жалкий, он размазал по всей физиономии сопли, слюни и слезы.

— Не пойду, — захныкал он, не глядя на мать. — Не пойду к учителю!

Всякий раз, видя сына, Поль не могла отделаться от чувства стыда; но сегодня на этом маленьком личике, искаженном гримасой, особенно отчетливо проступали черты отца, спокойно сидевшего в кресле. Этот полуоткрытый рот был точной копией его холодного и слюнявого рта. Поль сдержалась и произнесла почти мягко:

— Не поведу же я тебя к учителю силком. Значит, придется отдать тебя пансионером в лицей.

Баронесса пожала плечами:

— Вы же отлично знаете, что нашего несчастного малютку не будут держать в лицее.

— Тогда остается одно: устроить его в исправительное заведение.

Мать так часто повторяла свою угрозу, что Гийу в воображении довольно точно представлял этот страшный исправительный приют. Он задрожал всем телом и, рыдая, воскликнул: «Не надо, мама, не надо!», бросился к фрейлейн и спрятал свое лицо на ее мягкой груди.

— Да ты не верь ей, цыпленочек… Неужели же я позволю, как ты думаешь?

— Фрейлейн не уполномочена решать такие вопросы, и на этот раз я говорю совершенно серьезно, я уже все обдумала и узнала даже адрес, — добавила Поль с каким-то веселым возбуждением.

Но, пожалуй, больше всего напугало мальчика то, что его бабуся громко рассмеялась.

— Тогда почему же, милая, уж не прямо в мешок? Почему тогда не утопить его в реке, как котенка?

Обезумев от страха, Гийу тер лицо грязным носовым платком.

— Не надо в мешок, бабуся!

Мальчик был лишен чувства юмора и все принимал за чистую монету.

— Ну-ну, дурачок! — сказала баронесса, привле-

кая к себе внука.

Но тут же мягко оттолкнула его.

— Не знаешь, как к нему приступиться, настоящая мартышка! Уведите его, фрейлейн. Иди умойся…

Стуча зубами от страха, мальчик пролепетал:

— Я пойду к учителю, мама, я буду слушаться!

— Вот и хорошо. Видишь, какой ты умный мальчик.

Умывая Гийу из крана над лоханью, фрейлейн старалась успокоить его:

— Это они хотят напугать тебя, а ты им не верь, плюнь на них.

Галеас вдруг поднялся с кресла и, не глядя на присутствующих, произнес:

— Солнышко выглянуло. Пойдешь со мной на кладбище, малыш?

Гийу не особенно любил гулять с отцом, но на этот раз быстро протянул ему руку и, всхлипывая, поплелся вон из кухни.

Дождь перестал. Мокрая трава блестела под теплыми солнечными лучами. Дорога в деревню шла через луга. Гийу ужасно боялся коров, которые, завидев прохожего, подымали голову и долго следили за ним глазами, словно раздумывая, броситься на него или не стоит. Отец сжимал

ручонку сына и не произносил ни слова. Они могли ходить целыми часами, не разговаривая. Гийу не догадывался, что бедный барон с трудом переносит это гнетущее молчание, что он старается собраться с мыслями, но тщетно: он не знал, о чем говорить с ребенком. На кладбище они проникли через заросший крапивой пролом в стене позади церкви.

На могилах увядали букеты, принесенные в день всех святых. Галеас выпустил ручонку сына и взялся за тачку. Гийу смотрел вслед удалявшейся фигуре отца. Заштопанная коричневая фуфайка, отвислые на заду брюки, спутанная густая шевелюра и маленький беретик — вот это он, его папа. Гийу присел на могильную плиту, почти ушедшую в землю. Осеннее солнце слегка нагрело камень, но мальчику было холодно. А вдруг он простудится, заболеет и не сможет завтра выйти из дому? Умрет… Станет таким же, как те, что лежат здесь, в этой жирной земле, станет как мертвецы, которых он силился представить себе, как эти люди-кроты, чье присутствие выдают лишь низенькие холмики.

За кладбищенской оградой он видел по-осеннему безлюдные поля, иззябшие виноградники, липкую и черную землю, словно смазанную

маслом, эту враждебную человеку равнодушную стихию, столь же коварную, как волны моря, довериться которым может только безумец. У подножия холма бежал ручеек, приток речки Сирон, вздувшейся от осенних ливней, впитывавшей в себя тайны болот и непроходимых зарослей; Гийу слыхал, что иногда на том берегу поднимали бекасов. Мальчик, извлеченный из своего убежища, дрожал от холода и страха, очутившись среди всей этой враждебной жизни, недружелюбной природы. По склонам холмов блестела кармином новая черепица на кровлях домов, но его взгляд бессознательно обращался к бледно-розовой, слинявшей под дождями, старой круглой черепице. Возле него ящерицы осквернняли стены храма, один витраж был разбит. Гийу знал, что боженьки там больше нет, что господин священник не пожелал оставить здесь боженьку, боясь святотатцев. Не было боженьки и в старой домашней часовне, где фрейлейн складывает теперь метлы, ящики, сломанные стулья. Где же в этом жестоком мире живет бог? Где он оставил хоть какой-нибудь след?

Гийу замерз. И больно обстрекал крапивой ногу. Он поднялся, подошел к памятнику павшим воинам в виде пирамиды, который поставили

в прошлом году. Тринадцать имен на одну их маленькую деревушку: Сернэ Жорж, Лаклот Жан, Лапейр Жозеф, Лапейр Эрнео, Ларгш Рене… Гийом видел, как над могилами мерно склоняется коричневая фуфайка отца, слышал пронзительный визг папиной тачки. Завтра его отдадут красному учителю, но ведь учитель может внезапно умереть сегодня ночью. А вдруг что-нибудь случится: ураган, землетрясение… Но нет, ничто не заставит умолкнуть страшный мамин голос, ничто не притушит блеска ее злых глаз, прикованных к нему, и под этим взглядом он вдруг начинает видеть и свое худенькое тельце, и грязные коленки, и спустившиеся на ботинки носки; в такие минуты Гийу судорожно глотает слюну и, желая умилостивить врага, старается закрыть рот… А сердитый голос восклицает (ему кажется, что его раскаты слышны даже здесь, на маленьком кладбище, где он стучит зубами от холода): «Убирайся куда хочешь, чтобы я тебя больше не видела!»

А Поль тем временем разожгла в спальне камин и мечтает. Никто не в силах заставить себя полюбить, никто не волен понравиться другому, но ни земные, ни небесные силы не могут помешать женщине избрать себе мужчину и сделать его своим богом. Пусть даже он об этом ничего

не знает, раз от него ничего не требуют взамен. И вот она непременно воздвигнет себе кумира, и он станет средоточием всей ее жизни. Она водрузит алтарь среди окружающей ее пустыни и посвятит его кудрявому божеству, ибо ничего больше ей не остается.

Пусть другие женщины рано или поздно начинают вымаливать милости у их бога, она знает твердо, что не будет ничего ждать от своего кумира. Она похитит лишь то, что может взять незаметно. Чудесной властью обладает взгляд исподтишка, неуловимая для другого мысль! Может быть, настанет день, когда ей позволено будет приблизиться к своему кумиру, быть может, бог стерпит прикосновение ее губ к его руке…

III

Мама стремительно тащила его за собой по дороге, изрезанной глубокими колеями, где стояла дождевая вода. Навстречу попадались школьники, они расходились домой без криков и смеха. Только оттопыривающаяся на спине пелерина выдавала присутствие невидимого ранца, отчего ребята казались маленькими горбунами. Из-под капюшонов, надвинутых на лоб, поблескивали карие и голубые глаза. Глядя на школьников, Гийу думал, что все эти мальчики, такие мирные с виду, не замедлили бы превратиться в его мучителей, если бы ему пришлось сидеть вместе с ними в классе или играть на школьном дворе. Но сейчас его отдадут учителю, и учитель будет заниматься только им одним, на него одного будет обращена вся опасная власть взрослых, которые стараются подавить маленького Гийу своими вопросами, озадачить своими объяснениями и доказательствами. Этой власти с лихвой хватило бы на целый класс. А придется одному Гийу противостоять этому чудовищу учености, которое будет сердиться и кричать на ребенка, не понимающего смысла громогласных речей.

Он шел в школу в тот час, когда все остальные мальчики расходились по домам. Гийу почувствовал укол в сердце: он вдруг еще яснее ощутил свое отличие от них, свое одиночество. Сухая теплая рука, державшая его ручонку, судорожно сжалась. Равнодушная, если не враждебная, сила влекла его за собой. Замурованная в своем никому не ведомом мире страстей и мыслей, мать за всю дорогу не сказала сыну ни слова. Вот уже выступили из сумерек первые домики, запахло дымом, замелькали за мутными стеклами огоньки керосиновых ламп, заблестели яркие огни гостиницы Дюпюи. Посреди дороги стояли два воза, и широкие спины возчиков загораживали стойку. Еще минута — и вот он, тот огонек… Гийу вспомнилось, как бабуся, рассказывая ему сказку про мальчика с пальчик, произносила страшным, грубым голосом: «Перед ним был дом людоеда». Сквозь стеклянную дверь Гийу различил фигуру жены людоеда. Она стояла, видимо поджидая свою добычу.

— Почему ты дрожишь, дурачок? Господин Бордас тебя не съест.

— Может быть, он озяб?

Поль пожала плечами и бросила с измученным видом:

— Нет, это у него нервное, начинается совершенно неожиданно и без всяких причин. В полтора года у него был родимчик.

Зубы Гийу громко стучали. В комнате слышались только эта дробь да мерный стук маятника больших стенных часов.

— А ну-ка, Леона, сними с него башмаки, — скомандовал людоед. — И надень на него туфли Жан-Пьера.

— Пожалуйста, не надо, — умоляюще произнесла Поль. — Да не беспокойтесь вы.

Но Леона уже вынесла из соседней комнаты пару туфель. Она посадила Гийу на колени, сняла с него пелерину и пододвинулась к огню.

— Стыдись, такой взрослый мальчик, — сказала мать. — Я не принесла сегодня ни книг, ни тетрадей, — добавила она.

Людоед заверил, что это совсем не обязательно: сегодня вечером они только поговорят, познакомятся.

— Я зайду через два часа, — сказала Поль.

Гийу не слышал, о чем говорили мать и учитель, который пошел провожать Поль до входной двери. Мать ушла, и он почувствовал это, потому что ему сразу стало теплее. Дверь захлопнулась.

— Хочешь, давай чистить со мной горошек, —

предложила Леона. — А может быть, ты не умеешь чистить горошек?

Гийу расхохотался и сказал, что он всегда помогает фрейлейн чистить горошек. То, что первая фраза, с которой к нему обратились, была о горошке, подбодрило его. Он до того осмелел, что даже добавил:

— А у нас горошек уже давно собрали.

— Ну, это, видишь ли, последыши, — объяснила учительница. — Среди них много порченых, приходится отбирать.

Гийу подошел к столу и взялся за дело. Кухня Бордасов была похожа на все кухни — огромный очаг, над ним висит на крюке котел; длинный стол, на одной полке — медные кастрюли, а на соседней выстроены в ряд горшочки с маринадами, с потолочных балок свисают два окорока, завернутые в мешковину. Однако Гийу казалось, что он попал в странный и восхитительный мир. Может быть, в этом повинен был запах трубочного табака, который исходил от господина Бордаса, даже когда он не курил. А главное, книги, повсюду книги, груды газет на буфете и на круглом столике, стоявшем возле учителя. Удобно вытянув ноги, не обращая никакого внимания на Гийу, учитель разрезал страницы журнала в

белой обложке, на которой большими красными буквами было выведено название.

Над камином висел портрет какого-то толстого бородатого человека со скрещенными на груди руками. Под портретом была надпись, и мальчик, вытянув шею, пытался вполголоса ее разобрать: Жор… Жор…

— Жорес, — вдруг подсказал людоед. — Ты знаешь, кто такой Жорес?

Гийу отрицательно покачал головой.

— Надеюсь, ты не собираешься начинать урок с разговора о Жоресе! — запротестовала Леона.

— Да он сам со мной о Жоресе заговорил, — ответил господин Бордас.

Он засмеялся, Гийу с удовольствием посмотрел на его сузившиеся, как щелки, глаза. Ему очень хотелось знать, кто такой был Жорес. Чистить горошек, пожалуй, даже было приятно. Испорченные стручки он откладывал в сторону. Никто не обращал на него внимания. Он мог думать о чем угодно, глазеть на людоеда и на людоедову жену, осматривать их жилье.

— Может быть, хватит? — вдруг спросил господин Бордас.

Учитель не читал журнала, он изучал оглавление, разрезал страницы, разглядывал подписи,

близко поднося к лицу книжку, с наслаждением вдыхая запах типографской краски. Ведь этот журнал прибыл из самого Парижа… Робер думал о том, как должны быть немыслимо счастливы те, кто сотрудничает в этом журнале. Он пытался представить себе их лица, редакционную комнату, где они собираются, чтобы обменяться мнениями, — собираются люди, которые знают все, обозрели все философские системы. Даже от Леоны он скрыл, что послал в журнал статью о Ромене Роллане. И получил отказ, правда очень вежливый, но все же отказ. Статья, писали ему, носит слишком явный политический характер. Дождевые капли стекали теперь прямо с крыши, так как переполненный водосточный желоб уже не вмещал воды. Человеку дана всего одна жизнь. Робер Бордас никогда не узнает, что такое парижская жизнь. Господин Лусто сказал ему, что его здешняя жизнь в Сернэ тоже может стать материалом для творчества… И посоветовал вести дневник. Но Робер не особенно интересовался собственной персоной. Впрочем, и другие люди интересовали его не больше. Ему хотелось убеждать их, внушать им свои взгляды, но их индивидуальные особенности не привлекали его внимания… Он был талантливым оратором, мог

в один присест набросать статейку. Его заметки для «Франс дю Зюд-Уэст», по мнению все того же господина Лусто, были гораздо выше всего, что печатали в Париже, конечно, за исключением «Аксьон франсез». А в «Юманите», если верить господину Лусто, никто не мог с ним сравниться. Париж!.. Робер дал слово Леоне, что никогда не покинет Сернэ, даже когда Жан-Пьер поступит в Эколь Нормаль, даже потом, когда сын преуспеет, выдвинется в первые ряды. Не следует его стеснять, мешать ему. «Каждому свое место», — думала Леона.

Робер встал и прижался лбом к стеклянной двери. Но, когда он обернулся, он заметил, что Гийу следит за ним ласковым влажным взором. Мальчик тут же отвел глаза. Робер вспомнил, что его новый ученик любит читать.

— Не довольно ли тебе чистить горошек, малыш? Хочешь, я дам тебе книжку с картинками?

Гийу ответил, что хочет любую книжку, даже без картинок.

— Покажи ему библиотеку Жан-Пьера, — сказала Леона, — пусть сам выберет.

Предшествуемый господином Бордасом, который нес лампу, мальчик переступил порог супружеской спальни. Она поразила его своим

великолепием. На огромной кровати с резным узором раскинулся царственно прекрасный пуховик алого цвета, словно на стеганое одеяло опрокинули бутылку смородиновой настойки. Под самым потолком были развешаны увеличенные фотографии. Потом господин Бордас ввел Гийу в комнату поменьше, где стоял какой-то нежилой запах. Учитель с гордостью поднял лампу, и Гийу восхищенно оглядел комнату молодого Бордаса.

— Конечно, в замке апартаменты пороскошнее, но все-таки и здесь неплохо, — добавил учитель не без удовольствия.

Мальчик не верил своим глазам. Первый раз в жизни маленький барчук вдруг ясно представил себе крохотный чуланчик, где он спал. Там безраздельно царил запах мадемуазель Адриен, на обязанности которой лежали штопка и чинка господского белья и которая все послеобеденное время проводила в чулане. Рядом со швейной машиной стоял манекен, которым уже давно не пользовались. В углу складная кровать в чехле, на ней во время болезни Гийу обычно спала фрейлейн. Мальчик вдруг отчетливо увидел потертый коврик у постели, на который он столько раз опрокидывал свой ночной горшок. А у Жан-Пьера

Бордаса была собственная спальня, где он жил один, была белая кроватка, расписанная голубыми цветами, книжный шкаф, где за стеклом стояли ряды книг.

— Почти все эти книги Жан-Пьер получил в награду за успехи, — пояснил господин Бордас. — Все награды в классе всегда получает он.

Гийу погладил ладонью корешок каждой книги.

— Выбирай что хочешь.

— Ой! «Таинственный остров». Вы читали? — спросил Гийу, вскинув на учителя заблестевшие глаза.

— В твои годы читал, — ответил учитель. — Но, по правде сказать, позабыл. Кажется, это что-то вроде «Робинзона»?

— Нет, это лучше «Робинзона»! — с жаром воскликнул Гийу.

— А чем же лучше?

Но при этом вопросе, поставленном в упор, мальчик снова ушел в себя. Взгляд у него стал опять отсутствующий, почти тупой.

— А я думал, это продолжение, — сказал, помолчав, господин Бордас.

— Да, сначала нужно прочитать «20 000 лье под водой» и «Дети капитана Гранта». Я не читал

«20 000 лье под водой»… Но, знаете, все равно понять можно. Только я пропускаю те страницы, где Сайрес Смит изготовляет динамит.

— А там, в «Таинственном острове», был какой-то человек, которого нашли спутники инженера на соседнем острове, или не было?

— Был, был, Айртон. Значит, вы помните? Как хорошо ему Сайрес Смит сказал: «Ты плачешь — значит, ты человек».

Не глядя на мальчика, господин Бордас снял с полки толстую книгу в красном переплете и подал ее Гийу.

— Ну-ка найди это место. По-моему, там была еще картинка.

— Это конец пятнадцатой главы, — пояснил Гийу.

— А знаешь что, прочти мне эту страницу, я послушаю, словно я маленький.

Господин Бордас зажег керосиновую лампу и усадил Гийу у стола, который Жан-Пьер залил в свое время чернилами. Мальчик начал читать прерывающимся голосом. Сначала учитель различал только отдельные слова. Он нарочно сел в сторонке, в тени, и почти не дышал, словно боясь вспугнуть дикую птичку. Но через несколько минут голос Гийу окреп. Очевидно, он забыл, что

его слушают.

— Дойдя до того места, где подымались первые мощные деревья леса, листья которых слегка колыхались от ветра, незнакомец с наслаждением вдохнул резкий запах, пронизывающий воздух, и глубокий вздох вырвался из его груди. Колонисты стояли сзади, готовые схватить незнакомца при первой попытке к бегству. И действительно, бедняга чуть было не бросился в ручей, отделявший его от леса; ноги его на мгновение напряглись, как пружины… Но он тут же сделал шаг назад и опустился на землю. Слезы покатились из его глаз. «О, ты плачешь, — воскликнул Сайрес Смит, — значит, ты снова стал человеком!»

— Как это прекрасно! — сказал господин Бордас. — Теперь я припоминаю… Кажется, на их остров напали пираты.

— Да, напали. Айртон первый заметил черный парус… Хотите, я вам прочту?

Учитель отодвинул стул еще дальше. Он мог бы, он должен был бы удивляться, слушая выразительное чтение мальчика, который слыл чуть ли не кретином. Он мог бы, он должен был бы радоваться этой новой задаче, которую взял на себя, радоваться, что в его власти спасти это маленькое, трепещущее существо. Но он внимал

не столько голосу ребенка, сколько сумятице собственных мыслей. Он, сорокалетний мужчина в расцвете сил, полный желаний и мыслей, осужден навеки прозябать здесь, в этой школе, притулившейся на краю безлюдной дороги. Он все понимает, он правильно рассуждает обо всем, что напечатано в журнале, сладкий запах которого — типографской краски и клея — он вдыхал с таким наслаждением. Любая журнальная дискуссия была ему доступна и понятна, хотя здесь он мог говорить на такие темы только с одним господином Лусто. Леона, конечно, тоже могла бы понять многое, но она предпочитала оглушать себя каждодневной работой. И чем ленивее становился ее мозг, тем с большим жаром отдавалась она физической деятельности. Она гордилась тем, что вечерами, намаявшись за день, чуть не засыпает на стуле. Будучи от природы умницей, она порой жалела мужа, сознавала, что он страдает, но ведь у них есть Жан-Пьер, и он вознаградит их за все невзгоды. Она верила, что мужчина в возрасте Робера может доверить сыну свершить то, что не суждено было свершить ему самому… Она верила в это!

Робер заметил, что Гийу дочитал главу и остановился.

— Читать дальше?

— Нет, не надо, — сказал господин Бордас. — Отдохни. А ты очень хорошо читаешь. Хочешь, я дам тебе домой какую-нибудь книгу Жан-Пьера?

Мальчик живо вскочил со стула и снова стал рассматривать одну за другой книги, читая вполголоса названия.

— А «Без семьи» интересно?

— Жан-Пьер очень любил эту книгу. А сейчас он читает более серьезные вещи.

— А вы думаете, я пойму?

— Конечно, поймешь! Видишь ли, школа отнимает у меня слишком много времени, и мне некогда читать… Ты каждый вечер будешь мне что-нибудь рассказывать, а я с удовольствием послушаю.

— Ну да, это вы нарочно говорите, для смеха…

Гийу подошел к камину. Он не отрываясь смотрел на фотографию, прислоненную к зеркалу: лицеисты полукругом стоят возле двух учителей в пенсне, на чьих толстых коленях чуть не лопаются брюки. Гийу спросил, есть ли на фотографии Жан-Пьер.

— Есть, в первом ряду, справа от учителя.

Гийу подумал, что, если б ему даже не показали Жан-Пьера, он все равно узнал бы его. Среди

бесцветных физиономий его лицо светилось. А может быть, это только так казалось, потому что Гийу столько слышал рассказов о Жан-Пьере. Впервые в жизни ребенок с таким вниманием приглядывался к человеческому лицу. До сих пор он мог часами рассматривать какую-нибудь картинку в книге, вглядываться в черты несуществующего героя. И вдруг он подумал, что этот мальчик с высоким лбом и коротенькими кудряшками, с твердой складкой между бровей, что этот самый мальчик читал все эти книги, работал за этим столом, спал в этой постели.

— Значит, это его собственная комната? И к нему нельзя войти, если он не хочет?

Он, Гийу, был в одиночестве только в уборной… Дождь упрямо барабанил по крыше. Как, должно быть, прекрасно жить здесь, среди книг, в этом тихом пристанище, куда нет доступа посторонним. Но Жан-Пьер не нуждался ни в тихом пристанище, ни в покровительстве, ведь он был первым в классе по всем предметам. Даже за гимнастику он получил награду, как сказал господин Бордас. Леона тихонько приоткрыла дверь.

— За тобой мама пришла, малыш.

Гийу последовал за учителем, который по-прежнему нес лампу, в супружескую спальню.

Поль де Сернэ сушила у очага свои грязные туфли. Как обычно, она весь вечер проплутала по тропинкам.

— Боюсь, вам мало что удалось из него выудить?

Учитель запротестовал.

— Напротив, для начала совсем неплохо.

Мальчик стоял, понурив голову, Леона застегнула ему пелерину.

— Вы не проводите меня немного? — предложила Поль. — Дождь перестал, и вы мне скажете откровенно ваше мнение о мальчике.

Господин Бордас снял с вешалки непромокаемый плащ. Жена пошла за ним в спальню: неужели он пойдет ночью бродить по дорогам с этой сумасшедшей? Да на него пальцем будут показывать. Но он сухо оборвал жену. Хотя супруги говорили вполголоса, Поль догадалась, о чем шел спор в спальне, но даже виду не подала и, повернувшись на пороге, осыпала Леону благодарностями и уверениями в дружбе. Наконец она вышла за учителем во влажную осеннюю мглу и приказала сыну:

— Ступай вперед, не болтайся под ногами.

Потом она в упор спросила учителя:

— Не скрывайте от меня ничего. Как бы ни был

мучителен для матери ваш приговор…

Он замедлил шаги. Почему он не послушался Леоны? Было совершенно ни к чему очутиться в полосе света, падавшего из дверей гостиницы. Но если бы даже Робер был твердо уверен, что их никто не увидит, он все равно предпочитал держаться настороже. Именно так он и вел себя в отношении женщин даже в молодые годы. Инициатива всегда исходила от них, а он старался стушеваться, и отнюдь не для того, чтобы подогреть интерес к своей особе. Когда они подошли к гостинице, Робер остановился.

— Давайте лучше поговорим завтра утром, я ухожу из мэрии примерно в половине двенадцатого.

Поль поняла, почему он вдруг остановился, но даже обрадовалась: это походило на сговор между ними двумя.

— Да-да, — прошептала она, — так будет лучше.

— До завтра, Гийом. Ты мне почитаешь «Без семьи».

Господин Бордас притронулся пальцем к берету, он даже не протянул ей на прощание руку. Вечерний сумрак уже поглотил его, но еще долго Поль слышала стук трости о булыжную мосто-

вую. Мальчик тоже стоял неподвижно среди дороги, обернувшись в ту сторону, где сиял огонек в спальне Жан-Пьера Бордаса.

Мать схватила его за руку. Она даже не спросила его ни о чем: все равно из него слова не вытянешь. Впрочем, так ли уж это важно? Завтра состоится их первая встреча, их первое свидание. Она крепко сжимала ручонку Гийу и временами вздрагивала от холода, оступившись в ледяную лужу.

— Подойди к огню, — скомандовала фрейлейн, — ты же промок до нитки.

Глаза всех присутствующих обратились к Гийу. Приходилось отвечать на их вопросы.

— Ну как, не съел тебя твой учитель?

Гийу отрицательно мотнул головой.

— А что ты делал там целых два часа?

Мальчик не знал, что ответить. И правда, что он делал два часа? Мать ущипнула его за руку:

— Ты что, не слышишь, что ли? Что ты делал там два часа?

— Горошек чистил…

Баронесса воздела к потолку морщинистые руки.

— Они заставили тебя чистить горошек! Шикарно! Шикарно! — повторила она, невольно

подражая жаргону своих парижских внуков Арби. — Нет, вы слышите, Поль? Учитель и его супруга теперь будут хвастаться, что заставляли моего внука чистить горошек. Это неслыханно! А кухню они не велели тебе подмести?

— Нет, бабуся, я только горошек чистил… Там было много испорченного, надо было его отбирать.

— Они сразу поняли, на что он способен, — заметила Поль.

— А по-моему, они просто не хотели пугать его для первого раза, — возразила фрейлейн.

Но баронесса прекрасно знала, чего можно ждать от «таких людей», когда попадешь к ним в лапы.

— Эти люди рады издеваться над нами. Но если они надеются меня подразнить и воображают, что меня можно этим задеть, напрасно стараются…

— Если бы они плохо обращались с Гийу, — ядовито ввернула фрейлейн, — я уверена, что баронесса не потерпели бы, разве это не их внук?

Гийу заговорил громче:

— Да он совсем не злой, учитель!

— Потому что заставил тебя чистить горошек?

Конечно, тебе это нравится, ты только и способен, что возиться на кухне… Но ничего, он тебя засадит за чтение, за письмо, за арифметику… И с ним дело пойдет на лад, — добавила Поль. — Да ты понимаешь, какой он учитель?

Гийу повторил дрожащим, тихим голосом:

— Он совсем не злой, он уже велел мне читать, он сказал, что я хорошо читаю…

Но мама, бабуся и фрейлейн уже сцепились и не слушали его. Тем хуже! Тем лучше! Он сохранит для себя одного свою тайну. Учитель велел ему читать вслух «Таинственный остров», а завтра он будет читать «Без семьи». Каждый вечер он будет ходить к господину Бордасу. И будет смотреть, сколько ему захочется, на фотографию Жан-Пьера. Он уже страстно любил Жан-Пьера. Во время рождественских каникул они непременно подружатся. Он прочтет все-все книги Жан-Пьера — книги, которых касались руки Жан-Пьера. Мысль не о господине Бордасе, а о незнакомом мальчике переполняла его счастьем, и он скрывал свое счастье от всех, сидя бесконечно долго за ужином, пока разгневанные боги, разделенные пропастью молчания, упорно не произносили ни слова, и до слуха Гийу доносилось только чавканье и громкие глотки отца. Это ощущение счастья

не покидало его, когда он ощупью раздевался в уголке между манекеном и швейной машиной, когда дрожал от холода под засаленным одеялом, когда повторял слова молитвы, когда боролся против желания повернуться на живот. Он заснул, а улыбка еще долго освещала это детское, это старческое личико с мокрой, отвисшей губой. И если б его мать по примеру всех матерей поднялась к нему, постояла бы у его кроватки, благословляя на ночь своего сына, она удивилась бы этому отблеску счастья.

А в это время Леона кричала на мужа, сидевшего с журналом в руках.

— Нет, ты посмотри, что он наделал с книгами Жан-Пьера! Эта несчастная мартышка все переплеты захватала пальцами. Даже следы соплей видны! И почему это ты вдруг решил ему дать книги Жан-Пьера?

— Ну, знаешь, это ведь не святыня, и ты тоже не божья матерь…

Но раздраженная Леона закричала еще громче:

— Я не желаю, чтобы эта мартышка шлялась к нам, слышишь? Давай ему уроки где хочешь — в школе, в конюшне, но только не здесь.

Робер захлопнул журнал, подошел к очагу и сел рядом с женой.

— До чего же ты непоследовательно мыслишь, — сказал он. — То упрекала меня, что я невежливо обошелся со старой баронессой, а теперь сердишься, что я слишком любезно принял ее сноху… Признайся лучше, что ты просто боишься бородатой дамы! Бедная бородатая дама!

Оба рассмеялись.

— А все-таки ты возгордился! — сказала Леона, обнимая мужа. — Я тебя понимаю, еще бы, баронесса из замка!

— Если бы я даже хотел, боюсь, что не смог бы.

— Верно, — согласилась Леона. — Ведь ты мне сам объяснил, какая разница между мужчинами: одни всегда могут, а другие не всегда…

— Те, которые могут всегда, для этого и живут, потому что это, что ни говори, все-таки самое приятное на свете…

— А те, которые могут не всегда, — подхватила Леона (супруги десятки лет обсуждали эти давным-давно решенные, сокровенные вопросы — так повелось у них еще со времени помолвки, и всякий раз это обсуждение клало конец их спорам), — те посвящают себя богу, науке или литературе…

— Или гомосексуализму, — заключил Робер.

Леона расхохоталась и прошла в туалетную

комнату, не закрыв за собой дверей. Раздеваясь на ночь, Робер крикнул:

— А знаешь, мне было бы любопытно заняться мартышкой!

Леона вышла из туалетной комнаты и со счастливой улыбкой подошла к мужу. Она заплела на ночь свои жиденькие косички и теперь, в розовой батистовой рубашке, полинявшей от стирки, казалась очень хорошенькой.

— Значит, ты откажешься?

— Только не из-за бородатой дамы, — сказал он. — Ты знаешь, что я подумал: надо прекратить все это. Вообще я зря согласился. Мы не должны иметь никаких отношений с замком. Классовая борьба — это ведь не просто так, для учебников. Она вторгается в нашу повседневную жизнь, она должна направлять все наши поступки.

Робер замолчал. Жена, скорчившись, стригла себе ногти на ногах, она явно его не слушала. Ну разве можно говорить с женщинами? Матрас громко скрипнул под его крупным телом. Леона задула свечу и прижалась к мужу. Их обдало привычным и особенно дорогим им запахом стеарина — он, этот запах, возвещал любовь и сон.

— Нет, сегодня не надо, — сказала Леона.

Они лежали рядышком и шептались.

— Замолчи, я спать хочу.

— Я хотел тебя вот о чем спросить: как бы нам поумнее отделаться от этой мартышки?

— А ты напиши бородатой даме, объясни ей про классовую борьбу. Она поймет. Подумаешь! Мадемуазель Мельер! А завтра утром пошлем письмо с каким-нибудь мальчишкой… Ты посмотри только, какая ночь светлая!

В деревне перекликались петухи. В бельевой замка, где фрейлейн забыла опустить занавески, луна освещала Гийу, маленький призрак, сидевший, скорчившись, на горшке, а сзади него подымался безрукий и безголовый манекен, которым никто не пользовался.

IV

Письмо, принесенное мальчишкой, подняло маму и бабусю гораздо раньше обычного часа. Они спустились вниз страшные, как страшны обычно поутру немолодые люди, еще не успевшие умыться: их серые зубы, вкрапленные в розовую каучуковую челюсть, заполняют весь стакан, стоящий на тумбочке у изголовья кровати. Сквозь желтоватые пряди у бабуси проглядывала блестящая кожа черепа, а беззубый рот провалился. Обе говорили разом. Галеас сидел за столом, на полу примостились две гончие собаки, которые страшно щелкали зубами, когда он кидал им кусочки хлеба. Папа пил кофе с таким видом, будто это причиняло ему боль. Казалось, каждый глоток с трудом проходит ему в горло. Гийом думал, что этот огромный папин кадык преграждает путь пище. Он старался сосредоточить мысли на отце. Он не желал знать, почему, получив письмо, мама и бабуся сразу начали ругаться и о чем они ругаются. Но он уже знал, что никогда больше не зайдет в комнату Жан-Пьера.

— Меня это ничуть не трогает! Подумаешь! Какой-то учителишка-коммунист! — кричала ба-

бушка. — Он же вам написал, это все маскировка, моя милая.

— Причем тут маскировка! Он дал мне урок и поступил совершенно правильно, и мне ничуть не стыдно, что мне дали урок. Классовая борьба? Я тоже верю в классовую борьбу. Не желая причинять ему зла, я побуждала его изменить своим прин…

— Да бросьте вы, моя милая, нечего выдумывать!

— У него впереди вся жизнь, он имеет право рассчитывать на многое, а я чуть не скомпрометировала его в глазах товарищей и его вождей… И чего ради? Кого ради, я вас спрашиваю? Ради маленького выродка, ради дегенерата…

— Я здесь, Поль.

Поль скорее догадалась, чем разобрала этот протестующий возглас мужа, который сидел, уткнув нос в кружку с накрошенным в кофе хлебом. Когда он волновался, слишком толстый язык не слушался его и говорил он так, словно рот у него был полон каши. Он добавил громче:

— Гийом тоже здесь.

— Нет, вы только послушайте! — закричала фрейлейн и по плечи нырнула в лохань, где она стирала белье.

Тем временем старуха баронесса перевела дух.

— Гийом, если не ошибаюсь, и ваш родной сын!

Плешивая голова старухи, уже готовой принять небытие, затряслась от ненависти еще сильнее. Поль наклонилась и шепнула ей на ухо:

— Да посмотрите вы на них обоих. Неужели вы не видите, что он точная копия отца? До галлюцинации похож!

Старуха баронесса величественно выпрямила стан, оглядела сноху с головы до ног и, ничего не ответив, не сказав ни слова Гийу, выплыла из кухни. Да и что могло выразить это серое ребяческое личико? Во дворе сгущался туман, а так как фрейлейн никогда не мыла единственного кухонного окна, кухню освещало только пламя очага, где пылали сухие виноградные лозы. Собаки улеглись, уткнув морды в лапы, возле грубо обструганных ножек огромного стола, которые на миг осветил багровый язык пламени.

Все замолчали. Даже Поль поняла, что хватила через край; она оскорбила весь род Галеасов, целый сонм почивших навеки предков. Галеас поднялся, вытянулся на своих длинных ногах, утер рот тыльной стороной ладони и спросил Гийу, где его пелерина. Он сам застегнул на этой

цыплячьей шейке застежку и взял сына за руку. Собаки, думая, что их тоже возьмут на прогулку, весело запрыгали вокруг барона, но он пнул их ногой. Фрейлейн осведомилась, куда они идут. Но за них ответила Поль:

— На кладбище. Куда же еще?

Да, они пошли на кладбище. Багрово-красное солнце силилось пробиться сквозь свинцовую пелену, а туман словно раздумывал, подняться ли облаком в небо или пролиться дождем. Гийу взял было отца за руку, но тут же выпустил ее, такая она была влажная. До самой церкви они шли молча. Усыпальница баронов Сернэ выступала над оградой кладбища, которое господствовало над всей долиной Сирона. Галеас зашел в ризницу, где он прятал мотыгу. Мальчик присел в стороне на могильную плиту. Он низко надвинул свой капюшон на лоб и не шевелился. Господин Бордас не хочет с ним больше заниматься. Туман был наполнен звуками: скрип повозки, пение петуха, однообразное гудение мотора были особенно слышны на фоне неумолчного аккомпанемента мельничного колеса и рева воды у плотины, где летом купались голые мальчишки. Совсем рядом с Гийу запела малиновка. Его любимые перелетные птицы уже улетели на юг. Господин

Бордас не желает больше с ним заниматься, и никто не желает. Он твердил вполголоса: «Ну и пусть…» Он повторял это «ну и пусть» как бы назло невидимому врагу. Как громко ревет вода у плотины! Правда, до нее по прямой не больше километра. Из разбитого витража вылетел воробей. «Там боженьки нет, — сказала бабуся, — отняли у нас боженьку». Боженька, должно быть, теперь только на небе. Если мальчик или девочка умирают, они становятся вроде ангелов и лица у них чистые и сияющие. А бабуся говорит, что лицо Гийу от слез становится еще грязнее. И чем дольше он плакал, тем грязнее становилось его лицо, потому что руки у него были в земле и весь он перепачкался. А когда он вернется домой, мама ему скажет… бабуся ему скажет… фрейлейн ему скажет…

Господин Бордас не желает больше с ним заниматься.

Никогда в жизни он не переступит порога спальни Жан-Пьера. Жан-Пьер! Жан-Пьер Бордас! Как странно любить мальчика, которого ты никогда не видел, с которым ты никогда не познакомишься. «Если бы он меня увидел, он тоже подумал бы, что я плохой, что я грязный и глупый». «Ты плохой, грязный и глупый», — каждое

утро твердила ему мама. Жан-Пьер Бордас никогда не узнает, что Гийом де Сернэ был плохой, грязный и глупый мальчик, настоящая мартышка. И кем еще? Что сейчас сказала про него мама? Какое-то слово, услышав которое, папа вздрогнул, словно его ударили камнем в грудь. Гийу старался вспомнить и наконец припомнил: ренегат. Не совсем так, но похоже на слово «ренегат».

Сегодня вечером он заснет не сразу. Придется ждать, пока еще явится сон, ждать целых полночи, и ночь не будет похожа на вчерашнюю, когда он трепетал от счастья. Он заснул тогда в надежде, что, проснувшись, снова увидит господина Бордаса, что вечером в спальне Жан-Пьера он начнет читать ему вслух «Без семьи»… Ах, подумать только, что и сегодня вечером в доме и все вокруг будет такое же, как и всегда… Гийу поднялся, обогнул усыпальницу баронов Сернэ, перешагнул через низенькую ограду и пошел по крутой тропинке, спускавшейся к Сироне.

Когда Галеас обернулся, он заметил, что мальчика нет. Он подошел к ограде: среди виноградников мелькал маленький капюшон. Галеас бросил мотыгу и поспешил за удаляющимся сыном. Когда он уже почти догнал мальчика, он замедлил шаги. Гийу скинул капюшон, а берет

он забыл дома. По сравнению с огромными оттопыренными ушами его наголо остриженная головка казалась совсем крохотной. Кривые ноги, обутые в громадные туфли, напоминали виноградные лозы. Из слишком широкого воротника пелерины торчала цыплячья шейка. Галеас жадно смотрел на этого маленького, семенящего перед ним человечка, на эту раненую землеройку, вырвавшуюся из капкана и истекавшую кровью. Это его сын, его подобие, перед ним вся долгая жизнь, а он уже достаточно настрадался и сейчас страдает. Но пытка лишь начиналась. Одни палачи у человека в детстве, другие — в юности. И еще новые отравят его зрелые годы. Сумеет ли он зачерстветь, огрубеть? Сможет ли защитить себя, защитить каждое мгновение своей жизни от женщины, от вечного присутствия этой женщины, от женщины с желчным и злым лицом Горгоны? Он задыхался от ненависти, но еще сильнее задыхался от стыда, ибо он сам был палачом этой женщины. Он обладал ею только раз, всего один раз; она была словно запертая в конуре собака, запертая не на день и не на два, а на всю свою молодость. И долго еще ей выть, призывая отсутствующего самца. А он, Галеас, чем он только не обманывал свой голод: грезами,

даже жестами. И так каждый вечер, да, каждый вечер! И утро тоже… И таков же удел этого недоноска, родившегося от их единственного объятия, который семенит сейчас, торопится — куда? Знает ли он сам куда? Хотя мальчик ни разу не оглянулся, он, должно быть, почуял присутствие отца. Галеас вдруг понял это: «Он знает, что я иду за ним. Он не старается даже спрятаться от меня или запутать следы, он ведет меня туда, куда хочет, чтобы я шел за ним». Галеас не решался представить себе тот конец, который спешили принять оба последних Сернэ. Трепещущая листва предвещала близость реки. Нет, не лесной царь скакал, догоняя сына в бешеной и последней его скачке, а сын сам увлекал развенчанного и опозоренного отца к стоячей воде шлюза, где летом купались голые мальчишки. Вот сейчас они достигнут сырых берегов царства, где мать, где жена не сможет их больше терзать. Сейчас они освободятся от Горгоны, сейчас они уснут.

Они взошли под покров сосен, особенно привольно разросшихся из-за близости реки. Не тронутые еще морозом папоротники были одного роста с Гийу, и Галеас с трудом разглядел в их ржавой зыби стриженую головенку сына. Потом мальчик снова исчез за поворотом песчаной

тропинки. Им мог попасться смолокур, погонщик мулов с мельницы, охотник за бекасами. Но все статисты покинули этот уголок мира, чтобы могло наконец разыграться действо, которое им предстояло совершить, — один увлекал другого или толкал его, даже того не желая? Никто никогда не узнает! И не было иных свидетелей, кроме великанов сосен, теснившихся у плотины. Они сгорели потом через год, в августе. Сосны никто так и не удосужился срубить, и еще долго они, обугленные, протягивали обгоревшие руки к спящей воде. И долго еще вскидывали к небесам свои почерневшие главы.

В окру́ге решили, что Галеас бросился в воду, чтобы спасти сына, что мальчик уцепился ему за шею и увлек за собой отца. Неясные слухи, которые пошли было поначалу, умолкли перед трогательной картиной: сын, уцепившись ручонками за отца, увлекает его за собой в бездну. Если какой-нибудь скептик, покачивая головой, говорил: «А по мне, не так все это было», он все равно не мог себе представить, что же произошло в действительности. Да нет, конечно, нет! Как заподозрить отца, который обожал своего сына и каждый день водил его с собой на кладбище? «Господин Галеас был простоват, но насчет здра-

вого смысла — не скажите, и добрее его никого не было».

Никто не оспаривал права фрейлейн на пелерину Гийу, которую она сняла с мокрого маленького тельца. Старая баронесса утешилась тем, что дети Арби отныне будут именоваться де Сернэ; кроме того, из ее жизни навеки уходила сноха Поль. Она уехала к своим Мельерам. «Снова села нам на шею», — как они выражались. Но у нее оказалась злокачественная опухоль. На гладкой, блестящей стене, в удушливой больничной атмосфере (и сиделка входит с судном, хотите вы или не хотите, даже если вы не в силах открыть глаз, и морфий, который плохо действует на ее печень, и посещение тетки, безутешной перед лицом огромных и бесполезных расходов, поскольку рецидив неизбежен), на этой гладкой и блестящей стене иногда, как на экране, возникала огромная курчавая голова Галеаса, а мартышка подымала над разорванной книгой, над залитой чернилами тетрадью свою грязную и встревоженную рожицу. Неужели это ей только казалось? Ребенок шел по берегу, подходил вплотную к воде: он дрожал, он боялся — нет, не смерти, а холода. Его отец крадучись пробирался за ним… И тут начиналась область догадок: он ли толкнул сына

и бросился за ним или, может быть, взял ребенка на руки и сказал: «Прижмись ко мне крепче и не оборачивайся…» Поль не знала этого и не узнает никогда. Она радовалась, что смерть ее близка. Она твердила сиделке, что от морфия ей делается плохо, что при ее печени вообще нельзя делать никаких уколов, она желала испить чашу страданий до последней капли не потому, что верила, будто существует этот некий невидимый мир, где нас ждут замученные нами жертвы, где можно упасть на колени перед тем, кто был доверен нам и погиб по нашей вине. Она не представляла себе, что она может предстать перед судилищем… Она отвечала только перед своей собственной совестью. Она прощала себе свое отвращение к сыну — живой копии ненавистного отца. Она изрыгала из себя Сернэ, потому что никто не властен над тошнотой. Но от нее зависело, делить ли ложе с этим чудовищем, с этим выродком. Это объятие, на которое она ответила, было в ее глазах поистине смертным грехом.

Боль временами становилась непереносимой, и, поддавшись искушению, Поль соглашалась на укол. Тогда, в минуты облегчения, она мечтала об иных жизненных путях, которыми могла бы пойти. Вот она — жена Робера Бордаса, вокруг

играют здоровые мальчуганы, и нижняя губа у них не отвислая, и с нее не стекает слюна. Каждый вечер мужчина заключает ее в свои объятия. Она засыпает, прижавшись к нему. Она мечтала о волосатой мужской груди, о запахе мужчины. Она не знала, ночь сейчас или день. Боль уже стучалась у дверей, проникала в нее, располагалась по-хозяйски и начинала медленно ее грызть.

«Мать, которая стыдится своего сына и внука, да где же это видано?» — думала фрейлейн. Фрейлейн не могла простить своей хозяйке, что она так недолго оплакивала Галеаса и Гийу, а возможно, даже радуется их смерти. «Ничего, баронесса поплатятся за это. Арби не дадут им спокойно умереть в Сернэ. Только не хочется повторять, что мне наговорил шофер тогда, в день похорон! „Садовник, помощник садовника, двое слуг! Да в их ли годы вести такой дом! Должно быть, из ума выживают“. Я-то знаю, что Арби уже приценивались к месту в богадельне Верделэ. Баронесса, зарывшись в подушки, отрицательно качала своей лысой хищной головкой. Не поедет она ни в какую богадельню. Но если Арби захотят, баронесса поедут, и я с ними. Ведь баронесса ни за что не решатся сказать Арби „нет“. Арби их совсем запугали, и меня тоже».

Сегодня четверг, уроков не будет. Но сегодня учитель работает в мэрии. Он быстро проводит губкой по опухшему от сна лицу.

Стоит ли бриться, да и к чему? Ботинок тоже не надо: в это время года тепло и в домашних туфлях, а если надеть еще сабо, то нечего бояться промочить ноги. Леона ушла к мяснику. Он слушает, как стучат по черепице капли: дождевая вода заполнила обе колеи и лужей разлилась поперек дороги. Когда Леона вернется, она первым делом спросит: «О чем ты думаешь?» И он ответит: «Ни о чем».

Они ни разу не говорили о Гийу с того самого дня, когда у мельничного колеса нашли два тела. В тот день он только сказал: «Мальчик кончил самоубийством, или это отец…» Но Леона пожала плечами: «Да что ты». И с тех пор они ни разу не произнесли его имя. Однако Леона отлично знает, что маленький скелетик в пелерине и низко надвинутом на лоб капюшоне день и ночь блуждает по зданию школы, пробирается он и на школьный двор, но никогда не играет с детьми… Леона ушла к мяснику. Робер Бордас входит в комнату Жан-Пьера, снимает с полки «Таинственный остров», книга сама раскрывается все на той же странице: «И действительно, бедняга чуть было

не бросился в ручей, отделявший его от леса; ноги его на мгновение напряглись, как пружины… Но сейчас же сделал шаг назад и опустился на землю. Слезы покатились из его глаз. „О, ты плачешь, — воскликнул Сайрес Смит, — значит, ты снова стал человеком!“» Господин Бордас присаживается на кровать Жан-Пьера, держа на коленях открытую толстую книгу в красном переплете. Гийу… Сознание медленно созревало в этом хилом тельце. Ах, как чудесно было бы помочь ему вырваться наружу! Быть может, для этого-то труда и явился на землю Робер Бордас. В Эколь Нормаль один из преподавателей объяснял студентам происхождение слова «учитель», «наставник», «*instituteur*». Учитель — тот, кто наставляет, тот, кто учит, тот, кто пробуждает человеческое в человеке, — какое же это прекрасное слово! Может быть, на его пути встретятся еще такие, как Гийу. И ради ребенка, смерть которого он не предотвратил, он ни в чем не откажет тем, кто придет к нему. Но ни один из них не будет этим маленьким мальчиком, умершим потому, что господин Бордас пригрел его как-то вечером, а наутро выгнал, словно бродячего пса, которого впускают в дом лишь на минуту… Он возвратил его тьме, и тьма навеки поглотила ребенка. Но тьма ли это? Его

взгляд скользит поверх книг, поверх стен, поверх черепичной крыши, Млечного Пути, созвездий зимнего неба и ищет, ищет царство духа, оттуда, быть может, ребенок, обретший вечную жизнь, смотрит на него, Бордаса, видит, как по его щеке, поросшей черной щетиной, ползет слеза, которую он забыл вытереть.

Весной травы заполонили все кладбище. Заброшенные могилы вновь заросли чертополохом, и мох так густо одел могильные плиты, что нельзя разобрать надгробных эпитафий. С тех пор как господин Галеас взял своего мальчика за руку и решил разделить с ним вечный сон, некому больше в Сернэ позаботиться о мертвецах.

1951 г.

ГАЛИГАЙ

I

— Ты два раза обернулась во время службы.

Мари в ответ лишь повела плечом.

— Разве не так, госпожа Агата, ведь она оборачивалась?

Перезвон колоколов избавил учительницу от необходимости отвечать. Дамы Дюберне, улыбаясь, скользили между группами людей. Они обладали искусством улыбаться всем вместе и никому конкретно. В Дорте говорили, что только Юлия Дюберне умеет так выходить из церкви после торжественной мессы, раскланиваясь с каждым по-особому. Она была худа, но имевшийся у нее живот придавал ей солидность. «Уж не фиброма ли», — поговаривали люди.

— Госпожа Монжи делает нам знаки, — сказала Мари.

Мать процедила:

— Не останавливайся: они там со всей этой семейкой, с Арбиба. Я не хочу, чтобы она нас знакомила.

Дамы Дюберне поспешно пересекли под палящим солнцем затоптанную, просевшую от времени площадь. Дома с наглухо закрытыми

ставнями, словно в город вот-вот войдет враг, казалось, подпирали друг друга, чтобы не рухнуть. Над кучами мусора жужжали мухи. В центре площади, на глазах у всех три кобеля окружили неподвижно застывшую суку. Но вот наконец и аркады — вожделенная тень после этого огненного пространства! Открыта только одна лавочка, лавочка кондитера Кальо. Мари, как обычно по воскресеньям, захотелось съесть эклер. «Перед самым обедом», — стонала мать. Но сегодня об этом не могло быть и речи.

— Нет-нет, не будем заходить! За тортом сходит госпожа Агата. Если эти Арбиба увидят, что мы входим в кондитерскую Кальо, они все ринутся туда, и мы окажемся в западне. Госпожа Агата, вы купите нам торт?

Учительница уже отделилась от толпы и, несмотря на свою принадлежность к роду Камбланов, ускорила шаг, торопясь оказать услугу. Г-жа Дюберне никогда не отдавала ей приказания, не вспомнив, что та — урожденная Камблан, и не ощутив легкой гордости и одновременно легкого смущения. Она смотрела, как Агата удалялась: худая шея, складки воротничка, сухой затылок, летняя кофточка, которой нечего прикрывать: «Птичий скелет… а порода, что ни говори, чув-

ствуется, хоть и состоит в чем-то неуловимом...» Дамы Дюберне скользнули в тронутый плесенью вестибюль. На первом этаже размещались конторы, в которых никто не работал с тех пор, как Арман Дюберне отказался «заниматься банковскими делами». А занимался он ими, по словам г-жи Дюберне, только затем, чтобы занять себя. Ведь ему, слава богу, добавляла она с улыбкой, было на что жить и не работая. Он сразу удалился от дел, как только в спокойных водах, где оседают маленькие сбережения, появились эти большие акулы: Кредитные Учреждения. Восхищение, которое он вызывал у своей жены, зиждилось именно на этом прочном фундаменте: он не дал себя сожрать Кредитным Учреждениям.

И хотя на лестнице было совсем темно, попадая с лестничной площадки второго этажа в комнаты, где смутно угадывались лишь белые чехлы кресел, человек испытывал ощущение, что покинул освещенное место. Но эти две совы — старая и молодая — отнюдь не смутились. Мухи и солнце всегда считались в Дорте главными врагами, и люди, спасаясь от них, с приходом весны обрекали себя на жизнь в потемках. Посреди гостиной, возле круглого столика, восседал Арман Дюберне. Тоненький луч света, в котором

танцевали бесчисленные пылинки, пересекал комнату, не касаясь его головы. Он произнес:

— Сегодня месса была долгой.

— Она показалась бы тебе не такой долгой, если бы ты пошел на нее.

Он повел плечом, как это давеча сделала его дочь. Надо поскорее найти тему для разговора, чтобы Юлия снова не начала разглагольствовать о внезапной смерти, вспоминая мясника Ларьё, который все заверял священника, что успеет позвать его перед кончиной, а вышло так, что не успел и умер во грехе. Он торопливо поинтересовался, много ли было на мессе народу. Мари уселась в отдалении от отца. Юлия Дюберне стала перед каминным зеркалом и вытащила две длинные шпильки, с помощью которых на ее волосах удерживалась шляпа.

— Представляешь, на выходе из церкви Монжи разговаривали с Арбиба, и это досадно, потому что, когда я поздоровалась, Арбиба могли принять мое приветствие на свой счет.

— А что у Кальо?

— Мы туда не зашли из-за этих Арбиба. Но госпожа Агата купит нам торт.

— А как же в таком случае, девочка, твой эклер? Твой эклер до-того-как-сесть-за-стол?

Когда он обращался к дочери, голос его менялся, становясь мягче.

— Не разговаривай с ней: она два раза обернулась.

Девушка готова была расплакаться. Она сказала:

— Как будто это преступление: обернуться в церкви!

— Не притворяйся! Ты отлично знаешь, что означают эти взгляды через плечо. Можешь быть уверена, это уже стало темой пересудов.

Г-н Дюберне спросил:

— Он был там?

— Да, разумеется, со своим неразлучным Пласаком.

Девушка сначала отошла к окну и прижалась лбом к стеклу, хотя видеть она могла лишь отражение собственного лица, потом расплакалась и выбежала за дверь.

— Ну вот! — вздохнул г-н Дюберне. — Обед испорчен. Ты знаешь, что сегодня у нас раки?

— Не самое полезное для твоего мочевого пузыря.

— Наша малышка… ты придираешься к ней по пустякам.

— По пустякам? Ты думаешь?

— В конце концов, сын Салона… Доктор Салон сейчас заключает контракт… он добился большой скидки за Балюз: триста гектаров сеянцев, да еще усадьба.

— Нет, нет и еще раз нет! Ты слышишь, Арман, пока я жива…

В дверях появилась г-жа Агата. Она несла коробку с тортом, от которого исходил запах миндального крема. Арман поднялся, чтобы взять у нее коробку. Она спросила, где Мари.

— У себя в комнате, дуется, потому что я рассказала отцу, что она два раза обернулась.

Г-жа Агата предложила сходить за девушкой, но Арман Дюберне считал, что пора садиться за стол: успокоить Мари будет непросто, а баранья нога окажется тем временем пережаренной.

— Пока Адила разрежет…

— Да, но у нас есть еще раки.

II

Комната Мари отделена от крыши только антресолью. Уходя на мессу, она забыла закрыть окно. Сквозь приоткрытые ставни над тусклыми черепицами тянутся застывшие в знойном мареве холмы. Мари сняла перкалевое[6] платье и легла. В момент отчаяния она всегда испытывала потребность раздеться и лечь. Она уткнулась лицом в подушку и залилась горькими слезами. Шмель, обнаружив наконец просвет между ставнями, растворился в лазури. Нет никого, кто мог бы приласкать этого ребенка, уже преобразившегося в женщину. Сколько лет не менялись эти обои с цветочками, похожими на винные кляксы! Кровать напоминает стоящий на вечном приколе корабль, застрявший в мертвой зыби маленького городка, «который оставляет молодежь». В Дорте молодежи нечего делать. Маленькая девочка шепчет в подушку одно только имя: Жиль, Жиль, Жиль… Они виделись всего три раза: один раз на пикнике у Монжи и два раза, которые только и

[6] Примечания: 6

Перкаль — тонкая бумажная ткань полотняного переплетения, сходная с батистом.

можно считать настоящими, — на берегу Лейро. Он был с Николя Плассаком, они там купались. Жиль напомнил ей красивого молодого волка. Капли воды блестели на его золотистых волосах. Николя, тот некрасивый, белёсый. Жиль сказал, что они пойдут одеваться, и попросил ее подождать. Он вернулся. Николя Плассак держался немного в стороне. Жиль сказал: «Он будет стоять на страже». К нему подошла г-жа Агата. Она не возражала против роли сообщницы. Они договорились о свидании. О! Эти два часа, она должна пережить их снова, чего бы это ни стоило… А он? Страдает ли он? Он не ходил на мессу три года. А теперь ходит, чтобы увидеть ее. В последний раз он сказал, что г-жа Агата может все. Сказал, что она влюблена в Николя Плассака… Как будто она способна кого-то любить! Это только поначалу она кажется милой. И говорит она сначала одно, а потом — что-то совершенно противоположное. Любезная, даже ласковая, когда захочет, но на самом деле это просто старый паук, у нее землистая кожа и изнуренный вид, должно быть, она опасно больна. Вот и пусть бы она умерла! Нет, Боже мой, это же грех! Нет, я не желаю ее смерти! Нет, я подумала это просто так! Нет, сохрани, Господи, г-жу Агату.

III

В тот самый час, когда одна заплаканная девочка страдала из-за него у себя в спальне, Жиль сидел за столом на улице Супрефектуры у своего друга Николя. Жилю было двадцать три года, и он мало чем отличался от других молодых людей того же возраста: необыкновенным он казался только юной Мари да своему другу Николя. Г-жа Плассак, мать Николя, тоже им восхищалась, но чувства были здесь ни при чем: он принадлежал к хорошему обществу, и она радовалась, что сын доктора Салона, генерального советника, является другом Николя, что он соглашается обедать у нее и что ему все нравится. Он даже попросил положить ему еще карбонада, уверяя, что никогда не ел ничего более вкусного.

— О, господин Жиль, вы просто хотите доставить мне удовольствие. Я прекрасно понимаю, что не могу готовить так же хорошо, как в доме у доктора. Хотя, конечно, вы правы, карбонад мне удался. Как говаривал мой бедный муж, у богатых пища не всегда так долго томится, как у нас.

Сначала Жиль боялся, что Николя будет неловко от подобных речей. Но Николя был просто слеп

во всем, что касалось его матери. И подобно тому, как эта двухуровневая гостиная-столовая, темная и сырая, с лубочными картинками в засиженных мухами рамках, с часами под стеклянным колпаком, превращалась в поэмах Николя Плассака в бедную, но священную для него обитель, где каждая вещь излучала особый свет, так и эта пожилая женщина в его воображении преображалась в символ смирения.

Что касается Жиля, то он казался Николя воплощением молодости мира, его красоты и слабости… Николя без всякого стеснения созерцал это эфемерное чудо, слегка тронутое временем. Он его любил. Он не сознавал, что ест в этот момент. Не слышал, что говорила его мать и что отвечал ей Жиль. Жиль находился тут, в его доме. И нельзя было упустить ни одного из этих мгновений. Да благословен Бог, который привел Жиля в его дом, в его жизнь, навсегда ввел в его сердце! Они так редко встречались в Париже! И, как правило, так неудачно! Николя ночевал в лицее, где работал надзирателем. А Жиль днем посещал лекции, после которых он принадлежал многим, очень многим людям. Впрочем, так было даже лучше. Не стоило слишком часто видеть его: нужно учиться жить вдали от того, что тебе

дороже всего на свете. По мнению Николя, по-настоящему владеть тем, что любишь, можно было только на расстоянии и в одиночестве.

Но зато во время каникул в Дорте его друг полностью принадлежал ему. Жиль говорил со своим другом только о юной Мари — в этом году он вообще только о ней и говорил. Говорил без устали, ведь только с Николя он и мог говорить о Мари. И даже теперь он пользовался тем, что г-жа Плассак то и дело вставала и уходила хлопотать на кухню.

— Она два раза обернулась, — сказал он.

— Нет, три.

— Ты уверен? Но Галигай тоже обернулась… А! Я так и знал, что ты покраснеешь.

— Жиль! Не надо о госпоже Агате…

— Я же не виноват, что Галигай тебя обожает, — сказал Жиль.

Г-жа Плассак спросила:

— Почему вы зовете ее Галигай?

Николя закрыл лицо ладонями.

— Слушай, Жиль, у меня, когда закончатся каникулы, будет одно-единственное утешение: нас наконец-то снова будут разделять сотни лье… Она не будет неожиданно появляться… Подумать только, она даже врывается в комнаты…

— Ты помнишь, что обещал мне? Никогда не ссориться с ней. Для нас с Мари это единственный шанс! Галигай исполнит любое твое желание. Так что пусть врывается в комнаты. Терпи, даже если она вздумает тебя насиловать…

— Жиль!

Жиль всякий раз веселился, когда ему удавалось шокировать друга.

— Что это вы здесь обсуждаете? — спросила г-жа Плассак.

Она несла на огромном блюде увесистый пирог со сливами, который обитатели Дорта ухитряются впихивать в себя даже после самых обильных трапез.

— Мы говорим о госпоже Агате, — сообщил Жиль.

— А! Об этой!

Жиль притворно удивился:

— Она вам не нравится?

— Она приходит сюда, будто к себе домой. И даже не задерживается, чтобы поговорить со мной хотя бы из вежливости. Без всякого стыда поднимается прямо в комнату Николя. Интересно, что у нее на уме…

— Мама! Мама! — запротестовал Николя, переменившись в лице.

— В прошлый раз я ей указала на ее поведение. Она узнала, как я умею разговаривать с подобными особами. Я очень удивлюсь, если снова встречу ее на нашей лестнице…

— Но, госпожа Плассак, — настаивал Жиль, — вы же знаете, что она дочь господина Камблана… графа!

— Да, графа, который растратил ее денежки, а теперь заставляет свою дочь работать у людей… Работать, как же! Все знают, к чему сводится ее работа у господина Дюберне!

Николя повторял: «Мама! Мама!» Он закрывал глаза, он не мог вынести подобного от своей матери. Жиля все это забавляло. Он вздохнул:

— Бедная Галигай!

Г-жа Плассак опять спросила:

— Но почему все-таки Галигай?

— А вы знаете, госпожа Плассак, — продолжал Жиль, — что она была замужем за бароном?

— Барон! Хорош барон, нечего сказать! Он бросил ее прямо в день свадьбы, успев заполучить приданое, обещанное ее бабушкой, если он женится: аккурат два миллиона… Знаю я эту историю. Он улепетнул в тот же самый вечер, улучив момент, когда Агата пошла сменить свадебное платье на дорожный костюм…

— Невероятно! — воскликнул Жиль.

Николя грустно посмотрел на него и сказал с упреком:

— Послушай, Жиль, ты же знаешь, что мама…

Г-жа Плассак вздернула свой остренький носик (в этот момент она разрезала пирог), глаза ее блестели за стеклами очков.

— Причем уехал-то он не один, чтоб вы знали!

— А с кем же? — вновь с притворным интересом спросил Жиль.

Николя повторил:

— Послушай, Жиль! Ну к чему все эти расспросы?

— Во всяком случае, не с девицей!

— Тогда с кем же? — настаивал Жиль.

— Если вы не знаете, то лучше вам и не знать.

По тону г-жи Плассак Жиль понял, что зашел слишком далеко. Она приоткрыла ставни и объявила:

— Гроза собирается…

Солнце исчезло. Какой же он все-таки тяжелый, этот сливовый пирог! Колокол зазвонил к вечерне. С улицы доносился шум шагов, слышались неясные голоса: то прошли девочки из благотворительного общества, которые через четверть часа будут петь псалмы на латинском

языке, нисколько не смущаясь от того, что смысл песнопений им совершенно непонятен.

IV

Колокол не разбудил юную Мари, заснувшую в слезах. Г-жа Агата, тихо вошедшая в ее комнату, тоже не стала будить ее. Она несла на подносе шесть пунцовых раков, бисквиты, несколько спелых персиков, сливы, подпорченные осами, и запотевший графин. Г-жа Агата поставила поднос на круглый столик. О, это тело подростка в объятиях печали и сна! Мари спала, уткнувшись лицом в предплечье; согнутая нога и колено были свежи и белы, как камень в проточной воде, которого никогда не касалась ничья рука. Солнечный луч играл на легком рыжеватом пушке другой ноги, которая свисала с кровати. От этого слегка вспотевшего тела, от этих хрупких сплетенных рук, открывавших темное золотистое пятнышко под мышкой, исходил запах скорее растительный, а не животный, запах воды и земли, запах океана и сада. Г-жа Агата подняла глаза и увидела свое отражение в оконном стекле: ее костистое лицо было покрыто пятнами, блузку она не стирала с прошлого воскресенья. В стекле не были видны круги от пота под мышками, но ей-то известно, что они там есть. Эта блузка слишком

широка в груди! «У меня нет грудей…» Право же, Господь проявил бы больше милосердия, если бы так оно и было. Потому что лучше уж не иметь ничего, чем то, что было у нее. С того места, где она стояла, г-жа Агата не могла видеть груди юной Мари, но она прекрасно знала, какие они. Тот же солнечный луч, который касался ноги лежавшей перед ней девочки, осветил и костлявое предплечье г-жи Агаты. Хотя она задерживала дыхание, Мари пошевелилась и спросила: «Кто здесь?»

Г-жа Агата указала на поднос:

— Поешьте. Но сначала прикройтесь.

— Нужно было постучать, — сказала Мари. — Я бы надела платье, прежде чем позволить вам войти.

— Вы ничего не можете мне позволить, потому что вы ничего не можете мне запретить.

Боже мой! Она рассердила г-жу Агату, свою единственную надежду, свой последний шанс! Она обвила хрупкими руками шею учительницы: «Что я ей сделала? Почему она больше не любит меня?» Г-жа Агата чувствовала тепло прижавшегося к ней тела.

— Ну что вы, Мари!

Она тихонько отстранила ее.

— Одевайтесь, а потом поешьте.

— Я не хочу есть.

— В вашем возрасте всегда хотят есть.

Она помогла девушке надеть платье, усадила ее перед столиком и придвинула к ней поднос.

— Это все, что оставил ваш отец. Его невозможно было остановить.

Мари передернула плечом. Если бы даже отец лопнул от обжорства, это не слишком бы их задело, ее и Жиля. Если бы отец и мать вдруг вместе умерли, если бы исчезли куда-нибудь… Она вытерла пальцы и спросила:

— Разве есть какая-нибудь разница между Салонами и нами? Чем мы лучше Салонов?

Верхняя губа г-жи Агаты приподнялась над белыми, но некрасивыми зубами, над выступающими вперед клыками: она улыбалась.

— Спросите у вашей матери. Я этого не знаю.

— Но все-таки скажите! Какая разница?

Учительница мягко ответила:

— Такая же, какая существует между черным и красным муравьем, моя девочка.

— Не понимаю, — сказала Мари.

— Здесь нечего понимать, дитя мое.

Она была урожденная Камблан. Граф де Камблан принадлежал к одному из самых что ни на есть знаменитых, начиная с XVI века, гасконских

родов. В течение одного дня она была женой барона де Гота; и то, что барон в самый вечер их свадьбы сбежал с сыном садовника ее отца в купе, зарезервированном для Агаты, ничего не меняло: до тех пор, пока брак не был расторгнут в Ватиканском суде, она носила фамилию, которая принадлежала первому авиньонскому папе Клименту V. В ее глазах и Салоны, и Дюберне барахтались где-то далеко внизу. И она гораздо выше ставила совсем простых людей, вроде Плассаков, которые ни на что не претендовали. При этом Агата полагала, что и сама она тоже уже ни на что не претендует. Ее супруг в один день привил ей отвращение и ненависть ко всему их сословию. Во всяком случае, именно это побудило ее уговорить отца отпустить ее к Дюберне в качестве домашней учительницы. Отец, который ставил себе в заслугу, что верит только в землю и всем готов ради нее пожертвовать, вбухал кучу денег в свой виноградник в Бельмонте, хотя ему и в голову не пришло заменить старые лозы новыми. Он бесприбыльно продавал урожай, довольствовался очень скромным доходом от сданной в ипотеку собственности, а из-за тотализатора каждый месяц ополовинивал зарплату своей дочери. Жители Дорта говорили: «Она от-

казалась от своих привилегий, чтобы содержать отца». Однако работа вовсе не мешает человеку соответствовать своему происхождению. Для Агаты в самом деле ничего не изменилось. Люди ни за что не смогли бы догадаться, что она намеренно снизошла до того уровня, на котором находился человек, который был ей нужен. Рядом с ней Николя мог пойти далеко и достичь больших высот. Она войдет в его жизнь рано или поздно. Сейчас он избегает ее; но, если у человека есть воля, он может добиться чего угодно, даже в любви. К хлипкому Бертрану де Готу, этому жалкому женоподобному созданию, Агата никогда ничего не испытывала; она убеждала себя, что при известных усилиях сумела бы удержать его. Доказательство тому она видела в поведении Армана Дюберне, иногда подстерегавшего ее… Ей даже пришлось поставить задвижку на дверь своей комнаты. Так вот, как поступил бы Плассак, надзиратель лицея, сын женщины, сдававшей когда-то напрокат стулья в соборе, если женщина из рода Камбланов в один прекрасный день сказала бы ему, открылась бы ему… Сейчас он боится оставаться с ней наедине. От застенчивости. Она слишком пристально глядит на него, она это понимает. Но она так жаждет его!

— Госпожа Агата, вы не слушаете меня!

Она вздрогнула. Девушка говорила, может быть, уже давно.

— Почему вы вдруг оказались против нас? Ведь это же благодаря вам я с ним познакомилась!

— Вы с ума сошли! Плассак — мой друг. Этот Салон его сопровождал. Что я могла сделать?

— Госпожа Агата! Вы такая проницательная, не может быть, чтобы вы не заметили с самого начала, что произошло между Жилем и мной. Вы все поняли и сами организовали наши встречи. Я этого никогда не забуду…

Ее лицо пылало: нет, эта маленькая дурочка не шутила, она действительно полагала, что это ее любовь тронула сердце учительницы! Ни на одну секунду у Мари не возникло подозрения, что, поощряя их встречи, она думала лишь о том, как бы ей самой встретиться с Николя; он больше не избегал ее — нет, не из любви, конечно! На этот счет у нее не было никаких иллюзий: он повиновался юному Салону. Он согласился уйти с ней в заросли только затем, чтобы оставить наедине Жиля и Мари. Но зато ей наконец довелось испытать, что такое счастье.

Она подошла к окну, толкнула ставни. Небо потемнело. На черепичные крыши черной мас-

сой надвигалась гроза. Ласточки летали совсем низко. Вихрем кружилась пыль. Встревоженные мухи жалобно жужжали, словно их жалоба могла достичь небес. Г-жа Агата обернулась к Мари, ее лицо ничего не выражало. Она сказала строго:

— Я никогда бы не подумала, что семнадцатилетняя девушка, так хорошо воспитанная, без памяти влюбится и будет думать о замужестве… Ваша мать все правильно поняла: она прощает меня за то, что я и представить себе не могла, как между девушкой из семьи Дюберне и одним из Салонов…

— Но ведь вы только что сказали, что между нами разницы не больше, чем между красным муравьем и черным…

— Я сказала это, чтобы рассмешить вас: я не переношу, когда вы плачете.

Мари уселась к ней на колени, прижалась к ней.

— Вы меня все-таки немножко любите. Признайтесь, что вы все-таки чуточку любите меня.

Да, в этот момент она и в самом деле немного любила ее.

— Приласкайте меня, — сказала Мари.

Г-жа Агата, словно баюкая ребенка, тихо, моно-

тонно запела любимую колыбельную семейства Камблан: «Лас-ко-вый мой, лас-ко-вый…»

— Вы сейчас раздавите меня, вы душите меня, пустите!

Мари разгладила кончиками пальцев свое платье. Она смотрела на г-жу Агату немного свысока.

— Если бы вы захотели… Почему вы не хотите?

— Я не должна идти против воли вашей матери.

Девушка возразила, что от г-жи Агаты зависит изменить эту волю. Учительница отвечала, что у нее нет такой власти. И потом, не обернется ли это несчастьем для Мари? Кто он такой, в конце концов, этот несчастный Салон?

— О! Мадам! Если бы вы его знали!

Она сухо ответила:

— Вы знаете его не больше, чем я. Вы понятия не имеете, что он собой представляет. Вам просто хочется, чтобы он обнял вас, этот жалкий увалень! Что касается меня, то я нахожу его мало привлекательным, — добавила она с внезапной резкостью.

Мари подумала, что она шутит, и возразила, смеясь:

— А я нет! Я нахожу его весьма привлекатель-

ным… Правда, он не очень-то следит за собой, — с нежностью в голосе добавила она, потому что не было ни одной черты в Жиле, которая не была бы дорога ей, даже взъерошенные волосы, не очень чистые, как у школяра, руки, несвежие рубашки и его запах, запах курительной трубки, одеколона и набегавшегося ребенка.

Послышались глухие раскаты грома. Мари вздохнула:

— Хорошо бы пошел дождь… но только бы не было града!

Учительница подошла к окну, протянула руку и сказала:

— Нет, дождя нет. Послушайте, Мари, может быть, я увижу его сегодня днем.

Глаза девочки заблестели. Она спросила:

— У Николя Плассака?

— Может быть… Я еще не знаю. Но только не подумайте… Просто я вам скажу, если что-нибудь будет для вас… Не записка, нет, на это не рассчитывайте… Да и вообще не распаляйте себя чрезмерными надеждами.

— Я уже совсем успокоилась.

Девочка опять прижалась к Агате.

— А почему вы успокоились? Я ведь вам сказала, что, может быть, увижу его, но встречаюсь-то

я вовсе не с ним.

— Мадам, — простонала Мари, — нехорошо так резко все менять: то холодно, то жарко! Вы же видите, как мне грустно…

Учительница внимательно посмотрела на девочку:

— Но, Мари, это же не игра! Постарайтесь понять.

— Понять что? Что мне нужно понять?

Г-жа Агата смотрела на нее так, словно хотела ей что-то внушить, словно пыталась без слов передать ей какую-то тайную мысль.

— Я очень глупая, — вздохнула Мари.

Г-жа Агата притянула ее к себе и, поцеловав в лоб, сказала:

— Да, слишком глупая!

И тут же поинтересовалась:

— Что вы собираетесь делать сейчас?

Мари ответила, что подождет, когда мать пойдет к вечерне, и чуть позднее тоже отправится в церковь.

— Я не очень задержусь. Приду туда еще до того, как начнется величание.

— Да, это отвлечет вас от ваших мыслей.

— У меня нет желания отвлекаться от них; я должна о многом попросить Господа!

Из-под приподнятой губы г-жи Агаты показались клыки.

— Вы говорите с богом о юном Салоне?

— Ну да, конечно… Вы считаете, что это плохо?

— Вовсе нет, глупышка, тут нет ничего плохого. Приходите в мою комнату, когда я вернусь. Возможно, я приду поздно.

— Как вы думаете, я успею сходить к Кальо за эклером, ведь сегодня я осталась без эклера? К тому же я проголодалась: я ведь не обедала…

Уж эти Дюберне! Даже юная влюбленная, и та думает только о еде! Учительница взяла поднос, на котором приносила Мари то, что заменило ей обед. Мари хотела было взять его у нее, сказала, что сама отнесет.

— Оставьте, мне за это платят, — ответила г-жа Агата.

И, закрывая дверь, добавила:

— Молитесь усердно, но и шевелите хоть немножко мозгами: в жизни, девочка моя, все нужно обдумывать, даже сердечные дела.

V

Дождя все не было. Г-жа Агата пересекла площадь и вышла на улицу Супрефектуры, ведущую прямо к собору. Двухэтажный дом г-жи Плассак был последним; дальше шли поля. Прогуливаться между садом и бульваром, или, как его называли жители Дорта, проспектом Крепостной Стены, никогда не приходило в голову ни одному из них. Однако именно здесь для г-жи Агаты билось сердце мира, особенно во время каникул, когда приезжал Николя. И даже в его отсутствие это место оставалось священным, потому что было связано с ним. На другой стороне бульвара, за изгородью из бирючины находилось обычное пристанище Агаты: отсюда она видела окно комнаты над столовой, в которой жил Николя во время каникул (в остальное время года ее занимала г-жа Плассак). Когда там жила мамаша Плассак, окно оставалось закрытым, а ставни — приоткрытыми. Но как только приезжал Николя, окно, за исключением самых жарких часов, было широко распахнуто. Комната Николя! Теперь путь туда ей закрыт: в последний раз мамаша Плассак отшила ее.

Агата сначала обогнула небольшой луг, а потом проникла на свое излюбленное место через отверстие в изгороди. У подножия дуба, где она обычно сидела, трава оставалась примятой. Агата расстелила плащ. В комнате Николя нельзя было различить ничего, кроме блеска зеркала на дверце шкафа. Учительница вынула из сумочки книгу, но ей еще ни строчки не удалось прочесть под этим дубом, вблизи от этого священного дома. И вдруг она увидела его. Рядом облокотился на подоконник Жиль Салон. Они наклонились и смотрели в сад. Наверное, они говорили: «Как хорошо пахнет мокрая земля...» — а тем временем несколько крупных капель упало на увядающую листву липы. Они разговаривали, не глядя друг на друга. Иногда смеялись. Жиль курил Николя не курил. Это было одним из его принципов, который он называл своей аскезой. Из-за него Агата тоже бросила курить. С жадной грустью созерцала она это недозволенное чудо, эту общность, где для нее не было места и не могло быть даже в том случае, если бы Николя полюбил ее. Нет ничего более простого, ничего менее таинственного, чем порок. Когда жалкий Бертран де Гот уехал с сообщником в самый вечер их бракосочетания, это было заурядное, ясное и краткое выраже-

ние человеческой низости. Другое дело — этот непостижимый альянс двух юношей, каждый из которых уверен, что сможет вечно оставаться рядом с другом, не рискуя надоесть ему и вечно деля с ним чтение, мечты, пристрастия, не нуждающееся в словах понимание и даже известный лишь им двоим зашифрованный язык со всеми его заказанными для всех остальных «хитростями». Как это чудо раздражало г-жу Агату и как же она страдала из-за него!

Она слышала, как падают первые капли дождя на листья, но они еще не достигали ее. Агата смотрела на эти две взъерошенные, почти соприкасавшиеся головы. Ствол дуба, к которому она прижималась, больно впивался в ее спину. Земля была жесткой, и Агата слышала, как она гулко вибрирует. Она провела носовым платком по вспотевшему лицу. Одна капля, две капли упали ей на лоб, на шею, проскользнули между лопатками. Жиль и Николя почти одновременно протянули руки под дождь, который все усиливался. Агата встала с земли, надела плащ. Крона дуба надежно защищала ее от ливня. Внезапная молния ослепила ее; раскаты грома в темных грозовых тучах перекрывались мощным шумом дождя. Окно закрыли. И лишь изредка по свет-

лому пятну зеркала пробегала тень кого-то из молодых людей.

VI

Г-жа Агата сняла промокшую фетровую шляпу, вытерла носовым платком волосы. Эта стена дождя, этот дом, стойко защищавший непроницаемую дружбу двух молодых людей, все эти возникающие на ее пути преграды отнюдь не обескуражили, а скорее напротив, вывели из прострации это попавшее под ливень бескровное маленькое существо. Г-жа Агата выпрямилась и вспомнила, что ей нужно делать. Внимательно наблюдая за домом, она узнала законы, по которым текла жизнь Николя во время каникул. В воскресенье, после возвращения матери с вечерни, он посвящал ей весь остаток дня. Когда была хорошая погода, он, накинув ей на плечи шаль, закреплявшуюся на груди старинной брошью, выводил ее из дома и, несколько картинно изображая из себя примерного сына, гулял с ней по площади, если же шел дождь, они играли в шашки, сидя возле окна. Значительно реже он читал, стараясь привлечь ее внимание к тому, что нравилось ему самому. Она прерывала чтение разными нелепыми замечаниями, пока не раздавалось легкое похрапывание, которое под-

сказывало Николя, что дальше лучше читать про себя. Таким образом, по окончании вечерни Жиль должен будет уступить свое место матери Николя, и г-жа Агата была уверена, что застанет его у отца. Но сначала нужно было заскочить домой, сменить платье, туфли, поправить прическу. Она знала, что безупречный туалет — броня некрасивых. В ее распоряжении оставалось минут тридцать, поскольку Арман Дюберне ушел в клуб, а Юлия и Мари еще не вернулись из церкви.

Агата быстро привела себя в порядок, надела серый костюм. Когда она проходила мимо комнаты г-жи Дюберне, ей показалось, что кто-то стонет, и она остановилась. Да, это походило на длинный, животный стон роженицы. Она толкнула дверь: Юлия, не сняв шляпы, туфель и даже перчатки с правой руки, лежала на боку, поджав ноги. Она быстро одернула юбку, из-под которой виднелись распухшие ноги в полуспущенных черных чулках, и бросила за кровать испачканную чем-то темным салфетку.

— У меня давно не было приступа… хотя сейчас мне уже лучше: я приняла шафранно-опийную настойку… Если бы только не эта тяжесть…

Г-жа Агата взбила подушку и, сдерживая раздражение, сказала:

— На этот раз вы мне подчинитесь! Теперь ваша очередь подчиняться! Вы обязательно должны сходить к врачу. Вам нужно обследоваться.

Юлия Дюберне лежала с поджатыми губами, упрямо нахмурившись и даже не пытаясь возразить. Она сжала колени и положила свои маленькие руки, на одной из которых все еще красовалась перчатка, на живот. Она была по сути обыкновенной деревенской бабой, одной из тех женщин, встречающихся еще и поныне, которые предпочитают корчиться в муках, чем позволить мужчине, пусть даже врачу, осматривать и ощупывать это срамное отверстие, созданное природой, этот источник всяческих страданий.

— Вы часто прислушиваетесь к моему мнению, мадам, — настаивала Агата, снимая с нее ботинки, — вы оказываете мне доверие, но только не тогда, когда дело касается вашего здоровья, вашей жизни. А ведь я вами дорожу.

Г-жа Дюберне приоткрыла один глаз и неожиданно испытующе посмотрела на нее: а так ли это, действительно ли Агата ее любит? Ведь она — совсем другой человек, ей, в отличие от Юлии, не нужно принимать во внимание местные «табели о рангах», не нужно соблюдать разные «табу».

Неужели у этой учительницы, у этой урожденной Камблан, «женщины с мозгами», есть еще и сердце, способное вместить любовь к матери своей ученицы? Г-жа Дюберне задержала на мгновение в своей влажной руке сухую худощавую руку.

— Успокойтесь, дорогая Агата, — сказала она, — моя мать страдала такой же болезнью. И не пользовалась никакими лекарствами, кроме святой лурдской воды. Болезнь изжила сама себя, и она умерла в восемьдесят четыре года, гордясь тем, что так ни разу и не позволила подвергнуть себя этим отвратительным обследованиям, которые, как позорное ярмо, висят над нашим полом.

Г-жа Дюберне вздохнула и прошептала:

— Я чувствую себя лучше. Если вы все-таки пойдете в церковь к благословению, — добавила она, — приведите Мари.

Г-жа Агата послушно склонила голову, но заметила, что у девочки не должно складываться впечатление, что за ней следят; главное — не потерять ее доверия.

— Я полагаюсь на вас, моя дорогая Все, что вы сделаете, что вы решите, будет хорошо. А то я ведь уже стала врагом своей дочери. Я рассчитываю только на вас, чтобы помешать этому несчастью, и если я вдруг умру…

— Замолчите, Юлия!

— Мне хочется надеяться, что здесь ничего не изменится и что Мари…

Она больше не могла говорить об этом; она стиснула зубы, крылья ее носа напряглись, и лицо сделалось похожим на маску: она словно репетировала роль покойницы. Затем глаза ее открылись, она улыбнулась Агате. Как обычно после приступа боли, ее неудержимо потянуло в сон. Учительница продолжала сидеть у ее изголовья, пока спокойное дыхание спящей не подсказало ей, что она свободна. Ботинки скрипнули. Она бесшумно закрыла за собой дверь.

Г-жа Агата могла не сомневаться в незыблемости раз и навсегда установленного распорядка этой жизни: пока не кончится вечерня, г-жа Плассак не выйдет из церкви, а Жиль не расстанется с Николя. Так что звонить в дверь доктора Салона было еще рано. Г-жа Агата проникла в собор через дверь бокового нефа. И поняла, почему церемония затянулась: протоиерей читал вечернюю молитву перед выставленными для причастия святыми дарами. Едва он закончил, как верующие дружно ответили ему торопливыми, лающими возгласами. Голоса нескольких десятков женщин, усиленные сводами собора,

сливались в мощный гул. Г-жа Агата села за одной из колонн, не собираясь ни преклонять колени, ни погружаться в молитву, так как ее все равно не было видно. В доме Дюберне считали, что она осталась верной янсенистской[7] традиции Камбланов и приближается к святым дарам только на Пасху. Впрочем, абсолютной уверенности в том, что Агата на Пасху действительно причащается, ни у кого не было. Она не возражала: эта еретическая репутация ей льстила. Самой же ей казалось, что она утратила веру. Действительно ли это было так? И была ли у нее когда-нибудь вера? Но это уже вопрос скорее метафизический. Во всяком случае, она была в плохих отношениях с богом. Она перестала с ним разговаривать. Она находила, что при раздаче благ отец небесный ее обделил. «Она из упорствующих», — говорил про нее протоиерей, более проницательный, чем г-жа и г-н Дюберне. Зачем молиться? Все молитвы мира не в состоянии улучшить ее внешность и не сделают красивой ее грудь. Как этой мертвой душе поверить в Вечную Любовь при таких жалких

[7] Примечания: 7

Янсенизм — учение религиозной секты последователей голландского епископа Янсения. Главные основы этого учения: отрицание свободной воли и вера в предопределение. Янсенисты резко выступали против иезуитов.

исходных данных? Шесть рядов девочек усердно обстреливали алтарь возгласами: «Молитесь за нас». Этой стрельбой руководили две старые монахини — жалкие остатки местного ордена, в который пополнения больше не поступало. Г-жа Агата сидела и ждала, когда собор опустеет, слушая прерывистые звуки задыхающегося большого органа (на его ремонт требовалось сто тысяч франков), который временами начинал рычать, как старый, доведенный до изнеможения лев в чащобе этого каменного леса.

VII

Жиль шел по пустынному бульвару, до такой степени погруженный в свои мысли, что оказался перед домом отца совершенно неожиданно для себя. Доктор тщетно пытался завести мотор своего маленького автомобиля с помощью рукоятки. Он выпрямился, лицо его побагровело. У него практически не было шеи. «Ах! Этот стартер!» — простонал он. Жиль сказал: «Давай лучше я». Подошел коротышка-крестьянин и попросил доктора навестить его заболевшую бабушку. Он не понимал, что с ней.

— А она точно еще живая? Надеюсь, ты не заставишь меня сделать восемнадцать километров, чтобы перевернуть труп? Я уверен, что она умерла! — сказал он Жилю. — Когда они посылают за мной… ради какого-нибудь старика…

— Тогда не ходи… Зачем тебе туда тащиться? В один прекрасный день тебя подберут на дороге, — жестко добавил Жиль.

— Это действительно может случиться, — сказал доктор. — Да, малыш, я совсем забыл: в гостиной тебя ждет одна клиентка. Она ждет уже полчаса. Да-да, тебя. Теперь твоя очередь!

— Кто это?

— Пусть это будет для тебя сюрпризом, — сказал доктор (когда он смеялся, глаз не было видно). — И, вероятно, у нее есть что тебе сказать… Поторопись!

Жиль бегом пересек мокрый сад. Перепрыгнул через клумбу петуний. Может быть, это Мари решила воспользоваться вечерней… Нет, эта женщина, склонившаяся над старыми номерами «Монд иллюстре», которые загромождали стол, совсем не походила на Мари. Г-жа Агата встала. Они пожали друг другу руки. Жиль знаком пригласил ее сесть, а сам остался стоять, глядя на нее своими холодными красивыми глазами. Г-жа Агата старалась вспомнить, как она собиралась начать разговор. У нее было время все обдумать в течение получаса, проведенного под взглядом г-жи Салон, чья свадебная фотография висела над роялем. Когда та умерла, спустя несколько месяцев после рождения Жиля, доктор дал обет ничего не менять в убранстве квартиры. Он уже давно перестал горевать, но эти нелепые связанные крючком накидки все еще продолжали украшать кресла в стиле Греви, а на окнах висели рваные шторы с английским орнаментом, который в течение многих лет терпеливо вышивала усопшая.

— Вы догадываетесь, мсье, о цели моего визита?

Он отрицательно покачал головой. Уж не думает ли она, что он станет рассыпаться в любезностях, добиваясь ее расположения? Жиль никогда и ни перед кем не рассыпался в любезностях. Хотя тут мог бы и поусердствовать немного, мог бы пойти навстречу человеку, от которого зависело осуществление того, чего он желал с такой неодолимой силой. Причем она могла пригодиться ему в самое ближайшее время: в Дорте невозможно было встретиться с девушкой из буржуазной семьи без чьей-либо помощи. Галигай говорила медленно, подыскивая слова:

— Мне было доверено воспитание мадемуазель Дюберне. Вы внесли в ее жизнь сильное смятение…

Она говорила, а он думал о том, как бы не задеть, не обидеть ее каким-либо неосторожным словом. Не показать и тысячной доли того отвращения, которое она ему внушала. Он был из тех молодых людей, что не выносят молодых женщин, не возбуждающих у них желания. Боясь, что не сможет скрыть этого, он молчал; и в ответ на ее фразу: «Я обращаюсь к вашему сердцу», у него почти случайно вырвалось:

— У меня нет сердца, мадам.

— Я вам не верю! — воскликнула она.

— У меня нет сердца в том смысле, в котором вы это понимаете.

А поскольку г-жа Агата молчала и смотрела на него снизу вверх, он внезапно сел перед ней, придвинул свой стул так, что его угловатые колени почти касались ее серой английской юбки, и спросил:

— Что вы пришли мне сказать?

Какой грубиян! Она немного отодвинула свой стул. Он тоже внушал ей отвращение: она ненавидела в нем эту дремлющую мужскую силу, которую вдруг сумела пробудить ничего собой не представляющая дурочка, тогда как яркая личность вроде нее не имеет над ним никакой власти.

— Только вы одна можете убедить госпожу Дюберне, — сказал Жиль. — А знаете, кого вы напоминаете Николя?

Она покраснела, не в силах сдержать волнения при мысли, что Николя думает о ней в ее отсутствие, даже сравнивает ее с кем-то.

— Леонору Галигай… вы помните, кто это, Лео-

нора Галигай[8]?

— Да, — сказала она, смеясь. — Она взяла власть над Марией Медичи, не пользуясь никакими иными средствами, кроме тех, которыми располагает сильная душа по отношению к слабому характеру. Но вы ошибаетесь, думая, что у г-жи Дюберне слабый характер.

— Но ведь вы — сильный человек.

— Может быть…

Она вздохнула и, помолчав, сказала:

— А кстати, очень ошибаются те, кто думает, что у Николя Плассака слабый характер. Он у него вовсе не слабый, отнюдь нет.

— Но он очень хороший друг, он, можно сказать, просто любит меня, — сказал Жиль.

Он встал, чтобы открыть окно, которое, скорее всего, закрыла служанка во время грозы, и пробормотал про себя: «Эти бесцветные девицы, даже если они и моются…» Он полной грудью вдохнул запах намокших под дождем петуний. Ему показалось, что Галигай обдумывает, как лучше ответить, но она размышляла над услышанной

---

[8] Примечания: 8

Элеонора Галигай (1568–1617) — фаворитка Марии Медичи, приехавшая с ней из Италии. Благодаря своему влиянию на последнюю, обеспечила блестящую карьеру своему мужу Кончино Кончини. Была казнена по обвинению в колдовстве.

фразой «Он просто любит меня». Этот юный Салон был единственным человеком, который мог повлиять на Николя. Если Николя Плассак и соизволит когда-нибудь жениться на Агате де Камблан, то только ради того, чтобы обеспечить счастье этому вот грубияну с манерами злобной собаки. С усилием она произнесла:

— Между нами есть разница. У нас разные задачи: вам ведь не нужно убеждать Мари… Вам достаточно устранить внешние препятствия. Тогда как в моем случае…

— Да-да, разумеется! Но я не обещаю вам, что это удастся! — прошептал он.

Он почувствовал, как запылали его щеки, и вернулся к окну. Что она думает, эта ужасная девица, что он преподнесет ей Николя? Но было бы достаточно, если бы Николя просто ввел ее в заблуждение, ненадолго, пока они с Мари не обручатся. Нет, нет, он не может отдать ей Николя! Ему подумалось, что отныне запах петуний, омытых грозовым дождем, для него всегда будет связан с воспоминаниями об этой минуте, когда он, не слишком благородно воспользовавшись ситуацией, едва не предал своего друга. И он также понял, что любит его, своего друга, больше, чем кого бы то ни было, что, быть может, он вообще

никогда никого не любил, кроме него. Он забыл об этой женщине в углу, которая напоминала ему прицепившуюся к шторе летучую мышь. После долгой паузы он обернулся. Она наблюдала за ним. Он спросил:

— Когда я увижу ее?.. Мари. Когда я увижу Мари?

— Вы с ума сошли? Об этом не может быть и речи… по крайней мере, сейчас. Какой вы все-таки ребенок!

Она явно насмехалась над ним.

Все было сказано. Она поднялась, протянула Жилю руку, которую тот взял кончиками пальцев.

— Вы принимаете меня за дурочку!

Он покраснел и отвернулся: она разгадала его. Да, все было предельно ясно. Слов больше не требовалось.

VIII

Вечерняя трапеза семейства Дюберне заканчивалась в саду, без света. Между ветвями огромного тюльпанного дерева появилась луна. Г-н Дюберне неспешно доедал сыр. Мари, словно парившая над стулом, дрожала от едва сдерживаемого нетерпения. Она смогла перебросить с г-жой Агатой всего несколькими словами, потому что мать, быть может, заподозрив что-то, вошла в комнату учительницы через несколько секунд после нее. Арман Дюберне вдруг задал неожиданный вопрос, а ведь можно было подумать, что он всецело поглощен своим пищеварением. Оказалось, что вовсе нет: он думал о вещах серьезных.

— Агата, вы прочитали в «Ревю» неизданные вещицы Монтескье, которые там только что опубликовали?

— Становится по-настоящему прохладно, — тотчас заметила Юлия Дюберне.

Пятнадцать лет назад, когда Арман еще не настолько отупел от своего животного образа жизни, он называл это «вставкой Юлии» или «выстрелом Юлии». Она уверенно «убивала» на лету любой начинавшийся за столом разговор. Арман

Дюберне замолчал и опять занялся рокфором. Мари стремительно вскочила со стула, почти взлетела. Мать одернула ее:

— Сиди, пока я не разрешу выходить из-за стола.

Мари снова села. Арман Дюберне допил вино, вытер усы.

— Не жди меня, девочка, не ждите меня.

Он вытащил из кармана жилета сигару, размял ее. А Мари уже и след простыл. Она успела сказать г-же Агате: «Я буду на террасе». Учительница не спешила на встречу. За ней наблюдала Юлия. Возможно, она ей не доверяла… Хотя нет, вряд ли, поскольку она вдруг сказала Агате:

— Пойду прилягу. У меня больше ничего не болит, но я чувствую себя разбитой. Не отходите от Мари. Кто знает, не бродит ли этот мальчишка где-нибудь около террасы, вдоль Лейро? Это же ведь настоящие обормоты.

Агата посидела некоторое время с Арманом.

— Вы ведете себя не слишком благоразумно, — сказала она ему. — А мне нужно пойти присмотреть за Мари.

Он не стал ее задерживать, но немного поворчал, потому что успел уже погасить свою сигару.

— Я здесь, — произнесла Мари в темноте.

Г-жа Агата облокотилась рядом о перила. Поднималась луна. Реки Лейро не было видно, но ее холодное дыхание, преодолевшее луга и заросли ольхи, чувствовалось на террасе.

— Ну что? Расскажите скорее, — тут же начала расспрашивать Мари, прижавшись к учительнице, словно та была Жилем: она видела Жиля, она говорила с Жилем всего час назад, даже меньше.

— Ну и глупышка же вы! — сказала г-жа Агата.

Она улыбалась, благожелательная, слегка растроганная, причем даже не от счастья, даже не от близости счастья, а просто от смутной возможности его, которой уже было достаточно, чтобы черты ее лица смягчились. Бедная Галигай! Какой бы она стала ласковой, как плакала бы от любви, она, внушавшая трепет жителям Дорта, сколь нежна была бы она в объятиях возлюбленного!

— Рассказывать, собственно, нечего, — сказала она. — Он по-прежнему думает о вас. И не отчаивается. Что еще можно сказать?

Она быстро отстранилась от девушки.

— А вот и ваша мать.

А ведь Юлия сказала, что пойдет приляжет. Может, это была хитрость с ее стороны? Она что-нибудь учуяла?

— Я принесла тебе пальто, — сказала она Ма-

ри. — А то твоя шаль слишком легкая. Отдай ее г-же Агате.

Г-жа Дюберне облокотилась о перила между учительницей и Мари. Не доверяет? Ревнует? По ее поведению нельзя было сказать ничего определенного.

— У луны нет ореола, — сказала она. — Вообще-то, еще немножко дождя не помешало бы. Надо же, вы только посмотрите на землю: она совсем сухая… эти потоки воды даже не промочили ее. Мари, ты не забыла, что завтра утром ты должна почитать катехизис маленькому Дютрие? Его родителям будет очень неприятно, если его первое причастие опять придется отложить. Но, между нами, лично я считаю, что господин протоиерей все-таки чересчур требователен. Что вы хотите! Дети алкоголиков! Лишь бы они хоть примерно представляли, что это означает: истинная вездесущность… Что ты сказала, Мари? Ничего? А то мне показалось, ты что-то сказала.

Нет, она ничего не говорила. Кажется, мать не собиралась уходить. Лучше пойти спать теперь же. Агата зайдет к ней в комнату пожелать спокойной ночи.

Николя и Жиль встретились на окраине Дорта, в начале Кастильонской дороги. Николя шагал,

подняв голову. Ночь уже вступила в свои права; именно такая летняя ночь раскрывала перед ним единственно близкое ему лицо мира — темное, с багровой подсветкой небо, мерцающее над землей, где в этот час царили не люди, а деревья. Ни шелест пожухлой листвы, ни лай собак или крик обманутых луной петухов так не тревожили его слух, как стук ботинок Жиля на твердой дороге, шаги, созвучные его собственным. Две их тени вытягивались, иногда соединялись и, казалось, повинуясь какому-то неведомому закону, образовывали одно из диковинных созвездий этой ночи. Жиль говорил, говорил… и произносимые им слова служили для Николя мерилом живой тишины ночи, которая в то же самое время была свидетельством присутствия бога. Он смутно чувствовал, чего ждет от него Жиль, и ему хотелось отдалить ту минуту, когда он вынужден будет отказать своему другу.

— Ты не веришь, что я ее люблю, потому что раз и навсегда убедил себя, что я не способен любить. Ты не веришь мне, ты не хочешь понять, ты никогда не испытывал потребности в любви. Тебе довольно поэзии и дружбы… В сущности тебе довольно меня. Разве не так?

И, не дожидаясь ответа, он добавил:

— Естественно, тебе не хочется, чтобы я женился; но я на тебя за это не сержусь, потому что, конечно же, это отразится на наших отношениях.

Николя пробормотал только: «Жиль…»

Они подошли к тому месту, где Лейро пересекает дорогу, и облокотились на парапет моста, как они всегда делали, если желали вдохнуть сырую свежесть реки. Жиль достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Пламя на миг осветило склоненное лицо с ранними складками на лбу и в уголках рта, с легкой щетиной на щеках, и его сразу поглотил мрак, оставив в лунном свете лишь неясные очертания. Он сказал:

— Прости меня, я плохой человек, чем больше я отдаю себе в этом отчет, тем больше страдаю.

Они сидели на парапете, разговаривали и слушали, как журчит вода между камнями в том месте, где они разувались, когда были детьми. Николя провел рукой по волосам Жиля и вздохнул: «Эх ты, бедняга!»

— Мари, Мари Дюберне… — сказал Жиль. — Это кажется тебе странным, сознайся!

Поскольку Николя не отвечал, он добавил:

— Мне и самому это кажется невероятным. Может быть, меня спасет…

— Ты не больше нуждаешься в спасении, чем кто-либо другой. Почему спасение должно волновать тебя больше, чем остальных?

Жиль прошептал:

— Ну как же… Ты ведь знаешь обо мне абсолютно все, даже то, о чем я тебе никогда не рассказывал…

— Ты такой же, как все остальные парни.

Жиль ответил:

— Ты думаешь? — И после долгой паузы произнес: — Было бы достаточно создать у нее иллюзию, пока Дюберне не примут меня…

Николя в последний раз притворился, что не понимает, о чем идет речь. И Жиль, потеряв терпение, закричал:

— Ну разумеется, о Галигай, о ком же еще! Она относится ко мне с недоверием. Она потребует обещаний, обязательств, может, даже помолвки, на которую ты притворно согласишься, но все это просто нужно будет держать в тайне…

Николя запротестовал:

— Нет! Как можно? Нет! Ни за что на свете! Я и так причинил ей довольно зла…

Друг немного отстранился. Николя почувствовал, что он сразу погрустнел.

— Жиль, — сказал Николя, — попытайся меня

понять. Не ты плохой, не ты, а я. Мне жалко всех людей, да, всех, за исключением одного человека, за исключением как раз той, которая любит меня. Только она не трогает меня, та любовь, которую я внушаю этой несчастной девушке, не разделяя ее. Причем, мало того что она меня не трогает, она раздражает меня, доводит до исступления, а ты хочешь, чтобы я…

— Не будь дураком, — с жаром возразил Жиль, — ты дал бы ей, этой бедолаге, несколько недель счастья, как ты этого не понимаешь? Она получила бы его благодаря тебе. Иллюзия счастья — это как-никак тоже счастье.

— Ты думаешь, я способен…

Николя был ошарашен, даже возмущен; он путался в словах. Жиль немного отпрянул от парапета, потом опять склонился над водой и сказал изменившимся голосом:

— Успокойся: я никогда и не думал, что ты на это способен. Хочешь, чтобы я сказал кто ты? Самое гнусное, что только есть в этом мире, — добродетельный человек, у которого все счета в порядке. И если мне вдруг станет отвратительна добродетель, этим я буду обязан только тебе.

Николя воздел руки к небу:

— Я добродетельный? Ты с ума сошел!

Он смеялся. Он пытался смеяться.

— Ну конечно! Конечно, добродетельный. Скажи, разве ты дорожишь чем-либо, кроме некоей идеи, кроме своего представления о совершенстве?

— А ты? — спросил Николя. — Ты ведь не стремишься быть негодяем, как мне кажется?

— Я? Может быть, ради друзей я делал такие вещи, о которых не осмелился бы рассказать даже тебе. Друг — это тот, кто помогает бросить труп в реку, не задавая вопросов.

— Только не рассчитывай, что я буду поставлять тебе трупы.

Это было сказано сухо. Жиль коротко попрощался и пошел по направлению к Дорту. Николя, сидя на парапете, слышал звук удаляющихся шагов. В мире все умерло, кроме этого звука. Он спрыгнул вниз и побежал. Он задыхался, когда догнал Жиля, который шел, не поворачивая в его сторону головы.

— Слушай, — произнес он, немного отдышавшись, — у меня есть одна идея… Да, мне кажется, я мог бы тебе помочь, но дай мне немного времени.

Жиль облегченно вздохнул. Он был доволен тем, что Николя все-таки покорился ему, но вида

не показал.

— Уже сентябрь на дворе, — сказал он. — Поэтому медлить не стоит. А то есть риск, что не успеем. Она ведь, ты знаешь, такая упорная.

Некоторое время они шли молча. Каждый думал о своем. Вдруг Жиль спросил:

— А как ты думаешь, ты бы смог… с Галигай?

Николя перебил его:

— Замолчи, ты говоришь отвратительные вещи.

— Что касается меня, — сказал Жиль задумчиво, — то, может быть, у меня и получилось бы… но только надо было бы…

Он рассмеялся. Ночь перестала быть ночью: Жиль испачкал ее своими грязными словами. И собор в темноте напоминал огромный ковчег, оставшийся после потопа и отданный во владение крысам, набежавшим с гниющих полей. Николя и Жиль подошли к дому г-жи Плассак.

— Не входи, — сказал Николя.

IX

Он не стал зажигать свет на лестнице: может, мать заснула. Хотя нет: он услышал резкий голос: «Николя!» Пока сын оставался в Дорте, она спала в маленькой, тесной комнатке на первом этаже. Он вошел без стука и стал у изголовья кровати. Искусственная челюсть не держала больше ни губ, ни щек. Глаза без очков казались жесткими, блестящими и не человеческими, а какими-то рыбьими или птичьими.

— Ты возвращаешься слишком поздно. Я не могу закрыть дверь на задвижку. Из-за тебя меня когда-нибудь убьют.

Он вздохнул:

— Почему бы не дать мне ключ?

— Как же! Ключ тебе! Чтобы ты опять его потерял!

Двенадцать лет назад он и в самом деле потерял ключ. Г-жа Плассак постоянно вспоминала об этом: тогда пришлось сменить замок. Она бережно хранила счет от слесаря. Николя раздраженно сказал:

— Что же мне делать? Лазить в окно?

— Что делать? Оставаться вечером возле мате-

ри, которая из кожи вон лезла ради тебя, которая ради тебя отказалась снова выйти замуж, хотя возможностей хватало, которая, чтобы оплачивать твою учебу в лицее, работала прислугой у людей, стирала белье в богатых домах, пока господин протоиерей не остановил свой выбор на мне, потому что знал, что со мной деньги, полученные за стулья, будут в надежных руках…

Николя глухо спросил:

— Значит, я неблагодарный сын?

— Ты — хороший сын… на словах, да! А все-таки по вечерам ты продолжаешь шляться с этим шалопаем.

— Мама! Он же казался тебе таким милым…

— А как же? Тебе же это приятно, вот и приходится говорить, что он милый. Будто я не знаю тебя!

Ее глаза недобро поблескивали. Николя вспомнил свои собственные стихи: «Бедная женщина с хмурым лицом, моя мать, что любила меня!» Она говорила:

— Все в Дорте считают, что сын Салона — шалопай… И что ты в нем нашел, в этом парне?

Он наклонился к ее сердитому лицу и с любовью поцеловал его.

— Нужно спать, — сказал он.

Она проворчала:

— Ты мог бы мне ответить. Я еще не впала в детство.

Он сделал усилие, чтобы улыбнуться, обернулся, прежде чем закрыть дверь, и послал ей воздушный поцелуй.

Он медленно поднялся по лестнице, преодолевая ступеньку за ступенькой, словно ему на плечи давил тяжелый груз. Зажег керосиновую лампу: в этот вечер он потерял способность видеть все своим особым зрением и знал, что сегодня комната, как и мать, покажется ему такой, какая она есть в реальности.

На потемневшем потолке расплывалось мокрое пятно, обои были покрыты следами от раздавленных комаров. От ночного столика из красного дерева, которым он не пользовался, исходили запахи, свидетельствовавшие о том, что уж г-жа Плассак, когда спала в этой комнате, пользовалась им вовсю. Столик был накрыт индийской шалью, траченной молью и закапанной свежим воском. Он заставил себя поверить в ее ценность, даже воспел ее в одном из своих стихотворений. На спинке вольтеровского кресла в том месте, где Жиль прислонялся к нему головой, виднелось сальное пятно. Жиль! Жиль! Сквозь романти-

ческую дымку уходящей молодости в нем уже проступали некоторые черты того мужчины, каким он станет лет через десять.

Николя задул лампу, и запах керосина быстро рассеялся. Его глаза привыкали к полутьме: луна, исчезая, оставила в небе молочный след. Облака походили на расплывчатый берег озера забвения, в котором мерцала огромная звезда. Николя Плассак смотрел на нее. Он все никак не мог решиться четко сформулировать мысль, которая пришла ему в голову, когда он бежал за Жилем по дороге в Дорт: «У меня есть одна идея… Только дай мне немного времени…» Идея… Какая идея! Уже сама ее дикость делала эту идею притягательной. Он подчинится Жилю, но не допустит лжи. Обещание, которое он даст Галигай, не будет ложным.

Пока ему не было нужды заглядывать в эту бездну, измерять ее глубину. В течение месяцев, а то и лет, их будет разделять его мать, которая ненавидит Агату и которую придется убеждать, упирая на бедность: на какие средства он стал бы содержать семью, если ему не удается прокормить даже одного себя?

Помолвка будет настоящей. Но потом между ними лягут шестьсот километров: от Галигай у него будут только письма. А письма у нее дей-

ствительно получались прекрасные. И он тоже станет ей писать, писать так часто, как она того пожелает. Да, но ведь в конце концов все должно будет кончиться… Он подумал: спать порознь, две кровати, две спальни… мысль его не могла остановиться на простой перегородке, он думал о стене, о закрывающейся на задвижку двери. И все равно понадобится время, чтобы привыкнуть… В мыслях он преодолевал пропасть, которая отделяла его от ребенка: да, родится ребенок. Как награда за все. Ребенок г-жи Агаты… Ну и что? Черты у нее не безобразные. Чтобы стать почти красивой, ей не хватает только немного счастья: как она расцвела в тот день, когда он повел ее прогуляться в лес, чтобы Жиль смог остаться наедине со своей крошкой Мари! Она стала тогда совсем другой… Да, но только слишком уж волновалась. С ней нельзя было спокойно разговаривать: она вдруг начинала часто дышать, хлопать ресницами, напрягаться. Он попытался восстановить в памяти один образ, из тех, что обычно гнал прочь: образ, сохранившийся с первого посещения некоего дома в квартале Мериадек в Бордо… Та женщина говорила ему: «Не нервничай». В конце концов, все прошло хорошо. И Жиль будет спасен. Жиль будет счастлив. Жиль должен

быть счастлив. Нет, он не будет счастлив, на него просто снизойдет мир, покой. Он превратится в одного из тех господ, которых Николя случалось видеть на мессе, господ со складкой на шее из-за жесткого воротничка. Жиль! Николя вспомнил, как начиналась их дружба, как они подолгу гуляли по Парижу, как однажды поздно вечером они, усталые, сидели на скамейке напротив церкви Святой Марии Магдалины и Николя глухо читал наизусть стихи. Жиль сказал тогда: «Было бы так хорошо умереть нам обоим до рассвета».

X

— Мне нужно было бы пойти с Мари, — сказала г-жа Дюберне. — Нехорошо, что она отправилась одна к Монжи.

Арман возразил:

— Но ведь доктор приказал тебе лежать в постели и не вставать...

Он подошел к окну и облокотился на подоконник. Не пробило еще и четырех, а ставни были уже приоткрыты. После сильной грозы в воздухе посвежело. Едва он успел зажечь сигарету, как раздался голос:

— Ах! Нет! Только не в моей комнате.

Он выбросил сигарету в окно. Агата взяла пустую чашку, которую ей протянула г-жа Дюберне.

— Я скоро схожу за ней, — сказала она, — и приведу ее домой.

— Наверняка Салон тоже оказался в числе приглашенных. Эти Монжи теперь принимают у себя кого попало.

— Она обещала мне избегать его, — сказала Агата. — Она не будет с ним разговаривать.

— Но они будут смотреть друг на друга... Они

так смотрят друг на друга… Мне стыдно за нее. Как подумаю, что это моя дочь…

— Это, я должен сказать…

Арман не закончил фразу и снова облокотился, на подоконник. После некоторой паузы г-жа Дюберне проворчала:

— Просто не знаю, почему я должна выполнять предписания этого злосчастного докторишки. Когда к нему обращаешься за помощью, он начинает копаться в своей книге. Сущий осел, мне кажется.

— Но ведь ты же сама говоришь, что ощущаешь тяжесть, когда ходишь… Хотя, разумеется, — добавил г-н Дюберне, — разумеется, у этого парня нет того опыта, какой есть у доктора Салона.

Жена приподняла над подушками изможденное лицо:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что я должна была обратиться к этому интригану?

— А ты знаешь, что он так же не хочет этого брака, как и ты?

— Вот те на! И кто же сообщил тебе такую чепуху?

Он хотел было ответить: «Да г-жа Агата…» Но учительница приложила палец ко рту и пристально посмотрела на него. Он выкрутился:

— Ходят такие слухи в Дорте. С тех пор, как он купил Балюз, людям интересно знать, что доктор собирается с ним делать… Похоже, многие бы удивились, если бы узнали, о ком идет речь… Известные коммерсанты Бордо начинают поглядывать на наши земли.

— На здоровье!

Юлия Дюберне добавила возмущенно:

— Бордолезцам придется довольствоваться тем, что нам не нужно ни за какие деньги. К тому же, когда они наведут справки… Мне наплевать на то, что говорят в Дорте, — добавила она со злостью.

— Что вы хотите, — вставила Агата, — эти люди никогда не поймут, что можно не придавать значения богатству… Вы же совсем другой человек, вы не такая, как они. Сколько я ни повторяю им, что у Мари будет денег больше, чем нужно, они твердят свое. Вы ведь знаете их песенку: «Чем больше есть, тем больше хочется». Они ничего не видят дальше своего носа.

— В этом есть свой резон, — заметил вполголоса Арман Дюберне. — Кажется, — добавил он, — те болваны, которые продали Балюз, оставили доктору библиотеку. Супрефект утверждает, что там есть редчайшие книги…

— Да, я знаю, — сказала г-жа Агата. — В коллеже

говорят, там, кажется, есть даже первое издание «Писем к провинциалу»[9] с собственноручным примечанием великого Арно[10]...

— Думаю, это невозможно, поскольку...

Г-жа Дюберне прервала его:

— Агата, я бы предпочла, чтобы вы не дожидались пяти часов, а пошли к Монжи сейчас же.

— Я составлю вам компанию, — сказал Арман. — И зайду в клуб.

— Нет, останься. Не оставишь же ты меня одну! Когда я звоню, в бельевой меня не слышат. А кроме того, там ты еще добавишь к выпитому...

И она снисходительно добавила:

— Ты можешь курить, раз уж окно открыто...

Он опустился на пуф всей своей внушительной массой и вынул из кармана пачку крепкого «Капрала».

Г-жа Агата с первого взгляда поняла, что Мари сдержала данное ей слово. Она стояла очень далеко от Жиля, в группе девушек, наблюдавших

---

[9] Примечания: 9

«Письма к провинциалу» — сборник из восемнадцати писем Блеза Паскаля полемического характера, опубликованных в 1656–1657 годах.

[10] Примечания: 10

Антуан Арно (1612–1694) — французский теолог, философ, логик и математик. Изучал сперва юридические науки, а позднее занимался богословием.

за игрой в теннис. Безусловно, она была среди них самой тоненькой — такая хрупкая и в то же время чувственная. «Олицетворение чувственной хрупкости», — пришло в голову Агате. Среди крупноватых, похожих на молодых кобылиц девушек, потряхивающих гривами в розовых или бледно-голубых бантах. Мари выделялась и своими узкими бедрами, и высокой грудью, совсем маленькой, но уже притягивавшей взгляды. А он, он стоял на другом конце сада возле буфета, стоял, скрестив руки и бросая на гостей сердитые взгляды, потому что был смущен. На его голове, хоть он и смазал волосы брильянтином, торчал петушиный гребешок. Накрахмаленный воротник сильно сдавливал шею. Он тоже очень отличался от остальных молодых людей, из которых кое-кто уже успел располнеть, обрести бычью шею и тяжелые кулаки… Она понимала, почему Николя сказал ей однажды о Жиле, что тот ангелоподобен, похож на «темного ангела». Он больше не раздражал ее. Она больше не ревновала. Она перебросилась несколькими словами с г-жой Монжи и дамами, сидевшими вокруг нее; ее не приглашали сесть: несмотря на свою родовитость, она все-таки была учительницей. Когда она отошла, кто-то сказал:

— Я не знаю, что случилось с госпожой Агатой, но мне кажется, в ней появилось какое-то кокетство.

— Да, мадам теперь моет шею.

— Может, тут кроется какая-то тайна?

Все засмеялись. Г-жа Агата прошла, лавируя между группами гостей, и, сделав небольшой крюк, приблизилась к буфету. Жиль поздоровался с ней. Она коротко ответила и, прежде чем повернуться к нему спиной, успела шепнуть: «Я буду сегодня вечером в девять часов на Кастильонской дороге. Предупредите Николя. Мари будет ждать вас на террасе». Понял ли он? Она не могла оставаться больше ни секунды, не рискуя вызвать подозрения. Не исключено, что и так она дала повод для кривотолков. Подойдя к Мари, она сказала: «Пойдемте». А когда девушка стала просить ее: «Еще немножко...» — г-жа Агата ответила тихо:

— Сегодня вечером вы увидите его.

— Ах! — вздохнула Мари.

Она побледнела и сжала руку учительницы, которая повторяла ей: «Глупышка, маленькая дурочка, сумасшедшая».

— Я обожаю вас, — сказала Мари.

— Не поворачивайте голову в его сторону. Да-

вайте уйдем по-английски.

— Она уводит ее силой, эта ведьма, — сказала г-жа Монжи.

XI

Было странно, что ущербная луна давала так много света. Чтобы ее никто не заметил, Агата шла между грудами булыжников и придорожной канавой. Она беспокоилась, ведь Николя должен был ждать ее на выходе из города. Может, Жиль не понял или неправильно передал ее слова? Она решила дойти до моста через Лейро. До ее ноздрей уже доносился болотный запах, и слышалось кваканье лягушек. Почти над головой заухала сова. Вдруг она увидела его. Николя сидел на парапете, в тени. Он поднялся. Агата приблизилась к нему. Николя сказал:

— Присядьте здесь. С дороги нас не видно…

Она ждала. Он не поцеловал ее. У него даже мысли такой не было. Он спросил:

— Они встретились? Как вы думаете, нет риска, что их застанут?

— Какой тут может быть риск? — спросила она сухо. — Госпожа Дюберне больна, а к тому же, если бы их и застали… Это было бы самое простое решение. Лучшего способа заставить родителей смириться не существует…

Поскольку Николя был не более разговорчив,

чем каменный парапет или стоявшая невдалеке огромная сосна, корни которой купались в воде, она добавила:

— Конечно, место я потеряла бы. Но ведь когда-то это должно случиться, когда-то я должна буду уйти от Дюберне, чтобы пойти за вами…

От этих слов он мгновенно проснулся.

— Нет, Агата, ну что вы? Потерять место! Ничего же еще не решено: я ведь не разговаривал с матерью.

Она спросила:

— А чего вы ждете?

Он забормотал, что готовит почву, что нужно действовать осторожно. Она прервала его:

— Хорошо! Я сама займусь вашей матерью. Я знаю способ убедить ее. Это не займет много времени.

Как она была уверена в себе! Как категорична! Это встревожило его: он никогда не сомневался, что убедить мать удастся не скоро. Возможно, даже придется ждать до самой ее смерти. Он рассчитывал на это. Он был спокоен, потому что мать обязательно должна была сказать «нет», должна была заупрямиться. Так что эта самоуверенная девица явно преувеличивает свои силы… Он проговорил:

— Вы не знаете мою мать…

— А вы не знаете меня, — возразила она. — Если я чего-то хочу…

Он спросил с притворным безразличием:

— Что вы собираетесь ей сказать?

— Это моя тайна, — сказала она. — Вот увидите, через неделю ваша мать сама будет торопить вас назначить дату.

Он вздрогнул: нет, наверное, это пустое хвастовство, если здесь не кроется какая-то хитрость. Помолчав, он сказал:

— Назначить дату? Но ведь нужно подождать, пока я сам смогу зарабатывать, чтобы содержать нашу семью…

Он сказал «нашу семью». В конце концов, это было уже кое-что!

— Но я тоже буду работать, я ничего не буду вам стоить. Я никогда никого не вводила в расход. Я уже занимаюсь поиском места в Париже. И у меня уже есть предложения. И к тому же, знаете, — с жаром добавила она, — нам хватит одной спальни! Питаться можно будет один раз в день, в бистро, этого вполне достаточно. Я в этом смысле не привередливая! Сама варю лапшу на спиртовке. Одну зиму я, например, прожила на одной такой подогретой лапше.

Этот разговор ранил Николя до глубины души, ибо представился ему посягательством на лелеемый им культ простых и священных жизненных ритуалов. Его не страшила бедность интерьера, но он страстно любил домашний уют. Все вокруг него располагалось в определенном порядке, купаясь во вневременном свете. Он придавал почти религиозное значение ароматному супу, фруктам на фаянсовой тарелке, долгим молчаливым трапезам. А тут спиртовка, блюдо с подогретой лапшой! Галигай умудрилась сразу же допустить крупную оплошность, предложив Николя именно то, что внушало ему наибольший ужас.

Она замолчала, смущенная его упорным молчанием, за которым он укрылся, как за крепостной стеной. Она наугад протянула руку в его сторону и дотронулась до его руки, и он не отдернул ее. Она сжала его руку, та была безжизненной, как зверек, притворившийся мертвым. Николя ощущал рядом с собой женщину, которая слегка прижалась к нему. Он не отстранился. Она опустила голову на его плечо. Сняла берет. В этот момент он чувствовал себя стволом дерева. Она сказала: «Ах! Я хотела бы послушать, как бьется ваше сердце!» Неужели она осмелится? Да, она осмелилась: ее пальцы скользнули по рубашке, и

вдруг он ощутил прикосновение ее пальцев к своей голой груди. Она сказала: «Я не слышу, бьется ли оно…» А как ему биться, этому оцепеневшему сердцу? Ее дыхание участилось. Наконец, как он и ожидал, она сказала:

— Поцелуйте меня. Вы меня еще не поцеловали.

И потянулась к нему губами.

— Нет, — сказал он, — я хочу поцеловать ваши глаза… Я люблю ваши глаза.

Он словно хотел дать ей понять: я мог бы прикоснуться губами без отвращения только к вашим глазам… Однако даже эти невзначай оброненные слова доставили ей какую-то радость.

В это же самое время поздняя ущербная луна безразлично внимала другим вздохам, раздававшимся в саду Дюберне, недалеко от террасы, столь легким, что они смешивались с шорохом листьев. «Нет, — говорила Мари, — вы разорвете мою блузку. Сюда… Вот так!» А затем: «Подождите, дайте перевести дыхание…» Она не знала, что поцелуй может длиться так долго. Обретя способность дышать и говорить, она предложила:

— Нам будет лучше, если мы приляжем.

— Нет, — запротестовал он, — нет, нет.

Это чудо заставило луну задержаться над боль-

шим тюльпанным деревом. Именно она, юная девушка, почти ребенок, предлагала ему всю себя, а он, хищник, даже не пытался перейти границу дозволенных ласк, не стремился насладиться всеми прелестями этого никем не изведанного тела, а лишь без удержу целовал приоткрытые губы, накрывая огромной ладонью трепещущую грудь.

— Вы просто с ума сошли! Вы знаете, который час?

Луна исчезла. Над террасой вырисовывалась тень Галигай. Их губы разомкнулись. Но они не двигались.

— Завтра, — сказал он пылко, — обязательно, милая! Неважно где, но обязательно! Я не смогу больше прожить ни дня, не обнимая вас.

— Да, завтра, — сказала она, — завтра!

Завтра и каждый следующий день. Он исчез между ивами, которые окаймляли дорогу, идущую вдоль реки. По крутой тропинке она поднялась к террасе. Г-жа Агата набросила ей на плечи шаль.

— Лишь бы мама заснула!

— Не бойтесь: она приняла веронал.

Мари вошла в комнату учительницы, освещен-

ную керосиновой лампой. Агата внимательно посмотрела на нее, увидела помятую блузку, припухшие губы и отсутствующий взгляд из-под растрепанных локонов. Должно быть, желая упредить выговор или испытывая потребность в добром слове и ласке, Мари обняла учительницу, но тут же отпрянула.

— Да вы плачете, госпожа Агата, вы плачете? Но вы ведь встречались с ним сегодня? Это вы от счастья плачете?

Та не ответила. Не потому, что завидовала. Желание больше не мучило ее. Осталась только горькая нежность без всякой надежды. Она не вытирала слез. Она позволила себе выплакаться в присутствии другого человека.

XII

На следующий вечер, когда сквозь ветви тюльпанного дерева проглянула луна, ни единый человеческий вздох не смешивался больше с шелестом листьев. Мари и Жиль не вернулись на то место, где еще не распрямилась примятая ими трава. Встрече помешало событие, о котором г-жа Агата рассказала двум друзьям, сидя в комнате Николя. На рассвете Юлия Дюберне ощутила такую острую боль, что пришлось вызвать молодого врача. Тот сильно разволновался и обратился за помощью к своему коллеге Салону. При этом никому в голову не пришло спрашивать мнение больной. Пожилой доктор срочно отправил ее в Бордо, сказав, что дальнейшее промедление недопустимо. Мари и Арман Дюберне поехали вместе с ней.

— Несмотря на уговоры Армана, Юлия потребовала, чтобы я осталась дня на два, чтобы приглядеть за домом. Распоряжения, которые она мне дала, говорят о том, что она не слишком-то надеется вернуться. Может, предчувствует близкий конец. Трудно себе представить более хладнокровное отношение к собственной смерти.

Галигай удобно устроилась в кресле Жиля. «Надо же, дрянь какая, расселась в моем кресле! Как у себя дома, словно все, что принадлежит Николя, со всеми его секретами, уже принадлежит и ей тоже. А у Николя такой вид, будто он от этого вовсе и не страдает!»

— А как вы думаете, она верующая? — спросил он.

— Юлия Дюберне? О! С богом у нее отношения в полном порядке! Она все предусмотрела, даже кое-какие тайные добрые дела, весьма похвальные, о которых знают только они двое: она и Он. Так что в отношении бога она вполне спокойна. Ну а если бы вдруг оказалось, что его нет, то это ее тоже не очень удивило бы. На свете не существует более рассудочных людей, чем эти старые католички.

— Тем не менее Юлия Дюберне будет жить вечно, — вздохнул Николя. — Это так странно, если вдуматься.

— Мой отец, — сказал Жиль, — уверен, что если его диагноз подтвердится, то спасти ее будет уже невозможно, хоть и не исключено, что сколько-то она еще проживет. Но при любом развитии событий все оборачивается в нашу пользу, — добавил он, не скрывая радости. — Теперь все пойдет как

по маслу.

Галигай очень хорошо поняла, что это означало: «Мы больше не нуждаемся в вас». И она резко произнесла:

— Конечно! Все пойдет как по маслу, поскольку вам останется убедить только меня.

Жиль пролепетал:

— Спрашивается, на каком основании…

Она встала, взяла со стола сумочку.

— Про основания вам расскажет ваш собственный горький опыт.

Николя жестом остановил ее.

— Я вас не понимаю, — сказал он. — Мы ведь, как мне кажется, обо всем договорились.

Галигай посмотрела ему в глаза, и он выдержал этот взгляд. Она спросила: «Что бы ни случилось?» Он наклонил голову. Тогда она притянула его к себе и неловко поцеловала. Жиль отошел к окну. Она вынула из сумки носовой платок и вытерла слезы.

— Дорогой Николя… я никогда не сомневалась в вас. Ваша мать ждет меня, — добавила она. — Я обещала зайти к ней: она хочет знать все подробности о Дюберне… Но главное — я собираюсь поговорить о нас с вами.

— Нет, нет! Пока не надо!

Николя не смог сдержать этот крик. Она настаивала: зачем откладывать? Времени у них оставалось в обрез: она должна была уехать в Бордо, к семье Дюберне. Арман заставил ее поклясться, что она будет неотлучно находиться при больной. Он не смог бы обойтись без нее.

— Что вы собираетесь сказать моей матери?

Николя прятал взгляд.

— Я предпочитаю, чтобы это было для вас сюрпризом: с сегодняшнего вечера госпожа Плассак будет делать вам намеки… вот увидите!

Она сморщила нос, верхняя губа приподнялась над клыками: она улыбалась.

— Не собираетесь ли вы сказать ей, что мы помолвлены?

Слово было произнесено, весомое и определенное ее лицо приняло шаловливое выражение.

— А! Пусть это будет моим секретом!

Ее переполняло торжество. Она была уверена в своих силах.

— Я иду к вашей матери. До встречи вечером, в девять часов на Кастильонской дороге.

Как только за ней закрылась дверь, Жиль, больше не сдерживаясь, разразился бранью: «Стерва! Дрянь!» Николя закрыл его рот рукой.

— Ты плохо ее знаешь, — сказал он. И, понизив

голос, добавил: — А у меня целая жизнь впереди, чтобы ее узнавать…

— Ты боишься! Признайся, она внушает тебе страх.

Николя этого не отрицал. Но он уступил, когда дал ей свое слово, не из страха. Он посмотрел на Жиля, тот отвел глаза и, отойдя к окну, снова облокотился на подоконник. В этом году ласточки улетали рано. Они уже собирались в стаи, кричали, ссорились вокруг липы из-за какой-то невидимой добычи. Он свою добычу, Мари, еще не заполучил. Галигай оставалась опасной. Ее угрозами нельзя было пренебречь. С его стороны было бы глупо бросать ей вызов. Нет, не стоит рисковать! Пока он не станет мешать этому дуралею лезть в приготовленную для него ловушку. Потом, в последнюю секунду, наверняка появится возможность освободить бедную жертву. Он отошел от окна и сел в кресло. Николя уставился в книгу, не читая ее. Он слушал смех, доносившийся снизу, смех Галигай, прерываемый низким, почти мужским голосом — его мать, старея, стала говорить басом.

Не за быстрым полетом ласточек следил его взгляд, а за облачком из маленьких мушек, танцевавшим в луче света. Разве не в той же самой

бессмысленной пляске кружились испокон веков все они: Дюберне, Камбланы, Плассаки, Салоны, Монжи? Он чувствовал, как из глубины его души поднимается неизбывная тоска, от которой он, будь он сейчас один, бросился бы на колени. Но в проеме окна маячила эфемерная фигура, которая заслоняла ему бога. Он позвал: «Жиль!» Тот обернулся, лицо его было жестким.

— Дай мне сигарету, — попросил Николя. — Ничего не поделаешь. Придется снова начать курить.

— Я тебе оставляю пачку, — сказал Жиль.

Они впервые расстались, не договорившись о встрече. Николя не решался спуститься, опасаясь столкнуться с матерью и Галигай, чьи голоса поочередно доносились до него. Он узнавал любезные, почти раболепные нотки в голосе г-жи Плассак, слышал особый смех Галигай, не тот, что слышался, когда они были вдвоем, а ее официальный смех, которым она смеялась, когда приходила куда-либо с визитом. Как долго длилась их беседа! Какое согласие вдруг воцарилось между этими двумя противницами! Он долго разглядывал в зеркале мертвенно-бледное лицо человека, которому предстояло расплачиваться за это согласие. Что он собой представлял? Чтобы

не знать этого, чтобы отгородиться глухой стеной от ответа на этот вопрос, он старался жить в самом глубоком сне, создавая вокруг себя атмосферу покоя и делая завесу, отделявшую его от жизни, как можно более плотной. Он зарылся глубоко в землю, но все было тщетно, и он уже слышал приближающиеся удары кирки. В дверь постучали, он вздрогнул.

— Я не вхожу! — крикнула Галигай. — Я только хочу вам сказать…

— Да вы входите! Входите!

Он открыл дверь. Она покачала головой:

— Нет! Нет! Я только хочу предупредить вас, чтобы вечером вы не ждали меня на Кастильонской дороге: я приду сюда. Нам будет лучше в саду. Ваша мать согласна, — добавила она.

Она уже спускалась по лестнице. Скорее всего, ей не хотелось отвечать на его расспросы, а может, она опасалась прочесть у него на лице то, чего он в глубине души страшился.

XIII

Он сел за стол напротив матери.

— Пора зажечь висячую лампу, — вздохнула она.

Он ни о чем не расспрашивал: она бы все равно уклонилась от ответа. Он лишь следил за потоком ее речи, чтобы вовремя заметить и запомнить первые заслуживающие внимания слова.

— Бедная г-жа Дюберне! Говорят, она была чересчур гордой. Но, в конце концов, у нее было на это право: такая старинная семья! А все их владения! Будь мы на ее месте, мы, может, еще больше загордились бы. Ах! Ее смерть принесет не одни огорчения. Госпожа Агата не говорила тебе? Нет, конечно, госпожа Дюберне еще жива. Хоронить людей заранее — это никому не приносит счастья. Может, господь заберет меня раньше ее. Но доктор Салон уверен, что болезнь зашла слишком далеко. Госпожа Агата так переживает, и награда будет ей по заслугам…

Николя спросил, вписала ли госпожа Дюберне в свое завещание Агату.

— Да нет же! — сказала старуха. — Не об этом речь…

— Я не понимаю тебя, мама. Я не знаю, о чем ты говоришь.

— Все очень просто: даже если госпожа Дюберне и выкарабкается, они решили, ее муж и она, удовлетворить иски кредиторов папаши Камблана. Все залоги на Бельмонт будут выкуплены при условии, что папаша Камблан передаст собственность дочери и откажется ото всех своих прав. Каково? Но не волнуйся: этот великолепный подарок Агата получит от госпожи Дюберне, живой или мертвой, а не от ее мужа…

— А какая мне разница? — спросил Николя устало.

— Как же! Ни у кого не будет повода сплетничать. Ты же должен быть заинтересован, чтобы никто не смел болтать: люди ведь такие злые! К тому же в Дорте все знают, что большая часть состояния пришла со стороны Юлии, со стороны Донзаков… Ты слушаешь меня, великий мечтатель?

Агата, оказывается, вовсе не была такой бедной, какой он ее считал. Она утаила это от него. Она держала в запасе этот аргумент, чтобы обольстить и обезоружить старую женщину. А мать все говорила, говорила:

— У господина Камблана в прошлом году был

небольшой приступ. В Бельмонте сейчас все пущено на самотек. Ему нужна помощь. Винный склад у них на два урожая — как раз то, что нужно, чтобы наладить дела на винограднике. Что касается остального, то можно жить на доходы от собственности, еще бы! Такой участок — около ста гектаров! И вот тут госпожа подумала обо мне… Ты спросишь меня, в каком качестве я поехала бы туда жить. Это во многом зависит от тебя… Что же ты молчишь?

Она встала и подошла обнять его.

— Ну каков хитрец, а! — воскликнула она с видом заговорщицы — Каков хитрец! Вот как раз тот случай, когда можно сказать: «Дуракам везет!»

В соборе звонили к вечерней молитве, а может, это звонили за спасение душ; да, конечно, календарь показывал первую в сентябре пятницу. Оно готовилось ко сну, это маленькое полумертвое селение, когда-то обладавшее всеми приметами живого города, здесь в течение многих веков находилась резиденция епископа, а во времена гиеньских войн здесь проходили сражения, которые, однако, в истории остались безымянными. Мать сказала:

— Иди сюда, плутишка, идем со мной… Я хочу тебе что-то дать.

Он последовал за ней на кухню. Она извлекла связку ключей из кармана фартука и открыла бельевой шкаф.

— Поднеси-ка лампу поближе, — сказала она. — Ах! Я слишком маленькая. Дай сюда табуретку… Какая же я стала старая!

Она пошарила в шкафу, вытащила из-под стопки простыней картонную коробочку.

— Вот, посмотри.

Она часто показывала ему это кольцо: гранат в обрамлении нескольких маленьких бриллиантов. Во всяком случае, она считала, что это бриллианты. Это кольцо досталось ей в наследство от сестры ее отца, которая была кухаркой в семье Арбиба. А вот почему старик Арбиба завещал той это кольцо?

— Об этом, мой постреленок, история умалчивает.

Он стоял посреди кухни, где все сияло чистотой, каждый предмет стоял на своем месте, и лампа, которую он держал в руке, освещала кастрюли, отражаясь в их до блеска начищенных медных боках. Он спросил:

— И что мне делать с этим кольцом?

— А! Хитрец! — воскликнула она. — Ты все-таки не такой простак, каким кажешься. Бьюсь об

заклад, что сегодня вечером, в саду, ты наденешь его ей на палец!.. Смотри не потеряй. Ты не говоришь мне спасибо?

Нет, он не сказал ей спасибо, но тем не менее взял кольцо и вышел, зажав его в кулаке.

XIV

— Почему вы сказали мне, что вы бедны?

— Я действительно бедна, Николя. В Париже мы не будем получать никаких доходов от Бельмонта. Все пожирает виноградник. Здесь-то мы смогли бы жить за счет собственности, но в Париже…

Они уже час сидели под липой, и Галигай все пыталась убедить Николя, что не собиралась его обманывать. Держа руку в кармане пиджака, он непрерывно теребил кольцо. Она наверняка знала, что это кольцо при нем.

— Конечно, — говорила она, — ваша мать будет посылать нам продукты из Бельмонта; когда там заколют, например, свинью, нам что-то перепадет от этого, а время от времени курицу какую-нибудь пришлют…

— Уж я скорее предпочту лапшу, разогретую на спиртовке.

— И я тоже, милый, — произнесла она совсем тихо, поскольку знала, что его очень раздражает, когда она называет его «милым». Она не поняла горькой иронии его ответа.

А он смотрел на тонувший в темноте жалкий

материнский дворик — единственный уголок на свете, который ему никогда не удавалось облагородить в своих стихах. Он ненавидел пыльную, изрытую курами лужайку и эти клетки с кроликами, безнадежно портившие даже июньские, благоухающие цветением липы ночи. От его внимания не ускользнуло, что Галигай встревожена. Нет-нет! Он не даст ей поводов для тревоги! Он удерживал на устах слова, которые наполнили бы ее душу счастьем или низвергли бы ее в пропасть отчаяния. Вернуть жизнь человеку, находящемуся из-за тебя на грани смерти… Такое искушение одолевало в этот вечер Николя, и оно было гораздо сильнее, чем желание угодить Жилю. Он хотел бы обладать магической силой, силой, присущей людям, которых любят. Обладай он этой силой, кровь опять прилила бы к этому некрасивому лицу, не различимому в темноте; он не касался ее лица, но знал, что оно было мокрым от слез. Он не выносил, когда рядом с ним кто-нибудь плакал.

— Не плачьте, — сказал он. — Дайте сюда вашу руку.

Она почувствовала, как он надел на ее безымянный палец кольцо, горячее оттого, что он так долго держал его в руке. Волна счастья и желания увлекала ее к сидевшему рядом мужчине. Но она

смутно чувствовала, что он, скорее всего, оттолкнет ее, и поэтому усилием воли подавила в себе эту неистовую страсть. Она встала и поцеловала его в лоб. Он сказал:

— Я так мало могу вам дать. И заранее прошу простить меня. Не ждите многого.

— Я жду только счастья жить рядом с вами, в вашей тени. К тому же я старше вас. Если хотите, я буду вашей старшей сестрой.

— Вам понадобится много терпения, — настаивал он. — Я очень медленно привыкаю к людям. Кое к кому мне так и не удается привыкнуть. Есть во мне… как бы вам сказать? Мне приходят на ум слова воскресшего Господа: «Не прикасайся ко мне…» Вы понимаете?

Да, она понимала. Она сказала покорно:

— Я буду вашей сестрой столько, сколько вы пожелаете. Я привыкла. Большинство женщин получает все сразу, и от них требуется только быть женщинами, такими, какие они есть. А я? Я прекрасно понимаю, что только благодаря собственной настойчивости, да и то если повезет, я войду в вашу жизнь. Но мне все-таки нужно знать, что и я однажды узнаю счастье.

— Счастье! — сказал он хмуро. — Счастье… А у вас большие запросы! Вы только подумайте:

счастье!

Она прижалась лбом к его плечу, стараясь не зарыдать. Он прикоснулся губами на этот раз не к ее глазам, а к жиденьким волосам и слегка прижал ее к себе.

— Вы очень добрый, — вздохнула она.

Да, он был добрым. К несчастью для нее, он был добрым.

XV

На следующий день она уехала к Юлии Дюберне. Жиль тоже уехал, чтобы открыть в Балюзе охотничий сезон, как он сказал Николя. Но он лгал, впрочем, понимая, что Николя обо всем догадался. Догадался, что, скорее всего, он отправится в Бордо и поселится там в какой-нибудь гостинице: ведь не целыми днями Мари будет пленницей больничной палаты. Первые же письма Галигай подтвердили его догадку: девушка часто отлучалась.

Юлия Дюберне была обречена. Не представлялось возможным даже отвезти ее домой. Но агония могла затянуться. И каждое послание Агаты, вынужденной присутствовать при этом медленном умирании, было воплем нетерпения и отчаяния влюбленной женщины. Это отчаяние порождало у Николя надежду, что она не сможет вернуться в Дорт до конца каникул. Никто в мире не благословлял более, чем он, небольшую отсрочку, которую смерть давала Юлии Дюберне: благодаря этой долгой агонии увеличивались шансы вернуться в Париж, не встретившись с Галигай. У него не было отчетливого представле-

ния о том, как все будет после помолвки, но ему не хотелось ни о чем думать. Сейчас ему вполне хватало этих ежедневных писем, которые он не стал бы даже читать, если бы не жаждал увидеть слова: «Все по-прежнему». Он переводил дух. Смотрел на календарь: двадцать дней, восемнадцать дней… Скоро нужно будет возвращаться в Париж.

Но одновременно он замечал, он отчетливо видел, как прорастает в душе его матери семя, зароненное туда Галигай. Бельмонт! Она будет хозяйкой Бельмонта! Она будет распоряжаться там животными и людьми. Нет, она не станет требовать, чтобы ей накрывали на стол в столовой. Она не станет изображать из себя даму. Она не дама. Но за всем, что происходит в доме, лучше следить из кухни, чем из гостиной. Она выяснила: старый Камблан после своего апоплексического удара уже больше не выходил из дома. Он теперь полностью зависел от дочери. «А его дочь будет моей невесткой, и ее счастье будет зависеть от нас. И из-за тебя ей придется хорошо со мной обращаться. Но это при условии, если мы с тобой, ты и я, останемся единым целым. Ты слышишь, пострелёнок, нам только не надо мешать друг другу. Ах! Можно сказать, что нам наконец

повезло. А все-таки грустно, что удача приходит, когда молодость уже прошла; но я чувствую себя хорошо, я еще поживу. Там я отдохну. Вот теперь и за мной кто-то поухаживает!»

Подобные разговоры старой женщины еще сильнее, чем письма Галигай, вызывали у Николя желание бежать куда глаза глядят. Он думал о Париже, как преступник, который надеется затеряться там в толпе. Неосторожная Галигай, берясь за перо, забывала всякую сдержанность. Она давала волю своим чувствам; ей и в голову не приходило, что самоконтроль необходим, даже когда сидишь наедине с чистым листом бумаги. А она, умирая от голода и жажды, садилась не за обеденный стол, а за письменный. Он отвечал очень коротко, один раз в два или три дня, но она не испытывала разочарования, поскольку не была избалована знаками внимания с его стороны и никогда не видела с его стороны ничего похожего на нежность. Он рассчитывал, что, вернувшись в Париж, будет одаривать ее этой манной небесной раз в неделю, а ей этого будет хватать. Он, разумеется, был твердо уверен, что сдержит свое обещание. Конечно, сдержит! Он только просил ее немного подождать, дать ему время привыкнуть к ситуации. К тому же он надеялся, что

Галигай немного успокоится и, быть может, даже предпочтет товарищеские отношения, нечто вроде студенческой дружбы, спокойный союз. И то, что он, за неимением подходящего слова, называл «процедурой», должно было произойти без пыла, без страсти. Он смотрел на эту «процедуру» абстрактно, как на переливание крови.

Еще пятнадцать дней, десять дней… и он был бы свободен. И тут пришло письмо, всего три наспех нацарапанные строчки: «*Наконец все закончилось. Я должна дождаться положения в гроб. Послезавтра я буду в ваших объятиях*». Он сидел на кухне перед чашкой кофе. Мать вырвала письмо у него из рук: «Ну вот, умерла. Конечно, рано или поздно это должно было случиться, но так спокойнее. Так для всех будет лучше». А что, он собирается в Париж? Это глупо! Ему просто нужно, не откладывая, попросить отпуск по случаю женитьбы важно не затягивать с этим делом.

Он ответил ровным голосом, что посмотрит, что ему нужно подумать. Он встал и вышел в пронизываемый солнечными лучами туман. Он шел по широкой Кастильонской дороге, а чувствовал себя запутавшимся в силках. Попытки вырваться на волю казались ему бесполезными.

Запах прелой древесины, сожженных листьев и виноградного сусла, щебетание перелетных певчих дроздов, которых не видно, но слышно, — все эти запахи и звуки уходящего сентября, нежно любимые с раннего детства, он воспринимал сейчас словно через тюремную решетку. Если бы смерть была смертью! Если бы она действительно была тем сном, который обещает Церковь в своих поминальных молитвах: «Requiescay in pace — да упокоится он в мире. Господи, даруй усопшим вечный покой...» Но он был не совсем уверен, что в этой молитве речь идет лишь о покое. К тому же есть еще и другая молитва: «Et lux perpetua luceat ei»[11]. То есть Вечный Свет: свет и огонь. Он дошел до каштановой рощи, где они с Жилем когда-то собирали белые грибы. Непроизвольно он и сейчас осторожным движением ноги отодвинул сухие листья. Мысли его все время наталкивались на еще жившие в нем принципы христианской веры. Он не видел никакого выхода. Он чувствовал себя пленником, чувствовал, что его что-то держит, что-то не позволит ему просто уйти в небытие.

Ну что же! Он готов нести груз, который сам

---

[11] Примечания: 11
И вечный свет да светит ему *(лат).*

взвалил себе на плечи! «Горе вам, фарисеи, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них!» Какое продолжение нужно было бы придумать этому проклятию Господа! Горе нам, взваливающим на себя крест, который сокрушает нас, который нам не по силам, который не может быть нашим крестом. Сколько людей гибнет от нечеловеческой ответственности, которую они по неразумию своему взяли на себя! Как легко приносить себя в жертву на словах, как легко давать обещания! Иди же по жизни с этим ядром, прикованным к твоей ноге. Но даже ядро на ноге каторжника не так тяготит его. О Боже! Эта женщина получит права на его душу, на его тело, будет владеть им днем и ночью до самой смерти, и даже после смерти…

Какую волю она проявила, преодолевая все препятствия! Николя думал о своей матери, поначалу так враждебно к ней настроенной. О матери, которую Галигай покорила настолько, что он теперь и помыслить не мог о том, чтобы снова закрыть перед ней двери рая, куда она уже изготовилась проникнуть. Николя сжал кулаки. Зачем он это сделал? Кто подталкивал его? Жиль? Да, Жиль, Жиль — это живое сплетение из костей

и мускулов. Жиль с его агатовыми глазами на высеченном из кремня лице. Но ведь Жиль — для него святы лишь его собственные желания — получил бы все, к чему стремился, и без помощи Галигай… Так в чем же дело? А в том, что он, Николя, всегда нуждался в каком-нибудь идоле, ради которого ему нужно было приносить себя в жертву. Ну и поделом тебе, жертвуй собой до конца, как последний идиот!

Такова была его натура: богатая внутренняя жизнь и глубокое понимание происходящего ничуть не уменьшали его стремления к самопожертвованию. Все будет так, как хочет Галигай: он не станет расставаться с жизнью, пока не состоится бракосочетание, даже пока они не станут по-настоящему мужем и женой, а также пока мать не поселится окончательно и бесповоротно в Бельмонте. К тому же самоубийство без труда можно будет замаскировать под естественную смерть. Он мечтал о каком-нибудь несчастном случае, жертвой которого мог бы стать. Эта мысль успокоила его. Но этот вновь обретенный покой тревожила глухая обида на Жиля. Шагая по осенней дороге, которую они столько раз прошагали вместе в своих матерчатых туфлях, Николя вспоминал долгую историю их дружбы, в которой он

всегда оказывался в дураках. И поднимающийся над последними крышами умирающего города дым делал туман вокруг огромного собора еще более густым и непроницаемым.

XVI

Он вернулся домой по так называемому проспекту Крепостной Стены и, вдруг услышав обращенный к нему знакомый голос, поднял голову: из окна его собственной комнаты на него смотрел Жиль.

Его привезли из Бордо на автомобиле, и он попросил остановить машину у дома Николя — настолько ему не терпелось увидеть его и все рассказать… Да, конечно, он не поехал на охоту в Балюз. Эти две недели в Бордо были чудесными и одновременно ужасными. Мари задыхалась в больничной палате. Мать сама заставляла ее почаще уходить проветриться. Они встречались в Городском саду, на набережной, где угодно, но только не в его гостиничном номере возле вокзала Сен-Жан. Несколько дней они сопротивлялись искушению: они прекрасно понимали, что, едва они останутся одни… И все же это случилось. Он переживал не меньше, чем Мари. Расставаясь, они оба испытывали стыд. Эти потаенные наслаждения, эти объятия, в то время как в больничной палате мать Мари… Но что поделаешь! За все в ответе счастье, «потому что, должен я тебе

сказать, я впервые после акта не испытываю пресыщения, понимаешь? Я чувствую при каждой встрече такую же радость, как будто это в первый раз. Мари относится к этому очень просто: она и не представляла себе, что это могло быть не так… Но я, ты же меня знаешь! Какое открытие, какое чудо!»

Он еще ни разу не взглянул на Николя. Он привык говорить один и говорил только о себе. Молчание Николя было для него привычным и необходимым. Но, очевидно, на этот раз молчание было иным; он смутно почувствовал это и наконец взглянул на друга, который прилег на кровать, отвернувшись лицом к стене. Он взял его обеими руками за волосы, потянул, заставил поднять голову. И только тут все понял.

— Что с тобой? Уж не из-за Галигай ли? Из-за нее? Надеюсь, ты не считаешь, что обязан… Ну да! Я прекрасно понял: речь на самом деле шла о помолвке… Но в то же время… В то же время о помолвке без конкретного срока… Разве нет? Я по-другому и не думал. Неужели ты поверил, что я позволю съесть тебя заживо? Ведь даже если бы речь шла только о ней, и то… Над этим ты не задумывался? Ты думаешь только о себе. А она? Ты станешь просто поджаривать ее на медлен-

ном огне. Что ты говоришь? Она умрет, если ты ее бросишь? Перестань! Ей есть куда пойти. Ты можешь не беспокоиться на ее счет. А вот если ты женишься на ней, ты собьешь ее с настоящего пути, испортишь ей жизнь, ведь с папашей Дюберне… теперь, когда он вдовец… Не будь тебя, она, разумеется, сможет выйти за него… На что я намекаю? Послушай, дуралей, об этом все в Дорте болтают. Только ты ничего не знаешь. Заметь, я вовсе не говорю, что у них там что-то такое… ну в общем, что-то серьезное… но что-то есть, тут я готов поклясться: Мари замечала. Ты что, думаешь, он из чистой дружбы предпринял все эти меры, чтобы Бельмонт вернулся к ней? Вовсе нет, твоя мать тебя обманула: деньги принадлежали не Юлии Дюберне. Земли, да! Земли пришли от нее, от Донзаков, а вот капиталы принадлежали папаше Дюберне, который, прикрываясь своим положением банкира, двадцать пять лет занимался ростовщичеством, нещадно собирая дань со всех мелких коммерсантов Дорта. Так что Бельмонт — это его подарок, его личный подарок, понимаешь? Как бы свидетельство его признательности… Да и почему бы нет? Почему не предположить, что Галигай нравится ему. Все женщины имеют свой шанс в сельской местно-

сти… И потом, она дает ему советы по многим вопросам… Они беседуют. Он рассказывает, что вычитал в «Ревю де Монд»… Она позволяет ему пребывать в уверенности, что он сохранил рассудок. Так что у тебя есть хороший предлог, даже не предлог, а полновесная причина: ты был введен в заблуждение. Затронута твоя честь. Ты думаешь, уже поздно? Вовсе не поздно. Да и вообще, выбрось из головы, что когда-либо бывает слишком поздно! Слушай! Завтра вечером я на машине отца отвезу тебя в Лангон. Послезавтра утром ты будешь уже в Париже, как раз в тот самый час, когда Галигай, семья и покойница прибудут в Дорт. Из Парижа ты отправишь Галигай хорошо продуманное письмо. Я останусь на месте, чтобы смягчить удар. Твоя мать? Ах да! Мать… Слушай: придумай для нее какой-нибудь предлог; скажи, что тебе надо до женитьбы урегулировать некое дело. Ей ты тоже напишешь… Ах! Ну не будешь же ты жертвовать собой ради того, чтобы доставить удовольствие матери, которую к тому же граф де Камблан все равно через неделю выставил бы за дверь. Можешь мне поверить: мой отец всю жизнь лечил этого старого кабана. Клянусь тебе, он никогда не соглашался делить с кем-либо свое кабанье логово.

Теперь Николя повторял: «Ты считаешь? Ты думаешь?» Он все еще слабо протестовал. Жиль убеждал: «Ни о чем не беспокойся, положись на волю судьбы, развяжи себе руки». Да, развязать руки. Он дышал свободнее, и мир обретал свою прежнюю лучезарность. Солнце разрывало туман. Как мог Николя устоять против всех этих аргументов? Жиль убирал камень за камнем, которые давили ему на грудь.

Однако он еще пытался сопротивляться: у него была совесть. «А вот у меня нет совести», — повторял ему Жиль тем же тоном, каким он сказал Галигай: «У меня нет сердца».

Совесть Николя сопротивлялась до того часа, когда сирена лесопильного завода позвала жителей Дорта за стол, а ризничего — звонить к вечерней молитве. Все это утро г-жа Плассак нервничала, и даже старый попугай то поднимался, то спускался по своей лесенке в клетке. Поскольку г-жа Плассак носила войлочные тапочки, о ее приближении невозможно было догадаться, и ничто не мешало ей приложить к двери Николя свое менее глухое ухо и расслышать повторенное несколько раз имя Галигай. Она уже не сомневалась, что Жиль приехал, чтобы все расстроить. Но она не сердилась за это на него. Прошедшей но-

чью ей не давала уснуть навалившаяся тревога. Она зажгла свечу. То, что накануне так радовало, теперь стало мучить ее. Николя — в паутине у этой паучихи! И потом неизвестно: может, ей самой станет скучно в Бельмонте. Может, там, в Бельмонте, ей будет тоскливо. И куда в таком случае она денется? Сможет ли вернуться в свой дом? Этот дом в Дорте принадлежал раньше Плассаку, оставившему его в наследство Николя, как и рента, которую сын отдал матери. Он настолько простодушен, что даже забыл об этом. А как узнать, не имеет ли Галигай видов на дом? Ну нет! Бельмонт будет моим… Только действовать надо с оглядкой. И тогда Галигай будет у меня как шелковая, даже когда станет моей невесткой. Так что козни младшего Салона нужно расстроить. И мамаша Плассак решила вызвать г-жу Агату телеграммой. Она долго думала, как это сделать подешевле: «*Возвращайтесь. Срочно*». Дешевле никак невозможно. Что подумает девушка на почте? Но та была новенькой, и жители Дорта ее пока не интересовали.

Вечером Галигай уже стояла на пороге кухни, где г-жа Плассак жарила лук.

— Уже!

Агата держала в руке сумку из черной гладкой

кожи. Левая щека была измазана углем. Из-под мальчишеского берета торчали пряди волос. Она спросила: «Он наверху?» Да, конечно, он был там. Галигай облегченно вздохнула: ей было под силу все, она знала, что сможет заделать любую пробоину, закупорить любую течь. А тем временем мамаша Плассак по своему обыкновению что-то говорила, говорила, топя суть дела в словах. Так вот оно что! Он уезжает только завтра вечером. И у Агаты довольно времени, чтобы удержать его. Но если вдуматься, то о чем, собственно, беспокоиться?

— Он ведь только съездит и вернется.

— Он так вам сказал?

— Вроде бы да, и в то же время вроде бы нет. Как вы думаете, он женится, не повидав своего директора? Ему нужно попросить отпуск, взять документы… Мало ли что еще…

— Это он назвал вам все эти причины?

— Назвал, а о чем-то я и сама догадалась. Странная вы, госпожа Агата!

— Во всяком случае, я хочу знать, и я узнаю…

— Вы хотите! Хотите! Вы всегда считаете, госпожа Агата, что достаточно только захотеть.

Она принялась подметать кухню и говорила, не поднимая головы:

— Хотеть — это еще не все, нужно еще и суметь.

Галигай как-то слишком уж ласково спросила, что она хочет этим сказать…

— Да ничего, госпожа Агата. Не делайте такое лицо, ничего ведь еще не сломано, не разбито. Но я хорошо знаю своего Николя; разве не я его родила? Нет никого добрее его, но и нет более упрямого человека.

Галигай раздраженно ответила:

— Ну каков Николя, вы можете мне не рассказывать. Он сейчас один?

— Да, укладывает чемоданы. Решил заранее собраться. И я должна сказать, он забирает все, как будто и не думает возвращаться, — коварно добавила она.

Г-жа Агата была уже на лестнице. Мамаша Плассак перестала подметать и повернулась лицом к двери. Она тихо проворчала:

— Силой, милая моя, пить осла не заставишь, если он не хочет.

Она внимательно прислушалась к звукам наверху, в комнате Николя: вот подвинули стул, вот протащили по полу чемодан. Между фразами, которыми обменивались собеседники, возникали паузы. Г-жа Плассак слушала, склонив голову

набок, похожая на наседку.

XVII

— Я вернулась, чтобы организовать поминки, — сказала Галигай. — Будет много народу, со всей округи люди приедут. А вы не говорили мне, что едете в Париж.

Стоя перед открытым чемоданом, Николя испытывал стыд за свой страх и за то, что его, как ребенка, застали за неблаговидным поступком.

— У меня в Париже дело.

— Когда собираетесь вернуться?

Наверное, таким же тоном она задавала вопросы и Мари. Она была из тех учительниц, которые позволяют себе быть ироничными. Он ответил, опустив голову:

— Через неделю.

Галигай обвиняющим перстом показала на разложенные на кровати книги, белье, одежду.

— Я пока что свободен, как мне кажется, — произнес он.

— Ну, — продолжала она сухо, — признавайтесь!

Николя перевел дыхание: он снова в ловушке, но дверца слегка приоткрылась. Он поднял голову:

— А если и так! Да, я уезжаю.

— Что произошло в мое отсутствие? Что-то ведь произошло! Что?

Она слишком сильно приблизила к нему лицо, пристально глядя на него своими немного выпученными глазами. У нее не было ресниц. Он отвернулся.

— Вы только что с поезда, — сказал он. — Не хотите ли немного освежиться?

Озадаченная, она подошла к зеркалу, пожала плечами:

— О чем речь!

— Да, разумеется, речь идет о другом: эта дарственная от Дюберне… Вы знаете, что говорят в Дорте?

Она спокойно улыбнулась. Он запротестовал:

— О! Я не поверил в это ни на секунду, можете не сомневаться! Вы и Арман Дюберне… — он пожал плечами, — нет, это уж слишком, вы бы на такое не пошли! Я не настолько глуп.

— А! Значит, вот в чем дело!

Балда! Он собственными руками разрушал свою защиту. Напрасно он цеплялся за соломинку:

— Но люди ведь говорят. И как бы я выглядел? Это вопрос чести…

Каким жалким он выглядел в этот момент. Она

почувствовала себя увереннее. И все повторяла, радостно и тихо:

— Значит, вот в чем дело! Какой же вы глупенький, мой дорогой!

Она сделала неловкий жест, пытаясь его поцеловать. Он уклонился. Тогда снисходительно, почти шаловливо, она шлепнула его кончиками пальцев по лицу.

— Вы пасуете перед первым же препятствием, мой бедный малыш! К счастью, у меня хватит силы воли на двоих. Значит, вы полагаете, я не в состоянии пожертвовать ради вас Бельмонтом? Но я вас прощаю и не сержусь.

Ничто не могло заставить ее выпустить свою добычу. Он понял, что пропал. Она сморщила нос, оголив клыки; еще никогда она не держала улыбку на лице так долго. Жестом великодушия она протянула ему руки, которые он не подхватил, и они так и повисли в воздухе в напрасном ожидании объятия, немного отстраненные от тела, как у гипсовых статуй Пресвятой Девы.

— Конечно! Вы не поверили. Но вы отступили перед людской молвой… Нет! Нет! Позвольте мне договорить. Я хочу немедленно заверить вас: ничто не имеет для меня значения, для меня не существует на свете никого, кроме вас. Я отка-

жусь от всех щедрот семьи Дюберне, и больше не будем об этом говорить. Вот, все устранено, с этим покончено. Я разрушила это препятствие.

Верила ли она и в самом деле, что разрушила его? Разумеется! Она нисколько не сомневалась, что выиграла партию.

Он пробормотал:

— Вы сумасшедшая? Как я могу согласиться на такую жертву, я, человек, который ничего не может дать взамен? Вы слышите, Агата? Ровным счетом ничего.

Она притворилась, что думает, будто он говорил о деньгах, о земле:

— Но для меня это ничего не значит. Поймите же, наконец, что для меня в этом мире есть только вы и я.

Она сделала к нему шаг, по-прежнему улыбаясь и опять протягивая руки. Руки, которые были ему противнее, чем присоски пиявок или хоботки каких-нибудь кровососущих насекомых. О! Отрубить их единым взмахом, прежде чем они прикоснутся к нему!

— Я вам солгал, Агата. Я воспользовался этим предлогом, чтобы избежать того, что внушает мне ужас.

Это вырвалось у него помимо собственной

воли. Он вздохнул. Удар был нанесен. Руки ее упали. Она взяла свою маленькую черную гладкую сумочку, которую, войдя, положила на стул, поискала в ней носовой платок, вытерла лицо и приготовилась продолжить борьбу. Ей нужно было теперь свести препятствие к пустяку, боязни физиологического акта, которую испытывает множество подростков и которая распространяется у Николя на всех женщин, а не относится только к ней, Агате де Камблан. Она стала спокойно объяснять:

— Этот ужас, Николя, помните, тогда, в саду, в вечер нашей помолвки, вы ведь его от меня не утаили, вы даже процитировали слова Господа: «Не прикасайся ко мне». Я вам ответила, что все понимаю, и вы можете быть спокойны в этом отношении. Я ничего не жду и прошу лишь одного: жить в вашей тени и служить вам. А вы в ответ надели мне на палец обручальное кольцо.

Ее голос сделался покорным, настойчивым, убедительным. Она подняла руку, чтобы показать ему кольцо. Она верила, что сумеет убедить его, будто не возникло никакого нового обстоятельства, которое он мог бы использовать в качестве аргумента. Да ведь так, собственно, оно и было. Она уже торжествовала. Он не находил

что ей возразить. Она настаивала, смиренно и убедительно:

— Да, служить вам. Ничего больше, клянусь вам.

— Ничего больше?

Тут Николя, и улыбавшийся-то редко, вдруг разразился громким хохотом:

— Ничего больше? Но именно это я и имею в виду, когда говорю об ужасе.

Он добавил вполголоса:

— А вовсе не «ночное общение», невообразимое «ночное общение», о котором, честно говоря, я никогда не думал как о чем-то реально возможном между нами, будь то завтра или когда-либо в будущем, — с внезапной яростью в голосе подчеркнул он.

Гнев тихонь, каким он бывает страшным! Она никогда не видела его таким грубым. Он разом выпалил весь заряд долго копившейся ненависти.

— К тому же, даже не приближаясь к вам, не прикасаясь к вам, быть рядом с вами каждый день, каждую ночь, и так всю жизнь — о! Одно только это… Я предпочел бы умереть.

Она издала короткий стон, хотя, скорее всего, точный смысл сказанного так и не дошел до ее

сознания.

— Нет, — взмолилась она, — нет, нет, не говорите мне, что я потеряла вас!

Вне себя от ярости он закричал:

— Да не потеряли вы меня! Нельзя потерять то, чего не имеешь. Мы всегда были разделены расстояниями и пропастями.

Он наносил удары куда попало. Главное было не останавливаться.

— Ах! — умоляла она. — Оставьте мне хотя бы это: вспомните вечер на Кастильонской дороге, на мосту через Лейро.

Ну надо же, она опять за свое! Он настаивал:

— Так знайте же, никогда я не был так далек от вас, как в те минуты; то, что я испытывал тогда, служило мне мерилом нашей с вами бесконечной отчужденности.

Последняя реплика, казалось, доконала ее. Руки ее безвольно упали.

— Так зачем же вы тогда согласились? Зачем было обещать мне?..

Она не договорила фразу. Николя мог теперь нанести окончательный удар. Но в эту секунду у него появилось ощущение, что он совершает убийство: да, он сжимает руки на горле жертвы. И он их разжал.

— Агата, — воскликнул он, — это чудовищно!

Он с ужасом взирал на то, что он сделал с этой ставшей неузнаваемой женщиной.

— Слова исказили мои мысли. То, что я вам сказал, все это неправда.

Он обнял ее худенькие плечи и слегка прижал ее к себе. Она всхлипывала. Он продолжал:

— Поймите, я, хоть и неумело, сражаюсь за вас же.

Женщина, которая, казалось, вот-вот лишится чувств, вдруг яростно вырвалась из его объятий и закричала:

— Нет! Не собираетесь ли вы мне сказать, что все, что происходит сейчас в этой комнате, делается для моего блага?

Он обхватил ее голову обеими руками:

— Посмотрите на меня! — приказал он. — Я требую, чтобы вы посмотрели на меня Я принес бы вам одни несчастья. Мы бы только мучили друг друга. Разве я не прав?

Она простонала:

— Если вы правы, то почему вы заметили это только сегодня?

— Да, поздновато, но не слишком поздно. Слава богу, не слишком поздно, вы еще успеете начать новую жизнь.

Он снова взял ее за плечи и заглянул в глаза, но она отвернулась. К счастью, она не поняла, что он намекал на Армана Дюберне.

— Жизнь без вас? Жизнь без вас!

Теперь она горько плакала, и рыдания исказили ее лицо. Из жалости и стыда он не хотел видеть этой гримасы. Николя был даже тронут. Он взял ее за руку, усадил на край кровати, сел рядом и сказал ей почти на ухо:

— И тем не менее, Агата, у меня есть смягчающие обстоятельства. Я признаю себя виновным, но все-таки пытаюсь защититься. Попытайтесь меня понять: я оказался жертвой вашей неслыханной силы воли, слепого, почти животного упорства, которые вы направляете на преодоление препятствия. Вы разрушали мои слабые оборонительные сооружения, не замечая, что они опять вырастают позади вас. Разве я не прав?

— Да, — со смирением и горячностью в голосе сказала она, — я понимаю, я вижу свою ошибку.

Значит, он был готов возобновить слушание по этому делу. Значит, ничто еще не потеряно. Еще не поздно измениться, стать другой.

— Я исправлюсь, клянусь вам! Я стану совсем незаметной, вы меня больше не увидите, вы меня больше не услышите, и в то же время я буду с

вами.

О боже! Труп оживал. Он отошел от нее.

— Но с этим кончено, Агата, — крикнул он в отчаянии, — все кончено!

Он настаивал на этом, подчеркивал это:

— Что нужно сделать, что нужно сказать, чтобы вы поняли наконец, что с этим кончено? Я боролся слишком долго. И прошу вас простить меня. Да, вы должны простить меня за то, что я так долго сопротивлялся своему отвращению…

При этом слове она выпрямилась, поджала губы, сделала к нему шаг и, с ненавистью посмотрев на него, выдохнула ему в лицо:

— Я вам противна. А какая вообще женщина вам не противна?

Наконец-то! Она начала оскорблять его! Значит, поняла, что все потеряно. Он ответил спокойно:

— Если я таков, радуйтесь, что освободились от меня.

Он подошел к окну. Мать в саду делала вид, что штопает белье. Когда Галигай приблизилась к нему, он не повернул головы.

— Подлец, который воспользовался вами, не достигнет своей цели. Ваш Салон не получит Мари Дюберне.

— Вы полагаете? — миролюбиво спросил он.

Она повторила: «Вот увидите…» — села на стул, снова стала искать платок в своей гладкой сумочке. Он ждал, это был конец.

Она добавила:

— Успокойтесь: я сейчас уйду.

Николя вновь вернулся к окну. Матери в саду уже не было. Он стоял и смотрел на липу, с твердым намерением не оборачиваться, пока Агата не выйдет из комнаты. А она внимательно изучала его тяжелый профиль, его тело, которое обещало стать грузным, когда ему перевалит за тридцать. Наконец она встала, подошла к двери и, немного поколебавшись, спросила:

— Вас не интересует, что я сделаю, выйдя отсюда?

Он облокотился на подоконник. Теперь ей была видна только его спина. Она настаивала:

— Вы не боитесь, что я покончу с собой?

Он не повернул головы. Он превратился в слепое, немое существо. Он не сделал ни единого движения, пока не убедился, что она покинула комнату. После чего взял носовой платок и вытер руки. Он не стал поднимать кольцо, которое она бросила на пол. Стоя перед зеркальным шкафом, он смотрел на свое отражение.

XVIII

Поминальная трапеза должна была бы закончиться в атмосфере сдержанного оживления. Не потому, что подавались изысканные кушанья. Ведь жители Дорта умеют жить: вроде бы всего лишь заячий паштет, баранье жаркое и фасоль, но как приготовлено! Кузен из Кастильона приговаривал: «Ну и жаркое! Жаркое везде бывает пережаренным, но только не в Дорте». И тем не менее обед был печальным. Больше всего удовольствие от еды портил вид г-жи Агаты, застывшей во главе стола воплощением скорби. Это было открытием для окружающих: г-жа Агата, отчаяние которой бросалось в глаза, оказывается, любила покойницу. Обитатели Дорта не знали, чем им следует больше восхищаться: тем ли, что Юлия Дюберне смогла внушить такую привязанность, или тем, что г-жа Агата оказалась способна на столь глубокие чувства. Ах! Вот уж воистину никогда не следует судить других. Жгучие слезы разъели веки г-жи Агаты, и без того всегда красные от неизлечимого хронического блефарита.

— А ведь надо сказать, — тихо шептала соседка кузену из Кастильона, — эта смерть открывает

ей такую перспективу! Она нравится Арману, это известно. Что ни говори, каждая женщина мечтает вытащить счастливый билет. Все мои кухарки уходили от меня из-за историй с мужчинами: даже толстухи, даже пьянчужки с гноящимися глазами; так уж устроена жизнь, что вы хотите! А тут может статься, сбудется прекрасный сон госпожи Агаты. Заметьте: и Арман ничего бы не потерял на этом деле: он привык к ней, ему кто-то нужен в доме. Она уже столько лет ведает всем хозяйством. Просто теперь ему не надо будет ей платить. Не так уж глупо! И подумайте, если он переживет старого Камблана, то еще и Бельмонт заполучит. Но больше всего, конечно, от этого брака выиграет она… Да, чем больше я об этом размышляю, тем более странным мне кажется горе госпожи Агаты. Что все-таки за этим кроется?

Должно быть, этот вопрос давно мучил эту даму, так как, опорожнив свой бокал и тщательно вытерев губы, она повторила на ухо кузену из Кастильона: «Что все-таки за этим кроется?» На что кузен из Кастильона ответил тихим голосом, делая над собой усилие, чтобы не прыснуть: «Может, у нее угрызения совести, может, она отравила ее…»

— Нет-нет, грех так шутить, — сказала дама. —

Посмотрите-ка на нее: она не съела ни кусочка. Интересно бы знать, Арман и Мари так же переживают?

Этажом выше, в кабинете, куда доносились приглушенные разговоры, легкий перезвон вилок и передвигаемой посуды, Арман Дюберне, сидя перед открытыми ящиками, перебирал бумаги. Смерть заставляет людей наводить порядок в делах. Он спрашивал себя: «И куда я мог положить этот контракт?» Казалось, он вдруг пробудился от спячки. Мари, сидя на низком стуле, ощущала приятное неудобство от спрятанного на груди письма. Ей не нужно было перечитывать его: память хранила каждое слово. «*Я имел неосторожность рановато освободить бедную муху, нашего Николя… Но у паука больше нет паутины. А паук без паутины никому не страшен: его легко раздавить. И все же будь поосторожней с Галигай, нам не следует стремиться обрести счастье прямо сегодня или завтра. Ты обязана пожертвовать чем-то ради матери. И в то же время, возможно ли так долго не видеть тебя? Мы могли бы встретиться, если бы были уверены, что сумеем остаться благоразумными… Но кто из нас окажется слабее, ты или я? Мы сможем держать дистанцию не больше трех минут…*

Знаешь, у меня есть одна идея: после ужина ты пойдешь не к террасе, не к тюльпанному дереву, а на берег Лейро, туда, где срезали ольху, но только не прячься от ветра. Лучше потеплее оденься. А я приду на другой берег и буду прямо напротив тебя. Я разведу костер, и ты меня увидишь. А я увижу хотя бы твою сигарету. Надень пальто из белой шерсти, которое ты купила в Люшоне…»

— Послушай, малышка, нужно, чтобы вы с госпожой Агатой посмотрели, какие вещи вы хотите сохранить из одежды и приданого твоей бедной матери. Остальное мы отдадим монахиням в сиротский приют… Ты не слушаешь меня, Мари, — сказал с нотками нетерпения в голосе Арман.

— Я, разумеется, ничего не собираюсь себе оставлять.

Мари вспомнила материнские ночные рубашки с фестончиками, ее невообразимые панталоны, нижние юбки, которые она прикрепляла к корсету.

— Пусть лучше госпожа Агата пополнит свой гардероб, — добавила она с недобрым огоньком в глазах.

— Почему госпожа Агата, а не ты?

Арман замолчал: в комнату без стука вошла

Галигай. Мари было известно, из какой пропасти поднимался этот призрак; знал ли об этом Арман?

— Мне не выдержать до конца, — сказала г-жа Агата. — Мари, мне нужно поговорить с вашим отцом, могли бы вы нас оставить на время?

— Конечно, нет! Почему бы вам не поговорить при мне? Сегодня мое место возле отца, мне почему-то так кажется.

— Мари, не дерзи, — сказал г-н Дюберне.

Но все-таки не решился приказать ей выйти. Потухшее лицо г-жи Агаты не выразило недовольства. Она села возле Армана, чтобы помочь разобрать счета бедной Юлии. Мари сидела на низком стуле, выпрямившись, сжав колени, с тревогой в душе и решимостью на лице; спрятанный на груди листок бумаги щекотал ее и даже слегка кололся.

С первого этажа донесся шум, и вдруг раздался и тут же смолк громкий хохот. Потом послышался голос г-на Боро, генерального советника, который сообщил своим удрученным родственникам, что скоро Дорт будет понижен до ранга супрефектуры. Андре Донзак, девятнадцатилетний семинарист, приходившийся Юлии племянником, заносчивый вундеркинд, которого в Дорте

недолюбливали, до поры до времени молчавший (из страха, как бы его не отправили обедать с протоиереем), после бараньего жаркого вновь обрел свою обычную говорливость. Ему хотелось знать, является ли упадок Дорта случайным фактором, чем-то вроде мертвых клеток ороговевшей кожи на ступнях, или же, напротив, — это гангренозный очаг, в котором с наибольшей очевидностью проявилась смертельная болезнь, поразившая всю страну, а то и Европу. Сгнил ли важный орган или же это просто отслоилась мертвая кожа? «Пожалуйста, ответьте мне, господин генеральный советник».

Арман, Агата и Мари слышали восклицания, звуки передвигаемых стульев. Затем наступила тишина. Мари не спускала глаз с Галигай, но не оттого, что ей было интересно следить за ней, а для того, чтобы бросить ей вызов. Она пыталась побороть возникшее у нее ощущение силы, чувство торжества. Ей было стыдно, и она попробовала молиться за свою умершую мать, за мать, которая не любила Жиля, которая, может быть, ненавидела его, которая, в конце концов, разлучила бы их… О! Как ужасна была мысль, которая пришла ей в голову! Только бы господь не наказал ее за эту кощунственную мысль! «Нет, боже мой,

я очень несчастна из-за того, что умерла мама. Ты, всеведущий, знаешь, что я ее любила». Она старалась вспомнить то время, когда и часа не мыслила себе провести в разлуке с матерью, так что та даже жаловалась: «Малышка не отходит от меня ни на шаг». Тогда все говорили: «Она никого не любит, кроме своей матери». Мама… в этом ящике, руки, связанные четками, подвязанный подбородок… Жиль. Злое лицо Жиля, злое для всех остальных, лицо, которое смягчается только для нее одной, его холодные глаза, словно блестящие камни, покрывающиеся дымкой при взгляде на нее. Однажды вечером она даже выпила с них слезу. Он уверял, что раньше никогда не плакал: «Я так люблю тебя, что плачу…» Он сказал это. Ей не приснилось: «Я так люблю тебя, что плачу…»

XIX

— Вы не думаете, что сейчас она с ним?

Поскольку Арман Дюберне покачал головой, г-жа Агата проявила настойчивость:

— А где же она может быть?

Он пожал плечами в знак того, что не знает.

— Во всяком случае, не с ним. В день похорон своей матери, нет, не может быть!

Арман Дюберне и г-жа Агата вдвоем, совсем как прожившие много лет в браке супруги, доедали холодное жаркое. Мари отказалась. До конца трапезы больше не было произнесено ни слова. Г-жа Агата сложила салфетку.

— Не хотите ли пройти со мной на террасу? — спросила она. — Мы наверняка застанем их под тюльпанным деревом.

Арман Дюберне допил последний глоток вина и с усилием встал из-за стола.

— Нет, — сказал он, — лучше не знать.

— Если я вернусь и скажу вам, что я застала их, вы поверите мне?

Не отвечая, он направился в гостиную. Сказал, что ночь теплая и жаль, что нельзя открыть ставни — нехорошо в день похорон. Он говорил,

чтобы заполнить тишину. Г-жа Агата понимала, что он давно разгадал ее секрет, так как дорогое имя то и дело помимо ее воли слетало с ее уст. Ах да, конечно, он знал этого жалкого классного надзирателя, сына той женщины, что сдавала напрокат стулья в церкви, молодого человека, который навсегда оставил свой след в сердце этой благородной и страстной натуры, чей запах он так часто ловил по вечерам в глубине коридора через запертую дверь. Он прошел за ней своим тяжелым шагом в прихожую. Она сняла с вешалки пелерину, накинула ее на плечи. Обернувшись, она резко спросила:

— Да или нет, вы поверите мне, если я скажу вам, что застала их?

Он и на этот раз не ответил. Она с силой захлопнула за собой застекленную створку двери и углубилась в темный сад.

Да, ночь действительно была очень теплой. Белый гравий аллеи, спускавшейся к террасе, казался земным продолжением Млечного Пути. Мерцающее небо создавало иллюзию, что вновь нахлынувшее древнее море вот-вот приподнимает старый осевший корабль: собор плыл над крышами и туманом. Галигай ощущала всем своим существом, чем может быть такая ночь для

двух юных тел, прильнувших друг к другу под тюльпанным деревом и не ведающих, что она вот-вот разрушит их счастье. Ее отчаяние питала радость, которой эта ночь одаривала любовников, находившихся на расстоянии брошенного камня. Может, они не услышали ее шагов по гравию. Или, может, этого шума оказалось недостаточно, чтобы развеять чары, приковавшие их друг к другу. Ах! И зачем ей понадобилось выходить? Почему она не осталась под уютным светом висячей лампы в наполненной печалью столовой рядом с пожилым, притворно-печальным мужчиной, которому так хотелось дотронуться до нее? Ну зачем ей, неприкаянной, вторгаться в эту ночь, которую Мари и Жиль, возможно, будут вспоминать в свой предсмертный час, благодаря бога за то, что он дал им это счастье! Галигай, как обычно, повиновалась инстинкту, который заставлял ее очертя голову бросаться на препятствие, но теперь она уже не обманывалась насчет побудительных причин. Она дошла до большого тюльпанного дерева. Легкий ветерок пробегал по листьям над ее головой, создавая впечатление, что дышит сама ночь. Никого. Трава была примята, но, судя по всему, на этот раз парочка нашла себе другой укромный уголок.

— Вы ищете меня, госпожа Агата?

Это был насмешливый голос Мари.

— Вы меня не видите? А я вижу ваш силуэт на террасе. Я тут, где срезали ольшаник.

Галигай впору было убежать, но ей необходимо было увидеть, прикоснуться к счастью другого человека.

— Я здесь… сижу на пне…

Мари действительно была одна, неподвижная в ночи, — словно маленькая зайчиха, которая распространяет свой аромат по ветру, чтобы привлечь зайца-самца.

— Садитесь рядом.

— От Лейро веет холодом, — сказала г-жа Агата. — Вы простудитесь.

— Нет, вон тот костер согревает меня.

— Костер? Какой костер?

— Там, на другом берегу.

Галигай рассеянно смотрела на пламя, которое колебалось, то почти угасая, то вспыхивая вновь.

— Меня костер на таком расстоянии согреть не может, зато я чувствую, какой жар исходит от вас.

Живое тепло этого молодого тела действительно показалось ей невыносимым. Мари не отвечала. Она, как маленькая девочка, каковой в

сущности и была, развлекалась тем, что горящей сигаретой рисовала в темном воздухе какие-то знаки. И тут Галигай поняла. На другом берегу кто-то размахивал горящей веткой. Галигай не видела юношу, но поняла, что это он был там, снедаемый еще более жарким пламенем, чем факел, которым он размахивал над головой; внезапно огонь, вспыхнув на миг, вырвал из темноты всю его фигуру, его худые, немного раздвинутые ноги, его вытянутые вперед руки. И ночь тут же снова поглотила его.

Да, Галигай поняла: любовники пожелали, чтобы между ними сегодня лежал меч, чтобы их разделяло жидкое лезвие реки, журчавшей в камышах и меж камнями. Никогда еще они не были так близки, как в этот вечер; они сочетались в это мгновение не только друг с другом, но и с растениями, с небесными светилами, с Всевышним, со своими спящими отцами, и вряд ли можно было надеяться, что такое когда-нибудь повторится. Мари услышала, как зашуршали ветки, словно под ногами метнувшегося прочь животного. Галигай рядом с ней уже не было.

Когда г-жа Агата вошла в гостиную, Арман Дюберне сидел на том же самом месте, но только теперь он курил сигару. О чем он думал, окутан-

ный этим зловонным дымом, выходившим изо рта и из носа? Он не поднял головы, его тяжелые полуприкрытые веки были неподвижны: он знал, что не должен сейчас смотреть на г-жу Агату. Сославшись на страшную усталость, она извинилась за то, что уходит отдыхать так рано. Он спросил:

— Вы видели Мари?

Она склонила голову.

— Она была одна?

Несколько секунд Галигай колебалась. То, что она могла сообщить, было аргументом в пользу юной пары. Она ответила:

— И да, и нет…

Он не стал интересоваться подробностями, но произнес вполголоса:

— К тому же, в этой ситуации…

Г-жа Агата, которая уже дотронулась до дверной ручки, обернулась:

— Надеюсь, это не означает, что вы готовы уступить?

Поскольку он молчал, она спросила, не следует ли ради соблюдения приличий подождать, пока на могиле Юлии затвердеет земля. Он покачал головой:

— О! Вы знаете, теперь — бедной Юлии… Да и к

тому же что там… Все равно же надо. Доктор Салон сказал мне вчера с такой особой значимостью в голосе: «Чем скорее, тем лучше, г-н Дюберне».

Учительница пожала плечами, как бы говоря: «Ну, разумеется! Доктор Салон!» Он добавил:

— Доктор Салон всегда поступает по совести. Может быть, один-единственный во всем Дорте, я так считаю. В других местах, полагаю, тоже есть такие люди… Вы, Агата, слишком презираете людей, а им следует побольше доверять.

Он инстинктивно замолчал, ожидая «вставки Юлии», которая не заставила бы себя ждать в ответ на замечание такого рода. Ему показалось, что он слышит резкий голос покойной жены: «Ты не забыл взять у красильщика свою охотничью куртку?» Но Юлия ушла навеки со всеми своими «вставками». И никакая в мире сила теперь уже не могла помешать Арману Дюберне говорить. Он продолжал не очень уверенно:

— Чем раньше, тем лучше, вы не считаете?

Галигай вернулась к нему и спросила:

— Вы имеете в виду вступление в брак? А вы представляете себе, что он за человек, этот Салон? Представляете, что он за тип?

— Мари любит его такого, какой он есть… А я, вы знаете, молодые люди в таком возрасте… я

думаю, все они более или менее одинаковы.

Понизив голос, она выдохнула ему почти в самое ухо:

— Это ужасный тип. Я знаю про него такое…

Он спросил:

— Что же вы знаете?

Галигай прислонилась к стене. Она уже не верила в свою способность справиться с судьбой, но ее сломленная воля по привычке гнала ее вперед.

— Я знаю такое… О! Боюсь даже сказать. Это настолько отвратительно! — добавила она, но голос ее звучал скорее устало, нежели озлобленно.

Г-н Дюберне повторил:

— Что же вы знаете?

Она провела рукой по лбу и произнесла потухшим голосом:

— Впрочем, было бы трудно представить доказательства…

Именно в этот момент она явственно ощутила, сколь безнадежным было владевшее ею уныние. Грузный мужчина, окутанный клубами дыма, не двигался. Из-под плотных век блестели неподвижные глаза. Его неподвижность напоминала неподвижность жабы. Они услышали, как пришла Мари, которая поколебалась немного перед дверью, приоткрыла ее, заметила учительницу

и тут же снова закрыла. Галигай прислушалась к удаляющимся легким шагам и сказала:

— Ну вот, теперь мне больше нечего здесь делать. На этой неделе я уеду.

В ответ жаба пришла в движение. Встала на свои короткие лапы:

— Вы с ума сошли, Агата, — сказал он.

Она ответила:

— Скорее вы, а не я! Моя ученица выходит замуж В каком качестве я продолжала бы здесь жить?

Он бросил сигару в пепельницу и, тяжело ступая, приблизился к ней.

— Мы не можем говорить об этом в вечер похорон. Это было бы неприлично. Но, в общем, я думаю, Юлия одобрила бы меня, я уверен, что она хотела этого… вы хорошо знаете, на что я надеюсь. Нет, нет, не говорите ничего! К тому же ваша жизнь не изменилась бы. Вы сохранили бы за собой свою комнату, если бы захотели.

Он отвернулся немного в сторону и тихо добавил:

— Я от вас ничего не потребую… Клянусь вам, я не дотронусь до вас, если вы сами не согласитесь. Я буду для вас отцом, я привык.

Она сдержала крик, крик Николя, пронзивший

ее душу:

«Вы внушаете мне ужас». Ее удивило, что какая-то часть ее существа не восстала и уже согласилась. При таком исходе нельзя будет говорить о ее поражении. Скрытая от чужих глаз катастрофа ее жизни в глазах обитателей Дорта обратится в триумф. И даже перед Мари она сможет высоко держать голову: поле битвы останется за ней. В ее распоряжении будет столько времени! Вся жизнь, чтобы влиять на судьбу этой девчонки, которая сегодня так жестоко над ней посмеялась.

Г-н Дюберне считал секунды: прошла уже минута, она не протестовала.

— Забудьте, Агата, то, о чем мы только что говорили, нас никто не торопит. Вы примете решение на свежую голову. Мари до своего замужества будет нуждаться в вас больше, чем когда-либо раньше. Придется заняться ее приданым, служить ей наставницей… Видите ли, счастье, оно вовсе не такое, каким его представляют в вашем возрасте. Счастье — это независимость от других, это возможность занять первое место в городе, где живешь. Счастье…

Она прервала его:

— Я совсем забыла! Я не приготовила вашу

настойку из вербены.

Галигай переняла у покойницы манеру делать «вставки». Когда она вышла из комнаты, Арман снова уселся возле лампы. Интересно, а в пятьдесят восемь лет еще не поздно завести сына? Нужно будет спросить об этом у доктора Салона. Нет, не следует слишком многого требовать от жизни: маловероятно, чтобы у него когда-нибудь родился сын. Но главное, он не сомневался в эту минуту, что женится на наследнице Бельмонта; он получит Агату, и Бельмонт будет принадлежать ему.

XX

— Я, конечно, попалась на удочку, но полностью крючок все-таки не проглотила, — говорила в тот вечер г-жа Плассак сыну, собиравшемуся на следующий день уезжать в Париж.

Тот сидел под висячей лампой, а она кормила его. Хорошо хоть, что она спокойно все восприняла.

— Как только я увидела госпожу Агату у себя на кухне, я сразу поняла, что все расстроится и что так будет даже лучше. Это смешно, ты не находишь, что мои глаза вдруг открылись? Жить у нее, попасть от нее в зависимость, что у меня — разум помутился? Не говоря уже о том, что, хотя ты и мягкий человек, через неделю от твоей мягкости ничего бы не осталось. У тебя бы появилась крепкая хватка, как у многих других. Просто, что ни говори, а кое-кому из женщин нужны такие мужики, которые могут хорошенько припечатать… Что ты говоришь?

Он прошептал: «Я хорошенько припечатал, сильнее, чем ты можешь предположить!» — но не стал повторять. Она была его матерью, эта старая женщина, она не видела ничего дальше своего

внушительного носа с сидящими на нем очками. И он был сыном этой женщины: мягким, конечно! Мягким по отношению к тем, кто шел своей дорогой, кто не приставал к нему, не ломился к нему в его последнее пристанище.

— Вот злится-то, наверное, сейчас! Хотела бы я посмотреть на нее. В церкви, во время похорон, мне неудобно было разглядывать ее. А хотелось бы мне увидеть ее глаза!

Она села напротив него и отрезала кусок сыра. Он спокойно ответил:

— Ее глаза скоро будут совсем сухими: когда она станет госпожой Арман Дюберне.

— Госпожой Дюберне? Ты думаешь? Но ты, наверное, прав, негодник! Госпожа Дюберне? А, поди ж ты!

Слова сына произвели на нее сильное впечатление.

— Если госпоже Агате удастся провернуть это дельце, значит, она сильная, в этом ей не откажешь. Да… но, какие она тогда придумает козни против нас?

— Какие еще козни? — отозвался он устало. — Поверь мне, все сложилось как нельзя лучше.

Его полные руки лежали на столе. Да, все сложилось хорошо. Г-жа Плассак, устремив взгляд в

пространство, размышляла. Она сказала:

— Во всяком случае, у младшего Салона под самым боком будет враг, а то еще она, чего доброго, возьмет да и расстроит свадьбу!

Николя покачал головой:

— Нет, теперь уже поздно… Но чтобы разрушить их брак, у нее впереди вся жизнь.

— Надеюсь, ты не встрянешь опять, не полезешь к ним со своей помощью?

— Успокойся, я не собираюсь в это вмешиваться.

Он потрогал в своем кармане письмо, полученное днем от Жиля. В отличие от Мари, он не помнил его наизусть. Жиль извинялся, что не сможет провести с ним этот последний вечер: они скоро увидятся в Париже. Жиль съездит туда, чтобы забрать оставшуюся одежду и книги, и вернется в Дорт. В январе они поженятся. Они с Мари решили, что будут жить в Балюзе. Николя тихо сказал:

— Видно, люди не так уж сильно отличаются от насекомых.

— Что ты говоришь?

— То, что мы с Жилем вышли из наших хри-

залид[12]…

— Пустомеля!

Он встал. Ему захотелось прогуляться в ночной темноте. Он спросил у матери ключ.

— Вот напасть, даже твой последний вечер дома, и то этот Салон отнимает его у меня!

Николя сухо ответил:

— Вовсе нет! Он со своей невестой. Я просто хочу подышать немного воздухом.

Ладно! Она подождет его, как обычно. Он глухо повторил:

— Дай мне ключ.

Старая женщина отмахнулась от него и улыбнулась, обнажив десны. Он хорошо знал, что если она что-то забрала в голову, то раз и навсегда. Он обошел стол и, не повышая голоса, повторил:

— Я жду ключ! И быстро!

От удивления она встала, опираясь о стул. Она пробормотала:

— Что с тобой? Ну и манеры! Разве это не мой ключ?

— Твой ключ? Ты, кажется, подзабыла немного, мама, что я здесь у себя дома.

Она снова села и повторила несколько раз,

---

[12] Примечания: 12

Хризалида — золотистого цвета куколка, из которой выходит бабочка.

глядя на сына снизу вверх:

— Ну и ну, ну и ну!

— Поторопись.

Она проворчала:

— И куда же я его положила, этот ключ?

— В карман своего фартука.

Он и в самом деле оказался там, и она протянула его сыну немного дрожащей рукой. Он почти вырвал ключ из ее руки. Она пошла за ним в коридор.

— Ладно, — сказала она, — поцелуй меня! И то правда, тебе ведь уже двадцать восемь. К тому же ты мужчина, в конце концов.

Кастильонская дорога тоже была продолжением Млечного Пути. Николя слушал звук своих одиноких шагов. Нет, ему не хотелось бы, чтобы Жиль оказался сейчас здесь; он шагал одинокий, объятый безмерной грустью, которую не в силах были бы развеять все царства мира, вместе взятые, шагал, оставаясь наедине с переполнявшей его и не связанной ни с одним человеческим лицом нежностью, которая, словно спокойное море, простиралась перед ним под не обремененным мыслями небосводом.

В том месте, где просека в сосновой роще оставляла открытым большой участок неба,

он остановился, обернулся и увидел зажатый крышами, осевший черный собор. Люди хоть и похожи на насекомых, но ведь это же они построили такой величавый корабль, гигантские пропорции которого соразмерны с переполняющей некоторых из них любовью. Николя Плассак дошел до того места, где дорога пересекает Лейро. Чужой самому себе, далекий от всех людей, он сел на парапет и стал ждать, словно назначил тут кому-то свидание.

1952 г.

АГНЕЦ

* * *

Она проснулась от холода, вернее, от того, что ей недоставало привычного тепла: тепла его тела, этого большого тела, — она не чувствовала его больше рядом. Она протянула руку, чтобы коснуться его, но ничего не нащупала, кроме ледяной простыни.

— Жан, где ты?

Она слышала его дыхание. Тогда она зажгла лампу и увидела его: он стоял на коленях, уткнувшись лицом в кресло. Она подошла к нему: он спал, он так и заснул, стоя на коленях. Его худая шея вызывала жалость; она коснулась ее губами. Он застонал, как стонут во сне, и поднял к ней встревоженное лицо. Расстегнутая пижама обнажала волосатую грудь.

— Ты совсем озяб. Ложись скорей в постель.

Он лег послушно, словно ребенок. Она сказала: «Прижмись ко мне», — потрогала рукой его ноги и принялась их растирать.

— Не знаю, почему я встал и почему заснул там, на коленях, — сказал он.

Она тихо спросила:

— Ты хотел помолиться?

Он не ответил, и она замолчала в надежде, что он уснет, но по запаху его лица поняла, что он плачет. Тогда она прошептала ему в самое ухо:

— Нет, не ты его убил…

— Либо я его убил, либо он сам… Но святые не убивают себя, значит — я, — с трудом проговорил он.

Она не нашлась что ответить и только повторила: «Спи!» — а он в глухой тишине ночи слушал, как у него под ухом, волна за волной, рокочет ее кровь — вот уже тридцать с лишним лет она терпеливо бушует в ее теле. И вдруг сказал неожиданно громко:

— Я думаю о том, что ты подумала, Мишель, чего ты не могла не подумать.

Она возражала: «Нет, нет!» Но он настаивал на своем:

— Парень намного моложе меня, на двенадцать лет… И я прежде ровным счетом ничего не знал о нем, даже имени его не слышал… Я встречаю его в парижском поезде после того, как расстался с тобой навсегда, и через два дня возвращаюсь сюда, в Ларжюзон, вместе с ним… Ну да, конечно, ты так и подумала, ты не могла ничего иного

подумать. Но Бог свидетель, это было не то...

Она подтвердила: «Ну да, это было не то», — тоном, каким успокаивают больного ребенка, и внезапно спросила дрогнувшим голосом:

— Скажи, что произошло с тобой? С ним?

Он медлил с ответом, подыскивая слова:

— Ты, верно, считаешь, что я пытаюсь придумать объяснение, которое бы тебя не ранило, не вызвало бы у тебя отвращения, а ведь на самом деле я просто хочу проникнуть в то, чего еще и сам не понимаю. Я был другим.

Она продолжала допытываться:

— Но он? Он же ехал поступать в семинарию, для него там было приготовлено место, его ждали. И он вдруг бросает все это, чтобы ринуться вслед за первым встречным...

Он спросил:

— Как же ты это объясняешь? Что ты думаешь?

— Он хотел тебя спасти? Ведь в конце концов...

Он сказал:

— Я не знаю.

Она крепко прижала его к себе стала целовать его лицо, шепча:

— Но от чего спасти, Жан? От чего?

* * *

Городские петухи ответили петухам на ферме. Однако рассвет еще не проник в комнату. Он сказал, что надо постараться заснуть.

— Да, но я хочу спросить тебя еще об одном... Я никогда не решалась заговорить с тобой об этом. Помнишь, ты сказал в тот вечер, когда он погиб, что кто-то другой его толкнул? Что ты имел в виду?

— Я повторил то, что мне сказал священник из Балюзака. Я тогда еще не знал, каком он в это вкладывает смысл.

— А теперь знаешь?

— Мы говорили об этом, когда я по поручению Бригитты Пиан завозил ему деньги. Ты же знаешь, она везде заказывает панихиды по Ксавье.

— Да, она хочет этим искупить свою вину. Одному Богу известно, сколько ударов она нанесла ему исподтишка. А теперь Бригитта хочет искупить это все тем, что заливает алтари всей округи «кровью Христовой» по обычному тарифу.

Они рассмеялись.

— Интересно, — сказала Мишель, — что думает обо всем этом Бригитта, что она сочиняет?

— Можешь не сомневаться, она верна себе.

Она одновременно поддерживает обе версии: и убийство, и самоубийство. Я убил Ксавье, который сам хотел умереть. На это она намекнула Дартижелонгам и прямо сказала священнику из Балюзака.

— И он поверил?

— Конечно, нет! Собственно, он сам опасается, что повинен в этой смерти. Ксавье очень огорчил их спор в тот вечер. Священник смеялся над бедным Ксавье за то, что тот придавал такое значение случайным встречам с людьми. Он уверял Ксавье, что жертвовать собой ради каждого в отдельности — значит попусту растрачивать жизнь. Священник и посейчас помнит, как удрученно, с каким отчаянием он воскликнул: «О, если бы я спас хоть одного!» Но священник не верит в самоубийство. «Невозможно представить себе, что святой покончил с собой!» — твердит он.

— Он считает Ксавье святым?

— Он уверяет, что у него есть все основания в этом не сомневаться.

— Кто же тогда «толкнул» Ксавье?

— С ума можно сойти от этого... Священник рассказывал мне почему-то о бесноватом ребенке, о котором упоминается в Евангелии от Марка. Дух немой бросал его и в огонь, и в воду,

чтобы погубить его.

— Но ведь святой не может быть беснова-тым, — возразила Мишель.

— Священник уверяет, что и святой может на краткий миг попасть во власть того, кто делает ставку на наше отчаяние. Но тогда ря-дом с отчаянием продолжает жить надежда. Священник знает и такие случаи.

Мишель вздохнула, словно освободившись от какого-то груза:

— Теперь я больше не сомневаюсь: его убил не ты, а священник.

Мирбель мрачно ответил:

— Не в большей мере, чем я, ты, Ролан или Бригитта.

Они снова замолчали. Петухи пронзали крика-ми студеный рассвет. Жан чувствовал, как рядом вздрагивают плечи Мишель.

— Твоя очередь плакать, — сказал он.

Он на мгновение коснулся губами ее мокрой щеки и сказал тоже сквозь слезы:

— Отчего мы его оплакиваем, Мишель? Он там, куда стремился.

1969 г.

I

Ксавье мог не покупать билета заранее: в купе было занято только одно место, как раз против него. Там лежали коричневая фетровая шляпа, перчатки и видавший виды плащ. Чемодан в сетке тоже был далеко не новый. Ксавье понадеялся, что его попутчиком окажется именно тот молодой человек без шляпы, который стоял сейчас на перроне спиной к вагону и разговаривал с молодой женщиной. Ведь вполне вероятно, что она только провожает его. Да, она глядела на него так, что Ксавье уже не сомневался — она остается. Она любит его, это несомненно, и пользуется последней возможностью запечатлеть в памяти черты его лица, которое через несколько мгновений она уже не увидит. «А вот я, — думал Ксавье, — смогу разглядывать его сколько захочу. Все семь часов, пока мы будем ехать до Парижа, он никуда от меня не денется».

Он устыдился этого своего интереса, впрочем, совершенно невинного. Но ведь невинных интересов нет. Он заставил себя сосредоточиться и принялся старательно разрезать страницы «Духовной жизни» — журнала, который он читал

по обязанности, не видя в этом чтении никакого смысла, разве что ему казалось полезным всякое дело, сделанное без удовольствия, только благодаря усилию воли.

И все же, сам того не желая, он снова перевел взгляд на пару, чье молчание было красноречивей любых слов. Их разлад был Ксавье очевиден. Хотя, наверно, два пожилых господина и дама, которые стояли у окна в коридоре вагона и тоже наблюдали за парой, прощавшейся на перроне, этого не заметили. Ксавье знал, что она с трудом сдерживает слезы лишь до той минуты, когда, проводив поезд, сядет в свой автомобиль. (Он вспомнил, что только что видел их в машине на привокзальной площади. Она сидела за рулем.) Пожалуй, чуть грузноватая, слегка расплывшаяся, пышущая здоровьем, она уставилась в стенку вагона, словно запрещая себе еще раз поднять свои темные глаза на молодого человека — друга? любовника? жениха? мужа? — который сейчас исчезнет, превратится в неуловимый образ. Теперь Ксавье позволил себе сосредоточить жадное внимание на ней, ведь он больше ее никогда не увидит, она навсегда пропадет для него, как если бы он вдруг умер, и все, что могло бы возникнуть между ними, оборвется в тот момент, когда поезд

тронется, — в этом нет никаких сомнений. Ее полотняный костюм в черно-белую клеточку был, пожалуй, чересчур легок для этого последнего сентябрьского дня, правда, еще не очень прохладного; не озябнет ли она вечером, по пути в имение, где она, Ксавье был в этом уверен, живет? Впрочем, ничто в ее одежде не выдавало в ней сельской жительницы, ничто, кроме туфель на толстой подметке. Но так не загоришь — он поглядел на ее полную шею — за несколько дней пребывания на побережье. Да и вообще Ксавье не нужно было никаких примет, ему и так было ясно, что она постоянно живет в деревне и сама управляет хозяйством в своем имении: так он решил.

С грохотом захлопнулись двери вагонов, и все пассажиры заняли места в купе, только эта пара стояла еще на перроне. Молодая женщина вдруг задрожала, он отвернулся, его плечи чуть приподнялись. Она слегка коснулась губами его щеки, он не поцеловал ее в ответ и поднялся в тамбур. И хотя поезд все еще не тронулся с места, а она по-прежнему стояла на перроне, запрокинув голову, молодой человек не одарил ее тем взглядом, который выпрашивали ее глаза. Ксавье казалось, что он слышит крик, вырывающийся

из этого немого рта — теперь он видел его совсем близко, потому что она вплотную подошла к окну. Золотая цепочка поблескивала на матовой коже порывисто вздымавшейся груди. Ксавье готов был молить своего попутчика: «Скажите же ей хоть что-нибудь! Ну, скажите!» Но тот уткнулся в газету. Это был листок крайне правых. Ксавье не сомневался, что он лишь делает вид, будто читает. Каким бы он ни был жестокосердым, разве можно читать в такую минуту! Ведь против всяких ожиданий ему было еще отпущено немного времени, потому что поезд, который должен был уже уйти, почему-то задерживался; чтобы все спасти в последнюю секунду, хватило бы улыбки, движения руки, губ.

«А если опустить стекло...» — подумал Ксавье. Это было все, что он мог сделать. Он поднялся и потянул за ремни раму, стараясь не глядеть на напряженное лицо молодой женщины. Она, видимо, заметила, что за ней наблюдают, резко отвернулась и торопливо пошла к подземному переходу. Тогда поднялся и сосед Ксавье; высунувшись в окно, он проводил ее взглядом, но она не оглянулась. Поезд тихо тронулся. Незнакомец вышел в коридор и закурил.

Ксавье вдруг почувствовал себя как только

что проснувшийся ребенок — да, словно ему приснился дурной сон, и он впал в отчаяние оттого, что утратил состояние благодати, а потом с тревогой и радостью понял, что ни в чем не виноват. Нет, он, видно, действительно сошел с ума. Недаром все считают его сумасшедшим. Какое ему дело до этой женщины, которую он никогда в жизни больше не увидит? И вдруг ему стало ясно, что они еще непременно встретятся. Он был в этом так же уверен, как в том, что его сосед по купе стоит, окутанный дымом сигареты, в коридоре вагона, опершись локтями о спущенную раму и приподняв свои широкие плечи. Ксавье отогнал эту абсурдную мысль, раскрыл «Духовную жизнь» и начал читать, шепча про себя каждое слово:

«„Трактат об ангелах“ — это теологический трактат святого Фомы, основанный на откровении. Но виртуально в нем содержится и метафизический трактат, относящийся к онтологической структуре нематериальных субстанций и к естественной жизни духа, взятого в чистом виде. Познание, которое мы, таким образом, можем приобрести о сотворенных чистых духах, происходит на первой ступени из ананоэтической интеллекции или из аналогии.

Трансобъективный субъект преобладает над познанием, которое мы имеем о нем, и становится для нас объектом в объективации иных субъектов, поддающихся нашему восприятию и рассматриваемых трансцендентально; однако высший аналог…»

Журнал выскользнул у него из рук, он откинул голову и закрыл глаза. Он не верил в случай. Разве можно считать случайным, что, едва начав путешествие, которое должно было определить всю его дальнейшую жизнь, он поддался своему всегдашнему искушению, тому искушению, которое он называл «искушением чужими», — необоримому интересу ко всем людям вокруг. Не случайно и то, что он всегда как-то впутывался в их истории, оказывался в них замешанным. Он замечал и понимал каждого встреченного им человека. Незнакомые люди завораживали его. Ведь только он один из всех пассажиров и провожающих обратил внимание на эту пару. Ведь никто не заметил ничего особенного ни в этом молодом человеке, ни в провожавшей его даме, молча стоявших, у вагона. С раннего детства отец и мать твердили ему: «Что ты суешь нос в чужие дела? Пусть люди сами разбираются как хотят…» Но он все равно не мог заставить себя

быть равнодушным.

Его духовный наставник внушал ему, что он глубоко ошибается, принимая эту свою страсть за сострадание к людям, что на самом деле она является не чем иным, как тайным, суетным интересом, что настанет день, если Всевышнему будет угодно, когда он, благополучно завершив учение в семинарии, вернется в мир с окрепшей душой, вооруженный против всех и всяческих искусов, и тогда его дар наконец обретет свой истинный смысл и поможет людям приобщаться благодати господней. Но как он был еще далек от этого! Да и мог ли он надеяться, что когда-либо достигнет этой душевной уравновешенности — ведь его сердце буквально разрывалось от нежности к этим двум незнакомым людям, особенно к ней. Он представлял себе, как она сейчас мчится в своей машине одна по шоссе либо в сторону ланд[13], либо по долине реки, в какое-нибудь поместье… Там она наткнется на сапоги, сброшенные им всего лишь несколько часов назад, на кровати будет валяться его охотничья куртка, а в

[13] Примечания: 13

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

пепельнице на столе она увидит его окурок.

Собрав всю свою волю, Ксавье заставил себя оторваться от этого виденья. Нет, ему, верно, так и суждено проваливаться в эти бездны, его магнитом притягивают люди, но только те, с которыми он не связан кровными узами, о которых ничего не знает, помимо того, что сам угадывает, «чует», как он говорит. Зато дома, в кругу родных, он должен был бороться с собой, чтобы одолеть приступы гнева и презрения Ни отец, ни мать, ни брат не вызывали у него той любви, которая переполняла его, стоило ему увидеть первое же попавшееся незнакомое лицо. Он снова склонился над раскрытым журналом, по-прежнему лежавшим у него на коленях.

«Однако высший аналог, достигнутый таким образом, не выходит за пределы объемлющего его аналогичного концепта, ибо трансцендентальная полнота концепта духа достаточна, чтобы охватить сотворенный чистый дух…»

Слова эти были лишены для него всякого смысла. Каково ему придется в семинарии? Сумеет ли он там учиться? Когда он читал в книгах о Боге, он не узнавал в нем того, к кому обращался в молитвах. Ксавье прислонился лбом к стеклу окна. Поезд замедлил ход из-за путевых работ и

шел теперь со скоростью пешехода. Дорожные рабочие воспользовались этой вынужденной передышкой для краткого отдыха. Ксавье обратил внимание на парня, с ухмылкой разглядывавшего пассажиров, и на старика, стоявшего, опершись руками на рукоять кирки, — он был от них дальше, чем от планет другой галактики. Жизнь ежеминутно ставит нас перед подобным выбором: место в мягком вагоне, при том, что есть общий, навсегда отделяет нас от бедняков, создает непреодолимую пропасть. Быть священником — надеялся он — это и значит иметь право подойти к любому существу, не чувствуя никаких преград. Почему он ехал в мягком? Он искал для себя оправдания. Ему, кажется, сказали, что в этом поезде нет общего вагона или что все билеты проданы. Ложь! Просто он разрешил себе это, в последний раз разрешил себе такую роскошь — роскошь быть огражденным, защищенным от людей, которых, как он считал, любит и которым мечтает отдать всего себя безраздельно.

Чувство собственной ничтожности придавило его. А поезд тем временем снова набирал скорость. Плотный туман за окном расползался клочьями. В прорывах виднелись уже рыжие виноградники и люди с корзинами за спиной. На

миг взгляд его задержался на аллее какого-то сада. Пожилая пара в черном не спеша шла между облетевшими каштанами. Быть может, они носили траур по своему единственному сыну. 27 сентября 1921 года. Сегодня Ксавье исполнилось двадцать два года. Война окончилась, когда настал его черед быть принесенным в жертву. А потом он заболел плевритом, и его вообще освободили от военной службы. Но он не желает, чтобы судьба его миловала. Просто его временно оставили в покое, потому что от него ждут другой жертвы, это он знал, знал всегда. Он закрыл глаза. О, это присутствие Бога, о, эта уверенность! Его словно сжимала какая-то рука — он ощущал ее жгучее прикосновение временами так крепко, что у него прерывалось дыхание. Вероятно, она поведет его по пути, который он себе и вообразить не мог. Бог не имел лица, он был воплощен для него в лицах тех, кого Ксавье обожал, как ему казалось, со дня своего рождения, «в этих миллионах Христов с темными и нежными глазами…» Где он прочел эти строчки? Его всегда жгли слова: «Зло, что вы причинили одному из малых сих, вы мне его причинили…» Значит, каждый из них был Христом, сливался с Христом. Всем людям открыта благодать — но это знает только он, двадцати-

двухлетний Ксавье, который переступит завтра в половине седьмого вечера порог семинарии на улице Вожирар, чтобы «изучать то, к чему он чувствует призвание». Собственно говоря, вся эта учеба, как он считал, даст ему возможность жить согласно своему желанию, повинуясь своей натуре. И он вдруг всецело отдался тому переполнявшему его ощущению счастья, против которого его не раз предупреждал духовный наставник. «Вы, в силу чувствительности своей натуры, — твердил он, — находите интерес в самом себе, и природа его сугубо подозрительна. Отдайтесь всецело вере, добродетели веры, она не только не требует никакого ответа во времени, но даже, по сути, исключает его. Плоть использует все, идет на любые уловки, и даже состояние благодати обращает себе во благо. Святые стали святыми не благодаря своему экстатическому состоянию, а вопреки ему».

Ксавье хотел было снова взяться за журнал, но не нашел его.

— Извините меня, пожалуйста… я поднял его с пола…

Его попутчик протянул ему журнал.

— Читайте, прошу вас, — сказал Ксавье.

— Нет, я просто полистал его… Это чтиво не для

меня, — добавил он со смехом.

У него были очень белые редкие зубы; едва заметные морщины пересекали лоб, и, глядя на них, можно было предположить, что он старше, чем казался поначалу. Ему дашь скорее тридцать, чем двадцать. Красивое лицо со следами бурно прожитой жизни. Или, может быть, война? Он воевал — об этом свидетельствовала орденская ленточка в петлице. Коричневый пиджак спортивного покроя, небрежно завязанный галстук, полуботинки на толстой подметке производили то же впечатление, что и его лицо, — все это было красиво, но чуть трачено временем, словно опалено. Кончики большого и указательного пальцев порыжели от никотина.

— Вас это в самом деле интересует? — спросил он Ксавье и привычным, видимо, с детства движением тряхнул головой, чтобы откинуть свесившуюся на лоб прядь рыжеватых волос.

Ксавье так энергично запротестовал, что его собеседник расхохотался.

— Так что ж вы это читаете?

— Надо, — ответил Ксавье. — Видите ли… Я должен…

Он замолчал, не зная, какую указать причину, но еще больше боясь соскользнуть на свою

любимую тему. Разве можно было ожидать, что благодаря журналу они сразу коснутся его главной проблемы? И вместе с тем он боролся с желанием вызвать к себе интерес этого долговязого парня, который теперь не спускал с него своих синих глаз. Но в этом настойчивом взгляде не было наглости, одно лишь холодное, спокойное любопытство.

— Все они маньяки, психопаты, — произнес наконец Жан.

И так как Ксавье вопросительно посмотрел на него, добавил:

— Ну да, вся эта компания, те, кто пишет подобные сочинения… Вы так не считаете?

Ксавье покачал головой:

— Если бы я так думал…

Он снова замолчал, чтобы не добавить: «Я никогда бы не поступил туда, куда я поступлю завтра вечером…» Ксавье не признался в этом из страха, что его попутчик разом утратит к нему всякий интерес. Он оборвал себя на полуслове не потому, что не желал откровенничать: он боялся порвать эту вдруг возникшую между ними связь — тоненькую паутинку, перекинувшуюся с одного дерева на другое. Всякий раз Ксавье испытывал чувство Робинзона, внезапно увидевшего на

своем острове человека, — только он появляется там не в результате кораблекрушения, но промыслом господним, которому открыты тайны всех сердец. Он не решался вымолвить слова и положить конец этой истории прежде, чем она успела начаться. Но тот настаивал:

— Вы же не отрицаете, что вас это не интересует?

— Мне посоветовали прочесть этот журнал.

— Кто, если не секрет?

Та часть личности Ксавье, что была подвластна духовному наставнику, нашептывала ему: «Твой долг — произнести слово, которое оттолкнет от тебя этого человека. Ты выдумываешь себе какие-то высшие оправдания, а на самом деле ты, уже будучи на пороге семинарии, поддаешься соблазну любопытства, вызванного первым встречным, а ведь именно этой страстью ты должен прежде всего пожертвовать. Все остальное не в счет…» Но Ксавье возражал: «Возможно… однако ведь речь идет не только обо мне». Та молодая женщина, где она в эту минуту? Он представил себе гостиную в сельском доме, распахнутую на луг дверь веранды, на луг, подобный тому, что проплывал сейчас в окне вагона, затянутый рваной пеленой тумана и окаймленный цепочкой дрожащих

тополей. Ведь из-за нее, именно из-за нее, в этом он был уверен, он старался поддержать разговор — он хотел расспросить о ней… А тем временем его попутчик говорил:

— Уж вы простите мою настырность… У меня просто мания задавать вопросы.

И он снова углубился в газету — словно отчалил от берега Ксавье и уплыл навсегда. И тогда Ксавье сказал поспешно, так, как кидаются в воду, чтобы спасти утопающего:

— Здесь напечатана статья моего руководителя. Он попросил меня ее прочитать.

— Вашего руководителя? Вы где-то служите?

— Да нет! Моего духовного наставника.

Ксавье не сомневался, что сосед рассмеется ему в лицо или найдет вежливый предлог тут же прекратить разговор. Но тот, напротив, стал куда внимательнее и поглядел на Ксавье с любопытством, быть может, даже с неприязнью, с жалостью, но уже, во всяком случае, с большим интересом. Да, бесспорно, Ксавье его заинтересовал. Чувства, которые Ксавье вызвал в нем своим признанием, тенью пробегали по его красивому, ожесточенному лицу. Ксавье был счастлив. И в ту же минуту он спросил себя, не предает ли он свое призвание: «Всякий человек, если вас привлекает

в нем что-то, помимо его души, пусть даже в этом влечении нет ничего порочного, отнимает вас у Бога. Вы не вольны распоряжаться собственным сердцем, раз вы вознамерились отдать его целиком Всевышнему, и должны поэтому решительно подавлять в себе тот отзвук, что вызывает у вас любая встреча». Ксавье выписал этот абзац из письма своего духовного наставника. Необходимо оборвать эту возникшую нить, сказать то, что отшвырнет от него собеседника, и Ксавье снова останется в одиночестве, на своем берегу, в пустыне.

— Завтра вечером я поступлю в семинарию кармелитов[14].

— Как? Вы станете кармелитом?

Попутчик Ксавье был явно растерян.

— Нет, это семинария при католическом институте на улице Вожирар…

И тут же добавил:

— Впрочем, я не принял еще окончательного решения, просто я хочу изучать то, к чему чувствую призвание. Пока я не взял на себя никаких обязательств.

Незнакомец резко встал, но тут же снова сел,

---

[14] Примечания: 14
Монашеский орден, основанный в XII веке в Палестине.

поджав под себя одну ногу, и наклонился вперед, словно желая получше разглядеть Ксавье; щеки его порозовели, от этого он как-то сразу вдруг помолодел.

— Быть не может! — воскликнул он. — Вы этого не сделаете!

И тут же добавил властным тоном:

— Еще не поздно, вы жертва, попавшая в лапы этим душителям. Уж я-то их знаю, поверьте. Я помогу вам спастись, я вырву вас из их когтей, вот увидите!

И Ксавье вспомнил, как родители отнеслись к этому его решению, как они пожимали плечами, как старательно делали вид, что не принимают его всерьез, как уверяли, что он и трех месяцев не выдержит в семинарии. «Только смотри никому не болтай о своих намерениях, не то, когда удерешь оттуда, станешь всеобщим посмешищем. Разве ты был постоянен хоть в одном из своих увлечений? Начал изучать право, потом перекинулся на филологию, а теперь вот это… Хочешь стать священником, — сказал отец, — пожалуйста, сделай одолжение. Что бы там ни говорили, быть епископом — это положение, и даже просто получить большой приход совсем не плохо. В конце концов, в наше время сделать карьеру

проще всего именно на этой стезе… Но ты… Уж я-то тебя хорошо знаю: ты не способен преодолевать трудности, а значит, ты никогда ничего не добьешься». А Жак, брат Ксавье, орал: «Болван! Жалкая личность. Так и проживешь всю жизнь!» Все были против, и отец, и мать, и брат, хотя все они считали себя «верующими» и причащались по праздникам, и вот этот случайный попутчик тоже, конечно, его осуждал, более того, испытывал ужас перед тем путем, на который он хотел вступить. Во всяком случае, собеседник Ксавье хоть оценил всю меру серьезности этого шага, понимал, что этим решается судьба. Вдруг Ксавье услышал, что его спрашивают: «Как вас зовут?» Так, как дети, придя в школу после каникул, спрашивают новенького: «Как тебя зовут?» Да, Ксавье не удивился бы, если бы этот долговязый парень заговорил с ним на «ты». И он произнес свое имя с той застенчивостью, с какой произносил его, когда был мальчишкой:

— Ксавье Дартижелонг.

— Сын адвоката? Я знаю вашего брата Жака.

Ксавье тут же почувствовал, что его вместе со всей многочисленной родней поставили именно на ту ступеньку иерархической лестницы, которую они занимали в этом городе.

— А я — Жан де Мирбель, — сказал вдруг его спутник. Он не сказал: «Меня зовут Жан де Мирбель». Он знал, что при одном упоминании своего имени он подымается на высоту, недосягаемую для этого мелкого буржуа.

— О, я про вас много слышал!

Ксавье с уважением разглядывал человека, прославившегося в городе своим беспутством и тем не менее отличившегося на войне. «Таких вот и пуля не берет, — говорили родители Ксавье, — а сколько серьезных юношей не вернулось!» Ходили слухи, что Жан де Мирбель собирается разводиться.

— Ваша жена, кажется, урожденная Пиан? — спросил Ксавье с видом посвященного. — Моя мать очень дружит с мадам Пиан.

— С этой старой грымзой!

Ксавье с удивлением отметил, что нисколько не шокирован и не обижен этими словами. Он вдохнул пыльный воздух вагона и стал разглядывать синюю обивку кресел, словно увидел ее впервые, разобрал монограмму железнодорожной компании под гипюровыми салфеточками, над которыми красовались видовые фотографии. Мирбель спросил:

— Как вы только могли решиться? Что у вас

вдруг возникло такое желание, это я понимаю. В ваши годы в голову лезут самые нелепые идеи. Но сделать этот шаг… Знаю, окончательных обязательств вы на себя еще не взяли… И все же пойти учиться в семинарию — это уже ответственный поступок, такое даром не проходит, это оставит след…

Ксавье медлил с ответом. Наконец он спросил:

— Помните эту фразу у Рембо?.. Ведь вы наверняка любите Рембо?

— Ну, знаете, я к литературе… Моя мать пишет романы. Назидательные романы графини Мирбель очень популярны, они издаются большими тиражами… Романы как раз для вас, — добавил он с добродушной усмешкой.

— Я слышал о них, — сказал Ксавье.

— Вот и хорошо. Этим и ограничьтесь. Не вздумайте только их читать. Да, так что вы говорили о Рембо?

— Помните, как он пишет об одном из своих старых друзей, которого увидел во сне… Деревенский дом, гостиная, освещенная свечами, старинная мебель, и там «друг священник, одетый в сутану… для того, чтоб свободнее быть», добавляет Рембо… Понимаете, чтобы быть свободнее.

— Свободнее, чтобы любить.

Ксавье чуть покраснел и добавил:

— Не принадлежать никому, чтобы принадлежать всем. Иметь возможность отдать себя целиком любому человеку, никому при этом не изменяя. В браке…

Ксавье замолчал, вдруг сообразив, что он говорит все это молодому мужу, который только что расстался с женой на перроне, даже не поцеловав ее.

— Но брачные узы можно, слава Богу, порвать, — возразил Мирбель. — Это легче сказать, чем сделать, уж кто-кто, а я это знаю, но в конце концов все же возможно. Вот я…

Он ничего больше не добавил. Наступило молчание, и Ксавье тихо сказал:

— Она очень красивая.

И так как Мирбель сделал вид, что не понял, о ком речь, Ксавье настойчиво повторил:

— Я имею в виду ту молодую женщину, которая провожала вас на вокзале. Это ведь она, верно?

Лицо Мирбеля стало вдруг жестким, он отвернулся.

— Вы еще заглядываетесь на женщин?

Ксавье видел, как у него задвигались желваки. Однако несколько минут спустя Мирбель сам прервал молчание:

— Да вообще, что тут говорить! Вы же не можете верить во всю эту муть! Нельзя губить свою жизнь из-за детской сказки, из-за вымысла. Вы ведь знаете, что все это ложь, — настаивал он с плохо скрываемым раздражением. — По сути, никто в это не верит.

И так как Ксавье молчал, он продолжал допытываться:

— Короче, вы верите? Да или нет?

Он наклонился вперед, упершись локтями в колени, и Ксавье увидел теперь совсем вблизи его лицо, такое алчное и такое печальное, его глаза, из-за легкой косины казавшиеся какими-то растерянными. Ксавье сам не знал, что именно ему мешает ответить: «Да, верю». Ни за что на свете он не согласился бы сказать хоть слово неправды этому разгневанному ребенку, сидевшему напротив него. Чтобы хоть как-то выпутаться, он пошел на попятный:

— Если бы я не верил, разве я пошел бы в семинарию?

— Вы отвечаете вопросом на вопрос. Совершить такое безумие, чтобы защищать и пропагандировать учение, которое вы считаете мифом, — нет, это слишком!

Ксавье не стал протестовать. Он сказал только,

словно рассуждая сам с собой:

— Бог существует, раз я его люблю. Уж я-то знаю, что Христос не умер, что он жив. Он присутствует в моей жизни, это факт, и каждое его слово адресовано, в частности, и лично мне. И всякий раз я убеждаюсь, что он мне дороже всех людей, которых я люблю.

Он сам удивился, что осмелился все это высказать этому прожженному цинику, этому распутнику, как называли Мирбеля родители Ксавье.

— Так будет, пока вам не станет дороже кто-нибудь из живых… Но тогда будет поздно: вы окажетесь в плену этой ужасной одежды, черной сутаны. И молодость уйдет. Вы очутитесь в ловушке: с одной стороны, вы будете бояться скандала, с другой — терзаться, что внушаете отвращение. И тогда вы умрете от удушья или от жажды.

Он взял Ксавье за руку и сказал, приблизив к нему лицо:

— Вам крупно повезло, что вы повстречали меня, пока еще не поздно. Вы даже не знаете, от чего вы отказываетесь, жалкий девственник. Вы хоть разок кого-нибудь..

Не успел он произнести это грязное слово, как

почувствовал, что Ксавье высвободил свою руку. Мирбель окинул будущего семинариста взглядом и понял, что перед ним не двадцатидвухлетний мужчина, а малый ребенок, еще не переступивший порога детства, наоборот, с каждым днем все больше от него удалявшийся. Мирбель спохватился и поспешно добавил, что прекрасно понимает подобное отвращение, что оно ему отнюдь не чуждо и что он сам через это прошел.

— Обходиться без женщин и научить людей освобождаться от соблазна — тут я вас понимаю, — сказал Мирбель. — Обет безбрачия священников — глубокая мысль католической церкви.

Ксавье не воспользовался этой уступкой и ничего не сказал в ответ. Больше, чем само слово, его потряс вульгарный, циничный тон этого человека, которого он встретил как раз в день поступления в семинарию, конечно, не случайно. Одним своим присутствием он разрушал покой, обретенный Ксавье с той минуты, как он принял решение. А теперь вдруг все снова смешалось в его душе. Нет-нет, это невозможно, они расстанутся на перроне вокзала, и все между ними будет кончено. Нет, не будет, Ксавье уже давно сказал себе, что человек, раз вошедший в его жизнь, ни-

когда из нее не выйдет. Такой зарок был под силу его неуемному сердцу. Если бы Мирбель спросил его, он ответил бы, что не знает сам, верит ли в святое причастие, но обряд этот исполняет так страстно, что причащаться стало для него чем-то само собой разумеющимся, неотъемлемым от реальной жизни. И даже если ему не суждено еще раз встретиться с Жаном де Мирбелем (в самом деле, маловероятно, чтобы их дороги снова пересеклись), Ксавье включил его в свое поминание за здравие, которое он всю жизнь будет повторять, и Мирбель останется там до тех пор, пока один из них не умрет. Ибо это тоже входило в его личное кредо: он верил, что мало избранных, но каждый избранный имеет власть повести за собой все, казалось бы, отверженные души, попавшие в его орбиту. Эта «хитрость» благодати не может быть открыта непосвященным, иначе они стали бы ею злоупотреблять. Ксавье весь ушел в свои мысли, когда Мирбель снова спросил его:

— Вы всегда думали об этом?.. Ну, о том, чтобы поступить в семинарию?

— Всегда.

— Но вы долго сомневались?

— Да, до прошлой зимы.

— И в один прекрасный день вы вдруг приняли

решение?

— Да, именно в один прекрасный день.

— И вы могли бы назвать эту дату?

— Да, мог бы.

— Значит, произошло какое-то событие. Положившее конец вашим сомнениям?

— Возможно… Не знаю… Я не могу вам этого сказать.

— Конечно, с моей стороны нескромно вас так расспрашивать. Но клянусь, мною движет не любопытство. У меня его нет. Люди меня не интересуют. Кроме тех, кого я люблю.

Ксавье отвернулся. Он вдруг почувствовал под пальцами правой руки грубую ткань обивки кресла. Небо в окне было совсем белесым, лишь кое-где темнели тучки. Вот он, миг, когда он услышал это слово. И это слово будет всегда с ним. Он затаит его в себе, как когда-то ребенком таил свои сокровища в старой коробке. Быть может, через много лет в какой-то день он найдет его целым и невредимым, но слишком слабым, чтобы дать росток.

— Нет, вы не нескромны, — сказал он. — Но есть вещи… если их рассказать, они кажутся такими неправдоподобными и нелепыми…

— Я пойму.

— Вы будете надо мной смеяться, а главное, воспользуетесь моей откровенностью, чтобы убедить меня, что мое решение — безумие.

— Ну так докажите, что не боитесь меня, что ваше призвание устоит перед этим испытанием — настолько оно серьезно.

— Да-да, я сделал свой выбор уже давно, хотя сам этого и не сознавал. Поэтому достаточно было пустяка, чтобы все прояснилось. О, вам это покажется смешным!.. Родители, чтобы бороться с моим призванием, заставляли меня ходить в гости.

Мирбель расхохотался:

— О, это уж чересчур! Блестящая затея! Знаю я эти званые вечера, которые дают буржуа, чтобы пристроить своих дочек. Там и у меня возникает желание податься в монастырь, хоть к траппистам[15]!..

— Ведь верно? — подхватил Ксавье.

— Кошмар! Все эти прыщеватые юнцы, и бедняжка дочка барабанит на пианино, жара — не продохнуть, слишком сладкое шампанское и запах пота… Уж если любишь праздники, то надо бывать в свете, не правда ли? В настоящем! Впро-

---

[15] Примечания: 15

Монашеский орден, основанный в 1636 году, отличается особой строгостью устава.

чем, меня от него просто рвет.

Его рвало от общества, но он к нему принадлежал, был его частью.

— На этих вечеринках я был наверняка нелепее всех, — сказал Ксавье. — Я плохо танцую и не знаю, как себя вести. Представления не имею, о чем принято болтать с девушками. На званом вечере, конечно. Вообще-то, поверьте, у меня были знакомые девушки, признаюсь даже, что у меня есть подруга…

— А что тут такого? — прервал его Мирбель.

— Но на таких вечерах… я решил, что всегда буду ухаживать за одной и той же девушкой… ее почти не приглашали танцевать, хотя она вполне мила… только, пожалуй, немного болезненна, что ли. Она была самой младшей в многодетной семье; представляете, один только мальчик и целый хоровод девиц. Она довольствовалась мной, поскольку не было ничего лучшего.

— Она вам нравилась?

— Конечно, нет. Во всяком случае, не в том смысле, какой вы имеете в виду. Да и вообще ни в каком. Я ходил с ней, чтобы чем-то заняться, чтобы не стоять вечно у окна.

— Но вы ведь так щепетильны, разве вас не пугало, что она к вам привяжется?

— Нет, любой человек, даже я, никогда на этот счет не ошибается. Я знал, что не нравлюсь ей, она терпела мое общество, только чтобы не просиживать стул во время танцев. Но тут возникло одно обстоятельство, которого я не учел. Как-то раз Жак, это мой старший брат…

— Да, я его знаю. Вам нравится ваш брат, вы его любите?

— Ну конечно! Кто же не любит брата?

— Между нами говоря, он полная посредственность, да еще этот надутый, высокомерный вид… одним словом, зануда… И одет, словно только что от портного.

Ксавье, к досаде своей, почему-то не рассердился и даже не почувствовал себя задетым.

— Нет, нет, это несправедливо, — запротестовал он. — Вы меня огорчаете. Не судите о нем по внешности. Клянусь вам, у него столько достоинств! Его все очень ценят. Он пожертвовал учебой, чтобы помогать отцу. А вот я… словом, как говорится, в семье не без урода.

— Вот что значит семья! Вашим братом в семье гордятся, верно? А то, что есть в вас, — этот удивительный свет, который от вас исходит, — этого никто дома не видит.

Ксавье совсем смутился:

— Да вы просто смеетесь надо мной! Я, правда, никчемная личность. Так ведь часто бывает в семьях — Богу отдают того, кто не годен ни на что другое…

— Так какую же роль в той истории играет этот болван, ваш брат?

— Он меня предупредил (смешно, да?), что родные этой девушки имеют на меня виды. В конце концов, мне все же двадцать два года. Жаку говорили, будто ее брат собирается вынудить меня сделать решительный шаг, заявить мне публично, что я обязан жениться… Я подумал, что Жак меня дразнит, что все это не всерьез. Однако на следующем званом вечере я стал ее избегать. Это, видно, их насторожило, и они решили действовать не откладывая, при первом удобном случае. Чтобы не быть невежливым, я все же разок пригласил ее танцевать, а потом мы пошли в маленькую гостиную, и едва мы сели, как появился ее брат…

— Скажите, это случайно не Глоберы? Все это так на них похоже.

Ксавье поклялся, что речь идет не о них.

— Итак, ее брат сел между нами. Вид у него был растроганный. Он схватил наши руки и хотел их соединить, бормоча при этом какие-то

невнятные фразы, смысл которых от меня все же не ускользнул. Я резко высвободил руку, сказал, что это недоразумение, и тут с ужасом увидел, что он не собирается отступать. «Простите, я вас не понимаю, — заявил он. — Вы думаете, можно безнаказанно компрометировать девушку?..» Естественно, тут его сестра отошла в сторонку.

Мирбель не выдержал:

— О, теперь я уверен, что это был Жюль Глобер! Надеюсь, вы его не испугались?

Ксавье не скрыл, что испугался, но не брата, а подстроенной ему ловушки, хотя и был уверен, что выберется из нее.

— Во всяком случае не из страха я произнес вдруг те удивительные слова, которые меня самого повергли в недоумение: «Конечно, я ни о чем другом и не помышлял бы... Но в сентябре я поступлю в семинарию».

— Вы так и сказали? Грандиозно!

Мирбель выделил это слово особым ударением. Смех у него был молодой, раскатистый.

— И вы вернулись в зал?

— Нет, я воспользовался тем, что они остолбенели, и кинулся вниз, в прихожую, за пальто...

Мирбель уже не смеялся. Он еще ниже наклонился к Ксавье, он не сводил с него взгляда,

словно гипнотизируя его:

— Бедняжка! Так вот из-за чего вы готовы загубить свою жизнь!

Ксавье ответил ему спокойным голосом:

— Вы все-таки этого не думаете, правда? И знаете, что самое странное в этой истории: стоило мне только произнести ту смешную фразу, как я понял, что уже давно это знал, но не смел себе в этом признаться. Все было чистой правдой: да, я поступлю в семинарию, в этом мире для меня нет иного выбора. Та девушка встала на моем пути лишь для того, чтобы заставить меня заявить вслух, при свидетеле: «В сентябре я поступлю в семинарию!..»

— Ну да, — прервал его Мирбель (но его смех звучал уже по-другому), — малютка Глобер появилась на свет специально для того, чтобы вызвать реплику в драме, герой которой — Ксавье. Ведь судьбой Ксавье заняты земля, рай и ад! А потом эта жалкая тварь может тут же сдохнуть.

— Вы меня не так поняли, — слабо защищался Ксавье.

Но Мирбель снова напал на него глухим от бешенства голосом:

— Все вы, христиане, вызываете во мне отвращение, вернее, вызывали бы, не считай я

скорее смешным ваше желание быть в числе тех немногих избранных, что не обречены на вечное отчаяние. Не знаю, есть ли в мире что-нибудь более гнусное, чем экстаз, в который впадает Паскаль[16] при мысли, что одну каплю крови Христос пролил лично за него.

— Я и хочу стать священником, — сказал Ксавье, — чтобы быть на стороне грешников, посвятить себя им, отдать им себя без остатка, спастись вместе с ними или вместе пропасть…

Но Мирбель не сдавался, он даже повысил голос:

— Нет, вы как все, вы тоже сводите все к самому себе. А меня, для чего вы меня встретили? — спросил он вдруг резко. — На что вас толкнет наша встреча в этом вагоне?

— Меня — не знаю… но вас, быть может, вас двоих…

— Нас двоих? Что вы хотите сказать?

Он говорил резко, отчужденно. Ксавье пробормотал:

— Вас ведь двое. Я видел вас вместе на перроне.

---

[16] Примечания: 16

Блез Паскаль (1623–1662) — французский математик, механик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.

Я понял…

— Нет уж! Куда вы лезете? Если вы воображаете, что я вам позволю совать нос в мои отношения с женой…

— О, конечно, вы вправе мне это запретить.

Тут по коридору прошел проводник и объявил, что первая очередь может проследовать в вагон-ресторан. Жан де Мирбель молча поднялся и вышел из купе. Ксавье привычным жестом закрыл лицо ладонями, прислушиваясь к дребезжащему громыханию поезда. Потом он стал глядеть, как сумрак густеет над обнаженными полями, там, где дымились костры, — это жгли солому. Кустарник на опушке леса набирался тьмы. По узенькой тропке вдоль полотна железной дороги какой-то человек шел рядом с девушкой. Ксавье вспомнил, что не взял талон на обед в вагоне-ресторане. А вдруг за столом Мирбеля все же окажется свободный стул? Но нет, Ксавье сел на единственное незанятое место и увидел его вдалеке, в другом конце вагона. Пара напротив Ксавье, уже приступившая к еде, мешала ему наблюдать за Мирбелем. Мужчина был грузный, тучный, из тех, что будто созданы для того, чтобы торговать скотом; смуглый, темноголовый, с волосатыми руками — густая блестящая шерсть

покрывала не только тыльную сторону его ладоней, но и пальцы. Его спутница бесстыдно обнажала в застывшей улыбке розовые десны. Ксавье подметил, что годы совместной жизни не укротили страсть этой супружеской пары: эти чудища, казалось, прилипли друг к другу, атмосфера спальни окружала их и сейчас Ксавье вдруг пришла в голову мысль, что и у этих существ тоже есть душа и что он должен их любить. Отыскивая глазами Мирбеля, он стал издеваться над самим собой, над той связью, которую устанавливает между лицами и душами, над своим призванием, которое ощущает в себе, только когда сталкивается с молодыми. Он заставил себя подробно разглядеть эту пару, сидевшую напротив, и решил, что в конце концов ему не так уж трудно было бы их полюбить, особенно женщину — ее запущенные руки свидетельствовали о тяжелой домашней работе. Ксавье успокоился: да, он сумеет посвятить свою жизнь и им, когда они окажутся в числе его паствы. Таким вот особенно: этому звероподобному мужлану и его беззубой Еве, чье жаркое дыхание сейчас долетало до него. С другими же людьми благоразумнее всего вообще не вступать ни в какую связь, кроме общей молитвы и причастия. Выпитое вино — Ксавье

заказал полбутылки «Листрака» — поддерживало в нем то состояние легкого возбуждения, когда всякая мысль превращается в образ. Он подумал, что открыл наконец, как определять, кто ему опасен, кого надо избегать: всякий раз, когда он почувствует, что кто-то высадился на его острове, проник в его пустыню, он должен бежать без оглядки, потому что пустыня — это его доля, его крест. Перестать чувствовать себя одиноким значило бы для него сойти с креста. Завтра вечером он переступит порог своей кельи. Это конец. Ему двадцать два года. Перед ним вся жизнь, в которой не будет никого, никого до последнего его дыхания, ни жены, ни друга — одни только души. Возможно ли это? Достанет ли у него сил? А что, если этот поезд, с безумным грохотом и лязгом пролетающий мимо полустанков, вдруг сойдет с рельсов и Ксавье очнется в сияющем мире покоя, невообразимого покоя? Он ужаснулся своему страстному желанию смерти. Как странно поддаться подобному искушению в вагоне-ресторане, среди этого пьющего и курящего человеческого стада. Все они торопятся навстречу жизни, делам, любви. И он тоже торопится навстречу своей любви, но той любви, что не увидишь, не коснешься, не обнимешь. Он

— молодой мужчина двадцати двух лет от роду и отличается от всех остальных, с кем ему довелось столкнуться, кого довелось узнать, только своим ненасытным сердцем, той странной жаждой привязаться, страдать и умереть, которой он не встречал еще ни в одном живом существе. Это и есть суть его одиночества. Он как бы не существует сам по себе, реальность — те люди, к которым его постоянно швыряла потребность отдать свою жизнь. То, что недавно произошло в купе между ним и его случайным попутчиком, будет бесконечно повторяться даже после того, как он станет священником. До его смертного часа, до этого предельного одиночества.

Официант протянул ему сдачу. Пара, сидевшая напротив, исчезла. Мирбеля тоже не было. Ксавье удивился, что не заметил, как Мирбель прошел мимо его столика. За время их отсутствия в купе появились два новых пассажира, один из них, дряхлый старик с отвисшей челюстью, уже спал. Мирбель сбежал в коридор. Он облокотился на медный поручень окна, почти касаясь стекла лбом. Ксавье тоже уперся в поручень, но у другого окна, решив ни жестом, ни словом не пытаться возобновить контакт. Но Мирбель сам подошел к нему и предложил закурить. Они молча курили,

стоя рядом, их локти соприкасались.

— Не сердитесь на меня, — сказал Мирбель.

— А за что мне на вас сердиться?

— Естественно, что вы заговорили о моей жене. Но я не выношу, когда о ней говорят.

— Я больше не буду, — сказал Ксавье.

— Вы — это другое дело, вы имеете право.

Ксавье был счастлив. Разве священника не отличают от обычных людей его право, его власть, его долг читать в чужих душах и слушать исповеди; и не только все выслушивать, но и угадывать то, чего люди сами о себе не знают?

— Вы не представляете, чем она была для меня, когда я был ребенком…

— Тем же, чем она осталась для вас сейчас и чем будет всегда…

— Да, конечно. Ничто не может помешать…

За стеклом мелькали смутные силуэты деревьев на фоне холодного неба, дома, в чью тайную жизнь, в чей замкнутый мир, наполовину поглощенный мраком, на миг вводила пассажиров горящая в комнате лампа.

— Я должен поговорить с вами о ней. Но не сегодня, во всяком случае не сейчас… Что вы собираетесь делать вечером?

Ксавье твердо заявил:

— Мы с вами попрощаемся на вокзале.

— Что вы будете делать один?

— Не знаю, буду бродить по городу…

— Нет, я вас не покину.

Ксавье ответил не сразу. Как трудна эта изнурительная жизнь, состоящая из одних отказов! Впереди была еще вся молодость, и ему надо будет постоянно мотать головой, справа налево, слева направо. Говорить «нет», всегда «нет» на все, что не ты, Господи.

— Нет, благодарю вас. Я должен быть один.

Мирбель придвинулся к Ксавье еще ближе.

— Жаль, — сказал он тихо. — А вам, быть может, удалось бы все уладить.

Ксавье ответил почти грубо:

— С вашей женой? Почему я? Я ее не знаю. И вас я тоже не знаю.

Он добавил почти шепотом:

— Оставьте меня в покое!

Но Мирбель не отступил:

— Вы забыли, что вы мне говорили о том, какое значение для вас имеет любая встреча.

— Не всякая встреча угодна Богу.

Ксавье отодвинулся немного и приник лбом к стеклу. Жан де Мирбель рассмеялся.

— Вы полагаете, я вам послан не Богом? Призна-

вайтесь: вы меня считаете дьяволом. — И так как Ксавье пожал плечами, добавил: — Вот еще один христианин, который смеется, когда ему говорят о дьяволе!

— Я вовсе не говорю, что дьявола не существует. Только…

— Только — что? Если дьявола выдумали, значит, выдумали и все остальное, признайте хоть это.

— Но если есть дьявол, значит, есть и все остальное.

— Но дьявола нет, вы это отлично знаете.

— Я знаю лишь одно, — начал Ксавье после недолгого молчания, — мы часто ссылаемся на него, чтобы оградить себя от иных людей — от тех дурных влияний, которых мы избегаем, повинуясь нашим духовным наставникам.

— От меня, например?

Мирбель снова оказался совсем рядом, и Ксавье — он был ниже ростом — пришлось чуть поднять голову.

— Вы думаете, это дьявол подстроил нашу встречу?

Ксавье сказал, отвернувшись:

— Вы здесь — вот все, что я знаю. Я не знаю, для чего Господь послал мне встречу с вами. Главное

— понять, как надлежит поступить. Но это не просто. Часто правильной дорогой оказывается та, на которую трудней всего вступить…

— Почти всегда… но ведь не всегда? Вы можете ошибиться, заставляя себя всегда поступать против воли. Вам хочется провести со мной сегодняшний вечер. Но кто решится утверждать, что ваш Бог не желает, чтобы вы это сделали?

— Я не пойду с вами, — сказал Ксавье.

— Значит, вы лишаете Мишель ее последней надежды…

— Мишель?

— Да, ее зовут Мишель.

Ксавье поднял глаза на склоненное к нему лицо, потом снова отвел их, словно его вдруг сковала безнадежная усталость вроде той, что одолевает в горах, когда выходишь в путь на рассвете и тебя охватывает ужас перед тем, что предстоит: еще ничего не пройдено, а ты уже без сил. Мирбель небось считал, что придал своему лицу наиболее подходящее случаю выражение. Но Ксавье разглядел в этой маске хитрость твари, способной сбить с пути любого, помешать осуществиться даже самому высокому призванию. И тем не менее Ксавье не смог удержаться, чтобы не повторить имя: «Мишель».

— Почему вы ее бросили? Где она сейчас? Почему вы ее больше не любите?

— Вам я это скажу, да, вам скажу… Но для этого надо хоть немного времени.

Поезд, не замедляя хода, промчался мимо какой-то станции.

— Это, должно быть, Жювизи, — сказал Ксавье. — Вы уже не успеете мне рассказать, — добавил он тихо.

— Почему не успею? У нас впереди весь вечер, вся ночь. Другими словами, целая жизнь.

— Нет! — Ксавье повторил горячо: — Нет! Я буду за вас молиться, — добавил он. — Это тоже хорошо, даже лучше.

— Я спокоен. Я знаю, что вы меня не бросите.

В коридоре вагона было темновато, но станционные фонари на перронах, мимо которых проносился поезд, на краткие миги ярко освещали Жана де Мирбеля. В этих вспышках света он казался огромным.

Ксавье вернулся в купе, сел напротив человека, спавшего с открытым ртом, и постарался думать только о том, что ему надо купить завтра: ботинки и шерстяные носки. Да, и книги отца Мармиона, которых он не нашел в Бордо. И еще «Духовную жизнь» и «Проповеди» этой насто-

ятельницы из Солема. Мирбель стоял в дверях — он заполнял весь проем.

— Аустерлиц. Осталось десять минут.

Он схватил без спроса чемодан Ксавье, вынес его вместе со своим в коридор и окинул Ксавье взглядом, в котором больше не сквозили ни хитрость, ни насмешка. У Ксавье возникло какое-то странное чувство: словно бы ночью на берегу моря он вдруг услышал вой сирены — сигнал какого-то неведомого бедствия.

— Вы заказали себе номер? — спросил Мирбель.

Ксавье покачал головой. Во время его коротких поездок в Париж он всегда останавливался, как и многие другие приезжие из Бордо, в гостинице «Пале д'Орсэ». Он со смехом процитировал фразу своего отца: «Так хоть экономишь на двух такси — с вокзала и на вокзал». Мирбель возразил, что это ужасная гостиница. Чего стоят одни эти километровые коридоры! Он вот знает небольшую гостиницу возле Национальной библиотеки, она несколько старомодна, но вполне комфортабельна.

— Я вас отвезу туда, — заявил он твердо.

Ксавье не стал даже подыскивать предлога для отказа. Поезд медленно подъезжал к вокзалу.

Они стояли в проходе, загроможденном чемоданами, их со всех сторон теснили люди, они опять оказались совсем рядом.

— Я подумал, — начал Мирбель, — да нет, вы будете надо мной смеяться. Вы скажете, что это совсем не вяжется с моим прежним, издевательским тоном.

— Что вы подумали?

— Что наша встреча не случайна. Вы тоже как будто к этому склонялись. Но христиане вашего толка повторяют подобные вещи по привычке. А я, представьте себе, я и в самом деле в это поверил, у меня появилась надежда, мне даже показалось, что это само собой разумеется… Вообразите себе тонущего человека, который вдруг видит рядом с собой качающийся на волнах плот… или, точнее, лодку с лодочником… Я подумал, что вы возьмете меня на борт…

Ксавье воскликнул, словно испугавшись чего-то:

— Нет, нет! Но мы еще встретимся, — добавил он, — я вам это обещаю.

Мирбель покачал головой и сказал тихо:

— Сегодня вечером или никогда.

Их толкали пассажиры, торопившиеся выйти из вагона; Мирбель хотел снова взять чемодан

Ксавье, но тот не разрешил.

Мирбель говорил ему почти в ухо:

— Вы были для нас, для Мишель и меня, последней надеждой… Но в самом деле, откуда вам догадаться, что встретили меня у последнего порога, через который я переступлю один…

Ксавье переспросил:

— У какого порога? — И, не ожидая ответа, крикнул с гневом: — Ловко это у вас получается! Будь это правдой, вы не стали бы говорить…

— Вы думаете, я обмолвился хоть словом кому-нибудь, кроме вас? Мишель не дала бы мне уехать или послала бы за мной, если бы догадалась… Впрочем, речь идет не о том, о чем вы думаете… Есть много способов уйти.

Они медленно подымались по железной лестнице. Чемоданы били их по ногам. Ксавье не оборачивался, но чувствовал на своем затылке дыхание Мирбеля.

* * *

— Я тебя никогда еще не спрашивала: что вы делали той ночью?

— Я могу рассказать тебе все, что было, час за часом: мы сдали чемоданы в камеру хранения, пошли пешком через мост к площади Согласия и

потом сели за столик у Вебера. Там я и начал его шантажировать.

— Шантажировать? Чем шантажировать? Самоубийством?

— Самоубийством? Да, сперва... Но он не поверил, тогда я поставил ему другую ловушку: «Я сделаю все, что бы вы мне ни приказали». Тогда он мне сказал, как я и ожидал: «Возвращайтесь к вашей жене». Я сказал, что готов на это, но лишь при одном условии: он должен сам проводить меня в Ларжюзон и оставаться там до тех пор, пока я не войду в норму. Он был возмущен тем, что я считаю, будто ради такой малости он способен отсрочить поступление в семинарию. Тогда я, в свою очередь, возмутился тем, что он с такой легкостью распоряжается твоей судьбой. Он смешался, потому что в то время речь шла только о тебе, Мишель. Ты одна его тогда интересовала...

— Ненадолго. — Она рассмеялась.

— Не смейся! — почти крикнул он и отодвинулся от нее.

Но она снова прижалась к нему. Жан продолжал настаивать:

— Он увидел тебя на перроне вокзала. Понял, что ты страдаешь. Мной он заинтересовался

только из-за тебя. Разве ты этого не знала?

— Он раза два-три вспоминал про полотняный костюм в черно-белую клеточку, который был на мне в тот день. Помню, я сказала ему смеясь, что мне придется ждать мая, чтобы его опять надеть, и тогда, быть может, я снова ему приглянусь. Уж что он мне ответил — не помню. Вероятно, ничего. Он ведь не слушал, а иногда даже и не слышал, что ему говорят.

— Просто к тому времени и ты уже отошла для него в тень. Для него всегда существовал один, только один человек. Он был поглощен им целиком, а потом в его поле зрения попадал кто-нибудь другой, он словно все искал, ради кого умереть.

Голос Жана пресекся, и он вздохнул.

— Знаешь, Мишель, я вдруг понял, что именно заставляло меня ревновать его до безумия: я хотел, чтобы эта жертва была принесена исключительно ради меня. Вот в чем дело. Я не хотел ее делить ни с кем. Вся его жизнь, вся целиком, не была слишком дорогой ценой за мою жизнь.

— Опомнись! Что ты несешь! Что за бред!

Они замолкли, вслушиваясь в шелест тихого реденького дождичка, быть может, они его и не услышали бы, не ворвись в комнату сырой запах

ночи.

— Ах, Ксавье, Ксавье, какая пародия на Бога, которого он так любил! Принадлежать безраздельно всем и каждому в отдельности! Сперва тебе, потом мне, потом по очереди всем, кого мы застали в Ларжюзоне, включая мальчишку! Ух как я его ненавидел, этого Ролана. Я мог бы его утопить как котенка. Господи!

Она обхватила его голову обеими руками, повторяя:

— Все это прошло, ты перестал его ненавидеть, ты исцелился, все прошло... — И вытирала платком его лицо, невидимое в темноте. — Не думай больше о Ролане, лучше скажи: куда вы пошли от Вебера? В гостиницу?

— Нет, спать нам не хотелось. Мы пешком поднялись на Монмартр, и я все время переводил разговор на тебя, все повторяя, что твоя судьба всецело зависит от него, от того решения, которое он примет. Он ярился, отбивался, как мог, но я знал, что держу его мертвой хваткой.

— Вы так за всю ночь ни на минуту и не расстались?

— Нет, расстались у бокового входа в Сакре-Кер. Там шла какая-то ночная служба, уж не знаю какая. Я назначил ему свидание на вокзале д'Орсэ,

за полчаса до отхода первого поезда в Бордо. Он поклялся, что не придет, но я был спокоен.

— А сам ты где шатался до рассвета?

Он не ответил, чуть отодвинулся от нее и повернулся к стене. Она пробормотала: — Понятно.

Он сказал, не поворачивая головы:

— Слушай, я хотел доказать себе, что с любой другой у меня все получится. Ведь теперь тебя это больше не ранит? Ведь теперь нет причин обижаться...

Он привлек ее к себе. Был ли это запах дождя или запах их мокрых от слез лиц? Были ли это их вздохи и стоны или скрип веток в парке? Озверелые кошки орали где-то в деревне.

Она тихо сказала:

— Я сейчас представила себе его бедное тело.

Он не ответил. Тогда она спросила:

— Итак, вы встретились на вокзале... Ну а потом?..

— Я пошел звонить в Ларжюзон. К телефону подошла не ты, а Доминика. Так я узнал, что ты здесь не одна, что у нас полный дом народа. Что за дикая идея вызвать к себе Бригитту Пиан!

— На первых порах мне было необходимо, чтобы хоть кто-то был в доме, пусть даже такое

отвратительное существо, как она.

— Я скрыл от Ксавье, что она там: вдруг бы он под этим предлогом отказался ехать.

— Он больше не возражал?

— Нет, он написал за столиком в кафе два письма; одно — ректору семинарии, другое — своему духовному наставнику, сообщал, какой фортель он выкинул в последнюю минуту. Насколько я знаю, он объяснял свое решение единственно тем, что хочет еще подумать. Он знал, что для него все кончено. Он сказал мне об этом в вагоне как о чем-то само собой разумеющемся.

— Что он тебе сказал? Припомни точно его слова.

— Да именно это: что все для него кончено.

Она спросила:

— Ты думаешь, он знал заранее...

Они помолчали. Потом Мишель снова заговорила:

— Я помню, в тот вечер, когда вы приехали, мы с тобой зашли в гостиную. Он стоял перед неподвижно сидевшей Бригиттой — этой древней Паркой, высеченной из камня, как ты ее называешь. А он... он был подобен агнцу со связанными ногами.

II

— Советую вам идти спать, мсье, не дожидаясь вашего друга. Когда он гуляет с женой по парку, чтобы, как они сами говорят, объясниться, это надолго, уж поверьте мне.

Ксавье стоял посреди комнаты, словно загипнотизированный темными очками Бригитты Пиан. В царящей здесь полутьме у них могло быть только одно назначение — скрыть глаза. Однако ее крупное плоское мертвенно-бледное лицо, окаймленное желтовато-седыми прядями, выбивавшимися из-под повязки из черного крепа, заинтересовало его куда меньше, чем девушка, сидевшая поодаль на кушетке: она показывала примостившемуся подле нее хилому с виду мальчонке толстую книжку в блестящей золоченой обложке. Мадам Пиан сказала Ксавье, указав на девушку:

— Моя секретарша…

Но ребенок, откуда здесь этот ребенок?

Все всегда складывается не так, как мы ожидаем. Ксавье не сомневался, что застанет Мишель в Ларжюзоне одну. А оказалось, что она пригласила Бригитту Пиан, вторую жену своего отца,

которую, как уверял Мирбель, ненавидела с детства. Было уже десять вечера, когда машина, нанятая ими в Бордо, остановилась перед домом. В кабинете, справа от входа, восседала, положив на живот деформированные болезнью руки, старуха Пиан, а за ней, как бы на втором плане, девушка и маленький мальчик рассматривали картинки. Когда Мирбель представил Ксавье старухе, ее губы искривились в гримасе, видимо, изображавшей улыбку:

— Вы сын Эммы Дартижелонг? Я ее прекрасно знаю; мы встречаемся в благотворительном комитете.

Мишель, сухо поздоровавшись с Ксавье (она даже не протянула ему руки), увела мужа в прихожую. Они долго о чем-то шептались. Мирбель, повысив голос, гневно спросил:

— Почему здесь Ролан? Я же тебе сказал, что не хочу больше его видеть.

— Да ведь ты сам…

Шум их шагов по аллее, посыпанной щебенкой, заглушил последние слова. Ксавье слышал теперь только шуршание страниц, которые переворачивала девушка, и сопение мальчишки. Она сказала ему: «Вытри нос». Ксавье издали узнал гравюры Альфонса де Невиля; они смотрели

«Историю Франции, рассказанную внукам».

— Я хотел бы их дождаться…

— Нет, уж поверьте мне, мсье, вы просто не можете себе этого представить… Вот если бы вы знали Мишель… Ваше положение весьма щекотливое, чтобы не сказать хуже. Благоразумней всего вам сейчас отправиться к себе в комнату, Жан потом заглянет к вам на минутку. Думаю, нынче вечером вам лучше избежать встречи с Мишель: дайте мне время ее подготовить. Но прежде у нас с вами должен состояться серьезный разговор. Впрочем, всему свое время, — заключила она, и в голосе ее прозвучало сладостное предвкушение, словно у изголодавшегося человека, решившего, однако, экономно расходовать неожиданно доставшуюся ему пищу. Помолчав, она добавила: — Я полагаю, мне следует завтра же написать вашей дорогой матушке: она успокоится, узнав, что вы здесь, у меня под крылышком.

Да, сомнений больше быть не могло: эта гримаса, кривившая ее губы, служила ей улыбкой. Говорила она мужским басом, который иногда прорезывается у старых дам вместе с усами и бородой. Девушка, по-прежнему склоненная над книгой, подняла вдруг свои грифельно-черные глаза на Ксавье. Мальчик тут же стал ее теребить,

сжал ей руку:

— Переверните страницу, мадемуазель…

— Не приставай к мадемуазель, — сказала Бригитта Пиан. — Она сейчас отведет мсье Дартижелонга в его комнату. Да, в зеленую. Надеюсь, там постелено.

И тут Ксавье впервые услышал голос девушки:

— Это не входит в мои обязанности.

Она говорила, не отрываясь от книги. Бригитта Пиан с ней поспешно согласилась:

— Нет, конечно! Но я слышала, как Октавия поднималась по лестнице: она, видно, уже легла. Я прошу вас это сделать в виде личного одолжения. К тому же я уверена, что Мишель все приготовила. А так как вам все равно придется подняться, чтобы уложить Ролана, — он ведь боится идти один, то…

Девушка встала, мальчик прижался к ней, потерся лицом о ее платье.

— Такой большой парень! Десять лет! — сказала она. — И тебе не стыдно?

Она взяла его за руку и двинулась к двери. Мадам Пиан жестом указала Ксавье, чтобы он следовал за ними. Он поклонился ей, но она даже не протянула ему руки. Лампа, стоявшая на консоли в прихожей, освещала лишь первые ступеньки

лестницы. Ксавье постоял в нерешительности, потом повернул назад и снова приоткрыл двери кабинета. Мадам Пиан, скрытая темными очками, как полумаской, по-прежнему неподвижно сидела в своем кресле, словно гигантская сова на сухой ветке.

— Вы что-то забыли? — спросила она.

— Нет… я хотел узнать…

Он замешкался, но потом разом выпалил:

— Кто этот мальчик?

Рот старухи снова скривила гримаса.

— Ролан? О, во всяком случае, он не сын здешних хозяев. Спросите Жана, когда его увидите. Впрочем, предупреждаю, он не любит говорить на эту тему.

Помолчав, она добавила:

— Вас интересуют дети?

Ксавье был больше не в силах видеть этот рот, эти мнимо слепые глаза. Он вышел в прихожую. Девушки там уже не было, но на верхнем этаже раздавались шаги. Он стал подыматься по лестнице. Лампа, стоявшая на консоли, не освещала дороги, но на ступени падал рассеянный лунный свет, струившийся через слуховое окошко. Она ждала на площадке с зажженной свечой в руке. Мальчик по-прежнему не отлипал от нее. Она

сказала: «Вот сюда...» — и первой вошла в комнату, где пахло плесенью. Постельного белья на кровати не оказалось.

— Пойду принесу простыни и полотенца. Надеюсь, хоть ключ от бельевого шкафа на месте.

Она поставила на стол подсвечник и вышла. Ксавье слышал, как мальчик что-то шептал за дверью и смеялся. Потом их голоса и шаги заглохли. В комнате этой, видно, уже давно никто не жил. Обои были кое-где порваны, и на одной из занавесок темнела дыра, но в тусклом свете свечи поблескивали медные ручки и инкрустации пузатого комода. Ксавье представил себе, что сказала бы об этом доме его мать: «В их гостиной одна вещь уродливей другой, но в комнатах для гостей, представьте, попадаются предметы дивной красоты!» Он приблизился к незастеленной кровати — от матраса пахло мышами. Из приоткрытой тумбочки тоже чем-то несло. Он подошел к окну, но не смог раздвинуть занавески, потому что шнурок был оборван. Окно все же удалось открыть. Ночной ветер, прорвавшись сквозь закрытые ставни, задул свечу. Ксавье опустился на колени, уперся лбом в борт кровати красного дерева.

Невыносимое страдание вдруг пронзило его,

но оно возникло не от чувства потерянности и одиночества в этом враждебном ему доме, его источник был куда глубже, страдание это было ему знакомо, потому что оно уже несколько раз терзало его при совершенно конкретных обстоятельствах, которые он отлично помнит. В чем оно заключалось? Он не мог бы этого сказать. Однако этой ночью оно обрело лицо, даже два лица: эта девушка, этот мальчик. Особенно мальчик. Какое впечатление произвел Ксавье на девушку? Он вздрогнул, сообразив, что она могла о нем подумать. Она долго не возвращалась, видно, бельевой шкаф оказался запертым… Может, она пошла укладывать Ролана? Мирбель, наверно, все же хватится его в конце концов. Только бы кто-нибудь пришел! Его сковало какое-то оцепенение, он был не в силах удрать от этих гнусных стен, от запаха плесени, от этих старых матрасов, от потертого, как он теперь видел, коврика у кровати, которого касались его колени. Словно каторжник к галере, он был прикован к этой комнате, к этому дому. Он позвал, крикнул, но это был немой крик, потому что губы его не разжались. И вдруг что-то отхлынуло, словно разбилась волна этого невыносимого страдания. Он не шелохнулся. Ночная бабочка билась о мра-

мор комода. Ветер надул занавески, как паруса, потом они снова обвисли. Ночная бабочка, видно, обессилела. Рваные обои шуршали от каждого дуновения, вот откуда это тихое потрескивание.

— С вами такое случается?

Ксавье открыл глаза. Он лежал ничком на полу, тонкая струйка слюны стекла с его губ.

Девушка разглядывала его, склонившись над ним, как над собакой. Она прижимала к груди две простыни. Ксавье поднялся на ноги.

— Вы что, больны, да?

Он покачал головой.

— А то с этими эпилептиками хлопот не оберешься… На меня особенно не рассчитывайте.

Он сказал:

— Это не то, что вы думаете… — И вытер пот со лба. — Вы сами видите, я не болен.

— Тогда что же вы тут делали? Вы знали, что я в комнате? Ну вот что, — добавила она, вдруг резко изменив тон, — чем стоять сложа руки, помогите-ка мне постелить постель… Нет. Уж лучше вам за это не браться, — снова заговорила она. — Я одна справлюсь быстрее. Сядьте, а то опять грохнетесь.

Он послушался и минуту просидел неподвижно, наблюдая за девушкой, которая деловито

стелила постель.

Внезапно он спросил:

— Кто этот малыш?

— Ролан? Приютский мальчик. Господам взбрело в голову его взять, но он им уже смертельно надоел. Мадам, видите ли, желала иметь ребенка!

— Они его усыновили?

— Нет, взяли на пробу. Но он разонравился. Полгода назад он был с виду куда лучше, но потом заболел дизентерией. Ваш друг его теперь ненавидит. Впрочем, он его никогда не любил. Конечно, лучше самому делать своих детей… если можешь. — Она взбила подушку. — Но я думаю, что он не может только со своей женой…

У нее на лице вдруг появилось выражение многоопытной женщины. Ксавье сказал: «Удивляюсь…» — но умолк, не окончив. Развязная манера держаться, вульгарные слова как-то не вязались с ней. Ему хотелось ее оборвать, крикнуть ей: «Вы дурно играете свою роль». Он знал, какая она на самом деле. Она была для него как раскрытая книга, он читал ее без труда; у него был этот дар, и он ему даже не очень удивлялся, он уже привык к тому, что видит людей насквозь. Какое у нее было лицо! И он сам вдруг увидел свое

отражение в зеркале над комодом — бледное, прелестное лицо, — увидел себя не таким, каким казался себе обычно, а как бы глазами девушки. Как они друг другу понравились!

Он повторил:

— Удивляюсь..

— Чему вы удивляетесь?

— Нет, это вас может обидеть.

— Напрасно вы думаете, что можете меня обидеть!

— Я знаю, кто такая Бригитта Пиан… Дома у нас о ней много говорили все эти годы! Ее называют «мать церкви». Так вот, меня удивляет, что она выбрала в секретарши вас, а не какое-нибудь «чадо Пресвятой Девы Марии»… Вам смешно?

— Мне смешно, что вы себе уже составили обо мне мнение. Кто вам сказал, что я не «чадо Пресвятой Девы Марии»?

— Нет, — возмутился он, — вы совсем не ханжа.

Она спросила:

— А почему я должна быть ханжой?

— Вы были бы ханжой, если бы были «чадом Пресвятой Девы Марии».

— Почему вы так считаете?

Он сказал:

— Вижу…

Она взглянула на него, приоткрыв рот:

— Ну, знаете! — Потом пожала плечами: — Вы просто смеетесь надо мной.

Тогда он сказал:

— Вы думаете, Бог далеко, а ведь он подле вас.

— Бог? Да это же Бригитта Пиан!

Она рассмеялась… Он тоже смеялся.

— Вы правы, что не верите в этого бога: его не существует.

Она сидела на краю постели, отвернув от него лицо. Она заговорила не сразу, подыскивая слова:

— Я не хотела бы, чтобы вы думали, что девушка, ни во что не верящая, должна обязательно…

Она посмотрела ему в глаза и вдруг сказала:

— Я никому не принадлежала и не принадлежу никому…

Он грубо ее перебил:

— Вы с ума сошли! Будто я мог подумать о вас такое. Это ужасно!

— Почему ужасно?

— Для меня ужасно.

Она сидела, скрестив ноги, и улыбнулась, рассеянно поглаживая рукой подушку.

— В конце концов, вы такой же, как и все.

Он пробормотал: «Ну, конечно...» — и покраснел до ушей. Никогда еще он не испытывал такой радости от присутствия девушки, никогда. Такой же, как и все... «Господи, а если я оказался здесь из-за нее?» Если весь путь, который он прошел, вел его в эту комнату, к ней? К счастью, к этому счастью? И он вдруг спросил:

— Как вас зовут?

— Доминика. Я учительница в школе прихода святого Павла в Бордо. Это место я получила благодаря содействию мадам Пиан. У меня нет родных, нет никого, кроме младшего брата, которого я должна содержать. Так что вы понимаете...

Он повторил:

— Доминика...

Она тихо сказала:

— Сядьте рядом со мной. Чего вы боитесь?

Он сказал:

— Я не боюсь, — и робко шагнул к ней.

Она глядела на него тоже несмело, чуть приоткрыв прелестный рот. Еще детские зубы светились молочной белизной. Она учащенно дышала. Нет, в этом не было ничего плохого. «Нет, Господи, в этом нет ничего плохого. Я заслужил этот отдых, это утешение, которое выпадает на долю всех людей, даже самых обойденных, самых

бедных». Он медленно подходил к ней все ближе, а она отвела глаза, чтобы его не смущать, и ждала, неподвижная, как статуя, словно достаточно было одного взмаха ресниц, чтобы спугнуть этого юного самца. Он сделал еще шаг.

И тут на лестнице послышался шепот. Жан де Мирбель вошел без стука и не притворил за собой дверь. Ксавье увидел, что у порога, в полутьме коридора, стоит и Мишель.

— Что вы здесь делаете? — спросил Мирбель у Доминики.

— Я пришла постелить… Мы разговорились, — объяснила она. И добавила, обращаясь к Ксавье: — Полотенца на стуле.

Перед тем как выйти, она обернулась и улыбнулась Ксавье:

— До завтра.

Мирбель стал ходить взад-вперед по комнате.

— Она давно здесь?.. Она говорила с тобой обо мне? Ну, признайся: она говорила с тобой обо мне?

Вошла Мишель и взяла мужа под руку.

— Дай твоему другу отдохнуть, — сказала она. — Я с ним завтра поговорю.

Ксавье сухо возразил:

— Мне кажется, нам с вами уже не о чем гово-

рить. Ваш муж вернулся, значит, я могу уехать. Утром есть поезд?

— Не начинай все снова! — воскликнул Мирбель.

— Вы в самом деле хотите уехать? — спросила Мишель. — Тогда зачем же вы с ним приехали?

Жан де Мирбель прошептал ему прямо в ухо:

— Не отвечай ей.

— Я привез его назад, — сказал Ксавье. — Мне здесь больше делать нечего.

Мишель вдруг внимательно поглядела на него:

— Мы объяснимся завтра. Потом вы уедете или останетесь. Во всяком случае, между нами не будет недомолвок.

Она протянула ему руку.

— Не будем ему мешать спать, — сказала она мужу.

Жан вышел за ней, потом снова приоткрыл дверь и сказал приглушенным голосом:

— Ты ей нравишься, да я в этом и не сомневался. А тебе она как?

Ксавье молчал, и тогда он сказал совсем тихо:

— Если она тебе нравится, я дарю ее тебе. Шучу, шучу! — добавил он быстро.

И притворил за собой дверь.

В этот самый момент Доминика зашла в ком-

нату Бригитты, смежную с ее комнатой: старуха позвала ее. Мадам Пиан, видно, еще не собиралась спать; она сидела в глубине огромной кровати. Тощие пегие пряди волос, точно змеи, расползались в разные стороны — креповая повязка их больше не придерживала. Рот ее зиял черной дырой — она вынула вставные челюсти. И все же ее крупное костлявое лицо без темных очков казалось более человечным.

— Вы долго отсутствовали, дочь моя.

— Мне пришлось идти к Октавии за ключом от бельевого шкафа.

— Вы говорили с этим юношей? Какое он произвел на вас впечатление?

Девушка чуть помедлила с ответом и неопределенно улыбнулась:

— Быть может, оттого, что я была готова к худшему, он мне показался… Ну, в общем, похоже, что он такой, как все, — добавила она, краснея.

— Ах, плутовка, ах, негодница, — проворчала Бригитта Пиан не без нежности. — Ступайте спать, и пусть вам не снится этот «парень как парень».

— Я ведь только сказала, что похоже на это, — возразила Доминика. — Тем не менее я его застала…

— За чем вы его застали?

Доминика прикусила нижнюю губу.

— Да нет, ничего особенного: он молился на коленях у кровати. Просто молился.

— Не хватало еще, чтобы он не молился! Последуйте-ка его примеру, девочка. Повторяю вам: не надо веровать в Бога, чтобы молиться. Надо молиться, чтобы уверовать в него. Есть еще затычки для ушей? Две? Этого хватит. Дайте мне, пожалуйста, четки, они на комоде… Нет, не гасите свет.

Старуха осталась одна. Бе сердце билось слишком часто. Вот уже семьдесят восемь лет, как оно бьется. Скоро эти четки, которые она держит сейчас на ладони, обовьют ее ледяные, навсегда скрещенные запястья. Она поглядела на свои чудовищно вздутые вены и убрала руки под простыню.

III

— Тебе сейчас принесут роскошный завтрак!

Ксавье вскочил, как встрепанный, и увидел Мирбеля в пижаме, пытающегося раздернуть шторы.

— Чертовы занавески! Плевать, порву шнурок!..

Он распахнул ставни — в комнату ворвался запах тумана — и сказал, что день выдастся на славу, что утренняя дымка — верный признак хорошей погоды, и со счастливым видом присел на край кровати.

— Ну и силен же ты, Ксавье! Едва ты появился, как они все забегали вокруг подноса с твоим завтраком. Мамаша Пиан поскупилась было дать тебе джема. Ты бы только послушал, как запротестовали Мишель и эта секретарша! Сошлись на компромиссе: тебе дадут не желе из крыжовника, а позапрошлогодний сливовый джем, который все равно уже стал плесневеть. Секретарша предложила отнести тебе завтрак, но мамаша Пиан нашла, что это неприлично. Знаешь, что она сказала? «Он не спросил меня, в котором часу начинается месса, а я его здесь

ждала». Тогда секретарша заметила, что утреннюю мессу у нас служат только по четвергам. Но старуха возразила, что ты не мог этого знать и все же не потрудился выяснить, когда идти к мессе, поэтому она не признает за тобой смягчающих вину обстоятельств. Короче, эти разговоры доказывают, что все тобой тут же заинтересовались. Впрочем, я в этом не сомневался, но все же не думал, что ты так быстро приберешь их к рукам. Вчера вечером, когда мы гуляли по парку, Мишель была в бешенстве — не стану тебе повторять, как она поливала нас обоих, — так вот, теперь Мишель успокоилась. Ты мог бы многое для нее сделать, поверь!

Его красивые глаза снова увлажнились, он тряхнул головой, словно школьник, откидывая со лба рыжеватую прядь, он был спокоен и говорил без жара.

— Да, ей ты тоже нужен… О чем ты думаешь?

— Я думал об этом мальчике, — сказал Ксавье, — о Ролане.

— Ну уж нет! Только, пожалуйста, не занимайся этим гаденышем. — Мирбель продолжал, стараясь не горячиться: — Я не говорил тебе о нем потому, что не думал его здесь застать. У Мишель вечно какие-то фокусы: полгода назад она

решила, что не может жить без ребенка в доме. Дай я ей волю, мы бы уже давно его усыновили. А теперь она сама рада, что я не позволил… Мы отдадим его туда, откуда взяли.

— Это невозможно, — сказал Ксавье.

— Почему тебя так волнует его судьба? Таких детей, как он, — тысячи, и ты о них никогда не думаешь.

— Этот оказался на моем пути — этот, а не другой.

Жан с наигранным смехом стал трепать Ксавье за волосы:

— Ты приехал в Ларжюзон ради меня, не забывай об этом, только ради меня! Твое пребывание здесь не касается никого, кроме нас с тобой.

Он ждал ответа. Но Ксавье лежал молча, его голова, словно мертвая, была откинута на подушку. Мирбель стал объяснять:

— Ну, конечно, тебе придется вести игру с женщинами, со всеми тремя, потому что от Доминики — ты, наверно, уже заметил — старуха без ума. Это просто поразительно, если учесть, какой железный характер у мамаши Пиан, каким бездушным существом она была всю свою жизнь. Ей теперь уже под восемьдесят.

— Вот и завтрак, — сказал Ксавье.

В ответ на его «спасибо» Октавия что-то буркнула, и Мирбель поспешил объяснить:

— Она здешняя и манерам не обучена, но мамаша Пиан тебе сказала бы: «Зато она работает, как лошадь». Ты будешь завтракать в постели?

Нет, Ксавье предпочел бы встать. Он сказал Мирбелю, что они встретятся в парке.

— Если я тебя верно понял, ты меня просто выставляешь.

Быстро собравшись, Ксавье вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, как вдруг услышал чей-то вздох, перегнулся через перила и увидел, что на последней ступеньке сидит Мирбель. Если бы Ксавье поджидал человек с поднятой дубинкой, сердце его и тут не заколотилось бы сильнее. Он поспешно вернулся к себе в комнату и подошел к окну. Клочья тумана еще висели на ветках деревьев. Дикий виноград, увивавший весь фасад, даже ставни, был мокрый, как после дождя. Солнце, с трудом пробивавшееся сквозь дымку, не могло еще справиться с утренней росой… Громыхание телеги, крики петухов, удары молота по наковальне в кузнице, лай собак, протяжный визг лесопилки — о, милые звуки любимой жизни! Он утром не помолился, но не по забывчивости. Он не мог молиться, боялся

молиться, хотел по возможности отдалить эту минуту. И вот ему пришлось вернуться сюда, к этому небу в окне, к этим темным соснам, словно распятым в пустоте. Ему даже не надо было говорить: «Господи...» Он опустился на колени, коснулся лбом подоконника. Его широко открытые глаза видели теперь не небо, а прогнивший плинтус пола.

Чья-то рука коснулась его плеча. Он не шелохнулся. Тогда кто-то схватил его под мышки и приподнял, он открыл глаза и увидел склоненное над собой лицо Мирбеля.

— Я читал молитву, — пробормотал Ксавье, — и, как всегда, отвлекся, стал думать о чем попало...

Мирбель глядел на него, не отвечая, только слегка покачивая головой. Помолчав немного, сказал:

— Мы потеряли слишком много времени. Мишель уже ходит перед крыльцом — ждет тебя. Пожалуй, прежде всего надо от нее отделаться. А потом приходи ко мне сюда.

— Нет, — сказал Ксавье, — разговаривать мы будем не в моей комнате. Я подожду вас внизу.

Он прошел мимо Мирбеля, сбежал, перепрыгивая через ступеньки, с лестницы, почти пронесся по прихожей и увидел Мишель, стоявшую на

каменном крыльце.

— А, вот и вы… Оставь нас вдвоем, — сказала она мужу. — Мы обойдем парк, и я тут же приведу его тебе назад.

— О, вам нечего торопиться.

Мирбель проводил их взглядом. Ксавье не испытывал никакого волнения в ожидании предстоящего разговора, скорее, какую-то скуку: побыстрее бы объясниться… и покончить с этим раз и навсегда.

— Что я хотела у вас узнать? Причину вашего здесь появления. Жан мне вчера сказал… Вы подтверждаете его версию?

Ксавье спросил рассеянно:

— Какую версию? — Он издали наблюдал за маленьким Роланом, который застыл на корточках у ручья, перерезавшего луг.

— Вы якобы поддались шантажу, он сам употребил это слово, и отложили свое поступление в семинарию из-за того, что Жан соглашался вернуться сюда, только если вы поедете вместе с ним…

— Ну, если бы он на самом деле не хотел возвращаться… Быть может, наша встреча была для него лишь предлогом, чтобы вернуться, — добавил он с легкостью. — Я думаю, он просто хотел

вас испугать…

— Вы, однако, приняли из-за этого весьма важное решение: ведь вас ждали в семинарии. Эта оттяжка, пусть и краткая, может иметь последствия… так мне, во всяком случае, кажется.

Ксавье остановился, сорвал стебелек мяты, растер его между пальцами и понюхал. При этом он не спускал глаз с Ролана, по-прежнему неподвижно сидевшего на корточках у ручья.

— Что это он так разглядывает? — спросил Ксавье.

— Ответьте мне, да или нет? — нетерпеливо требовала Мишель. — Разве вы не приняли важное решение?

Он улыбнулся, пожал плечами:

— Кто знает, может, я сам был счастлив, что нашел способ…

— Не поступать в семинарию?

Она сосредоточенно посмотрела на него снизу.

— Мне сейчас вдруг пришло это в голову, — добавил он, — тогда я этого не осознал.

— Вы счастливы, что разом все оборвали? — спросила она неожиданно грубо. — Конечно, в вашем возрасте… Да, теперь я понимаю, что встреча с Жаном послужила для вас благовидным предлогом… Так, что ли?

Он ее почти не слушал. Объяснение между ними состоялось. Какая разница, есть ли доля правды или нет в том, что она сказала!

— Я считаю себя доброй католичкой, — продолжала она. — Однако, признаюсь, я всегда удивлялась...

Он помотал головой, словно отгоняя муху:

— Извините меня, пожалуйста, но мне хотелось бы узнать, на что он там смотрит. Я сейчас вернусь.

Мишель растерянно остановилась посреди аллеи, следя глазами за Ксавье, который шагал по лугу. Он все еще держал в руке стебелек мяты. Кузнечики выскакивали у него из-под ног. Он с детства любил запах мокрой травы. Ролан не двинулся с места, хотя, наверно, и слышал, что кто-то идет. Он по-прежнему сидел на корточках.

— На что ты смотришь?

— На головастиков.

Мальчик ответил, не подымая глаз. Ксавье сел на корточки рядом с ним.

— Я наблюдаю за ними с позавчера. Они еще не лягушки. Я хотел бы увидеть, как они превращаются в лягушек.

Какая у него тоненькая шея! Как только она выдерживает тяжесть его головы? А вот коленки у

него уже большие. Ксавье спросил, интересуют ли его вообще животные. Ребенок не ответил. Быть может, он считал, что это само собой разумеется, а быть может, просто по лености ума: ему неохота было вступать в разговор с незнакомцем.

— У меня есть книга про животных, я пришлю ее тебе, когда вернусь домой.

— А там есть картинки?

— Конечно, есть.

— Но сюда ее посылать не надо, меня здесь не будет.

Он сказал это равнодушным тоном. Ксавье спросил его: разве ему не нравится в Ларжюзоне? Ребенок, казалось, не понял вопроса. На тростник рядом с ним села стрекоза с голубовато-лиловыми крыльями. Он поднес к ней руку и внезапно, резким движением, схватил ее за трепещущие крылья большим и указательным пальцами, крикнул: «Поймал», — а потом стал щекотать травинкой тельце стрекозы.

— У нее щипчики в конце хвоста. Но меня ты не ущипнешь, стрекозища!

— А там, куда ты поедешь, тоже будут животные? Ты будешь жить в деревне?

Мальчик ответил, что не знает, ни на секунду не отрывая при этом взгляда от насекомого, ко-

торое дергало ножками и извивалось всем своим длинным кольчатым тельцем.

— А почему ты не останешься здесь?

Мальчик разжал пальцы: стрекоза улетела не сразу. Он сказал:

— Ее свела судорога.

Но Ксавье не отступал, он в первый раз назвал его по имени:

— Ролан, скажи, почему ты не останешься здесь?

Он пожал плечами:

— Я им осточертел.

В его интонации не было ни печали, ни обиды, ни сожаления. Он просто констатировал, что в Ларжюзоне он всем надоел.

— Но ведь мадемуазель Доминика тебя любит?

Он впервые поднял глаза на Ксавье:

— Ее здесь тоже не будет. — И добавил: — А то бы я… — но оборвал фразу на полуслове.

Ксавье пытался вытянуть из него:

— А то бы… что? — Но тщетно. Мальчик не отвечал. Он снова сел на корточки, отвернувшись от Ксавье, который продолжал его расспрашивать:

— Она добрая, мадемуазель Доминика?

— Ей надо было вернуться в школу второго октября, — сказал мальчик, — но ей дали отпуск

из-за плеврита…

— У нее плеврит?

В этот момент Мишель, уставшая ждать Ксавье на аллее, подошла к ним и спросила, смеясь:

— Вы бросили меня ради этого малыша? Вы, видно, любите детей, но, предупреждаю вас, от этого мальчишки толку не будет. Я сделала все, что могла…

Понизив голос, он сказал с возмущением, что нехорошо так говорить при ребенке. Она не рассердилась.

— Уверяю вас, он ничего не понимает. Промочишь ноги, так тебе и надо! — добавила она, повернувшись к мальчику. — У тебя ведь нет других ботинок.

У Ролана изменилось выражение лица, оно тут же стало упрямым и замкнутым. Словно насекомое, которое притворяется мертвым. Он снова подошел к ручью и сел на корточки.

— Я обожаю детей, — сказала Мишель, — но Ролан лишен всякого обаяния, уверяю вас, он совсем неинтересен.

Они вернулись на аллею. Помолчав, Ксавье сказал:

— А вот мне он интересен.

— Но я прождала вас все утро не для того, что-

бы говорить о нем. Так как же: уезжаете вы или остаетесь?

Она остановилась посредине аллеи и, наклонившись к Ксавье, стала пристально разглядывать его, словно хотела вынуть у него соринку из глаза. А он увидел, что на ноздре у нее какая-то черная точка, что в уголках губ прорезались морщинки, а на чересчур полной шее остался красный след от прыща.

— Это вам решать, а не мне, я в вашем доме, мадам. Если вы пожелаете, я сегодня же уеду.

— О нет, — возразила она, — это не в традициях Ларжюзона. Мы все же более гостеприимны.

Она засмеялась, и он увидел у нее во рту матовый, почти синий зуб.

Он молчал. Он шагал рядом с ней, но уж лучше бы он совсем ушел. Она вдруг воскликнула:

— Да, я была не права! Я была не права…

Ксавье, казалось, проснулся и поглядел на нее.

— Я не должна была так говорить при мальчике. Извините меня, мсье. Я никогда не умела разговаривать с детьми. Этому учишься, наверно, со своими. А я?

«Лишь бы она не заплакала!» — подумал он. Но она не заплакала.

— Если вы решите остаться, то только ради

нас, чтобы нам помочь, теперь я уверена в этом. Но тогда вам надо знать нашу историю с самого начала. Мы полюбили друг друга еще детьми… Каким был Жан в пятнадцать лет, какое это было чудо!..

— Я учился в том же коллеже, что и он, только десять лет спустя, — сказал Ксавье. — Но и при мне еще ходили легенды о Мирбеле, о его бунте, о тех наказаниях, которыми опекун пытался его обуздать.

— Но настоящей трагедией были для него отношения с матерью. Он ее просто боготворил. Она была ужасной женщиной… А главное, она ему открыла… Нет, я не имею права рассказывать вам это. Вы верите, — вдруг спросила она, — что он когда-нибудь излечится?

Но Ксавье не слушал Мишель. Он глядел на Доминику, которая шла им навстречу, таща за руку мальчика; он хныкал и был весь в грязи, с головы до ног.

— Не понимаю, — сказала Доминика со вздохом, — как это его угораздило свалиться в такой ручеек! Посмотрите, в каком он виде!

Икая от холода, Ролан оправдывался, что хотел перебраться на ту сторону.

— По той переправе, которую мы вчера с вами

построили, помните? Но большой камень пошатнулся…

— Ну что ж, — с раздражением сказала Мишель, — идите переоденьте его.

Девушка возразила:

— Я ему не нянька. Да и есть ли у него во что переодеться?

— Тогда пусть обсохнет. Сейчас не холодно. Сядь на солнышко и не мешай нам.

— Нет, — сказал Ксавье, — так нельзя. Я его вымою. — Он взял мальчика за руку и добавил: — Я к этому привык, в воскресной школе на меня часто оставляли по пятьдесят ребятишек. Веди меня к себе в комнату, малыш.

— Я пойду с вами, — заявила Доминика.

Он стал уверять, что не стоит беспокоиться, что он сам прекрасно справится.

— Неужели вы думаете, что я вам не помогу!

— Я тоже пойду, — сказала Мишель.

Они вчетвером повернули к дому. Ксавье по-прежнему держал Ролана за руку, женщины шли следом. На каменном крыльце в плетеном кресле восседала закутанная в большую шаль Бригитта Пиан; глаза ее, как всегда, были скрыты темными очками, на ногах лежал плед; возле нее стоял Жан де Мирбель.

— Сколько раз мне повторять, моя милая Доминика, — воскликнула она, — что я вас вызвала в Ларжюзон не для того, чтобы вы возились с этим ребенком. Мадам де Мирбель взяла его на свою ответственность. И нечего спихивать его на других.

— На этот раз я займусь им, мадам. — И Ксавье рассмеялся.

Доминика сказала:

— Я пройду вперед.

Они не закрыли за собой двери прихожей. Мирбель посмотрел им вслед.

— Куда они отправились? — спросила старуха.

— К Доминике, — сказала Мишель. — Я слышу их голоса.

— Надеюсь, — проворчала Бригитта Пиан, — что у него все же не хватит нахальства зайти к ней в комнату… Это было бы постыдно.

— Не волнуйтесь, — сказал Мирбель, — с ними Ролан.

— А я ни на что не намекала, — заверила Бригитта Пиан и тяжело откинулась в кресле. — Они оба, как он, так и она, не способны…

— Уж она-то, во всяком случае, только об этом и думает, если хотите знать, — сказала Мишель. Глаза ее пылали гневом.

— Доминика? Да ты с ума сошла, детка!

— Можете не сомневаться, что у нее есть виды на Ксавье. И меня нисколько не удивило бы, если бы я узнала, что вчера она уже начала к нему подкатываться. Но я наведу порядок, поверьте мне.

— Нет, не ходи к ним, а то дело кончится скандалом. Уж лучше я пойду, — сказал Жан.

Она помедлила, потом села.

— Ты мне расскажешь, что ты там увидишь. Наблюдай за ними внимательно.

Бригитта Пиан пожала плечами.

— Бедняжка, о чем ты говоришь! Что он увидит! Увидит, что они моют коленки Ролана и переобувают его!

— Ну знаете! — воскликнула Мишель. — В конце концов мне вообще на это плевать!

Но она все же подняла голову и стала прислушиваться.

Мирбель остановился у дверей комнаты Доминики. В тишине был слышен только приглушенный голос Ксавье. Мирбель заглянул в замочную скважину, ничего не увидел, но разобрал обрывки фраз:

— И тогда братья сказали друг другу: «Вот идет сновидец, в этой красивой разноцветной одежде он похож на разодетую обезьяну. Давайте изба-

вимся от него…»

— Они его убили? — взволнованно спросил Ролан.

— Нет, сейчас узнаешь, не перебивай, — сказала Доминика.

— Сперва они решили бросить его в ров — там как раз был ров, и он умер бы в нем от голода.

— Они его не бросили?

Жан де Мирбель постоял еще у двери: он тоже слушал рассказ Ксавье. Потом ушел, думая о том, что почувствовал старый Иаков, когда сыновья принесли окровавленную одежду Иосифа. Мирбель удивился: прошло столько лет, а он еще помнит про детскую одежду, замаранную кровью козла.

Когда он вернулся на крыльцо, Бригитта Пиан по-прежнему сидела в кресле. Мишель стояла подле нее.

— Вы не поверите! Он рассказывает мальчишке историю… историю Иосифа и его братьев.

— В самом деле? — удивилась Мишель. — И Доминика тоже слушает? Она не того ожидала. Представляю, какой у нее вид! Пойду-ка сама погляжу, — вдруг решила она.

Мирбель ринулся за ней, умоляя идти на цыпочках. Они стояли очень тихо; долгие минуты

из-за двери доносилось лишь неразборчивое бормотание, но вдруг голос Ксавье окреп:

— Это были его братья, он узнал их, но они… разве они могли узнать в этом молодом господине ненавистного им когда-то мальчика? Сдерживая слезы, он стал расспрашивать об их дряхлом отце, который был еще жив. Сердце у него разрывалось от нежности…

— А ведь они хотели его убить, они продали его в рабство!

— Это правда, Ролан, и все же, как видишь, несмотря на это, он их любил. Он был полон любви и к ним, его убийцам, и этим он походил на Иисуса, приход которого он предвосхитил на семнадцать веков. А главное, запомни: там был и Вениамин, мальчик твоего возраста, волосы у него были еще темнее твоих, а глаза такого же цвета, как у тебя. Но он оказался счастливей тебя, потому что у него были отец и братья…

— Но ведь братья были злые?

— Никто не бывает совсем злым: они любили отца, любили Вениамина и даже Иосифа, вот увидишь…

Вдруг Жан и Мишель услышали тяжелые, шаркающие шаги Бригитты Пиан по лестнице и содрогнулись от ужаса. Она держалась за перила

и останавливалась на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. Она добралась до них в тот момент, когда Ролан прервал рассказ Ксавье вопросами. Доминика рассердилась. Потом Ксавье продолжил свой рассказ, и мрачная группа за дверью вся превратилась в слух.

— Положить эту чашу в мешок Вениамина было гадко!

— Нет, ты увидишь… — сказала Доминика.

Теперь Ксавье снова говорил глухо. В коридоре стало трудно разбирать его слова. И вдруг раздался крик:

— «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда; потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их…

— Ой, вы тоже плачете, у вас текут настоящие слезы! — воскликнул Ролан.

Он сидел на коленях у Ксавье и пальчиком трогал его лицо.

— У вас совсем мокрые щеки, — не унимался он, пораженный тем, что такой большой парень

может плакать.

Ксавье, не стыдясь, утер слезы тыльной стороной ладони.

— Да, это глупо: когда мне было столько лет, сколько тебе, в этом месте: «Я Иосиф, брат ваш», — я всегда плакал.

— Я не помнила, что это такая прекрасная история, — сказала Доминика.

— А потом? — нетерпеливо сказал Ролан.

Голос Ксавье снова стал глухим, и стоявшие за дверью ничего уже не слышали, пока Ксавье весело не проскандировал: «Вот и сказка вся, дальше сказывать нельзя».

— Расскажите другую! — взмолился Ролан.

— Не надо приставать, это невежливо, — сказала Доминика.

— Нет, тебе наверняка хочется побегать. Да и мне тоже. Уверен, что в парке есть места, которых никто, кроме тебя, не знает…

— Ты показал бы ему свой остров, — сказала Доминика. — Во всем мире только мы трое будем про него знать.

Ролан вскочил, побежал к двери, распахнул ее и вскрикнул: мрачная тройка шарахнулась от него и кинулась к лестнице. Но Жан и Мишель тут же одумались.

— Мы пошли поглядеть, что вы тут так долго делаете.

— Я рассказывал ему одну историю.

— Историю про Иосифа и его злых братьев, — сказал Ролан, глаза его горели.

— Насколько я помню, в этой истории участвует мадам Потифар[17], — сказал Мирбель.

— Нет, — возразил Ролан. — Потифар там есть, но никакой мадам Потифар нету…

— Ясно, он выпустил самое интересное, — настаивал Мирбель. — А ведь это место он должен был бы помнить лучше всего.

— Вы напрасно теряете время, — сказал Ксавье, — у вас нет власти над мальчиком. Ангел-хранитель оградит его.

Мирбель схватил Ролана за плечо и выставил его из комнаты, потом подошел к Ксавье и спросил, не соблаговолит ли он дать ему наконец аудиенцию.

— Я полагаю, что дождался своей очереди?

Ксавье заметил, что Мирбель в бешенстве, но его это не трогало: он сам был спокоен, счастье

---

[17] Примечания: 17

Супруга хозяина Иосифа, находившегося в египетском рабстве, которая возжелала прекрасного юношу и захотела добиться его благосклонности. Когда же он вырвался от неё, она обвинила его в попытке изнасилования.

переполняло его. Он не сводил глаз с Доминики, а она нарочно смотрела в сторону, чтобы он мог не смущаясь любоваться ее лицом, шеей, худенькими, еще полудетскими руками. Сейчас они расстанутся. У них еще не возникло желание быть вместе, каждому хотелось побыть одному, чтобы думать о другом. Она взглянула на него лишь в тот момент, когда он вслед за Мирбелем выходил из комнаты, и шепнула:

— Значит, в четыре часа перед домом…

В парке Ксавье словно впервые увидел огромные сосны, и ему показалось, что они мрачным кольцом охватили переполнявшее его счастье. Как все-таки удачно, что Жан рядом с ним и что он сможет хоть с кем-то поговорить об этом удивительном повороте в его жизни. Краем уха он слышал, как монотонно и ворчливо гудит голос Жана. Он должен был хоть что-то сказать и поэтому спросил:

— Чего вы все тревожитесь понапрасну? Почему вы хотите быть несчастным? Почему вы нарочно причиняете себе боль?

— Это ты причиняешь мне боль, — сказал Мирбель. — Я не искал тебя, не вызывал на разговор. Ведь в поезде не я кинулся к тебе, а ты ко мне! Не вздумай отрицать!

Он не мог продолжать. Тогда Ксавье сказал:

— Вы мой друг. Никогда еще мне так не хотелось иметь друга, как сегодня.

— Значит, ты меня больше не боишься?

Ксавье покачал головой. Ветер нес дым от костра, который жгли на убранном поле, граничащем на востоке с парком. Они уселись на поросшем травой склоне, прогретом южным солнцем.

— Я обязан вам таким счастьем, — в волнении продолжал Ксавье. — Без вас…

Он хотел сказать: я не приехал бы в Ларжюзон, я не встретил бы Доминику.

— Ясно, — прервал его Мирбель. — Можешь ничего не добавлять.

Он поднялся и отошел на несколько шагов. Ксавье снова углубился в себя, но прежней радости в нем уже не было. Мирбель вернулся и опять сел рядом с Ксавье; он молчал и не сводил с него глаз. А потом вдруг сказал:

— Ты должен был рассказать Ролану историю не Иосифа, а Исаака.

И в ответ на недоуменный взгляд Ксавье пояснил:

— Твой бог любит человеческие жертвы, бедный мальчик!

Ксавье набирал в горсть песок и высыпал его

струйками между пальцев.

— Исаак не был принесен в жертву, — сказал Ксавье.

— А, ясно, куда ты клонишь! — воскликнул Мирбель со смехом. — Напоминаешь, что он женился на Ревекке.

И вдруг, резко изменив тон, сказал:

— А ты, мой дружочек, на Ревекке не женишься, заранее поставь на этом крест.

— Уж не думаете ли вы, что имеете надо мной большую власть, чем мадам Пиан над Доминикой? — произнес Ксавье дрожащим голосом.

— Да разве дело во мне или в старухе Пиан!

Мирбель снова встал. Ксавье взглянул на этого долговязого человека, стоящего на фоне неба, снизу вверх, как смотрят на дерево.

— Гляди-ка, какой Ганимед[18] нашелся! Ты знаешь историю Ганимеда?

— Оставьте меня! — закричал Ксавье.

Он опрометью бросился к ограде парка и перепрыгнул через нее. Но Мирбель уже шагал рядом с ним.

— Все же странно, что именно я должен тебе

---

[18] Примечания: 18

В греческой мифологии прекрасный юноша, сын троянского царя. Из-за своей необыкновенной красоты был похищен Зевсом, превратившегося в орла, и перенесен им на Олимп для любовных утех Громовержца.

напомнить, в чьих ты когтях.

Ксавье все ускорял и ускорял шаг, тщетно пытаясь уйти от Мирбеля, и упрямо твердил вполголоса:

— Нет, не через такого человека, как вы, нет, не через вас Бог будет говорить со мной.

За поворотом аллеи показался Ролан, он бежал им навстречу и кричал:

— Кушать подано! Кушать подано! — Он бросился к Ксавье, который схватил его на руки и подкинул в воздух.

— Ну и тяжелый же ты. Как маленький ослик.

И, стиснув мальчишку почти до боли, он прижал его к себе.

— А вы не догадались, что мой остров вот тут, рядом, — сказал Ролан. — Вы прошли мимо и не заметили его.

Ксавье поставил мальчика на землю и взял его за руку. Мирбель шел за ними на некотором расстоянии.

IV

Во время обеда он чувствовал, что все тайком за ним наблюдают. Нарушив гробовое молчание, он спросил, обедает ли Ролан вместе с ними.

— Нет, — ответил Мирбель, — он ест как свинья.

Бригитта Пиан добавила, что даже на кухне его не сажают за общий стол, а кормят отдельно в буфетной.

— Да, но это нехорошо, — живо откликнулась Мишель.

Она встала, распахнула окно и крикнула: — Ролан, ты здесь? Поднимись-ка к нам. Ты будешь обедать в столовой.

— А меня посадят рядом с мадемуазель? — послышался голос мальчика.

— Да, рядом с мадемуазель.

Мишель сама положила ему прибор. Он вошел и вскинул на Доминику сияющие от радости глаза, но она не обратила на него никакого внимания.

Она не сводила с Ксавье все того же нежного и ненавязчивого взгляда, который так потряс его два часа назад, когда он рассказывал историю

Иосифа. Но сейчас ему казалось, что это было так давно! И он уже не верил, что радость, которую он тогда испытал, к нему вернется. В нем снова стала вызревать тоска: нечеловеческим страданием было сидеть за этим столом, обедать вместе с этими людьми, которые окружали его, словно свора собак, сдерживаемая до поры до времени чьей-то невидимой рукой. А ведь Доминика по-прежнему опускала свои нежные и серьезные глаза, едва встретившись с ним взглядом. Ничто ведь не изменилось. Что ему еще надо? Вот оно, его спасение, протяни только руку, и все противоречия будут разрешены, все пропасти засыпаны. О, простая, истинная жизнь! Трудная жизнь человеческой пары, обремененной детьми, которых нужно кормить и воспитывать! На каждом повороте их каждодневного пути воздвигнуты скромные распятья, чтобы ты, Господи, был свидетелем этого жалкого счастья, слепленного из неудач, лишений, стыда, потерь, грехов и разрушенного отчаянием перед лицом смерти…

Октавия принесла почту вместе с кофе. Ксавье заметил, что на двух конвертах адрес был написан фиолетовыми чернилами, которые так любила его мать. Она написала одновременно и сыну, и Бригитте Пиан. Старуха сняла темные

очки.

— Письмо от вашей дорогой матушки. Оно, видно, разминулось с моим. Значит, вы ей сообщили, что находитесь здесь.

Да, Ксавье ей написал из Бордо. Для чтения Бригитта Пиан пользовалась лорнетом, но все же держала листки далеко от глаз. Она покачивала головой, тихонько цокала языком и явно с трудом удерживалась от восклицаний.

— Мне придется серьезно поговорить с вами, — сказала она, складывая письмо.

— О чем? — спросил Ксавье и поставил на камин пустую чашку.

Он услышал, как расхохотался Мирбель за развернутой газетой, которую он не читал, а только делал вид, что читает. Старуха нимало не смутилась.

— Прочтите письмо, адресованное вам, тогда, быть может, вы поймете, о чем идет речь.

Ксавье направился к двери, но, когда он проходил мимо Мирбеля, тот удержал его за руку:

— Сказать, что мне это напоминает? Уж не знаю, правда, как в ваше время комментировали в коллеже евангельский текст о крестном пути, который читают во время Великого поста. А у нас то место, где говорится, что Христа привязали

к кресту, священник пояснял так: «Но самым ужасным для Господа было то, что его наготу выставили на обозрение огромной толпе»…

Ксавье высвободил руку.

— Почему вы напоминаете мне эти слова?

Он вышел, бегом поднялся по лестнице, запер дверь на задвижку и упал ничком на кровать. Мирбель только что точно определил, что больше всего его терзает: его нагота выставлена напоказ. Но как тогда не прислушаться к тому, что он перед обедом услышал от этого ужасного человека о Доминике? Он поднялся, распечатал письмо матери, и у него возникло искушение сжечь его, не читая. Он зажег спичку, но тут же погасил ее и перекрестился.

«…Ни твой отец, ни я не верили, что ты пробудешь в семинарии больше двух-трех недель, но ты и тут умудрился найти способ превзойти наши худшие ожидания. Ты позволил спутнику — и какому спутнику! — похитить тебя — да, это слово здесь наиболее уместно, — похитить из поезда, который вез тебя в семинарию! Согласись, что есть от чего прийти в полное отчаяние и считать тебя погибшим! Но божественное провидение и на этот раз не покинуло нас — в Ларжюзоне оказалась Бригитта Пиан. Поверь

мне, бедное мое дитя: на такую милость нельзя было и надеяться. Чтобы ты до конца оценил эту милость, я должна тебе рассказать, что, едва получив твое письмо, я кинулась к твоему духовному наставнику, у которого еще лежала на столе записка, посланная тобой из Парижа. Так вот знай, что он не намерен даже тебе отвечать. И поступает он так отнюдь не из обиды, хоть ты и поставил его в весьма неловкое положение перед его парижскими коллегами, а лишь потому, что потерпел в борьбе за тебя, как он считает, полное поражение. Он не видит средства излечить неустойчивость твоей натуры. Он уверяет, что, когда наставник так жестоко ошибается в своем ученике, его долг — самоустраниться, исчезнуть. Ну вот, теперь ты все знаешь: рассчитывать на его помощь тебе нечего. А у мадам Пиан огромный опыт врачевания страждущих душ. Я одновременно написала письмо и тебе, и ей... Памятуя о нашем давнем, многолетнем знакомстве, о наших совместных усилиях на поприще благотворительности, а главное, о воле провидения, которое привело мадам Пиан в Ларжюзон именно в тот момент, как ты там появился, я позволила себе сообщить ей относительно тебя все, что мне представляется

необходимым. При этом я не сочла возможным умолчать о странных выходках, сопровождавших твою религиозную жизнь. Сообщила я ей также и о диагнозе твоего последнего духовного наставника: от такой неизлечимо легковесной натуры, как твоя, — ведь ты впадаешь в транс ложной благодати, что свидетельствует лишь о болезненной чувствительности, — ожидать решительно нечего. Кстати, по поводу этой твоей „болезненной чувствительности“ твой брат позволил себе ряд колкостей, но, щадя тебя, я решила их не приводить. Они меня весьма огорчили, хотя до конца я их так и не поняла. Однако тут я могла хоть встать на твою защиту, ибо никогда не сомневалась ни в твоей нравственности, ни в твоем равнодушии к соблазнам жизни. Благодарение Богу, ты никогда не придавал значения тем вещам, к которым так привержено большинство твоих сверстников. Но твой отец утверждает, что и в этом таится опасность, и не устает повторять, что даже от „откровенного мерзавца“ не было бы столько неприятностей, сколько от тебя. На эту тему я тоже посчитала себя обязанной дать ряд разъяснений мадам Пиан. Поэтому было бы весьма желательно, чтобы ты говорил с ней с открытым сердцем, даже более свободно,

чем со мной. Ничто ее не удивит. Она уже в том возрасте, когда можно все выслушать».

Ксавье зажег свечу и стал глядеть, как пламя медленно пожирает размашистые лиловые строчки, слово за словом, букву за буквой. Потом он устыдился своего порыва. Он приоткрыл дверь… В кабинете говорили все одновременно. Шум стоял такой, что Ксавье удалось незаметно спуститься с лестницы и выйти из дома. Он впервые пошел в городок. Грузные старухи, сидевшие с рукоделием на низеньких стульчиках у ворот домов, провожали его любопытными взглядами. Справа он увидел церковь, она возвышалась в конце улочки. Он чуть ли не в бешенстве принялся трясти дверь, но она была заперта на замок. Чей-то голос из-за приоткрытых ставен крикнул: «Ключ у пономарихи! Но она сейчас ушла в поле».

Ксавье подошел к окну и спросил, не вынесены ли святые дары из церкви.

— Не думаю, — ответил голос, — я знаю, что пономариха не гасит лампады в алтаре и каждый вечер дамы из имения приходят на святой час.

Ксавье поблагодарил и обошел вокруг церкви по запущенному кладбищу с поваленными памятниками, надписи на которых совсем стер-

лись. Крапива буйно разрослась на этой земле, где было погребено столько людей. Романская абсида[19] поднималась над дикорастущей зеленью, словно нос корабля, приплывшего неведомо откуда и застрявшего много веков назад в этой вязкой глине, удобренной человеческой плотью. Солнце еще грело. Осы гудели в темном плюще, гуд их не сливался с гомоном городка. Ксавье уперся лбом в камни абсиды — этого выпуклого лба божьего дома. Лампада, должно быть, горела там в полном одиночестве. Пленник, которого держали под замком, был там, по ту сторону стены. Ксавье не удивился бы, если бы древние камни, отделявшие его от того, кому он отдал свое сердце, вдруг расступились. Визг лесопилки, глухие удары валька прачки, перекличка петухов, лай собак, скрип телеги — все эти звуки, которые мертвые слышали каждый день, звуки забытой ими жизни, он, живой, сейчас не слышал. Но он вдруг почувствовал, что его левую голень невыносимо жжет крапива. Пробило четыре. Он вспомнил, что его ждут.

---

[19] Примечания: 19

Примыкающий к основному объему здания пониженный выступ полукруглой, граненой либо сложной формы в плане; этим термином почти всегда обозначаются лишь алтарные объемы.

V

— Ищешь своего друга?

Мишель и Жан встретились на повороте аллеи. Он ответил недобро:

— Ты его тоже ищешь? — но ее это не обидело. Ксавье не было в его комнате, и она не знала, куда он мог деться.

— Быть может, он пошел в город, чтобы узнать на вокзале расписание поездов? — предположила она.

— Он не уедет, пока здесь будет некая особа… — возразил Жан. — Во всяком случае, мне так кажется, — уточнил он.

— Ему было бы плевать на Доминику, если бы не этот мальчишка, — сказала Мишель. — Не понимаю, почему священники всегда так липнут к покинутым детям.

— Да потому, что эти души легко завоевать: никто на них не претендует. Протяни руку, и они твои. Их можно купить за воздушный шарик. Впрочем, большинство этих душ ищет только удовольствий, но священник рассуждает так: «Даже если из десяти я завладею одной…»

Жан говорил для самоуспокоения, с язвитель-

ной горячностью, будто хотел кого-то убедить. Мишель его не слушала. Вдруг он умолк, словно его осенила тайная мысль.

— Нет, — сказал он решительно, — не из-за Доминики он здесь остается, скорее, он уедет из-за нее…

Мишель перебила его:

— Не понимаю, почему…

Но он не решился раскрыть до конца свою мысль. Они медленно шли рядом, как прежде, объединенные общей тревогой. Ксавье не разделял их, напротив, в нем они снова обретали друг друга.

— Вряд ли Доминика хочет, чтобы он уехал, — сказала Мишель.

— Конечно, нет, но он, он! Ты еще не поняла, что он принадлежит к той породе людей, которые бегут от любимого человека.

Она пожала плечами:

— Что ты выдумываешь!

— Ну, конечно, это же ясно как дважды два. Они любят друг друга, — сказал он чуть ли не шепотом. — Это и слепому видно. Впрочем, ты и сама это отлично знаешь. Словно от нас с тобой может ускользнуть хоть что-то, что имеет отношение к этому странному существу!

— Я им интересуюсь из-за тебя, — возразила она. — Только ты меня интересуешь в нем.

Несколько шагов они прошли молча. Мирбель сказал приглушенным голосом:

— Если бы уехала старуха…

— Она с места не сдвинется без своей секретарши… Нет, ты только погляди на них!

Мишель подняла голову и увидела Доминику и Ксавье: они спускались к ручью, впереди них бежал Ролан. Доминика несла корзинку с полдником. Жана и Мишель они не заметили.

— Она добилась своего, — сказала Мишель.

Жан покачал головой:

— Словно с Ксавье можно чего-то добиться!

— Тогда что же тебе надо? На что ты надеешься?

— Ни на что, кроме того, чего уже добился…

И она повторила, пожимая плечами:

— Чего уже добился?.. А чего же ты, собственно говоря, добился?

— А ты подумай, где бы он сейчас был, — ответил Жан с жаром, — где он был бы уже несколько дней, не повстречай он меня…

— Одним семинаристом больше, одним меньше! Какая разница! Хороша победа!

Ее издевка, казалось, не тронула его. Она снова

пожала плечами, повторяя:

— Да это же безумие! Ты сошел с ума! Ты просто рехнулся.

Он не рассердился: он думал о своем.

— А потом, — продолжил он после паузы, — возможны и неожиданности. Если мы будем терпеливы, мы застанем его врасплох в минуту, когда он почувствует себя отторгнутым от Бога. Надо учитывать его возраст. Он не дошел еще до ненависти к творению божьему, куда там! Бог явился ему, овладел его душой прежде, чем он отрешился от веры. Я сказал ему это сегодня утром. Мистики придумали себе правила, этапы вознесения… Но святому духу на все это начхать. Поверь, Ксавье со всей его божьей благодатью не устоять перед нежным словом, перед лаской, если только она целомудренна… Поначалу…

— Да, — мрачно перебила его Мишель, — не устоять перед Доминикой.

— Доминикой?

Он остановился: они уже дошли до крыльца.

— От нас зависит, чтобы завтра ее тут не было… Нет, не иди со мной, — сказал он, увидев, что Мишель подымается за ним по ступенькам, — лучше мне одному объясниться со старухой.

— Тогда не притворяй двери, — сказала Ми-

шель. — Я буду слушать ваш разговор из прихожей.

VI

— А ведь, оказывается, твой остров, Ролан, вовсе не остров, а полуостров. — И так как мальчик стал спорить, добавил: — Ты же видишь, он соединен с землей…

Остров Ролана был всего лишь ольховым пнем, сползшим в ручей.

— Земля-то сырая, — сказала Доминика. — Здесь не расположишься.

Мальчик захныкал: ведь она обещала, что они будут полдничать на острове…

— Вот как раз отсюда видно, что надо сделать, чтобы твой остров стал по-настоящему островом, — сказал Ксавье. — Надо перекопать этот перешеек, прорыть канал. Это нам с тобой под силу.

Не утерев слез и не высморкавшись, Ролан тут же вызвался принести лопату — он хотел немедленно начать работу.

Доминика шепнула ему:

— Отличная мысль, беги скорей.

Пять минут туда, пять обратно… она будет наедине с Ксавье целых десять минут.

— Нет, — остановил Ролана Ксавье. — Сперва

поедим.

Мальчишка, кинувшийся было бежать, вернулся и уселся между ними. Доминика дала ему печенье и кусок шоколада. Ксавье взял гроздь винограда и поднял ее к свету:

— Какой он золотистый!

— У нас есть лимонад, — сказала Доминика, придвигая к себе корзину. — Кто хочет пить?

Казалось, она здесь только ради мальчика, да и Ксавье тоже внимательно слушал рассказ Ролана о том, какие садовые инструменты подарила ему мадам де Мирбель.

— Это было на Пасху, когда меня сюда привезли…

Мальчик словно не слышал замечания Доминики:

— Теперь они тебе уже ничего не дарят… — Он примостился возле Ксавье, хрупая сухое печенье.

— Какие у тебя грязные коленки! И тебе не стыдно?

— Представляете, на кого бы он был похож, если бы меня здесь не было, — вздохнула Доминика.

Вот и все слова, что они произнесли, пока сидели рядом — быть может, в последний раз — на стволе поваленной сосны мягким осенним днем, когда так медленно течет время. Водяные паучки

метались по поверхности воды, потом вдруг замирали на месте, и их уносило течением. Ролан крикнул сдавленным голосом:

— Белочка! Вон там… видите? Вон хвост торчит!.. — Мальчик хлопнул в ладоши, белка перемахнула на дуб, с него на сосну. Ролан побежал за ней, задрав голову.

Доминика еле слышно произнесла:

— Ксавье… — Он сидел не шевелясь, опустив глаза. Под черным пухом ни разу не бритых щек светилась детская кожа. Она уже склонила было голову на его неподвижное плечо, но тут прибежал Ролан: белка исчезла. Доминика спросила:

— А лопатка? Может, сбегаешь за ней?

— Не надо, — сказал Ксавье. — Сейчас уже поздно. Мы прокопаем канал завтра утром.

Ролан возразил, что светло будет до семи, и помчался к дому.

Доминика взяла Ксавье за руку и печально спросила:

— Вы боитесь меня?

Он жестом ответил, что нет, придвинулся к ней, они коснулись плечами. Ее ладонь легла на его ладонь, их пальцы сплелись. Они сидели так неподвижно, что стрекоза опустилась на колено Ксавье. За ручьем на лугу поднимался туман. С

проселка до них донеслись блеяние овец, гортанные крики пастуха, треньканье бубенцов. Доминика была в синих матерчатых туфлях на босу ногу. Ксавье тихонько сжал ее левую щиколотку и сказал:

— Вам холодно…

Она покачала головой и едва слышно вздохнула:

— Мне хорошо, я рядом с вами…

Он спросил:

— Это правда? Нет, не может быть!

— Вы не верите, что я счастлива с вами?

Доминика поглядела на него, и он понял, что она едва сдерживает слезы.

— Он сейчас вернется… — прошептала она.

Ксавье подумал, что она чего-то ждет от него… Хорошо бы обнять ее за плечи… Ведь он уже коснулся ее ноги чуть выше щиколотки… Какая у нее тоненькая рука! Он прикоснулся к ней губами и сказал:

— Ваша рука тоже озябла… — Наконец он привлек ее к себе, всем своим существом стремясь к этому счастью, в котором не было зла.

И тут они услышали, что у них за спиной всхлипывает Ролан. Они отодвинулись друг от друга.

— Что с тобой? У Доминики разболелась голова,

и она оперлась о мое плечо. Надеюсь, ты не из-за этого плачешь, дурачок?

Мальчишка так разрыдался, что не мог говорить. Доминика поправила волосы и спросила рассеянно:

— Ты не нашел инструментов? Не знаешь, где они?

— Нет, мадам Пиан послала меня за вами… Вы уедете! Вы уедете! Она вас увозит. Она уже заказала по телефону такси…

Оба разом встали. Ролан обхватил руками ноги Доминики и все твердил сквозь слезы:

— Вы уедете, вы уедете!..

— Но почему? Откуда ты это взял?

— Они поссорились, они ругались.

Кроме слов «они ругались», от Ролана ничего добиться не удалось. Все втроем они пошли по мокрому лугу.

— Может, он чего-нибудь не понял? — прошептала Доминика. — Что могло случиться? Ничего, все уладится, в конце концов они всегда делают вид, что помирились.

Ксавье спросил:

— Вы думаете? — Они не смели взглянуть друг на друга.

VII

Жан выполнил просьбу Мишель и оставил дверь в маленькую гостиную приоткрытой. Увидев Мирбеля, мадам Пиан положила свои четки из крупных бусин, перемежающихся образками, на круглый столик; ей достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что Жан пришел ссориться с ней и время тянуть не намерен. Он сказал, что рад застать ее одну, поскольку «у него к ней просьба», и придвинул к себе стул.

— Если это в моих силах… — начала Бригитта сладким голосом.

— Речь идет о Ксавье Дартижелонге…

— Ах, вот как, о Ксавье Дартижелонге? — повторила старуха. Она была начеку.

Плацдарм, выбранный Мирбелем для боя, был ей знаком. Она повторила вполголоса:

— Бедный мальчик, да… да… — И вдруг произнесла решительным тоном: — Что ж, хочешь знать мое мнение? Я во многом пересмотрела свое отношение к нему. Он еще ребенок, которого надо бы снова взять в руки.

— Вот, вот, — сказал Мирбель, — именно это я и ожидал от вас услышать. На этот счет я и хотел

вас предостеречь.

Она рассмеялась и приосанилась:

— Предостеречь меня? Меня?

— Учтите, мама, я буду решительно возражать, ежели вы попытаетесь, как только что выразились, «взять его в руки», начнете наставлять на путь истинный, говорить о призвании и вмешиваться в его внутреннюю жизнь. Я знаю, он бы от этого очень страдал.

Старуха и бровью не повела, лишь световые блики плясали в стеклах ее темных очков. Она прекрасно понимала, к чему он клонит. Мирбель не отступал:

— Ксавье — наш гость, не правда ли? И мы обязаны защитить Ксавье от всех посягательств на его свободу, даже если они продиктованы самыми лучшими намерениями, в чем, вы сами знаете, я не сомневаюсь.

Мирбель удивился, что Бригитта Пиан словно пропустила мимо ушей его атаку. И, сам того не замечая, все больше повышал тон:

— Ваше рвение ослепляет вас и толкает на опасный путь. Только вы одна не поняли, как неприлично было с вашей стороны говорить при всех о письме, которое вы получили от его идиотки матери, совершенно неспособной понять

душевные движения такой исключительной натуры. Я не допущу, чтобы в нашем доме помогали ей преследовать сына. Короче говоря, мама, я прошу вас отныне не вести больше никаких разговоров с моим другом и даже не позволять себе намека на ту внутреннюю борьбу, которая в нем сейчас происходит.

Бригитта Пиан сидела как изваяние. Когда Мирбель умолк, она сняла очки — в ее темных глазах был невозмутимый покой. Прежде чем ответить, она повела плечами и улыбнулась, предвкушая впечатление, которое произведут ее слова:

— Мой бедный Жан! Наверно, я тебя очень удивлю, но я совершенно согласна с тобой: лучше не вмешиваться в эту историю, и все же я вынуждена поступить иначе из-за письма мадам Дартижелонг. Однако я отнюдь не намерена ни на чем настаивать и лишь скажу ему то, что обязана сказать…

— Да бросьте! Словно вы не угрожали ему вашей опекой…

— Вовсе нет! Я только предупредила его, что хочу с ним побеседовать. Однако, если только он сам меня к этому не вынудит, я твердо решила не касаться в нашем разговоре лично его и уважать его секреты, как, впрочем, я всегда поступаю в

таких случаях. Мой долг — поговорить с ним о другом человеке…

— О другом?

— Да, да, о тебе, мое дорогое дитя, если ты уж так хочешь это знать. Как он ни наивен, я не сомневаюсь, что он тебя во многом разгадал. Но что бы он ни думал о тебе, это, наверно, еще весьма далеко от действительности. Ты не можешь со мной не согласиться, что даже этой «исключительной натуре» — так ты, кажется, его назвал — не разобраться до конца в такой твари, как ты…

Опершись обеими руками на палку, она величественно поднялась и с жалостью поглядела на своего слабого, криво усмехающегося противника.

— Соблаговоли мне поверить — я обещаю рассказать о тебе лишь то немногое, что, как мне кажется, необходимо срочно узнать вашему гостю. Ты сам понимаешь, я не стану удовольствия ради ни дискредитировать тебя в его глазах, ни злословить на твой счет. Я уже не в том возрасте, чтобы делать такие глупости. Бояться меня тебе нечего, ибо я руководствуюсь исключительно соображениями милосердия. А проявление высшего милосердия по отношению к таким людям, как ты, состоит в том, чтобы их обезвредить.

Жан схватил со стола пресс-папье. Старуха не шелохнулась, она стояла все в той же позе и глядела на него с улыбкой. Он положил пресс-папье на место, отошел от нее на несколько шагов и уткнулся лбом в стекло, выжидая, пока утихнет сердцебиение. Ценой невероятных усилий ему удалось почти тут же взять себя в руки. Когда он повернулся к Бригитте Пиан, он был уже спокоен.

— Я не хочу Ксавье зла, — сказал он наконец. — Но быть может, вы правы: вполне вероятно, что я, сам того не желая, могу ему навредить.

— Вот это уже разумные слова, — сказала Бригитта, не спуская с него глаз.

— О, — вздохнул он, — я давно знаю, что с вами бесполезно хитрить.

— Во всяком случае, я достаточно хитра, чтобы ждать подвоха, когда ты становишься чересчур обходительным…

И она рассмеялась, стараясь поймать его ускользающий взгляд.

— Вы ошибаетесь, мама, — сказал Жан и снова сел, придвинув стул к ее креслу. Теперь их разделял только круглый столик. — За долгие годы нашего знакомства мне, кажется, не раз случалось вам исповедоваться!

— Да, это правда. Когда тебе было шестнадцать лет…

Он передернул плечами.

— Мне всегда шестнадцать лет, — сказал он, помолчав. — Что ж, не стану отрицать, я хочу, чтобы вы уехали, потому что я ревную… Странно, что дружбе свойственна ревность, не правда ли?

Бригитта Пиан дернула головой, как старая лошадь. Она спросила тихо:

— Неужели я кажусь тебе опасной?

Он уперся локтями в колени, напряженность его взгляда исчезла, выражение лица стало доверчивым.

— Я имею в виду Доминику, — сказал он. — Я не могу с этим смириться. Никогда еще я не чувствовал себя до такой степени в дураках.

Он не глядел на Бригитту. Она могла бы подумать, что он забыл о ее присутствии. Он даже вздрогнул, когда она обратилась к нему:

— При чем здесь Доминика?

Он улыбнулся и несколько раз повторил, явно забавляясь:

— Ну, мама, мама! — И вдруг добавил: — Неужели вы не знаете, что они сейчас вместе?

Нет, ей это трудно допустить. Доминика попросила у нее разрешения устроить для мальчика

пикник на берегу ручья.

Жан снова отошел к окну, потом со спокойным, беспечным видом, руки в карманах, вернулся к мадам Пиан.

— Надеюсь, вы не собираетесь сделать из вашей Доминики монахиню? Согласитесь, что у нее нет к этому склонности.

Старуха взяла со столика четки и стиснула их в правой руке.

— Уж не сердитесь ли вы? — спросил он. — Ведь, в конце концов, для Доминики тут нет ничего худого. Вы должны бы радоваться, что у нее появилась такая надежда, — ведь что бы вы ни говорили, их отношения зашли довольно далеко. Знаете, Ксавье со мной говорил об этом. Он верит, что сам Господь Бог занят устройством его судьбы, он не сомневается в том, что провидение подстроило нашу встречу в парижском поезде, чтобы я привез его в Ларжюзон, где он соблазнит секретаршу мадам Пиан… Ох уж эти мне христиане!

Он захохотал. Старуха шевелила губами — она шептала молитву, но гнев, клокотавший в ней, помимо ее воли выражался в старческом дрожании головы, унять которое она была не в силах. А Мирбель, все еще смеясь, продолжал:

— Дорого бы я дал, чтобы взглянуть на физиономию мамаши Дартижелонг в тот момент, когда она узнает, что ее меньшой, сбежав из духовной семинарии, соблазнил секретаршу Бригитты Пиан и собирается жениться на этой девице, которая вдобавок еще и незаконнорожденная! Правда, в подобных браках отсутствие родни является преимуществом, которое не следует недооценивать.

— Дартижелонги могут спать спокойно.

Хотя старуха сказала эту фразу, не повышая голоса, он понял, что она вот-вот взорвется.

— Вы забываете, — сказал он, — что ни Ксавье, ни Доминика не нуждаются в чьем-либо благословении.

— В моем, положим, она нуждается, — проскрипела старуха, не разжимая вставных челюстей.

— Да, правда, — согласился Мирбель, — она всецело зависит от вас. Но вы же так милосердны, так к ней привязаны, я не могу поверить, что вы станете вынимать у нее кусок изо рта. Нет, мама, последуйте моему примеру: примиритесь с их счастьем.

Тут она оперлась на палку и выпрямилась.

— Я запрещаю тебе… словно у тебя со мной может быть хоть что-то общее… Словно мы можем испытывать одинаковые чувства… — бормотала

она.

Она задыхалась.

— Вы не можете обойтись без нее, признайтесь в этом, ну! — проговорил он жестко. — Вам необходимо купаться в молодой крови, не в буквальном смысле, конечно. Когда старики окружают себя молодыми, они напоминают мне вампиров, мне всегда так казалось…

Она закричала:

— Вампиров?

И он увидел, как ее всю затрясло, словно в лихорадке, а голова судорожно задергалась из стороны в сторону.

— Моя вина лишь в том, — голос ее срывался, — что я обрекла молодую девушку на гибельное соседство с вами!..

И старуха опрометью кинулась из комнаты, забыв о своих подагрических ногах. В прихожей они увидели Мишель и Ролана.

— Где это ты умудрился так вымазаться? — допытывалась Мишель у мальчика.

Он ответил, что прибежал за инструментами, потому что его остров оказался полуостровом и потому что дяденька сейчас начнет копать канал. От быстрого бега Ролан запыхался и говорил запинаясь. Он было рванулся назад, но Бригитта

Пиан схватила его за руку:

— Мсье ждет тебя там? Ты оставил его одного?

— Нет, что вы! Он там с мадемуазель.

Супруги Мирбель громко расхохотались. Мальчик глядел на них с изумлением: он никогда не видел, чтобы они смеялись. Разинув рот, он с опаской поглядывал на этих обычно грозных и страшных взрослых, которые сейчас почему-то заходились от смеха.

— Пожалуйста, не торопись к ним, — сказал Мирбель. — Тебе некуда спешить.

И вот тут-то и разыгралась та странная сцена, в которой он ничего не понял, кроме того, что «они ругались». Они ругались — вот и все, что он смог рассказать Ксавье и Доминике.

— Ступай и скажи мадемуазель Доминике, что я ее жду: надо уложить чемоданы и позвонить в гараж. Мы уедем на машине. Я заплачу, сколько бы это ни стоило, лишь бы не ночевать здесь сегодня.

Именно эту фразу и запомнил Ролан, а когда они втроем шли к дому по мокрому лугу, Доминика заставила мальчика сызнова все повторить:

— Да, она сказала, что вы должны позвонить в гараж и заказать машину и что она заплатит, сколько бы это ни стоило…

Ксавье шел сзади. Луг был заболоченный, башмаки вязли в трясине и чавкали при каждом шаге. Он шел следом за Домиником, неотрывно глядя на ее плечи. Иногда она полуоборачивалась к нему, продолжая внимательно слушать рассказ шмыгающего носом мальчишки.

Потом она сказала, не глядя на Ксавье:

— Не задерживайтесь здесь ни дня. Вы же свободны. Бордо — большой город, и я никому не должна давать отчет, куда я хожу.

Он ничего не ответил и остался у крыльца, а Доминика с мальчиком поднялись по лестнице и скрылись в прихожей. Нет, между ними не стояло никакого препятствия, ничего, кроме чувства, которое зрело внутри его, кроме этого идиотского бегства от самого себя, словно любовь ему заказана, ему, который только и умеет, что любить. Так стоял он, глядя на этот унылый дом с потрескавшейся кое-где штукатуркой, на эти выщербленные ступени, а осенний ветер тормошил черные верхушки сосен. Вечерний туман поднимался над лугом, затягивая пеленой дальний лес. Ксавье не смел войти в дом, хотя оттуда не доносилось ни звука. Даже если эта история, ради которой он готов поставить на карту свою жизнь, — истина, хотя этому нет ровным счетом

никаких доказательств, почему же надо отделять себя от стада? Ведь он такой, как все… Но в то время как эта привычная мысль кружилась у него в голове, подобно тем осенним листьям, которые ветер, подняв в воздух, снова швырнул к его ногам, он вслух шептал слова латинской молитвы: «…vita, dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes…»[20] Стеная и плача… Он любит, он любим, зачем стенать, зачем плакать? Ксавье торопливо взбежал по ступеням и вошел в прихожую. Ролан сидел на ящике для дров, он размазывал по лицу слезы и сопли. Ксавье спросил, где Доминика.

— Она говорит по телефону в библиотеке, — сказал мальчик и добавил, не глядя на него: — Она послала меня за вами…

— Что же ты не позвал меня?

Он не ответил и отвернулся к стене. Ксавье положил ладонь на круглую, коротко остриженную мальчишечью голову, но Ролан отстранился. Господи, уже ревность! Ксавье пересек столовую и вошел в маленькую комнату, которую почему-то называли библиотекой, хотя на полках стояли

---

[20] Примечания: 20

…жизнь, сладость и надежда наша, славься! К тебе взываем, изгнанные сыновья Евы. По тебе тоскуем, стеная и плача… *(лат).*

только переплетенные комплекты журнала «Мир в иллюстрациях» за многие годы. Увидя Ксавье, Доминика, не положив трубку, жестом попросила его не уходить:

— Договорились. Мы оплатим и обратный путь. Да, по ночному тарифу… — Она так и стояла, протянув левую руку к Ксавье, а он после мгновенной борьбы с самим собой сжал ее. Доминика положила трубку. Обняв ее одной рукой, Ксавье другой рукой прижал ее голову к своему плечу, чтобы их губы не встретились. Большая осенняя муха билась о стекло. Крышка стола, за которым дети семейства Пиан испокон веков готовили летние задания, была сплошь покрыта озерами выцветших чернильных клякс и процарапанными ножом контурами каких-то зверей — этими неразгаданными иероглифами исчезнувшего детства. Доминика первая отпрянула от него и прошептала:

— Будем благоразумны… Нет человека свободнее вас! В двадцать два года вы еще имеете право жить у родителей. Будете слушать лекции; в конце концов, вы — студент… Ну а я… Я не могу поссориться со старухой. Я ей обязана местом учительницы в приходской школе. А у меня ведь брат на руках. О! Перехитрить ее невозможно…

Но, слава Богу, она больше не выходит из дома одна, целыми днями сидит в кресле… Ну скажите же хоть что-нибудь! — добавила она нежно, но настойчиво. Он прошептал:

— Я вас слушаю…

— Какую ошибку я совершила, согласившись ради экономии поселиться у мадам Пиан.

Ксавье сказал, что так оно, пожалуй, и лучше…

— Да что вы! Впрочем, у меня есть подруга, которая в случае чего пустит нас к себе в комнату…

Губительные слова! Доминика поняла это слишком поздно. Ксавье отошел от нее, и она не пыталась приблизиться к нему снова.

— Нет, нет, мы будем встречаться на улице. — Она пыталась сгладить впечатление, которое произвели на него ее слова. — Знаете, мне ничего не надо, лишь бы не потерять вас…

Окно в библиотеке было узкое, к тому же смеркалось, и он видел только ее волосы, резко очерченные скулы и обнаженные до локтя руки. Он слышал, как бьется о стекло муха, чувствовал запах старых чернил и заплесневелой бумаги — запах этой минуты, которую он будет помнить до самой смерти. Он полуприкрыл глаза, она не смела шелохнуться, вздохнула.

— Вас словно кто-то сглазил…

Он ничего не ответил, и она сказала:

— Быть может, это просто безумие…

— Да, — сказал он тихо. — Безумие.

— Вы излечитесь. Я вас вылечу. — Она подошла к нему, но не коснулась его, а только спросила: — Вы меня любите?

— Больше всех на свете.

— Тогда в чем же дело? — взмолилась она.

Но он не сказал ей ни единого слова, не ответил ни единым жестом. Так стояли они в полутьме и не двинулись с места, даже когда в столовой раздался стук палки Бригитты Пиан. Старуха толкнула дверь библиотеки, ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что стоящих на расстоянии молодых людей неотвратимо тянет друг к другу.

— Долго же вы, однако, звоните по телефону, дитя мое.

— Мы разговаривали, — сказала Доминика.

— Но ведь чемоданы еще не уложены. Я не хочу, чтобы мы остались здесь ночевать. Пообедаем по дороге, если вы голодны.

Старуха не выглядела рассерженной и посторонилась, чтобы пропустить Доминику. Она повременила, пока девушка не прошла через столовую, и только тогда повернулась к Ксавье:

— Не знаю, право, что мне сказать вашей бедной матушке, потому что она наверняка будет спрашивать о вас.

Он различал смутные очертания задрапированного темной материей грузного тела и белесые пятна лба и щек. Он слышал сопение этой старой загнанной кобылы. Но все же — он это остро ощущал — она источала ледяной холод, она вся была гигантским сгустком ненависти.

— Подумать только, дорогая мадам Дартижелонг верит, будто я могу вам чем-то помочь, а вы вот до чего докатились…

Ксавье ничего не ответил этому существу без пола и возраста; он словно выпал из времени. Он тщетно пытался отделаться от трех слов из «Страстей господних», которые не шли у него из головы: «Jesus autem tacebat…»[21] И тоже молчал, в то время как Парка[22] изрекала заранее обдуманные фразы:

— Я полагаю, бедное дитя мое, что вы не случайно повстречали человека одних с вами склонностей и не случайно последовали за ним сюда. Я сомневаюсь, что он может причинить

---

[21] Примечания: 21
Но Иисус молчал… (лат.).

[22] Примечания: 22
Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии.

вам серьезный вред. Подумать только, что еще час назад я была полна тревоги на этот счет, но теперь у меня сложилось твердое убеждение — однако уверяю вас, я не поставлю об этом в известность вашу дорогую матушку, — что вам уже нельзя причинить никакого вреда. Жан и вы — вы оба источаете яд.

Она ждала от Ксавье каких-то слов, но он стоял молча, будто одинокое деревце в ночи.

— Правда, я увожу от вас предмет ваших воздыханий, быть может, без нее вам станет скучно и вы здесь не задержитесь. Но я возвращаюсь к своему вопросу: что мне сказать вашей бедной матушке?

— Правду, мадам Пиан, если вы ее знаете.

Старуха не ожидала такого ответа. Она двинулась было к двери, но остановилась:

— Несмотря на все, что я сказала, не приходите в отчаяние. Вы еще молоды, ничто не потеряно. Я буду молиться за вас.

Его упорное молчание теперь уже тревожило ее.

— В конце концов, я могу и ошибаться на ваш счет.

Он отвернулся. Бригитта Пиан вышла из комнаты ощупью, как слепая, прошла по столовой,

потом вдруг повернула назад. Дверь библиотеки оставалась открытой. Она не сразу увидела Ксавье и удивилась, куда же он мог деваться. Ах, вот он! — эта темная масса на полу. Ксавье стоял на коленях, привалившись к столу и уперев лоб в руки. На его опущенные плечи, казалось, давила непомерная тяжесть.

* * *

— Самое ужасное, Мишель, самое ужасное из всего, что я сделал, что я хладнокровно задумал и уже стал осуществлять...

— Не рассказывай мне этого.

— Даже если бы я хотел рассказать, у меня, скорее всего, не нашлось бы слов. Когда я был на исповеди, я не сумел растолковать священнику, в чем дело... Ты знаешь, Мишель, я всегда ненавидел Ролана. Ты хотела его усыновить, потому что потеряла надежду стать матерью. Он был одновременно и живым упреком мне, и злой насмешкой. И вот Ксавье, покружившись около каждого из нас, именно на нем остановил свой окончательный выбор! Причем не по сердечной склонности, а лишь потому, что мальчишке угрожала та же участь, что и котятам, которых я утопил на другой день после нашего приезда

сюда. Ради этого жалкого существа Ксавье отказался от своего земного счастья, отказался от Доминики, ради него он пожертвовал Доминикой... А я? Кем я был для него? Разве что одним из орудий его пытки. Я был частью его крестных мук. Пойми меня: дело тут не в ревности, свойственной и дружбе, и любви. Тут нечто совсем другое. И тогда я выдумал...

Он замолчал. Она надеялась, что он остановится. Но он заговорил вновь:

— Я не всегда понимаю причины своих поступков и почти ничего не делаю преднамеренно... Но в данном случае это было именно так. Ксавье видел в Ролане одну из тех невинных душ, чей ангел созерцает лик Господень. Так вот, я сделал вид, что считаю его нежность к мальчику... не смею тебе сказать... Я дал ему понять, что подозреваю его... Я преследовал его двусмысленными намеками. Помню, как на лице бедняги сперва отразился ужас, а потом смятение... Отодвинься от меня, пожалуйста.

Она на мгновение застыла, прижавшись губами к его шее.

— А я? А я? — сказала она. — Я до смерти ревновала его к Доминике. Как только я увидела Ксавье, мне захотелось любой ценой покорить

его. Каждый мой взгляд, брошенный на него, был грешным... Впрочем, ты это знал, ты был моим сообщником. Я служила тебе приманкой, чтобы увлечь его, чтобы удержать его здесь...

Он зажал ей рот ладонью. Они долго молчали. Вдруг Жан сказал:

— Знаешь, что мне сейчас пришло в голову: наверно, он больше всего страдал оттого, что его появление в Ларжюзоне вызвало такой взрыв темных страстей, что он погубил всех, кого хотел спасти.

— Если только он не знал — а ведь он все всегда знал наперед, — что каждый из нас должен пройти этот путь, чтобы обрести душевный покой, именно этот путь, а не другой.

Жан протянул руку и зажег свет.

— Погляди на меня, Мишель, — сказал он. — Поглядим друг на друга. Как ты смеешь говорить, что мы обрели покой? Подумай, во что превратилась наша жизнь с тех пор, как его не стало!

Она села на кровати. Она вздохнула.

— Мы страдаем, но мы не опустошены, как прежде. Ты сам это признаешь. Он отдал тебе свою жизненную силу. Разве не так?

Жан помолчал, потом сказал шепотом:

— Да, это правда. Да, я никогда не страдал так,

как сейчас, и все же я обрел душевный покой, хотя никогда прежде его не знал; в детстве скотина опекун бил меня смертным боем, а однажды я застал свою обожаемую мать…

На этот раз Мишель закрыла ему рот ладонью.

— Ты веришь в то, во что верил Ксавье? — спросила она.

Он не стал отрицать.

— Да, Мишель. Теперь я знаю, что в этом мире существует любовь. Но она распята, эта любовь, и мы вместе с нею.

VIII

Жан вошел в комнату Мишель. Она вязала у почти прогоревшего камина, укутавшись в шаль, — вот так, наверно, она будет выглядеть, когда состарится.

— Уже совсем темно. Зажечь лампу? Нет. Чтобы вязать, света хватает.

— Ну вот, — сказал он. — Чемоданы сложены. Сейчас придет машина.

Мишель не подняла головы. Она спросила:

— А он?

Жан сделал неопределенный жест рукой:

— По-моему, он останется.

Мишель опустила вязанье на колени и, сосредоточенно глядя на огонь, прошептала:

— Отпусти его. Он привез тебя, больше он ничего сделать не может.

— Если он останется, — мрачно сказал Мирбель, — то не ради нас. Если он останется…

— То ради Ролана?.. Ты думаешь?

— Зачем ты меня об этом спрашиваешь, если сама знаешь?

Она не ответила и снова взялась за вязание. Оба долго молчали.

— Если бы еще это был симпатичный мальчишка, ведь столько детей, которых так и хочется расцеловать!..

Мирбель пожал плечами.

— Даже эти милые дети в конце концов всегда оборачиваются ревущими обезьянами…

— Да, может, ты и прав, — вздохнула Мишель. — Чужие дети…

Он вскочил, опрокинув стул, и подошел к темному окну.

— Вот и машина, — сказал он. Мотор работал с перебоями. Они услышали, как Доминика крикнула из окна шоферу, чтобы он поднялся за вещами.

— Выйдем?

Мишель встала; Жан был в нерешительности: идти или нет? «Мы ведь такого друг другу наговорили…» И тут до них донесся из прихожей душераздирающий вой смертельно раненного зверя.

— Это Ролан! Ну что за ребенок!

Мирбель побежал вниз, но остановился на повороте лестницы и перегнулся через перила. Мальчик обхватил обеими руками ноги Доминики, прижался к ней.

— Хочу уехать с вами, возьмите меня с собой! —

Он лягал Ксавье, пытавшегося его оттащить. Бригитта Пиан, уже сидевшая в машине, не обращала ни малейшего внимания на эту сцену. А когда Ксавье в который раз повторил: «Но я же остаюсь», — мальчик вдруг заорал в приступе бешенства:

— Вы! На кой вы мне сдались!

Он оторвался от Доминики, повернул к Ксавье свое искаженное ненавистью личико:

— Плевать я хотел на вас!

— Я тебе напишу, — сказала Доминика. — Я не потеряю тебя из виду. Я буду следить за тобой издалека.

— Издалека… Издалека!.. — застонал Ролан и снова вцепился в ее подол.

В этот момент в прихожей появился Жан де Мирбель. Он не спеша направился к мальчику; увидев его, Ролан отпустил Доминику и замер. Взъерошенный, безмолвный, он походил на зачарованную змеей птицу.

Мирбель сказал Доминике:

— Садитесь скорей в машину, я удержу его взглядом.

Она повернулась к Ксавье:

— Вы позаботитесь о нем?

Ксавье улыбнулся. Доминика наклонилась к

Ролану, торопливо чмокнула его и села в такси. Когда машина тронулась, мальчик, очнувшись от оцепенения, закричал и бросился по ступенькам вниз. Мирбель схватил Ролана за шиворот и, зажав под мышкой его содрогающееся тельце, пересек столовую, пихнул мальчика в библиотеку и запер дверь на ключ. Ключ он положил в карман.

— У тебя впереди целая ночь, чтобы одуматься. К утру придешь в себя, тогда поговорим.

В прихожей Мирбель увидел Мишель и Ксавье — они о чем-то беседовали вполголоса, но при его появлении тут же замолчали.

— Я запрещаю всем заниматься ребенком и разговаривать с ним.

— С тобой самим так обращались в детстве, и ты страдаешь от этого всю жизнь, — сказала Мишель. И добавила, помолчав: — Он ведь должен есть и пить, и спать по-человечески!..

— Там есть диван, — холодно ответил Мирбель, — я отнесу ему кусок хлеба и одеяло… и ночной горшок, как кошке ставят ящик с песком.

И Мирбель рассмеялся.

— Он умрет от страха, — сказал Ксавье.

Но Мирбелю никогда не приходилось видеть человека, который умер бы от страха.

— Сейчас подадут ужин, — сказала Мишель.

— Нет, нет, — Ксавье заверил их, что не болен, но по вечерам ему обычно не хочется есть, он просит Мишель извинить его.

— Наш гость просто не в настроении, — буркнул Мирбель.

Ксавье промолчал, он ждал, пока они уйдут в кабинет. Больше не было слышно, как всхлипывает мальчик, и эта тишина казалась страшнее крика. Ксавье вышел на крыльцо и медленно спустился по ступеням. Луна сквозь тучи тускло освещала прогалины парка — их с каждым годом становилось все больше в Ларжюзоне: старые сосны умирали. Что делает в эту минуту отчаявшийся мальчик в темной библиотеке? А Доминика, которая мчится сейчас в автомобиле в Бордо, пленница старой ведьмы? А супруги Мирбель, сидящие друг против друга за обедом в мрачной столовой? А он сам, что он здесь делает? Почему он страдает из-за этих чужих людей? Потому что причина его мук они, а не Доминика. К ней он может поехать хоть завтра, это зависит только от него, — и тогда они увидятся вновь. Но вот как быть с другими? Ветка коснулась его лица, царапнула, словно мокрым когтем. Он и не заметил, как сошел с аллеи. Какой-то зверек прошмыгнул

прямо под ногами, шурша сухими листьями. Где-то, все тише и тише, перекрикивались две совы. Он сделал несколько шагов, и нога его уперлась в ствол поваленной сосны. Он сел, и его пронизала холодная сырость. Как враждебна природа! Но дурно желать смерти. Совершить самоубийство в сердце своем так же безнравственно, как и прелюбодеяние. Он встал, пошел на огонек лампы, горевшей в прихожей, и сквозь застекленную дверь увидел, как Мишель вышла из столовой. Жан шел следом, они ругались — видимо, из-за Ролана. Ксавье остановился на крыльце. Голоса умолкли. Он представил себе, как Мишель сидит сейчас в кабинете, склонившись над вязанием, а Жан устроился подле нее, вытянув ноги и засунув руки в карманы вельветовых брюк. И вдруг Ксавье заметил в прихожей Мирбеля, он едва успел попятиться, чтобы отступить в тень.

— Ты здесь, Ксавье?

Мирбель шагнул в темноту, вытянув руку вперед.

— А, вот ты где…

— Выпустите его, Жан, это слишком жестоко.

Они стояли почти вплотную друг к другу.

— Ты в этом виноват, — сказал Мирбель тихо. — Из-за тебя я озлобился.

Ксавье спросил:

— Что я вам сделал?

Жан, смеясь, повторил вопрос:

— Что ты мне сделал? Ты еще спрашиваешь, что ты мне сделал?

— Какова бы ни была моя вина, малыш невинен.

А Мирбель все смеялся:

— Вот именно! Невинные расплачиваются за всех — это ведь основа вашего ученья... Да ты и сам понимаешь, мальчишка в таком состоянии способен на все. Если случится несчастье, ты себе никогда не простишь.

Ксавье отстранил Мирбеля и прошел в столовую. Из библиотеки не доносилось ни единого звука. Он позвал:

— Ролан! — Ответа не было, и тогда он взмолился: — Скажи хоть слово, хоть одно слово!..

Ксавье услышал, как Мирбель хмыкнул за его спиной:

— Притворяется, будто околел!

Ксавье забарабанил кулаками в дверь. За дверью раздался искаженный бешенством голос:

— Да отстаньте вы от меня!..

Ксавье с облегчением вздохнул. Ролан был тут, он жив.

— Ну, получил? — воскликнул Мирбель, все еще смеясь.

Ксавье молча взял подсвечник со стола в прихожей.

— Скорее бы кончилась эта так дурно начавшаяся ночь! Завтра утром вы посмотрите на это другими глазами, в вас проснется жалость.

— Жалость к кому? К этому насекомому, которое даже не имеешь права раздавить?..

— Нет, нет, — прервал его Ксавье. — Вы не желаете ему зла, вы не сделаете ему ничего плохого: ведь рано или поздно и нас с вами постигнет та же участь, что и его…

— Кретин, — пробурчал Мирбель. — Но понаблюдай-ка за ним — он уже мужчина: обожает Доминику, ненавидит тебя. Это в десять-то лет! Кстати, я полагаю, что детям, которых приводили к Христу, было не больше четырех-пяти лет. Как ты думаешь?

Ксавье не ответил, он поднялся по лестнице и резко захлопнул за собой дверь. Он не мог слушать, когда Мирбель говорил о Христе, даже если тот и не богохульствовал. Ксавье сел на стул, «чтобы думать», как он говорил, когда был еще школьником. «Что ты сидишь один, почему не играешь?» — «Я думаю о разных вещах»… Ему

хотелось бы думать только о Доминике. Но он не поедет к ней до тех пор, пока не передаст Ролана в надежные руки… А может, увезти его с собой? Чтобы вновь увидеть Доминику, Ролан, конечно, поедет с ним хоть на край света… Но дом Дартижелонгов такой негостеприимный. Не потерять мальчика из виду — это все, что он может пока для него сделать. Ксавье будет бдительно охранять его интересы. Не надо заглядывать далеко вперед. Нужно делать то, что нужно сегодня, сейчас, здесь: не бросать Ролана ни на день, ни на час, ни на секунду. Лучше умереть, чем бросить его на произвол судьбы. Даже если все сговорятся вышвырнуть его на улицу, я буду его верным стражем.

Запел петух, обманутый ярким светом луны. Над Ларжюзоном стоял непрекращавшийся стон — стон леса. Звук этот не ослабевал и не усиливался, словно ровная сдержанная жалоба несметной толпы, где ни одно сердце не стенает громче другого. Невозможно молиться: перед глазами стоял Ролан, за ним Доминика, все его мысли были сосредоточены только на этих двух лицах. Тогда он достал из кармана четки, эту цепь черных бус, самое последнее, самое ничтожное, самое позорное средство заставить себя молиться

в те минуты, когда меньше всего чувствуешь себя на это способным. И тело на сей раз восторжествовало над непокорным духом. Монотонный ритм молитвы слился со стенаниями парка, где хозяйничал западный ветер. Он слушал, как отворяются и хлопают двери, как течет вода из крана, как стучит ставень, потом кто-то закрепил его на крючок. Он узнал шаги Мишель — она спускалась по лестнице. Должно быть, хотела удостовериться, что в библиотеке ничего не случилось. Она сразу же поднялась к себе и заперла дверь на задвижку.

Когда дом заснул, Ксавье взял коробок спичек и, сняв башмаки, вышел из комнаты. Не скрипнув ни одной половицей, он дошел в шерстяных носках до библиотеки и прильнул ухом к двери. Сперва ему показалось, что в комнате никого нет. Но в конце концов он все же уловил тихий вздох, потом какое-то невнятное слово во сне. Ксавье только и хотел увериться, что мальчишка здесь, что он жив и как будто спокойно спит. Вернувшись в прихожую, Ксавье потоптался немного на месте, не зная, на что решиться, затем бесшумно повернул ключ входной двери, и ему в лицо пахнуло горьким сырым ветром, его обдало мелкими водяными брызгами.

Ступать в одних носках по каменным плитам крыльца было холодно. Он спустился по ступеням в парк. Щебенка на дорожке ранила ноги. Он обошел вокруг дома и увидел, что узкое окно библиотеки открыто. Камни цоколя образовывали здесь выступ, и рядом с окном проходила водосточная труба. Будь он половчее, он мог бы запросто по ней взобраться. Но ему, конечно, и пытаться нечего. И тут Ксавье вспомнил, что у шпалеры в огороде стоит лестница. Огород находился довольно далеко от дома, на осушенном болоте в конце парка. Впрочем, дойти туда даже в одних носках ничего не стоит, но притащить оттуда лестницу в темноте будет трудно. Хотя, в конце концов, каких-нибудь полкилометра… Ксавье пошел по аллее, после щебенки песок показался ему бархатным ковром, хотя время от времени в ногу вонзалась то сухая сосновая игла, то острый кусок коры, и он вскрикивал. Осторожно ступая, он глядел не под ноги, а вверх, потому что ориентировался только по верхушкам деревьев, окаймлявших аллею. Он не думал ни о Доминике, ни о Ролане, только о лестнице у шпалеры, которую работник, быть может, уже убрал. Когда он подошел к низине, где был огород, ступни тут же почувствовали холод мокрой

травы. Глаза привыкли к темноте, и он сразу же увидел лестницу. Она оказалась и длинней, и куда тяжелее, чем он предполагал. Он взял ее под мышку, с трудом дотащил до аллеи, а там взвалил на плечи. Но вскоре выбился из сил и поволок ее за собой.

Теперь он уже смотрел не на верхушки деревьев, а в землю. Он шел медленно и с каждым шагом все больше ранил ноги. Он часто останавливался, чтобы переложить лестницу с одного плеча на другое. Потом, сам того не замечая, сошел с аллеи, довольно долго не мог найти ее, и колючие ветки лимонника и острые шишки, обглоданные белками, до крови раздирали ему кожу… Выбравшись наконец на аллею, он пришел в ужас при мысли, сколько еще придется тащить лестницу в этой темноте до дома. Конечно, главным оставалась Доминика, их любовь, его призвание и сомнения, которые постоянно терзали его душу. Но этой ночью он терзал свою плоть. Голгофа! Сколько он об этом говорил, сколько, как ему казалось, думал, но вдруг в кромешной тьме этой сырой и зябкой ночи он обнаружил, что никогда по-настоящему не понимал, что значит нести свой крест, не испытал этого на своей шкуре. Нет, крест — это не неудачная любовь, как

он внушал себе прежде, не необоримая страсть, не унижения и провалы, а реальный тяжелый деревянный брус, давящий на стертые в кровь плечи, и еще эти острые камни, и эта неровная земля, которые ранят сейчас его ноги… Напрягая последние силы, он шел вперед, и ему чудилось, что перед ним маячит чья-то худая спина. Он четко видел каждый позвонок, обтянутые кожей ребра, которые вздымало прерывистое дыхание, и лиловые рубцы от ударов бича: раб всех времен, вечный раб.

Когда перед Ксавье возникли наконец смутные контуры дома, он в последний раз передохнул, прислонившись к стволу дерева. Это страдание плоти будило в нем чувства, похожие на те, что вызывал обряд причастия. Он смаковал его, сосредоточивался на нем, боясь что-либо упустить. Он погружался в бездну страданий, смутно предощущая в этом особо изощренную усладу, без которой не может развиваться личность с ранимой совестью. Он ощутил тяжесть каждой слезы, каждой капли пота и крови в том потоке, который течет в мире не только из-за человеческой жестокости, ибо жизнь наша, наша добродетельная жизнь вообще немыслима вне этого неиссякаемого потока.

Ксавье выпрямился и прошел несколько шагов, отделявших его от окна библиотеки. Ветер трепал занавеску, выбившуюся за раму. На эту сторону, кроме окна библиотеки, выходило только окно ванной комнаты. Он легко проник в библиотеку, и в первую секунду у него упало сердце: старый кожаный диван был пуст. Он обвел помещение привыкшими к темноте глазами, но никого не обнаружил. Тогда он чиркнул спичкой и увидел, что Мирбель оставил рядом с куском хлеба подсвечник со свечой. Он зажег свечу. Одеяло было сложено на диване. И тут из дальнего угла комнаты донесся не то вздох, не то стон. Между стеной и старым сундуком, который долгие годы не открывали, потому что секрет его замка был забыт, забился, свернувшись клубком, мальчик. Расцарапанные коленки были подтянуты к подбородку. Он видел мальчика в профиль. Ксавье вздрогнул — ему показалось, что ребенок мертв, — но это длилось только мгновение. Ролан просто спал, сраженный усталостью, как это бывает в его возрасте, когда сон побеждает все горести мира. Ксавье наклонился к нему, из последних сил сгреб мальчишку в охапку, невероятным напряжением воли заставил себя донести его до дивана и осторожно уложил. Под

его всклокоченную голову он подсунул подушку, накрыл одеялом худые ноги с мосластыми коленками, снял рваные сандалии и принялся растирать ледяные ступни. Ролан вскрикнул и сел, испуганно озираясь по сторонам.

— Это я. Я с тобой, спи.

Мальчик раскрыл глаза, но так толком и не проснулся, тут же уронил голову на подушку. Тени от ресниц странным образом удлиняли его тяжелые темные веки. Его тонкие черты искажала маска детского отчаяния, маска из размазанных слез, слюней и грязи. С годами, наверно, он станет красивым, любимым и будет делать зло. Снова отброшенный в бедность, обреченный на подневольный труд, он будет вспоминать этот мир, в который проник ребенком. На что он пойдет, чтобы вновь в него попасть? Целая судьба, и судьба запутанная, уже была написана на этом маленьком грязном личике. А Ксавье сидел на краю дивана, чувствуя, как носки прилипают к его кровоточащим ступням. Он невероятно страдал, но не мог двинуться. Он принадлежал этому маленькому существу, был связан с ним на жизнь и на смерть. Какие доказательства он мог бы привести в подтверждение своей уверенности? Безумие — думать об этом, сущее безумие… Если

бы Доминика видела его окровавленные ноги, его стертые плечи, она стала бы перед ним на колени и с любовью омыла бы его раны. Она прижала бы к своей груди его исстрадавшуюся голову.

Мальчик спал таким глубоким и спокойным сном, что казалось, он заснул навеки. Стон леса стал куда тише, он походил теперь на колыбельную песнь. Ксавье задул свечу и вылез в окно, притворив ставни. Он не стал прятать лестницу, а положил ее вдоль стены. В дом он вошел через главный вход и не заметил, что каждый шаг его оставляет на дорожке кровавые следы.

IX

Мишель проснулась на рассвете, она сразу вспомнила о Ролане, поискала на камине ключ, который Жан по ее просьбе там оставил, и торопливо спустилась вниз, не замечая темных следов у себя под ногами. Она вошла в библиотеку. Мальчик спокойно спал. Как он аккуратно накрылся одеялом! И положил подушку под голову! Где он только ее раздобыл? Не та ли это подушка, что лежит на диване в столовой? Она распахнула ставни и огляделась. И тогда она увидела пятна на ковре: кровь, тут сомнений не было. Она торопливо откинула одеяло. Мальчик не разделся — он был в штанишках и в вязаной безрукавке. На его руках и ногах она не заметила ни ран, ни царапин. Его лицо было не более грязным, чем в те дни, когда он «закатывал сцены». Самое большое пятно оказалось у подоконника. Она распахнула раму, высунулась в окно и в серой предрассветной мгле сразу же увидела лестницу, лежащую вдоль стены. Накрыв Ролана, она вышла и тогда обнаружила и в прихожей следы крови — эти следы раненого зверя повели ее со ступеньки на ступеньку на второй этаж. Последнее пятно было

прямо перед дверью Ксавье Она вошла без стука.

Окна и ставни были распахнуты. Полотенца, тоже все в крови, валялись на полу посреди комнаты. Вокруг таза, где он мыл ноги, была разбрызгана вода. Мишель подошла к кровати. Ксавье спал, повернувшись к стене. Она видела лишь спутанные волосы, смуглое плечо сквозь порванный рукав пижамы и тонкую волосатую руку с обмотанными вокруг запястья четками. Ксавье стонал во сне. Она коснулась губами его шеи и лба: нет, жара не было. Она впервые назвала его по имени. Он открыл глаза.

— Вы ранены? Вы упали с лестницы? Я видела лестницу… Я все поняла.

— Пустяки, — сказал он, — тут не о чем говорить слегка поранил ноги. Я хотел убедиться, что Ролан… Он еще спит?

— Да, но не разговаривайте, вам нельзя утомляться. Покажите ссадины.

— Я перепачкал простыни.

— Простыни? А дорожку на лестнице! А ковер в библиотеке!.. Господи, в каком вы виде!.. Ноги все в колючках…

— Я вчера вытащил, сколько смог, но, наверно, не все.

— Вы шли по лесу босиком? Почему босиком?

Он молчал, и она не стала допытываться. Потом она спросила:

— Вам не больно?

Он покачал головой. Ему было приятно ее прикосновение. Она подумала: надо сбегать за перекисью водорода. Жан, слава богу, встает поздно. Октавия успеет вычистить и дорожку, и ковер. Мишель ей скажет, что у нее шла носом кровь. Холодная вода с крахмалом снимет эти пятна. Ксавье попросил Мишель не закрывать окон: от сырого воздуха ему стало лучше. Она вышла, он услышал, как она постучала в дверь Октавии. Потом до него донесся шепот с лестницы. Он снова закрыл глаза. Он уже не страдал: ему была дана эта передышка, чтобы отдохнуть и успокоиться. Мишель вернулась с пузырьком перекиси водорода, ватой и бинтом. Она раскраснелась, бегая взад-вперед, и волосы ее растрепались.

— Я оттащила лестницу от дома, — сказала она. — И велела работнику унести ее. Сейчас немножко пощиплет… Надеюсь, вы не такой неженка, как Жан.

Какими легкими были ее руки!

— Не туго забинтовала? Чего-чего, а делать перевязки я за эти четыре года научилась. Чтобы Жан ничего не заметил, вам лучше сегодня не

вставать с постели.

Он спросил:

— Вы позаботитесь о Ролане?

Она ответила, глядя ему в глаза:

— Ради вас я сделаю, что смогу… Но это немного… Знаете, Жан его ненавидит, — добавила она, помолчав. — Меня это даже иногда пугает.

— Я понимаю, — сказал он. — Надо быть все время начеку.

— Но мальчик и правда неблагодарный по натуре. Он ни к кому не чувствует привязанности. Вы сами убедились…

— Он любит только одно существо на свете — Доминику. Одним словом, это уже маленький мужчина, ему надо кого-то обожать. Когда любишь детей, от них ничего нельзя ждать в ответ. Детство всегда неблагодарно, это закон. А Ролан к тому же еще и ревнует… О! — добавил он со смехом. — В конце концов я все-таки его завоюю, еще не было случая, чтобы я…

— Если он здесь останется. Жан решительно против того, чтобы мы определили его в пансион или просто отдали в школу. Он хочет вернуть его в приют. Вот разве… Да, я думаю, чтобы удержать вас здесь, он согласится его оставить. Но не можете же вы посвятить себя мальчику, который

вам никто?

— Однако именно тут мне яснее всего, как надо поступать. Что же до остального…

Ксавье взглянул на нее совсем по-детски. Сидя у него в ногах, Мишель ногтем соскабливала застывшую каплю свечного воска со своего старенького халата. Она не успела ни причесаться, ни накрасить губы и радовалась тому, что ей это сейчас безразлично.

— Меня беспокоит только одно, — снова заговорила она. — Жан вряд ли смирится с тем, что вы останетесь у нас ради кого-то другого… Особенно ради этого мальчишки…

Мишель отвела глаза. Ксавье застегнул пижамную куртку. Она поднялась и стала прибирать в комнате, вылила в ведро воду из таза, собрала грязные полотенца. Он представил себе Доминику, хлопочущую возле него.

— Господи, во что вы превратили носки! — Она подняла с пола ошметки грязной шерсти.

— Не знаю, как вам и объяснить… — начал он.

— Не надо ничего объяснять. В конце концов, вы не обязаны давать мне отчет. Я просто выброшу их на помойку.

Она снова вышла из комнаты — принести ему завтрак. Пожалуй, еще не стоит пускать сюда

Октавию. Мишель спустилась на кухню, не чувствуя никакого отвращения к заскорузлым от крови, вконец разодранным носкам, которые несла, чтобы «сунуть их в корзину», как говорят в Ларжюзоне. Кухарка еще не пришла, но Октавия уже сварила кофе. Мишель собрала поднос, потом завернула носки в старую газету и собралась было выкинуть их в помойное ведро, стоявшее под раковиной, но вдруг передумала: «Нет, ни за что… Я просто с ума сошла… — тут же решила она. — Это же грязные носки!» Но она все-таки сунула сверток в карман халата и поднялась наверх.

— Какое счастье! — воскликнул Ксавье, когда Мишель с подносом вошла в комнату. — Кофе! Нет, спасибо, масла не надо… Почему, я охотно ем масло, но только не утром.

— Пойду оденусь и займусь Роланом, — сказала она. — Жану я скажу, что у вас жар…

Он возразил, что у него нет температуры.

— Но могла бы и быть. Ведь вы действительно больны, так что это не совсем ложь.

Одевшись, Мишель снова вспомнила о носках, завернутых в газету: она не знала, куда их деть, в ее костюме не было карманов, и ей пришло в голову закопать их в парке. Накрапывал дождик, трава была мокрая, но Мишель все же дошла до

ручья. Она примерно представляла себе, куда идти: рядом с тем местом, где Ксавье с Роланом, сидя на корточках, разглядывали головастиков, были заросли папоротника. Она выдернула пучок стеблей с налипшими на корнях комьями земли, сунула в образовавшуюся ямку злополучный сверток и прикрыла ее сверху камнем, как делала в детстве, когда хоронила старую куклу или мертвую птицу.

X

— Что же ты не пошел с мсье Ксавье в церковь?

Мишель вошла в комнату для прислуги, соседнюю с комнатой Октавии, — застелить кровать Ролана. Она распахнула ставни. Октябрьское солнце ворвалось в окно вместе с запахом прелых тополиных листьев. Она удивилась, что птичка еще не упорхнула. Над узкими плечами торчала большая взлохмаченная голова. Нос был краснее лица и уже по-юношески выпирал, а рот еще оставался совсем детским. Красивые темные глаза глядели в сторону.

— Вчера вечером он попросил тебя пойти вместе с ним.

— Он сказал, что это необязательно, ведь сегодня не воскресенье.

— Но ты мог бы доставить ему это удовольствие. Ведь он столько для тебя делает.

Ролан ничем не показал, что благодарен Ксавье за его заботу.

— Ты остался в Ларжюзоне только потому, что Ксавье согласился с тобой заниматься, — продолжала Мишель. — Короче говоря, мы поручили

тебя ему: он теперь как бы взял тебя под свою опеку… Да отвечай же, в конце концов, когда с тобой разговаривают! — закричала она.

Ролан оглядел ее с ног до головы, и она почувствовала, что он заметил и беспорядочно висящие пряди волос, и отсутствие косметики на ее лице.

— Я никого ни о чем не просил, — сказал он наконец.

— Тем более мило, что он взял это на себя. Дурно быть неблагодарным.

— Но я-то ни о чем не просил.

— У тебя нет сердца, кто-кто, а уж я это знаю. Немедленно вставай и садись заниматься!

— Мне не надо заниматься. Сегодня четверг.

— Тогда отправляйся куда хочешь, только не попадайся мне на глаза!

Она вышла, хлопнув дверью, но вспомнила о Ксавье, устыдилась своей вспышки и вернулась в комнату. Ролан лежал ничком на кровати и рыдал, уткнувшись лицом в подушку. Мишель наклонилась к нему:

— Ну ладно, успокойся, я не хотела тебя обидеть.

Она погладила его по волосам, но он метнулся к стене и накрылся с головой простыней.

— Ну погляди на меня, улыбнись.

Она силком, двумя руками, оторвала его голову от подушки и повернула к себе его искаженное гримасой плача, мокрое от слез лицо. Сперва она не поняла, что он бормочет:

— Если вы думаете… Если вы думаете, что это из-за вас…

— Нет, конечно, не из-за меня.

— Если вы думаете, что я хочу здесь остаться…

Но Мишель не разозлилась. Она с грустью глядела на этого ощетинившегося лисенка, которого ей никак не удавалось приручить.

— А ты думаешь, я хочу, чтобы ты здесь остался? Думаешь, мне охота стелить твою постель?

Она спустилась на первый этаж и тихонько отворила дверь комнаты, погруженной во тьму. Это была комната Жана. Она прислушивалась в темноте к спокойному дыханию спящего, к этому монотонному шуму живого потока, журчанью жизни внутри недвижного тела, подвластного своим законам. Постепенно ее глаза привыкли к полутьме — осеннее солнце все же просачивалось в комнату сквозь закрытые ставни. Белели простыни, окутывавшие большое мужское тело. Зачем его будить? Он спал, значит, он не страдал. Благородной формы ухо, волнистые красивые волосы, которые она так любила, сильная шея.

Он лежал тут совершенно беззащитный и все же недоступный, неизлечимо больной. Она могла коснуться его рукой, губами, и все же он был для нее навсегда потерян.

Мишель подумала, что Ксавье скоро вернется из церкви — он пошел туда в первый раз с тех пор, как приехал в Ларжюзон. Мишель размышляла об этом живом сердце, об этой живой душе, попавшей сюда неведомо откуда, об этой морской птице, которую буря отогнала далеко от побережья, на безводные земли, и вот она стала пленницей этого дома, этих деревьев, этого спящего человека. Чего ожидал Жан, на что надеялся? Он все твердил: «Вот увидишь, увидишь! И у Ксавье не хватит терпения нянчиться с этим дрянным мальчишкой. Он скоро устанет, ему все надоест, он затоскует, и тогда придет наш черед». Мишель понимала, что в его устах это означало: «И тогда придет мой черед». «Если не мой», — думала она, но старалась прогнать эту мысль. А в конце концов, почему бы и нет? Бригитта Пиан ни за что не допустит, чтобы Доминика виделась с Ксавье. Их только-только вспыхнувшее чувство угаснет от разлуки — уж старуха наверняка позаботится о том, чтобы их встречи не возобновились… Ксавье не к кому будет прибиться. «А я

всегда буду здесь, и днем, и ночью, всегда».

Да, эту мысль надо гнать. Мишель оделась более тщательно, чем обычно. Она пойдет его встречать. Он, наверно, будет причащаться, а значит, задержится, ведь он ушел задолго до начала мессы, чтобы успеть исповедаться. Бедный священник! Что он подумал об этом грешнике? Она накинула на плечи твидовое пальто, которое надевала только для поездок в город. Ксавье она увидела на повороте посыпанной щебенкой аллеи: Мишель было заторопилась, но чем ближе она к нему подходила, тем больше замедляла шаг. Ксавье шел не спеша, опустив голову, он словно прислушивался к чьему-то далекому голосу, силясь разобрать неясные слова. Она поравнялась с ним, но не решилась ни заговорить, ни даже улыбнуться. Быть может, он ее даже и не заметил.

XI

— Так вы и есть тот самый молодой человек из Ларжюзона?

У Ксавье сразу же отлегло от сердца. Значит, священник знает, кто он такой, и его исповедь не покажется ему странной. Бригитта Пиан, видно, говорила о нем со священником — конечно, до скандала, когда еще не питала к нему дурных чувств. Ксавье радовался, что этот священник не принадлежит к типу сельских бонвиванов. Он был скорее хрупкого телосложения и то и дело опускал свои блеклые глаза, чтобы не встретиться взглядом с собеседником. Ксавье встал на колени. Он старался уложить в канонические формулы покаяния свои невнятные прегрешения.

— Да, — говорил священник, — я понимаю… Да-да… И это все? Ну, что ж, я не вижу в этом ничего страшного… В том, что вы заколебались на пороге семинарии, особой вины нет. Я позволил себе высказать это одной пожилой даме, которая интересовалась вами. Что касается соблазнов и искушений, то я не вижу в них повода для тревоги. Они в природе вещей и, значит, не богопротивны. Покайтесь всем сердцем… — Он

уже поднял руку для благословения, но Ксавье, задыхаясь, прервал его:

— Мне кажется, отец мой, я не сумел достаточно ясно рассказать вам все. Вы считаете меня невиновным, а я знаю, что виновен.

— Вы прощены в той мере, в какой виновны, — нетерпеливо сказал священник, снова поднял руку и скороговоркой произнес формулу отпущения грехов. В ризницу вбежал маленький мальчик и, сказав: «Здрасьте, господин кюре», — снял с гвоздя красную сутану.

— Конечно, опять ни души? — спросил священник.

— Нет, пришла мадам Дюпуи.

— Ну да. Я же и говорю, никого. Я хотел бы побеседовать с вами после мессы, — сказал священник, повернувшись к Ксавье: — Мне кажется, я смог бы вам помочь. Но о некоторых вещах легче говорить не во время исповеди, ведь верно?

Ксавье кивнул и пошел в боковой неф, где мальчик-служка зажигал свечу перед образом Богоматери. Ксавье хотел проверить по молитвеннику, какой сегодня праздник, но в нефе было слишком темно. Ему помнилось, что это день святой Бригитты. Ксавье невольно повторял слова молитвы, которые бормотал служка, — ведь

он отслужил столько месс! «Господи, — думал он, — не пройдет и четверти часа, как начнется обедня и ты посетишь этот храм…» Он, как всегда, принуждал себя произносить застывшие формулы молитв, которые читают перед причастием и которые учат на уроках катехизиса, — он затвердил их с раннего детства. «Кто я такой, чтобы осмелиться приблизиться к тебе? Тяжесть грехов моих давит меня, соблазны тревожат, страсти терзают, никто не в силах ни помочь мне, ни спасти меня, кроме тебя…» Ксавье умолк, его куда-то несло, он провалился в бездну — в бездну молчания, обожания и нежности. Он с трудом очнулся, чтобы поглядеть, не пора ли подойти к алтарю… Нет, еще не пора. И он опять зашептал молитву, цепляясь за канонические фразы, чтобы снова не рухнуть в бездну. «Больной, я иду к своему целителю, сирый и убогий, я иду к источнику жизни, раб, я иду к своему господину. Творение господне, я иду к своему творцу, в горести и печали иду я к своему утешителю…» Звякнул колокольчик, надо было идти к причастию. Ксавье поднялся. Служка забубнил «Confiteor»[23]. Ксавье, как всегда в таких случаях, испытывал двойственное

[23] Примечания: 23
Исповедуюсь *(лат.)*. Католическая молитва, читаемая при исповеди.

чувство. Одна половина его рассуждала: все это сплошная сентиментальность, все эти слова ничего не означают. Он должен бы рассказать Богу, который был здесь, о Доминике, о Ролане, о Мирбелях… А, впрочем, надо ли? Разве он не несет их всех в себе? Даже если бы он и захотел, он не мог бы отделиться от них. «О, повелитель народов и предмет их любви! О восток! Сияние вечного света и солнца справедливости! О ключ Давида! О корень Иессея! О Адонаи!» Бездна снова разверзлась и поглотила его, но он понимал, что нельзя оставаться в ней, потому что священник, который, видимо, уже давно закончил богослужение, ждал его и сейчас кашлял и сморкался. Ксавье ценой невероятного усилия очнулся и, шатаясь, направился в ризницу. Священник уже был там.

— Выпейте чашечку кофе. Мадам Дюпуи так любезна, что варит мне кофе и топит печку по четвергам. Уроки катехизиса я тоже даю здесь. Тут детям лучше, в церкви очень холодно.

Священник налил ему кофе в выщербленную чашку.

— Вы правильно сделали, — вдруг сказал он, не глядя на Ксавье. — Да, вы правильно сделали, что не поступили туда… Вот это я и хотел вам

сказать.

Ксавье сидел на деревянной скамье, на которой обычно сидят дети, поющие в хоре. Он поднялся, чтобы поставить чашку. Облокотившись о ларь, в котором хранится церковная утварь, он стоял спиной к свету.

— И знаете, для меня это перестало быть трагедией. Я не бунтую, не озлоблен и, в общем, даже не чувствую себя несчастным. Но от этого мой совет становится только более весомым. Надеюсь, я вас не шокирую?

Ксавье молча покачал головой.

— Знаете, я ведь, что называется, «хороший священник». Никаких скандалов, никогда никаких сплетен. Никто худого слова не скажет, — и он прищелкнул пальцами. — Мы нужны крестьянам только для крещения, венчания и отпевания. И еще для «причащения», как они говорят. Заметьте, для причащения, а не для первого причастия, потому что причащаются они, само собой разумеется, только один раз в жизни. Но ко мне они хорошо относятся. Мадам Дюпуи мне на днях передала, что сказал обо мне ее зять, он у нас на вокзале работает: «Подходящий мужик, не вредный, услужливый и не слишком надоедает нам со своим господом богом!» Кстати, это лишь

доказывает, что он никогда не ходит в церковь, ведь проповеди я готовлю очень тщательно, трачу на них всю субботу. А все это я вам рассказываю, чтобы вы поняли: совет этот вам дает человек уравновешенный, который видит вещи такими, какие они есть, который приноровился к обстоятельствам и не испытывает материальных лишений. Что там ни говори, а профессия эта неплохая: тебя кормят — кто курицу принесет, кто кролика, и, само собой, овощи и фрукты. Если кто в приходе закалывает свинью, мне уж непременно достанется кусок. В общем — жить можно. Но чтобы достичь этого состояния покоя, я бы сказал атараксии[24], я прошел через годы ужасных страданий. И знаете, надо быть очень сильной натурой, чтобы выйти из этого так, как я. В детстве я был вроде вас, я все понимал буквально. Между прочим, нельзя сказать, что я совсем потерял веру, я и посейчас убежден, что богослужение имеет определенный смысл, и, служа мессу, я не теряю зря время… Конечно, кое в чем я разуверился. Одним словом, понял, что к чему. Но когда я был в ваших годах и даже много лет спустя… Ах, поверьте мне, мой юный друг, не

[24] Примечания: 24
Абсолютное спокойствие духа *(греч.).*

подвергайте себя этой пытке…

Он вскинул на Ксавье свои выцветшие глаза и тут же их отвел.

— Простите, — сказал он, — я вижу, что я вас смутил… Да, да! Вижу!

Он залпом допил кофе, вытер платком губы, подошел к Ксавье и положил ему руки на плечи;

— Вы пришли ко мне, и мой долг — сказать вам то, что я сказал.

Ксавье поднял голову и посмотрел на него. Священник тут же опустил руки и сунул их в карманы своего теплого жилета.

— О! Я прекрасно знаю, что за один день вас не переубедить. Нам надо бы еще встретиться. Но я живу не здесь, а в Балюзаке. Здесь я бываю только по четвергам и воскресеньям и в промежутке между службой и уроками катехизиса едва успеваю побеседовать с прихожанами и навестить больных. Мне неловко просить вас прийти ко мне в Балюзак, ведь дотуда пять километров. Но, может быть, господин де Мирбель одолжит вам велосипед?

Ксавье ответил каким-то тусклым голосом, что ему нетрудно прийти и пешком.

— В самом деле? Вы придете? Значит, мои слова дошли до вас. Ведь есть вещи, — добавил он,

понизив голос, — о которых я не смею сказать вам здесь, в ризнице, особенно после исповеди, но сидя у камина… Давайте назначим день! — произнес он в каком-то возбуждении. — Хотите в понедельник?

Да, можно и в понедельник, но он сумеет выбраться только к вечеру. Днем он занимается с Роланом.

— А вам не будет боязно выехать в сумерки и возвращаться в темноте? На дороге ни души, встретишь разве что погонщика мулов.

Ксавье покачал головой и улыбнулся:

— Значит, в понедельник, после пяти.

— В самом деле? А мне показалось, что мои слова оскорбили вас… Я рад. Думается, я не ошибаюсь; я сумею примирить вас с жизнью, с простой, обыкновенной жизнью.

Священник взял его руки в свои, но Ксавье тихонько высвободился.

— Вам незачем проходить через церковь, — сказал священник и отпер маленькую дверь. — Не притворяйте дверь, сейчас придут дети. Ну, до понедельника!

Ксавье очутился на запущенном кладбище и сразу узнал то место у церковной стены, где тогда так долго стоял на коленях: трава и крапива были

еще примяты. Он пошел туда, но не опустился на колени, а остался стоять, упершись лбом в каменный выступ. Несмотря на легкий туман, осеннее утро было ослепительным. Ветер чуть колыхал белье, развешанное на изгороди соседнего сада.

— Вам плохо?

Он почувствовал, как чья-то рука коснулась его плеча, открыл глаза и увидел мальчика. Трое других ребят стояли чуть поодаль. На всех четверых были одинаковые халаты из черного сатина. Один из мальчиков, тот, что был не подпоясан, держал в руке катехизис, изданный бордоской епархией. У мальчика, заговорившего с Ксавье, были огненно-рыжие волосы, его бледная мордочка пестрела веснушками. У всех остальных, таких же смуглокожих, как Ролан, были одинаковые глаза цвета спелой ежевики. Ксавье ответил, что это пустяки, просто у него закружилась голова, но теперь все прошло. Рыженький спросил, не надо ли ему чего-нибудь.

— У господина кюре в ризнице всегда есть кофе.

Ксавье покачал головой. Нет, ему ничего не надо. Он переводил свой взгляд с одного мальчика на другого. Откуда в нем эта несоразмерная, необъяснимая любовь? Он не знал этих мальчи-

шек, он их никогда больше не увидит. И все же ему хотелось назвать каждого из них по имени, подольше не отпускать, узнать все подробности их жизни, оградить от бед, защитить своим телом. Дикая страсть, божественная страсть! Да, это именно так! Страсть создателя к своему творению. Несколько секунд, стоя в крапиве, Ксавье, как ему казалось, испытывал — о безумие! — то же чувство, что испытывает Бог к самому жалкому из своих творений. Дверь ризницы притворили. Ветер медленно колыхал простыни, сохшие на изгороди. Господи! Этот священник учил их катехизису! Именно ему было это поручено. Этот священник… Он с ужасом подумал, что согласился снова с ним встретиться, выслушать его… Он не опасался за себя, но все же… Что ответить? Там, в ризнице, он словно онемел.

«Быть может, тебе и не придется говорить. Тебя просят только прийти!»

Чей это приказ, который он как бы услышал, от кого же он исходит, если не от него самого?

Ксавье пошел в Ларжюзон. Он и вправду был поглощен своими мыслями, но постарался придать лицу еще более отрешенное выражение. Благодаря этому ему удалось благополучно миновать Мишель — она не посмела с ним заговорить.

XII

— Оставить прибор мсье Ксавье?

Октавия обернулась уже в дверях. Ролан, лежа на животе, листал номера «Магазэн Питореск» за 1854 год. Жан де Мирбель курил, прислонившись спиной к камину. Мишель вязала, придвинув низенький стульчик как можно ближе к пылающему огню.

— Можете убирать со стола, — сказала Мишель, — но хлеб и сыр оставьте. Хотя он уже вряд ли вернется. В такую-то погоду! Священник, конечно, оставил его ночевать.

— Я требую, чтобы сегодня все двери были заперты, как всегда, — сказал Мирбель, не повышая голоса. — И не вздумайте ему открывать, если он придет среди ночи и постучит. Пусть спит в конюшне или на колючках под дождем и околеет!

Мирбель вдруг перешел на крик. Его левая нога подергивалась. Монотонно журчали струйки воды в водосточной трубе. Дробный стук ливня не сливался с жалобным стоном ветра, раскачивавшего верхушки сосен.

— Когда живешь у людей, — пробурчала Октавия, — и ешь их хлеб…

Последних слов, произнесенных скороговоркой, никто не расслышал. Когда она притворила за собой дверь, Мишель спросила Ролана, почему он смеется.

— Я знаю, что сказала Октавия. Когда вас нет, она часто ворчит…

Мишель допытывалась: что же все-таки сказала Октавия? Ролан только мотал головой, но в конце концов ответил:

— Она сказала, что только дурак поверит, будто он пошел в Балюзак к господину кюре. Парень шатается по ночам не для того, чтобы беседовать со священником.

Мишель оборвала Ролана:

— Что за вздор ты несешь! Отправляйся-ка лучше спать, дурачок.

Ролан заныл: еще нет десяти. Вот пробьет десять, тогда… Но стоило Мирбелю повернуться к Ролану и спросить нарочито ласковым голосом: «Ты еще здесь?» — как мальчишку словно ветром сдуло. Ролан, конечно, слышал, как Мишель крикнула ему вдогонку: «Ты не хочешь меня поцеловать?» — но даже не оглянулся. Мишель чуть передернула плечами и вздохнула:

— Это безнадежно.

— Неужели ты это только сейчас поняла? Нет,

надежда есть: надо как можно скорее вернуть его в приют…

Мишель промолчала; Мирбель сказал, что тоже поднимется к себе в комнату, и передвинул экран к камину.

— Не надо, я еще посижу у огня. Я плохо сплю, когда рано ложусь. Засыпаю тут же, но через час просыпаюсь и верчусь до утра.

— Хочешь его дождаться, — сказал Мирбель.

Она не отрицала.

— Если он не придет до двенадцати, я запру все двери. Не беспокойся. — Мишель помолчала немного и спросила: — А как по-твоему, есть доля правды в болтовне Октавии?

— Идиотка! — прошипел он. — Какая же ты идиотка!

— Почему идиотка? Неужели ты думаешь, что Доминика сдастся без боя! Ну, а он? Он ведь, в конце концов, ее любит! Он такой же, как все…

Мирбель спросил:

— Ты так думаешь? — И повторил: — Идиотка!

Он отворил дверь и уже на пороге обернулся:

— Все вы одна другой стоите. Вбили себе в голову, что вы украшение рода человеческого и что нет мужчины, который мог бы без вас обойтись… Что ты сказала?

И так как Мишель молча склонилась над своим вязаньем, потребовал:

— Повтори, что ты сказала!

Она повернула к нему свое уже поблекшее лицо: щеки, которые он помнил такими свежими и упругими, покрытыми золотистым загаром, обвисли и придавали ее чертам желчное выражение. Он положил ладонь на лоб жены и шепотом позвал ее. Она встала, вязанье упало на пол.

— Вот увидишь, — сказала она горячо. — Мы еще вырвемся из этого мрака, вот увидишь!

На мгновение она прижалась к его большому равнодушному телу. Потом подождала, пока он поднялся в свою комнату и притворил за собой дверь, и только тогда вышла в прихожую. Она надела пелерину и накинула капюшон. Мокрый ветер с дождем хлестнул ее по щеке. Рваные тучи неслись на восток, и мутный свет луны вырывал из тьмы призрачные сосны, и сосны стонали совсем по-человечески. Белая полоса посыпанной щебенкой аллеи вела ее, но она не различала луж, и ноги то и дело по щиколотку утопали в воде. Подойдя ко все еще не запертым воротам, она услышала шаги, а затем увидела его. В полутьме он показался ей таким маленьким и хрупким, что в первую секунду она даже усомнилась, он ли

это. Он вел велосипед и не заметил бы Мишель, если бы она не окликнула его.

— Я беспокоилась, — сказала она.

Он вздохнул и сказал, что его преследовали неудачи. Фонарь перегорел, он врезался в кучу камней, чуть не угодил под грузовик, а проехав километра два, пропорол шину. Они шли рядом. Он учащенно дышал. Перед тем как войти в дом, он долго вытирал башмаки и извинялся, что наследит.

— Пустяки. Сядьте у огня, я сейчас, принесу хлеб и сыр.

Уходя, она едва взглянула на Ксавье, но, вернувшись с подносом, вдруг словно впервые увидела его. Он склонился к камину, его лицо с темными пятнами небритых щек и подбородка раскраснелось от яркого пламени. Он протянул к огню озябшие руки, от его башмаков шел пар. Мишель вынула из шкатулки с рукоделием чистый носовой платок и вытерла его мокрые от испарины и дождя щеки и лоб. Потом она опустилась на колени и принялась развязывать шнурки его башмаков.

— Не надо, — запротестовал он. — Пожалуйста. Хватит с вас и того раза. Я вам и так доставил немало хлопот.

Ему было стыдно, что она вновь увидит его ужасные ноги и снова начнет их лечить, как в ту ночь, когда он приволок садовую лестницу… И вдруг ему пришла в голову странная мысль, что вид его сбитых ног вызовет у Мишель отвращение и что это хорошо. Он перестал сопротивляться и словно оцепенел, сидя в кресле. Он слышал, как вздыхала Мишель:

— Бедные, бедные ноги. — Потом она встала и засунула руку ему за шиворот. — Да вы же насквозь промокли! Разве можно так сидеть? Сущее безумие! Немедленно раздевайтесь, я принесу вам пижаму. Вас надо растереть одеколоном!..

Когда она вышла, он со звериной жадностью накинулся на хлеб и сыр и залпом выпил стакан своего любимого гравского вина. Мишель вернулась с пижамой, домашними туфлями, полотенцем и одеколоном и сказала, что теперь он уже выглядит лучше. А Ксавье тем временем снимал куртку, грубошерстный свитер, рубашку. Он покорно дал растереть себя одеколоном, наслаждаясь теплом, разливающимся по его телу, испытывая от этого какую-то животную радость. А мысли его были заняты совсем другим — он перебирал в памяти все то, что в течение двух часов внушал ему священник в Балюзаке: что христи-

анство истинно лишь в той мере, в которой мифы выражают какую-то истину; что месса имеет глубокий смысл, но это не значит, что во время службы происходит нечто мистическое; что вера в букву Святого писания нужна только слабым натурам и простакам, но недостойна настоящего человека; что человеческое начало проявляется в постепенном освобождении от буквализма веры, но что его следует уважать, памятуя о тех, кто в нем нуждается. Ксавье мутило от резкого запаха одеколона. Он вдруг вскочил, ему представилось, что какая-то густая сеть сейчас опутает его и он будет вырван из своей привычной среды.

— У меня нет сил, — сказал он тихо. — До смерти хочу спать.

Мишель не успела ответить, как он исчез. Она могла бы подумать, что все это был сон, если бы перед камином не стояли его огромные рваные башмаки, а в руке она все еще не держала бы полотенце.

Он притаился, как заяц в норе. Где-то хлопнула дверь. Он никак не мог оторвать взгляда от двух конвертов, лежавших на его подушке. Эти два письма пришли, должно быть, с послеобеденной почтой: крупный наклонный колючий почерк его матери и прямая мальчишечья скоропись

Доминики, привыкшей конспектировать лекции. Он поднес ее письмо к губам и долго вдыхал запах конверта. Но нет, сперва надо прочитать материнское послание. Привычка уважать старших взяла в нем верх и без свидетелей.

Словно нырнув в ледяную воду, он стал читать письмо с середины.

«Мне никогда не удастся в полной мере выразить свою признательность Бригитте Пиан за ту деликатность, с которой она сумела затронуть в присутствии твоего разгневанного отца тему, коснуться которой, как тебе легко предположить, мне невыносимо. Она особо настаивала на том обстоятельстве, что психиатрия (не уверена, сумею ли я совладать с написанием этого для меня чересчур ученого слова) совершенно изменила за последние годы наше понимание казуистики[25] (еще одно слово из лексикона Бригитты Пиан!). Когда-то она была знакома с одним весьма достойным священником, уже давно умершим, аббатом Калю, который объяснил ей, что в нынешнее время наука помогает нам понять, как милосердие господне направляет наши судьбы, отягощенные наследственностью…

---

[25] Примечания: 25

Богословская дисциплина, применяющая общие догматические положения к отдельным случаям (казусам).

Все это чрезвычайно сложно! Не могу сказать, чтобы Бригитте Пиан удалось умерить гнев твоего отца. В результате этой встречи был выработан ультиматум, который отец поручил мне сообщить: ты должен немедленно вернуться в отчий дом и дать слово не покидать его больше без нашего на то разрешения. Ты вновь станешь посещать лекции на юридическом факультете и будешь находиться под нашим неусыпным наблюдением. Если же по истечении недели ты не вернешься домой, отец вычеркнет тебя из завещания, отречется от тебя и ты уже не сможешь рассчитывать на какую бы то ни было материальную помощь с его стороны. Таким образом, ты останешься без всяких средств к существованию, если не считать тех ценных бумаг, что оставил тебе в наследство дядя Кордес. Но ты и сам понимаешь, на сто пятьдесят тысяч франков особенно не разживешься».

Ксавье уронил на коврик у кровати голубые листочки, исписанные крупными наклонными колючими буквами, и не стал их поднимать. Он взял второй конверт и снова поднес его к губам. Письмо было почти деловое, без всяких нежностей, в нем сообщалось о том, какие шаги она предприняла. Доминика выполнила его просьбу

и поговорила со своей коллегой, которая берет детей на полный пансион. В случае необходимости она оставит для Ролана место. «*Если бы это подвигло вас, Ксавье, на отъезд из Ларжюзона!*» Она ничего не добавила к этому. В общем, желания Доминики совпадали с тем, чего требовали его родители. Он должен вернуться домой и снова стать студентом. Доминика будет тайно встречаться с ним, где ему захочется. Ничего дурного тут нет… «А вот в Ларжюзоне, — думал Ксавье, — я сею зло одним своим присутствием». Доминика писала: «*Что может удержать вас в Ларжюзоне, когда Ролана там не будет? Ручаюсь, вы не ответите мне, что остаетесь из-за этих ужасных Мирбелей. Что же тогда? В Ларжюзоне больше нет никого, кто мог бы вас интересовать. Поэтому я спокойна. Вы не пожертвуете Роланом и мной ради деревьев парка*».

Ксавье вздохнул. Она еще не знала, что в его жизнь вошел этот священник. Он стоял на его пути к ней, как черный крест — последний крест, который надо низвергнуть, чтобы дойти до Доминики. Да, низвергнуть, но не для того, чтобы взвалить себе на плечи.

О том, что произошло между ним и священником в конце долгой беседы о мифах — их не

следует понимать буквально, а толковать, — Ксавье старался не думать. Перед его глазами и сейчас еще стоял этот кабинет на втором этаже, весь заставленный книгами, принадлежавшими покойному аббату Калю, о котором как раз упоминала его мать в последнем письме… Книги эти аббат завещал Жану де Мирбелю, который так и не удосужился забрать их к себе. «Теологический хлам», по выражению нынешнего священника. Ксавье, не раскрывший за весь вечер рта, спросил, уже прощаясь, помнит ли священник, что именно толкнуло его на эту стезю? Как решаешься сделать последний шаг? Чем была полна его душа, когда он стоял на коленях перед епископом? Какой страстью? Священник не знал, что ответить.

— Во всяком случае, во мне не было ни грана честолюбия, — сказал он, — ни тени расчета.

— Что же тогда?

Он ответил:

— Я был под сильным влиянием, я предполагал, я надеялся… — И умолк.

Тогда Ксавье сказал:

— А может быть, вы просто любили? Только любовь объясняет безумие некоторых поступков. Но ведь нельзя любить идею, нельзя любить миф…

Тут священник властно прервал его:

— Можно любить того, кто умер почти две тысячи лет назад, это правда. Я — тому доказательство, я и многие другие. Но как он меня обманул, как он нас всех обманывает из века в век! — продолжал он дрожащим голосом. — Я столько молился, я столько молил! В вашем возрасте сам задаешь вопросы и сам же на них отвечаешь, а кажется, что это говорит Бог. Еще не знаешь, что надеяться не на кого.

Свет лампы падал так, что священник казался теперь черным силуэтом, пригвожденным к стене. И тогда Ксавье произнес эту нелепую фразу (произнес ли он ее на самом деле?):

— Однако я здесь. Я пришел.

Тот долго глядел на него в упор и наконец сказал:

— Вы пришли, чтобы я помешал вам взвалить на свои плечи ношу, непосильную для человека…

А Ксавье в ответ:

— Я пришел, чтобы помочь вам нести ваш крест… а может, чтобы понести его вместо вас.

Священник вздохнул:

— Безумие!

А Ксавье:

— Это безумие и есть истина.

Священник поднял на него свои голубые выцветшие глаза без ресниц. А потом Ксавье взял плащ. Священник с керосиновой лампой в руке спускался по лестнице первым и говорил:

— Осторожно, вот эта ступенька…

Ксавье поднял воротник своего габардинового плаща и уже взялся за дверную задвижку.

— Послушайте меня! — взмолился вдруг священник.

Ксавье обернулся.

— Не делайте этого!

Ксавье прислонился к двери. Священник поставил лампу на ступеньку.

— Не вступайте на этот путь…

И так как Ксавье пробормотал: «Я вас не понимаю…» — торопливо добавил:

— Нет, нет, прекрасно понимаете. Вы чересчур храбры, вы грешите из храбрости.

— Нет, я трус. И Бог это знает.

Священник снова долго смотрел на Ксавье — в поношенном плаще тот казался особенно щуплым, — а потом все же отвел глаза.

— Мне жаль вас, — сказал он. — Не взваливайте на себя эту ношу.

А когда Ксавье спросил: «Какую ношу?» — свя-

щенник прошептал:

— Мою жизнь. Вам она не по силам, она вас раздавит.

Священник потом вспоминал, что слова «она вас раздавит» он сказал как бы помимо воли. А Ксавье ему ответил:

— Но ведь всего этого нет! Все это только миф!

— Да, миф… Но я никогда не отрицал, что за ним скрывается…

— Что же за ним скрывается?

Священник сухо ответил:

— Нечто неведомое, и этого лучше не касаться.

Ксавье просветлел и сказал:

— В вас живет вера.

Священник покачал головой:

— В широком смысле? Ну, конечно! Я верю в скрытые силы, которым безрассудно противостоять.

Ксавье повторил:

— Вы верите!

— Я верю в скрытые силы, но они, быть может, совсем не те, что вы воображаете. Не давайте им войти в вашу жизнь.

— Они уже вошли в мою жизнь, — сказал Ксавье тихо. — Потому что вы вошли в мою жизнь. Никто не властен никого бросать.

Священник пробормотал:

— Это верно… Один из моих собратьев, — добавил он после минутного раздумья, — связан с женщиной… И хорошо знает, что, даже если он ее бросит, она все равно навсегда останется в его жизни.

— Сколько у нас обязательств! — вздохнул Ксавье. — Все эти сложные личные отношения, любовь, дружба — за все мы будем в ответе! Вопрос «Где брат твой?» будет нам задан столько раз, сколько мы за нашу жизнь владели чьим-то сердцем, чьим-то телом, и в горе, и в радость…

— Уходите! — закричал священник. — Оставьте меня!

Он распахнул дверь и вытолкнул Ксавье на улицу.

XIII

Что еще ждет его впереди, если он пойдет дальше? Он помнит дорогу на склоне холма, где они играли детьми, — она, казалось, упирается в небо. Это место они тогда называли концом света. Ничего нет за пределами, этой комнаты, этого дома, этой ночи. И даже тот, кто разрушил все вокруг, тоже исчез, вырвав из сердца последнюю нежность.

И вдруг Ксавье обрел покой, полный покой, но он не знал еще, что это и есть отчаяние, глухое отчаяние, — его не одолеть слезами, оно ведет свою жертву по узкому коридору к единственной двери. Стоит ее отворить, и ты успокоишься навсегда. О сон! О бедное сердце, умевшее только любить! О память, которая наконец угаснет, унося с собой имена и лица, скрытые в ее глубинах!

Ксавье отворил окно и толкнул ставни. Ни ветерка, верхушки деревьев застыли в неподвижности, словно окаменели. Даже сосны, которые никогда не спят, спали в эту ночь. Тишина стояла такая, что было слышно, как журчит ручеек в ольшанике за поляной, там, где остров Ролана. Он вспомнил поваленную сосну, на которой

они сидели с Домиником. Наверно, это мертвое дерево еще долго проваляется, быть может, оно сгниет позже, чем живое тело, высунувшееся сейчас в окно и уже наполовину отданное холоду ночи. Ксавье пришло в голову, что вряд ли он разобьется насмерть, если даст сейчас себе волю, сломает ноги, только и всего. Разве что ударится головой? Он резко обернулся, словно ждал, что увидит кого-то, кто толкнет его в темноту. Нет, никого здесь не было. Никого — только растерянное лицо в зеркале над камином, лицо подростка с всклокоченными волосами, глядевшее на него в упор. И вдруг он испытал жалость к себе, он пожалел себя. Он медленно провел ладонью по лбу, по опущенным векам и сказал: «Бедняга ты, бедняга!» Ему захотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас с ним, неважно кто, хоть кто-нибудь — любое живое существо, которое, как и он, может умереть. Он подумал о Ролане, спящем сейчас в мансарде.

Лестница, ведущая на верхний этаж, скрипела. К тому же она не была устлана дорожкой. Он остановился, желая удостовериться, что все в доме спят. Дверь комнаты мальчика была приоткрыта, и свет ночника падал на площадку, словно свет луны. Было время, когда Мирбели еще баловали

Ролана, а он, выросший в приютских дортуарах, боялся спать один в темноте, и ему разрешили оставлять на ночь эту тусклую лампочку… Глаза Ксавье, привыкшие к полумраку лестницы, различали теперь каждый предмет: свитер и штанишки, небрежно брошенные на стул, грубые башмаки со шнурками в узлах, валявшиеся посреди комнаты. На тумбочке, у кровати, лежали старое птичье гнездо, рогатка, блокнотик, два письма от Доминики в конвертах и грязный носовой платок. Ночник высвечивал на потолке темные пятна потеков, похожие на очертания неведомых континентов. Ксавье осторожно присел на край кровати. Мальчик спал так тихо, что казалось, он не дышит. Он был неподвижен, как и природа этой ночью, он словно окаменел — как и она, охваченный покоем, покоем не этого мира. Однако он был живой: животный запах жизни и теплота наполняли комнату. Ксавье сидел подле этого живого существа, как сидят у огня, — он отогревался. Мальчик лежал на боку, худое плечо выглядывало из-под простыни. Волосы на затылке торчали хохолком. Ксавье сидел не шевелясь, он вновь обрел силы. Глядя на этого спящего зверька, он снова сердцем почувствовал Бога. Человеческое тело, человеческая душа, вот и все,

что нужно, чтобы ты вернулся сюда, Господи. Ксавье не мог ничего сказать этому ребенку, не мог даже коснуться губами его лба, он мог только молиться за него. Какое страстное желание жертвовать собой ради другого! Это вечное «пусть я вместо него», эта вечная потребность принять на себя чью-то лихую долю. Какое-то безумие! Но покой опять снизошел на него, или, вернее, он снова ощутил этот покой, ибо не подозревал, что утратил его. Живой покой, наполнявший его душу радостью и в то же время пугавший тем, что он предвещал.

— Ты что здесь делаешь?

Ксавье вскочил. В дверях стоял Мирбель в белом купальном халате.

Мальчик проснулся, сел на кровати, увидел их обоих и заплакал. Мирбель повторил:

— Что ты здесь делаешь?

Ксавье пробормотал, запинаясь:

— Не знаю. — Понурив голову, он пытался найти разумный ответ.

— Не знаешь? В самом деле?

Мирбель подошел к кровати, наклонился к мальчику, который тер глаза и всхлипывал, отвел его руки и заглянул ему в сонное, опухшее от слез лицо.

— Что он тебе сделал? Отвечай, когда тебя спрашивают!

Ролан рыдал в голос и бормотал сквозь слезы, что он спал, что он ничего не видел.

— А что он мог увидеть? — спросил Ксавье. — Я вдруг забеспокоился и пришел проверить, не заболел ли он.

— Он заболел?

— Нет, он спокойно спал.

— Только что ты сказал, что не знаешь, зачем ты пришел сюда. Долго же ты придумывал оправдание.

Ксавье по-прежнему стоял, опустив голову.

— А почему ты не ушел, когда убедился, что он спокойно спит?

Ксавье сказал:

— Не знаю… — И, помолчав, тихо добавил: — Я, кажется, молился.

Мирбель пожал плечами и начал декламировать, нарочно запинаясь и растягивая слова, будто школьник в классе:

Вот лучезарный серафим
Стоит у края колыбели,
Как будто над лицом своим
В лесной струящейся купели.

«О милый мой, двойник земной, —
Он говорит, — иди со мною,
За счастием уйдем со мной».

Мирбель замолчал, его душил смех. Ксавье наклонился над Роланом, тихо повторяя:

— Закрой глазки, малыш, это все чепуха, спи… Мы не даем ему уснуть, — сказал он, повернувшись к Мирбелю.

— Что-то ты поздновато проявляешь деликатность, ты не находишь?

А Ксавье тем временем поправил простыню, подоткнул одеяло и сказал Ролану:

— Повернись-ка к стенке… Давайте уйдем.

Ксавье вышел первым. Он почувствовал на затылке дыхание Мирбеля, который шел за ним по пятам. Ксавье не посмел остановить его, и они вместе вошли в комнату. Мирбель притворил за собой дверь, повернулся к Ксавье и сказал:

— Пора вас разлучить.

Ксавье не спускал глаз с Мирбеля, а тот развалился в кресле, словно собирался просидеть так всю ночь.

— Вам бы лучше пойти спать, — сказал Ксавье.

— Со сном я не в ладу, — вздохнул Мирбель и вытянул худые волосатые ноги. — Конечно, ты не

отдаешь себе в этом отчета, но тебя и мальчишку действительно пора разлучить. Ты не додумываешь все до конца. Ты отличный пример тому, как низкое маскируется возвышенным, а дурное выдается за хорошее. Но, на твое счастье, я здесь — и я тебя спасу.

Ксавье глядел на него и молчал.

— Короче говоря, восемнадцатого я отвезу мальчишку назад в приют. Решение принято.

Ксавье спросил:

— Это что, угроза?

— Да нет, я повторяю, это вопрос решенный.

Ксавье тут же забыл про все, что произошло только что в комнате Ролана между ним и Мирбелем, забыл и о том чувстве стыда, которое он пережил во время этой ужасной сцены, его мозг работал напряженно и четко, он снова обдумывал свой план устройства Ролана. Ведь Доминика подтвердила в письме, что он вполне осуществим. Он отдаст Ролану те сто пятьдесят тысяч франков, что получил в наследство от дяди Кордеса. Они определят мальчика на полный пансион к учительнице, Доминика с ней уже договорилась. Мальчик будет учиться в приходской школе святого Павла. Он не слушал Мирбеля.

— Мы снова окажемся вдвоем, как в поезде. И

снова у нас возникнет интерес друг к другу. Та же ситуация вызовет ту же симпатию, ты увидишь! Конечно, здесь не удастся разговаривать так свободно, как в купе… Ведь здесь Мишель. Но ко всему можно привыкнуть, часто перестаешь замечать людей, с которыми живешь под одной крышей. Мы не будем с ней считаться! — воскликнул он с веселой жестокостью.

— Я думаю, что смогу… — прервал его Ксавье. — Я надеюсь, вы мне не откажете в этом… я хочу проводить Ролана восемнадцатого числа.

Мирбель встал и подошел к Ксавье.

— Не говори со мной больше об этом мальчишке. Я возвращаю его в привычную для него среду: в приют. Он там будет как рыба в воде. Но тебе-то что до этого? Чего ты боишься? Выходит, ты не слишком доверяешь провидению.

И снова, изображая школьника, продекламировал:

Он малым пташкам щедро сыпал зерна,

Добру его земля была покорна.

— Эти две строчки из Расина были озаглавлены «Божья доброта». А хрестоматия называлась «Корзинка детских грез». Из нее монахини, учив-

шие нас уму-разуму, выбирали стихи, чтобы мы их зазубривали.

— Вы с Мишель испортили Ролана своим укладом жизни, у него появились не свойственные ему привычки, — сказал Ксавье. — Вы ответственны…

— Хватит! Я не намерен больше говорить с тобой об этом ублюдке. Согласись, что твой повышенный интерес к нему по меньшей мере странен.

Ксавье закрыл глаза и тихо повторял с мольбой:

— Уходите… Уходите… Оставьте меня…

— Жалкая христианская душонка! Ты не смеешь взглянуть правде в глаза!

Ксавье молился про себя: «Господи, не допусти, чтобы этот человек посеял в моей душе семена ненависти и отвращения к людям, не дай ему отравить источник…» И удивился, когда у него вдруг вырвалось:

— Исцелюсь ли я когда-нибудь от знакомства с вами?

— Вот! Наконец-то! — воскликнул Мирбель. — Долго же мне пришлось ждать! Ты признаешься, что задет мною… Большего я не требую, — добавил он со смехом. — Во всяком случае, пока.

Успокойся, я уйду, и ты выспишься. А завтра мы начнем новую жизнь.

Мирбель нервно ходил по комнате и потирал руки.

— И пожалуйста, не заставляй Ролана учиться. Пусть он спокойно проведет те несколько дней, что ему осталось жить здесь. Я освобождаю тебя от занятий с ним. Договорились? Да?

Ксавье ответил безразличным голосом:

— Я больше не буду заниматься с Роланом и проверять его тетради.

— Вот упрямая башка! — взревел вдруг Мирбель. — Я задушу тебя к чертовой матери!

И он протянул к Ксавье руки со скрюченными растопыренными пальцами. Увидев его искаженное злобой лицо, Ксавье отступил на шаг. Мирбель тут же пришел в себя и опустил руки.

— Ты не поверил? — спросил он тихо. — Скажи, ведь ты не поверил, что я могу причинить тебе зло?

— Я не испугался.

— Неужели ты думаешь, что я могу… Тех, кого любят, не убивают.

— Быть может, мы стоим перед выбором, — сказал Ксавье. — Либо убивать тех, кого любим, либо умирать за них.

Мирбель вздохнул:

— Есть и третья возможность: быть любимым тем, кого любишь. Существует ли на свете такое счастье?

Ксавье сказал, глядя в сторону:

— Да, существует. А теперь уходите.

Мирбель спросил почти робко:

— Ты не сердишься? Ты меня простил?

Ксавье кивнул. Оставшись один, он закрыл дверь на задвижку и сел за стол. Этой ночью он написал на листочке, вырванном из школьной тетрадки: «*Я завещаю Ролану, ребенку, взятому из приюта...*» — и все прочее, что пишут в таких случаях.

XIV

Хоть службы в этот день не было, Ксавье встал и пошел к церкви, едва сквозь щели ставен стал пробиваться свет. Он простоял на своем привычном месте у церковной стены в густой росистой траве до тех пор, пока не открылась почта. Он послал Доминике телеграмму с просьбой тотчас же по ее получении позвонить ему в Ларжюзон. По его расчету, она успеет позвонить прежде, чем Мирбель спустится вниз, а Мишель в этот ранний час будет, как всегда, на кухне.

Ему и в самом деле удалось снять трубку прежде, чем звонок услышали. Доминика отвечала ему с неожиданной покорностью. Они условились встретиться послезавтра в доме священника, в Балюзаке. Ксавье приведет с собой Ролана. А она тем временем окончательно договорится с коллегой, которая готова принять Ролана в свой пансион. Доминика взяла на себя все хлопоты в Опекунском совете, где отец одной из ее учениц занимал видный пост. Все было просто, казалось, преград на пути Ксавье уже нет. Оставалось уговорить мальчика; он, конечно, согласится, когда услышит, что его ждет Доминика, но все

же лучше подготовить его заранее. Где его найти? В доме его не было. Октавия сказала, что он побежал к ручью. Снова промочит ноги. Что ж, тем хуже для него. Пожалуй, еще простудится и застрянет здесь, не дай господи! Октавия тоже его ненавидела, потому что «ей приходится возить грязь за этим подкидышем».

Ксавье увидел Ролана на повороте аллеи. Мальчик — руки в карманах, берет натянут на уши — весело гнал ногой сосновую шишку, словно и не подозревал, что его вот-вот снова кинут в омут. Он долго примерялся, раскачивая тяжелый, кованый башмак, прежде чем ударить по шишке, посылал ее далеко вперед и снова скакал за ней, как козленок. Он не видел Ксавье, стоявшего за сосной. Дети не любят, когда взрослые подглядывают за их играми, это Ксавье знал. Вот почему он не окликнул Ролана, а обошел дом и как бы случайно столкнулся с мальчиком.

— Ты ходил прощаться с островом?

Ролан ответил, насупившись:

— Зачем? Это же не человек… — и хотел было войти в дом, но Ксавье положил ему руку на плечо:

— Подожди. Я хочу с тобой поговорить… Ты знаешь, как с тобой поступят?

Ролан пробурчал:

— Почем я знаю? — И вдруг добавил: — Меня отдадут каким-нибудь людям. Я хочу устроиться учеником и зарабатывать деньги.

— Но ты любишь книги. Разве ты не хочешь учиться?

— Я больше хочу зарабатывать. И вообще меня никто не спросит. А вам-то какое дело до этого? — процедил сквозь зубы Ролан, отвернувшись.

— Допустим, мне нет никакого дела. Но, быть может, есть кто-то, кому…

Мальчик пожал плечами:

— Болтайте сколько влезет, мне не жалко! — Он сказал это резко, пожалуй, даже несколько нагло и стал подниматься по ступенькам.

Ксавье удержал его за руку:

— Мадемуазель Доминика беспокоится о тебе, она хочет тебя видеть.

Мальчишка повернул к Ксавье угрюмое, недоверчивое лицо и спросил:

— Откуда вы это знаете?

— Она мне звонила сегодня утром. Только никому об этом не рассказывай. Она приедет за тобой в четверг и будет тебя ждать в Балюзаке. Я провожу тебя.

— Что она может для меня сделать? Ничего! У

нее нет денег.

— Не думай об этом. Доверься ей и мне.

Ролан спросил тихо:

— Вы поженитесь?

Ксавье отвел глаза, чтобы не видеть мальчика, и сказал (словно сам это только сейчас понял):

— Нет, Ролан, она не будет моей женой. Я никогда не женюсь. У меня не будет своих детей, не будет никого, кроме тех мальчиков, которые, как и ты, окажутся на моем пути.

И он провел ладонью по строптивому затылку Ролана.

— Почему вы мной интересуетесь? Я ведь неинтересный.

— Ты интересен и мне, и Доминике. Ты нас интересуешь потому, что мы тебя любим.

— Вы меня любите? Меня? Да бросьте!

Ролан смеялся и качал головой.

— Ты не веришь?

— Я же вам никто.

— Ну и что с того? Доминика тебе тоже никто, а ты ее любишь.

Он сказал:

— Это другое дело. — И задумался. А потом спросил в порыве радости: — Значит, я ее увижу в четверг? Кроме шуток?

— Ты не только ее увидишь, ты уедешь с ней. Но учти, это секрет.

Ролан повторил:

— Кроме шуток? — Он не улыбался, но лицо его сияло. — Пошли вместе прощаться с островом, — сказал он вдруг. — Хотите?

Ролан схватил Ксавье за руку и потащил за собой по аллее. Они не заметили, что в окне второго этажа, прижавшись лбом к стеклу, стоял Мирбель. Он распахнул окно, вскинул руки, словно прижимал к плечу приклад невидимого ружья, и прицелился в спины уходящих.

XV

Октавия собрала со стола пустые чашки, поставила их на поднос и, уже взявшись за дверную ручку, сказала, не оборачиваясь:

— Мадам знает, что мальчишка унес с собой все свои вещи?

Мишель, не отрывая глаз от вязанья, рассеянно переспросила:

— Какие вещи?

— И шкаф, и комод пусты.

Мирбель отложил книгу, которую читал, и спросил, где мальчик.

— Я разрешила ему проводить Ксавье в Балюзак. Они пошли пешком и обещали вернуться к вечеру.

— Ты видела, как они уходили?

Мишель вскочила. Она вспомнила, что у Ксавье за спиной был рюкзак.

— Я подумала, что он захватил с собой еду.

Она торопливо вышла из столовой. Жан — за ней. Они вместе поднялись в мансарду, где спал мальчик. Да, шкаф был пуст. В ящиках комода они тоже не нашли ничего, кроме старой коробки из-под мыла с продырявленной крышкой, «чтобы

кузнечики дышали». Октавия тоже, ворча себе под нос, поднялась в мансарду. Она чувствовала, что в доме что-то происходит. Наверно, мсье Ксавье для того и приехал в Ларжюзон, чтобы выкрасть Ролана. Значит, чего-то ему от него надо! С подкидышами всякое бывает…

Мирбель спустился на второй этаж, отворил дверь в комнату Ксавье и с порога увидел, что Ксавье не забрал свои вещи. На полу валялись ношеная рубашка и пара давно не чищенных ботинок, чемодан стоял, как всегда, за шкафом.

— Этот вернется, — сказала Мишель. — Отчего ты хмуришься? Мы избавились от мальчишки. Ты же этого хотел?

Мирбель вышел, ничего ей не ответив. Она пошла за ним. Он подошел к телефону, полистал телефонную книгу и позвонил в Балюзак. В полутемной библиотеке было холодно. На столе, за которым дети когда-то делали летние задания, валялись дохлые мухи.

— Алло! Это дом священника? Можно попросить к телефону мсье Дартижелонга?

Мишель потянулась за трубкой, но Мирбель в бешенстве ее оттолкнул.

— Это ты? Ты вернешься к вечеру? Один? Да, я понял… Да нет, я вовсе не утратил к нему интере-

са… Поживем — увидим.

Он говорил ровным глухим голосом. Повесив трубку, он сказал Мишель:

— Не ходи за мной по пятам. Оставь меня одного.

Она вышла на крыльцо и глядела ему вслед, пока он не исчез в сумерках.

А в это время священник в Балюзаке говорил Ксавье тоном заговорщика:

— Я оставлю вас наедине с ней в гостиной. Автобус придет только через четверть часа. Хотите, я уведу мальчика в сад? Вы сможете спокойно побеседовать.

Ксавье покачал головой. Священник вышел, но Ксавье и Доминика так и остались стоять в разных концах комнаты. Ролан прилип к Доминике, как ягненок к матке. Она рассказывала о своих хождениях в Опекунский совет, обо всех бумагах, которые ей пришлось написать. Ксавье не слушал, что она говорит, он только смотрел на нее.

— Нет, не благодарите меня. Моя заслуга невелика. Я занимаюсь делами Ролана, чтобы не потерять вас. Это единственный способ вас сохранить.

— Теперь Ролан больше во мне не нуждается. С этой минуты я перестаю нести за него ответ-

ственность.

Она горячо возразила, что не станет одна заниматься Роланом, что она согласна только на роль посредницы между ним и мальчиком. Ролан поглядел в окно и крикнул:

— Автобус! Пришел автобус!

А Мирбель все кружил по аллеям ларжюзонского парка, каждые четверть часа он проходил мимо крыльца, откуда за ним наблюдала Мишель. Она всякий раз окликала его, но он даже не оборачивался и вновь погружался во все густеющие сумерки. Спустилась ночь. Мирбель направился в гараж; в лучах фар вдруг возникла Мишель. Она спросила, далеко ли он собрался. Ей послышалось, что он ответил: «Ему навстречу!» И быстро выехал из гаража. Ей пришлось притиснуться к воротам — так близко проехала машина.

Пока красный огонек автобуса не исчез за поворотом дороги, Ксавье неподвижно стоял на площади. Потом он вернулся в дом священника. Уже совсем стемнело, и было холодно, но священник ожидал его перед дверью и предложил ему свой велосипед. Ксавье сперва отказывался, священник настаивал. Потом между ними возник

спор. Нет, это была не ссора. Священник утверждал, что жертвовать собой, спасая отдельных людей, — значит зря прожить свою жизнь, что важна только судьба класса в целом, что нельзя спасать человечество в розницу, и тому подобные вещи. Однако эти общие рассуждения, казалось, сильно огорчили Ксавье Дартижелонга. В конце концов он все же согласился взять велосипед. Потом священник простить себе не мог, что, заметив странное выражение лица Ксавье, спокойно отпустил его ночью, а не заставил переночевать в Балюзаке. Но у него не было свободной комнаты, и он опасался, что молодому человеку будет неудобно спать на диване в гостиной.

— Завтра утром я передам велосипед погонщику мулов, он доставит его вам.

Вот слова, которые Ксавье сказал на прощание священнику. А это значит, что у Ксавье не было и мысли о самоубийстве, иначе он ушел бы пешком.

— Он был такой щепетильный, он не стал бы губить мой велосипед…

Потом настал черед Мишель бродить по аллеям парка. Она не чувствовала холода, хоть и была без пальто. Она утешала себя: «Раз я жду несчастья, значит, ничего не случится». Она верила, что чем

больше выдумаешь всяких бед, тем меньше их случится. Она торопливо шагала по дну пропасти, отвесными стенами которой были стволы сосен. Время шло. Мирбелю уже давно пора бы вернуться, она прислушивалась, надеясь уловить шум мотора. Она поднялась в дом, чтобы послать Октавию спать. Когда Мишель снова вышла на крыльцо, она увидела яркий луч велосипедного фонарика и освещенную руку на руле. Велосипедист был ей незнаком. Он сказал, что случилось несчастье.

— Молодого человека, который жил у вас, задавило машиной. Он ехал на велосипеде. Неясно, то ли он нарочно попал под машину, то ли его ослепили фары. Правда, включены были только подфарники. Ваш муж затормозил. Но полиция считает, что, скорей всего, молодого человека ослепил яркий свет. Так они и напишут в протоколе, чтобы можно было получить страховку.

Она спросила, куда отвезли тело.

— В дом священника. Несчастье случилось как раз у выезда из Балюзака. Ваш муж отвез его туда на своей машине. А священник позвонил родителям покойного.

Велосипедист уехал. Мишель села на ступеньку крыльца, обхватила колени руками и стала

ждать. Она издалека услышала шум мотора, потом скрип ворот гаража. Мирбель шагал по усыпанной щебенкой аллее не быстрее и не медленнее, чем обычно. Мишель встала. Он подошел. Она повела его в прихожую. Он сказал, не глядя на нее:

— Все произошло не так, как ты думаешь. Я поехал ему навстречу, потому что мне не терпелось то ли отругать его, то ли разжалобить и растрогать. Как я ни злился, ничего другого я не хотел. И вдруг он возник в свете фар. Я затормозил. Он мчался прямо на радиатор. Ты мне не веришь?

Она молчала, и тогда он спросил, нет ли чего-нибудь поесть.

— Ты хочешь есть?

Да, он хочет есть. На столе стояла тарелка с холодным мясом, которую оставила Октавия. Он сел, и Мишель подала ему ужин. Он ел жадно, потом выпил залпом стакан вина. Свет лампы падал на сидящего за столом человека, и Мишель, стоя поодаль, видела только его широкую, обтянутую свитером сутулую спину и крупную голову с ежиком волос. Она спросила его шепотом:

— А что говорят люди? Что они думают?

— Что он покончил с собой… Они так думают, потому что в этот вечер он передал Доминике в

числе прочих бумаг свое завещание: все, что у него есть, он оставляет Ролану.

Она пробормотала:

— Что ж, пусть думают так, для тебя это лучше…

Но он возмутился:

— Да что ты! Об этом и речи нет. Кто посмеет меня обвинить?

— Его завещание… Разве это доказательство, что он…

Она побоялась закончить фразу. Мирбель допил вино, вытер губы, потом с трудом поднялся, опираясь о стол.

— Нет, — сказал он. — Я-то знаю, что это не доказательство! Он не покончил с собой. Я видел дату на этом документе: он написал его в понедельник вечером.

И Мирбель добавил скороговоркой:

— Я напугал его. Это случилось потому, что он боялся меня.

— Ты напугал его? Чем?

— Это произошло в его комнате. Я его пальцем не тронул. Но я понял, он считает, будто я могу… И все же это не я!

Он пошел к двери. Мишель двинулась за ним.

— Кто же тогда?

— Другой его толкнул.

— Другой? Кто другой?

Он молчал, но она настаивала:

— Кто другой, Жан?

Он не ответил и сказал только:

— Я пошел спать.

Она поднялась за ним по лестнице. Он обернулся и увидел, что она плачет. Он положил ей руку на голову:

— Ты не можешь оставаться одна сегодня ночью, Мишель. И я тоже не могу остаться один.

Она тихо сказала:

— Вот уже два года, как ты не приходил ко мне ночью.

Она первая вошла в спальню.

— Не зажигай, — попросил он.

Они легли. Она обняла его. Они молчали.

ПОДРОСТОК БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать, и так до самых темных глубин.

Кафка

Глава I

Я не такой, как все мальчики. Будь я таким, как все мальчики, в свои семнадцать лет я бы охотился вместе с Лораном, моим старшим братом, и Дюбером, нашим управляющим, и Симоном Дюбером, его младшим сыном — «аббатом», которому полагалось бы сейчас присутствовать на вечерней службе, и его братом Прюданом Дюбером, который подбивает Симона распрощаться с кюре. Я стрелял бы из охотничьего ружья, а не рыскал в кустах, выслеживая дичь, как собака, не играл бы, изображая из себя собаку.

Да, я изображаю собаку, но в то же время раздумываю о том, что же происходит в голове у Симона. Он подоткнул полы сутаны, чтобы она не цеплялась за ветки и колючий терновник; не знаю почему, но его толстые икры, обтянутые черными шерстяными чулками, вызывают у меня неудержимый смех. Он любит охоту не меньше, чем наши собаки Диана и Стоп. Охота у него в крови, это сильнее его, хотя он отлично знает, что в этот самый час господин настоятель служит вечерню и смотрит на пустую скамью, где следовало бы находиться Симону, но где его

нет. После службы господин настоятель придет к нам поговорить об этом с мамой. Надеюсь, я успею вернуться, хотя они очень осторожны и умолкают, едва завидев меня. Я пустомеля, как говорит мама, а господин настоятель считает, что у меня дурное направление ума, так как я задаюсь вопросами, которыми он никогда не задавался и которых ему никогда никто не задавал, а тем более я. Но он знает, что я считаю его глупцом.

«Послушать тебя, так все глупцы!» — обычно упрекает меня мама. Что правда, то правда, в нашей семье умным я считаю лишь себя самого, но я знаю, что ничего не знаю, потому что меня ничему не научили. Мои учителя не могли ничему меня научить, только азам. Товарищи превосходят меня во всем, что в их глазах имеет какую-то цену. Они презирают меня и имеют все основания презирать: никаким спортом я не занимаюсь, сил у меня не больше, чем у цыпленка. Я краснею, когда они говорят о девицах, а когда они показывают друг другу фотографии, я отворачиваюсь. Однако иные из них относятся ко мне дружески, и больше чем дружески.

Они знают, что они станут делать, у них есть свое место в жизни. А я? Я даже не знаю, какой я. Я отлично знаю, что все проповеди господина

настоятеля и все, во что верит моя мать, не вяжется с тем, что существует в действительности. Я знаю, что они и понятия не имеют о праведности. Мне ненавистна их религия. И все-таки я не могу обойтись без бога. Вот это, в сущности, и отличает меня от всех прочих, а совсем не то, что я изображаю из себя собаку и рыскаю в кустах, вместо того чтобы охотиться с Лораном, Прюданом и Симоном Дюбером, и даже не умею обращаться с охотничьим ружьем. Все, что рассказывает господин настоятель, и то, как он это рассказывает, кажется мне полным идиотством, и, однако, я верю, что все это истина, решаюсь написать для самого себя: я знаю, что это истина. Словно слепой поводырь ведет меня к непреложной истине каким-то нелепым путем, бормоча свою латынь и заставляя бормотать ее все редеющие толпы верующих, а точнее, просто жалкое стадо, которое будет пастись всюду, куда его ни пригонят… Но что с того! Свет, в котором они идут, — я его вижу, вернее, свет этот уже во мне Они могут болтать все, что им угодно: ведь они и есть те невежды и идиоты, против которых ополчается мой друг

Донзак, примкнувший к «модернистам»[26]. И все-таки то, во что они верят, — истина. Вот, на мой взгляд, к чему сводится история церкви.

Зайца они затравили у самых полей Жуано. Возвращение было мучительным: семь километров по этой мрачной, но милой моему сердцу дороге, между двух стен вековых сосен. «Все тут принадлежит мадам, все, насколько хватает глаз!» — то и дело объявлял Дюбер со своей нелепой мужицкой гордостью… Ужасно даже писать об этом. Я заранее знал, что всю дорогу Симон будет шагать рядом со мной, не открывая рта. А Лоран сам вдруг превратился в ребенка. Он играл, подбрасывая ногой сосновую шишку: если доведет ее до дома, значит, выиграл.

С Симоном мы не разговариваем ни о чем. Наверное, кюре сетовал при нем на мое «дурное направление ума», и Симон восхищается тем, что в семнадцать лет я способен внушать тревогу этому ограниченному человеку, под чьим присмотром он будет находиться все время — ведь он семинарист, приехавший на каникулы.

Сейчас я исповедуюсь перед богом в своем

---

[26] Примечания: 26

Модернизм — течение в католицизме, пытающееся привести религиозные доктрины в соответствие с требованиями современной философии.

обмане: все, что делает меня опасным в глазах настоятеля и, возможно, вызывает восхищение Симона, не более как смутные отголоски речей моего друга Андре Донзака, все уши мне прожужжавшего премудростями, взятыми из «Анналов христианской философии». Он превозносит издателя этого журнала, некоего отца Лабертоньера, члена конгрегации ораторианцев[27], одно имя которого повергает нашего настоятеля в ужас. «Это „модернист“, таких еретиков на костре сжигали», — твердит он. Я презираю его за этот жестокий и тупой образ: костер! О, они всегда готовы сжечь того, кто верит с открытыми глазами.

Тем не менее я обманщик, я бью их наповал зажигательными речами Андре, выдавая их за свои собственные, и делаю вид, будто знаю то, что неизвестно им, хотя сам я такой же невежда, как они… Нет, я клевещу на себя. Как выражается

[27] Примечания: 27

Ораторианцы — учрежденное в Риме в 1558 г. общество духовных лиц, не приносивших монашеских обетов, собиравшееся в начале для совместного чтения и толкования духовных книг, но впоследствии прославившееся своими заслугами в области философии и науки.

Андре, я проник в Паскаля[28]. Я читаю Паскаля без всякого усилия, особенно «Примечания» в издании Бренсвига, которое дал мне Андре. Меня касается все, что касается Пор-Рояля[29].

А вот читал ли Паскаля Симон Дюбер, хоть он и сдал экзамены на бакалавра? Подозреваю, что ни с одним автором, упомянутым в программе, он не знакомился непосредственно, а довольствовался изложением в учебнике… Он шагает рядом со мной. От него пахнет потом, пропитавшим всю его сутану. Не то чтобы он был грязен, он чистоплотнее своей крестьянской семьи, которая и понятия не имеет, что значит мыться, и, может быть, даже чистоплотнее нас, потому что ловит рыбу у мельницы и чуть не каждый день полощется в воде. Он стучит по корням ольхи, загоняя в верши щук и налимов… Впрочем, я не собираюсь рассказывать здесь о рыбной ловле.

---

[28] Примечания: 28

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.

[29] Примечания: 29

Пор-Рояль-де-Шан — французский женский монастырь в долине Шеврёза, который на протяжении XVII века служил главной цитаделью янсенизма во Франции. В 1709 г. был закрыт и разрушен.

По правде говоря, меня мутит не столько от запаха Симона, сколько от его шестых пальцев — этих дрожащих отростков на каждой руке и на каждой ноге: ему приходится даже шить башмаки по мерке, и ноги кажутся одинаковыми что в длину, что в ширину — прямо как у слона! Но шестой палец на ноге мне случается видеть не так уж часто, зато от этих хрящиков без фаланг на руках меня бросает в дрожь. К тому же он и не старается их прятать, он даже откровенно радуется, что лишние мизинцы избавят его от военной службы. Но его старший брат Прюдан другого мнения: «Ты мог бы поступить в Сен-Сир[30]...» Это единственные произнесенные при мне слова, когда Прюдан выступил в роли искусителя, которую, если послушать маму и настоятеля, он играет в жизни младшего брата.

Я подумал, какой роман я мог бы написать на эту тему: Прюдан, хилый, тощий, темнолицый, с гнилыми зубами, да еще влюбленный, это я знаю наверняка, в Мари Дюрос, их соседку, дочь плотника, сестру Адольфа Дюроса, двадцатилетнего великана, похожего на Геракла из учебника греческой истории, — Прюдан в лице своего бра-

[30] Примечания: 30

Сен-Сир — французская военная школа, готовившая офицеров для пехоты и кавалерии, располагавшаяся недалеко от Парижа.

та сведет счеты с этим миром, где сам он всего лишь плесень… Не считая того, что он, как все Дюберы, умен. Его бунт доказывает это. По моему замыслу в этой придуманной истории Прюдан должен отказаться от Мари Дюрос и вручить ее Симону. Впрочем, Мари Дюрос, вероятно, смотрит на младшего брата с таким же отвращением, как на старшего, даже с большим, из-за этих его мизинцев и сутаны, словно прилипшей к телу. Но что мне об этом известно? Все это я выдумываю, хотя уверен, что это правда, потому что знаю парня, которого любит Мари Дюрос, к которому она ходит, наконец, — он друг Адольфа, ее брата-великана.

Впрочем, господин настоятель, пожалуй, прав, когда твердит, что Симона искушает не дьявол вожделения, а дьявол честолюбия. На девушек он почти не глядит. Я прекрасно понимаю, что его так вышколили, чтобы он на них не глядел. И все равно ему еще не приходилось по-настоящему бороться с искушением. Но что я об этом знаю? Я не знаю ничего ни о Симоне, ни о ком бы то ни было. Даже мама и господин настоятель подчас ставят меня в тупик.

Когда мы вернулись с охоты, Лоран отнес зайца на кухню. Я устал и растянулся на диване в

прихожей. Мама присела рядом. Она потрогала рукой мой лоб и спросила, не хочу ли я пить. Ей не терпелось поговорить. Должно быть, они заранее условились с настоятелем, о чем следует со мной говорить: ведь считается, будто Симон поверяет мне свои тайны. На самом деле этого и в помине нет. Его расположение ко мне никогда не проявляется в словах. Разделяющая нас пропасть его не смущает. Во всяком случае, он ни разу не пытался преодолеть ее.

Мама, впрочем, тоже. Она меня любит, но я ее не интересую. Ее не интересует ничто, кроме наших земель и еще чего-то, что она держит в тайне от всех, подозреваю, что ее мучат угрызения совести — об этом я могу судить: я сам терзался угрызениями совести в детстве, я от них освободился, или почти освободился, с тех пор как открыл, благодаря Донзаку, что нам вдолбили в голову, будто наше вечное спасение зависит от всяких нелепых запретов, от таблицы грехов простительных и так называемых смертных.

Господин настоятель, должно быть, возложил на маму миссию заставить меня разговориться, а я нарочно закрывал глаза, делая вид, что хочу спать. Она не стала прибегать к уловкам и прямо спросила меня, как был настроен Симон во время

охоты.

— Он только и думал, что о зайце и еще, разумеется, о том, с каким лицом встретит его завтра утром господин настоятель, когда он явится к мессе.

Мама лишь этого и ждала, она тут же выложила свои карты.

— У господина настоятеля не такие уж узкие взгляды. Он не придает ни малейшего значения тому, что Симон в девятнадцать лет предпочитает охоту вечерней службе. Воскресная вечерня не обязательна. Господин настоятель признавался, что она даже для него испытание. А что касается Симона, то совсем не это важно.

— Разумеется, не это, — сказал я. — Важно то, что Симона обрекли, возможно против его воли, на такую жизнь, для которой он не создан.

С мамой произошло то, что она называет «приступом». Она побагровела так, что мне стало за нее страшно: во что я вмешиваюсь?

— Но, мама, ты же первая об этом заговорила. А я, пожалуй, единственный, кто не вмешивается в дела Симона.

Со свойственной не только маме, а, по мнению Донзака, и всем женщинам нелогичностью она возразила, что я не прав и что долг велит мне

вмешаться.

— Так вы не верите в благодать? Вы полагаете, что богу нужна наша помощь в том споре, который идет в душе Симона и касается только его одного?

— На Симона все это время оказывают давление, о котором мы и не подозревали, тут настоящий заговор. Ты должен все знать, это очень важно: втайне от нас с первого дня каникул он часто встречается… Как бы ты думал, с кем? С мэром, да-да, с господином Дюпором, а тот франкмасон и поклялся отвратить Симона от церкви…

— Но мы же все знали, что Симон встречается с госпожой Дюпор…

— С этой сумасшедшей, да, но не с ее мужем, которого один вид сутаны приводит в бешенство. Я думала, Симон приходит в дом Дюпоров только днем, когда мэр у себя на лесопилке. Долгое время так оно и было… Госпожа Дюпор сама нас предупредила…

Госпожа Дюпор сама! Я не верил своим ушам. «Дюпоры! Мы с ними не видимся». На мамином языке это означало, что она не обменивается с ними ежегодным визитом (во время летних каникул, когда мы живем в Мальтаверне), которым могут похвастать три или четыре местные

дамы. Но это верно также и в буквальном смысле слова: Дюпоров не видят, на них не смотрят. Они вычеркнуты из нашего крохотного мирка. Попытаюсь рассказать по порядку эту историю Дюпоров и Симона. Госпожа Дюпор, как говорят, хорошенькая женщина, намного моложе своего мужа — мне-то она всегда казалась старухой, — внушала недоверие уже тем, что была не из наших мест («не известно, где он ее взял, не известно, откуда она…»); наши места — это ланды[31] Базаса. У Дюпоров была единственная дочь Тереза, родившаяся в один день с Симоном Дюбером. Мари Дюбер ходила к Дюпорам на поденную работу и брала с собой маленького Симона, который играл с Терезой, позволял ей тиранить себя и подчинялся ей, потому что сыну поденщицы полагалось подчиняться дочери мэра, но также и потому, как смеясь говорили все вокруг, что он был в нее влюблен и она в него, а нравилось ей в нем больше всего то, чего я совершенно не переносил, — этот ужасный шестой палец… Терезу в несколько дней унесла какая-то болезнь. Может

[31] Примечания: 31

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100–150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7–8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

быть, менингит? Родители доверились доктору Дюлаку, первому помощнику мэра, тоже радикалу и франкмасону. Это было для них страшным ударом. Госпожа Дюпор, которая раньше ходила по воскресеньям в церковь и молилась, прячась за колонной, больше там не показывалась, она отвернулась от бога. Зато каждый день в любую погоду она отправлялась на кладбище. Когда поспевали вишни, она приносила их на могилу, потому что Тереза любила вишни. Ребятишки, прибегая из школы, их съедали.

Эти странности умеряли сострадание окружающих. В довершение всего она отказалась принять маму. Это было невероятно. И вот ни один житель местечка не переступал более порога ее дома, кроме Мари Дюбер и во время каникул — Симона. От них мы узнали, что в прихожей со дня похорон лежали рассыпанные по полу цветы и ветки и что Мари Дюбер запрещено к ним прикасаться.

Симона госпожа Дюпор, если бы могла, держала бы у себя днем и ночью. Он возвращал ей Терезу, он был Терезой. Но он-то был жив, и он был мальчишкой. Его нельзя было просто поместить на стул, точно неодушевленный предмет, или пичкать целый день вареньем и бисквитами. К счастью, он до безумия любил читать.

Помню, уже позднее в какой-то игре каждый из нас должен был придумать себе девиз и в нем наименьшим количеством слов выразить то, что он считает счастьем. Симон написал сначала: «Охотиться и читать». Потом исправил: «Читать и охотиться». У госпожи Дюпор был полный комплект «Рождественского иллюстрированного альманаха», «Журнала путешествий», романы Жюль Верна, «Путешествие двух детей по Франции» и множество других чудес. Она усаживала Симона у окна и говорила: «Читай, не обращай на меня внимания».

Сначала Симона смущал неотрывно устремленный на него взгляд и позвякивание вязальных спиц, потом он привык. Каждые два-три дня, а если книга была интересная, то и каждый день он приходил после обеда и устраивался у окна в этой, должно быть, странной комнате, которую он никак не мог мне описать: крестьяне не видят того, что видим мы, — они видят то, чего мы не видим. Однажды он попросил у госпожи Дюпор разрешения унести книгу домой. Это был единственный раз, когда она на него рассердилась. Ни одна из книг, которые читала Тереза, которых касалась рука Терезы, не должна была покидать дом. Но на следующий день она сказала Симону,

что хотела бы, чтобы он читал ей вслух, пока она вяжет, а она будет платить ему по часам, как его матери.

Сейчас я думаю: уж не это ли жалованье, ослепившее Дюберов, помешало маме и господину настоятелю ощутить беспокойство, которое должны были бы им внушить ежедневные встречи двенадцатилетнего семинариста с экстравагантной особой, женой мэра-франкмасона. Правда, в те времена мэра по целым дням не бывало дома, он был поглощен своим заводом и делами муниципалитета. Кроме того, как я узнал позднее, у него были две связи: одна в Бордо и другая в Базасе.

Разумеется, госпожа Дюпор, рассорившаяся с богом после смерти Терезы, в церковь не ходила, но Симон уверял настоятеля, что она никогда не заговаривала с ним о религии. Она и в самом деле ни о чем с ним не говорила, она только смотрела, как он читает. «Первое время мне было не по себе: она так и ела меня глазами. А теперь я не обращаю внимания…» — уверял Симон. Он даже не терял аппетита, когда она приносила ему «полдник», как называл он легкую закуску — чашку какао и хлеб с маслом, — и не сводила с него глаз, пока он ел.

В октябре, когда мы все возвращались в Бордо, Симон брал с собой в семинарию заработанные им деньги на карманные расходы. Ни господину настоятелю, ни маме и в голову не приходило, что ему следовало бы от них отказаться. Меня поражало еще в детстве, что деньги для этих христиан были высшим благом, которое не отвергают, которым не жертвуют, разве лишь по особому обету, как францисканцы или трапписты[32]. Лет с двенадцати в голове у меня стала созревать некая смутная мысль, которую за прошлый и этот год помог мне окончательно осознать Донзак, а именно, что, сами того не ведая, воспитавшие нас христиане во всем поступают наперекор Евангелию, что каждую заповедь блаженства из Нагорной проповеди они превратили в проклятие: они вовсе не кроткие, они не только не праведники, но сама праведность им ненавистна.

Драма разразилась из-за сутаны, в которую обрядили Симона, едва ему исполнилось пятнадцать лет. Каким отличием была для него эта сутана! Он получил право на особое место на

[32] Примечания: 32

Трапписты — монахи очень строгого ордена, члена которого давали обет вечного молчания, питались хлебом и рисом.

хорах и право надевать стихарь во время службы. Если в местечке все по-прежнему говорили ему «ты», то посторонние, несмотря на его детское лицо, называли его «господином аббатом». Но сутана в доме мэра! Госпожа Дюпор надеялась, что Симон согласится обойтись без этой сутаны два раза в неделю. Он отказался с таким видом, словно речь шла о вечном спасении. Мари Дюбер, для которой эта сутана была свершением мечты всей ее жизни — домик при церкви, где она хозяйничала бы на кухне и в прачечной, — осмелилась одобрить отказ Симона.

И тут мама и господин настоятель заподозрили то, что я уже ясно видел, хотя мне было всего четырнадцать лет: не маленький дружок Терезы нужен теперь госпоже Дюпор, а тот Симон Дюбер, каким он стал, тот, кто внушал мне такое отвращение, с этим его резким запахом, с его крестьянским костяком и лишними мизинцами. Мы убедились, что она не могла обойтись без него, она мирилась с его отсутствием в течение учебного года, но, я думаю, все это время было для нее лишь предрождественским бдением, приуготовлением к пришествию Симона… Впрочем, нет, теперь я вспоминаю, что и мама и настоятель ни о чем не догадывались. У них открылись глаза

после того, как Симон передал настоятелю слова госпожи Дюпор: она сказала, что не она, а ее муж не выносит сутаны; она же, напротив, привыкла к ней и даже видит в том некую выгоду — залог того, что Симон всегда будет тут, рядом, и его никто у нее не отнимет…

— Никакая другая женщина? — спросил я.

— Да, конечно, — сказала мама.

— Значит, она его любит!

Этот вывод напрашивался сам собой, я сообщил его самым естественным тоном и был поражен тем эффектом, который он произвел. Правда, хоть мне и исполнилось в том году четырнадцать лет, со мной обращались так, как сейчас не обращаются даже с восьмилетними.

— Что ты выдумываешь? Пустомеля! Сам не понимаешь, о чем говоришь.

— Раз говорю — значит, понимаю.

— И тебе не стыдно? В твоем-то возрасте! Что подумает о тебе господин настоятель?

— Устами младенца порой глаголет истина, — сказал настоятель.

Он встал и забегал вокруг бильярда, бормоча про себя:

— Как мог я быть таким слепцом…

— Но, господин настоятель, разве вы могли

предположить… Госпожа Дюпор, в ее возрасте!

— Это страшный возраст, увы… Заметьте, по моему мнению, тут Симону ничто не грозит — я знаю, как он…

Он оборвал фразу, боясь, что сказал лишнее. Все, что он мог сказать о Симоне, даже хорошее, нарушало тайну исповеди.

— Да, — произнес я, — но, по словам Симона, она ест его глазами, пока он ест свой «полдник». Может быть, в один прекрасный день ей этого станет мало…

— Что это ты хочешь сказать? Да кто тебя научил?..

— Это верно, — вполголоса проговорил настоятель, — есть такие людоедки…

— И людоеды, — добавил я невинным тоном.

— Людоеды? Какие людоеды?

Они уставились на меня в тревоге: на что я намекаю? Да, без сомнения, ничего определенного я им сообщить не мог или предпочел умолчать, однако я знал, что людоеды бродят вокруг всех пятнадцатилетних мальчиков, но приближаются, лишь если чувствуют молчаливое согласие.

— Это приводит в трепет, — сказала мама. — Зачем существует зло? — добавила она в раздумье, сама не понимая, что задает единственный во-

прос, способный подорвать веру.

Постараюсь вспомнить все, что они придумали, чтобы спасти Симона от этой вампирши. Кюре попросил своего собрата из Шаранты пригласить Симона поохотиться, и тот задержал его до начала занятий. В этот год Симон вернулся в семинарию, не заезжая в Мальтаверн.

Что касается меня… Осмелюсь ли я самому себе рассказать, какую шутку сыграл я с настоятелем? Да, это необходимо, чтобы ясно представить себе, кто же я такой на самом деле. Седьмого сентября, в канун Рождества Богоматери, мама без лишних слов объявила мне, что господин настоятель ждет меня в три часа к исповеди: «Ты тогда успеешь пройти до всех этих дам». Подобное вторжение в религиозную жизнь четырнадцатилетнего мальчика казалось ей совершенно нормальным. Я был для нее ребенком, за которого она считала себя ответственной перед богом. Злой, раздраженный (но не взбешенный, как это было бы сейчас), я все же понимал эту совестливую христианку, передавшую мне по наследству свою больную совесть, от которой я не вполне излечился и в семнадцать лет. Должно быть, ее все еще мучило то, что я посмел сказать о людоедах: во время покаяния я выложу все до конца. Разумеется,

для нее и речи быть не могло, чтобы нарушить тайну исповеди: мама не стремилась «знать». Для успокоения ей достаточно было снова «прибрать к рукам» своего мальчика, который вступал в опасный возраст. Я взбунтовался: после конкордата[33] день Рождества Богоматери не был уже обязательным праздником.

— В нашей семье, — возразила мама, — он остался обязательным. Мы всегда соблюдали его. Наши фермеры не пашут на волах в этот день. К тому же господин настоятель ждет тебя. И говорить об этом больше нечего.

— Но ты же не заставляешь Лорана…

— Лорану восемнадцать лет. Ты еще ребенок, и я отвечаю за тебя.

Сам дьявол подсказал мне эти слова:

— Если я дурно исповедуюсь, у меня будет дурное причастие. И оба греха лягут на тебя.

Она побледнела, вернее, щеки ее приобрели землистый оттенок. Я бросился ей на шею:

— Нет-нет, я пошутил, я буду и исповедоваться и причащаться…

---

[33] Примечания: 33

Конкордат — договор между римским папой как главой католической церкви и каким-либо государством, регулирующий правовое положение католической церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом.

Она прижала меня к груди.

По дороге в церковь злость охватила меня с новой силой, но теперь она целиком обратилась против ни в чем не повинного настоятеля. Я силился побороть ее, мне ни к чему была дурная исповедь… «Ну что ж, — подумал я, — ладно, скажу ему все и даже больше, чем он пожелает, больше, чем ему когда-либо приходилось об этом слышать».

Он читал требник, сидя около исповедальни. Он еще некоторое время продолжал читать, потом спросил, готов ли я, вошел в свою каморку и снял с гвоздя епитрахиль. Я услышал, как открылось окошечко, и увидел его огромное ухо. Сообщив, что не исповедовался с 15 августа, я отбарабанил *Confiteor*[34] и выложил *recto tono*[35] свой обычный малый набор, который не менялся со времен первой исповеди: «Грешен в чревоугодии, лжи, непослушании, лени, плохо молился, плохо слушал мессу, повинен в гордыне, злословии…»

И это все? У него был разочарованный вид. Да, думаю, что все.

---

[34] Примечания: 34
Молитва перед исповедью *(лат.)*.

[35] Примечания: 35
Напрямик (лат.).

— Ты уверен, что тебя ничто больше не тревожит? Может быть, какие-нибудь мысли…

Я спросил:

— Какие мысли?

Он не настаивал: не очень-то он доверял мне, этому маленькому чудовищу, но вполне вероятно, что я мог быть и чудовищем невинности.

— Всегда ли ты исповедовался искренне?

Вот тут дьявол обуял меня и подсказал мне ответ:

— Нет, отец мой.

— Как? Надеюсь, ничего важного ты не утаил?

— Не знаю. Может быть, это и есть самое важное.

— Бедное мое дитя! Твоя мать, твои наставники, сам я, все мы всячески остерегали тебя против малейшего отклонения от святой добродетели…

Так он именовал целомудрие. Я возразил, что в этом пункте ни в чем серьезном упрекнуть себя не могу. В то время это была чистая правда. Каким невинным мальчиком был я всего три года назад…

— Однако ты сказал, что речь идет о самом важном… Что же это значит?

— Важно это или нет, судить вам. Так вот, я — идолопоклонник.

— Идолопоклонник? Да что ты болтаешь?

— Я не могу сказать, что в буквальном смысле поклоняюсь идолам. Я исповедую тайный культ. Знаете большой дуб в парке?

— Ну, не такой уж он большой, — заметил кюре, видимо желая вернуть меня на твердую почву, в наш надежный мир, где все можно измерить и взвесить.

— Для меня он — бог, да, с сознательного возраста я всегда считал его богом и поклонялся ему.

— Вот оно что! Ты поэт, известное дело (он произносил «*пуэт*»). Тут нет ничего плохого.

— Я так и знал, отец мой, что вы мне не поверите. Это и мешало мне до сегодняшнего дня исповедаться в своем грехе: я боялся, что никто мне не поверит, даже вы. Но поймите, я придумал богослужение в честь большого дуба, я приношу ему жертвы…

— Полно, полно! Это вполне дозволенная пуэзия, дурачок. Чего ты добиваешься? Уж не думаешь ли ты посмеяться надо мной? Тогда это было бы большим грехом: над богом не смеются.

— Я не смеюсь над вами, просто я понимаю, что вы не в силах мне поверить.

— Все пуэты, и христианские тоже, поклоняются природе — это дозволено.

— То, что делаю я, не имеет ничего общего с излияниями Ламартина или Гюго. Уверяю вас, все деревья для меня живые, все они божества, особенно сосны в парке. Я предпочитаю их людям, — добавил я, с наслаждением отдаваясь во власть рассчитанного и в то же время искреннего вдохновения.

Да, люди уже и тогда внушали мне страх, даже те будущие люди, с которыми я имел дело в колледже. Правда, наших религиозных наставников, даже самых плохих, я не боялся, потому что их держали в узде благочестие и суровые правила. Но мои соученики! Эти уже были способны на все! Помню, я все перемены просиживал в уборной, умирая от страха при одной мысли о мяче, летящем мне прямо в лицо…

— Полно, Ален, вернемся к серьезным вещам.

— Почему, — воскликнул я в тоске, не притворной, но все же сознательно вызванной и даже не лишенной самолюбования, — почему отказываете вы мне в прощении, не желая принять мои признания всерьез?

Кюре привычным движением разминал свое лицо, словно вылепленное из глины. Внезапно он спросил меня:

— Ты поклоняешься всем деревьям или только

большому дубу?

— Нет, все они, разумеется, живые существа, но только большой дуб — бог.

— Что ж, это было тебе дано в откровении?

Я видел, как он качает своей большой головой. Постучать себя пальцем по лбу он не решился.

— Нет, у меня не было никакого откровения. С тех пор как я себя помню, я поклонялся земле, деревьям…

— Но не животным? И то хорошо.

— Нет, не животным… Хотя нет! Я в самом деле забыл, — сказал я, — но теперь все вдруг вспомнилось. Вы знаете, отец мой, заброшенную ферму?

— В Силе? Да.

— Когда мне было семь или восемь лет, не знаю уж, кто или что навело меня на мысль, будто в заброшенной ферме живет наша ослица Гризета, которая к тому времени давно околела от старости. Я твердо в это уверовал и убедил также Лорана, хотя он старше меня. Мы ходили к заброшенной ферме и перед запертыми на замок воротами распевали какое-то дурацкое славословие: «Гризета, милая моя, мы поздравляем все, любя, с веселым праздником тебя, мы принесем тебе овес и засахаренный абрикос…»

— Засахаренный абрикос? Ослице?

Кюре притворно расхохотался, он пытался вернуть все на свое место.

— Это оттого, что в семь лет для меня не было ничего лучше засахаренных абрикосов, но Гризете я поклонялся буквально. Я вдруг понял, отец мой, что я действительно совершал грех идолослужения, в котором язычники упрекали первых христиан: ведь они обвиняли их в поклонении ослиной голове.

Я замолчал, и в самом деле подавленный этим неожиданным открытием. Кюре тоже молчал, быть может колеблясь, не выгнать ли меня из исповедальни за то, что я над ним насмехаюсь. Но кто знает? Насмехался ли я? Он отлично знал, что я совестливое дитя, страдающее той же болезнью, что и моя мать. Вдруг он спросил меня громко и почти торжественно:

— Ален, веришь ли ты в бога?

— О да, отец мой!

— Веришь ли ты, что Иисус есть Христос, сын бога живого, отдавший свою жизнь за тебя и воскресший из мертвых?

Я верил в это всем сердцем, всей душой.

— Любишь ли ты Пресвятую Деву?

— Да, люблю…

— Тогда не думай больше об этих глупостях.

Если ты согрешил, я отпускаю тебе грехи твои, вернее, сам господь бог тебе их отпускает.

Он направился в ризницу быстрыми шагами, словно спасался бегством. Я едва успел прочитать покаянную молитву и снова очутился на улице, в оцепенелом покое сентябрьского дня. Теплый ветер был подобен дуновению, как привыкли писать поэты, но в тот день штамп был правдой: дуновение, вздох живого существа… Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно для меня самого эта шутка не то чтобы принесла мне облегчение, но напомнила о той любви, что всегда была мне убежищем. О поклонении, которое никогда не посягало на иную любовь, на иное поклонение — христианскому богу, а вместе с ним хлебу и вину, рожденным землей, солнцем и дождем. Это двойное убежище отнюдь не лишнее. Никогда никакое убежище не будет лишним для защиты от людей. Сейчас, спустя три года, моя тоска возрастает день ото дня по мере приближения к тому, что кажется мне самым ужасным из всех ужасов: жизни в казарме, солдатской артели. Я не поверял это никому, даже Донзаку. Я не стыжусь своей тоски, я знаю, в ней нет ничего бесчестного, но не следует материализовывать ее, выражая словами, не то она обернется трусо-

стью; иногда я думаю, что последний мой шанс — умереть до призыва в армию.

Размышляя обо всем этом на обратном пути, я в то же время вспоминал, как вел себя настоятель перед расставленной ловушкой. Он занимал одно из первых мест в списке католиков-болванов, который мы с Донзаком составили параллельно со списком умных католиков, и вот я восхищался, что он вышел из положения с тактом, не свойственным ему в повседневной жизни, словно по мгновенному наитию. Да, так оно и было, теперь я в этом не сомневался. В глубине души я не так уж был уверен в своей невинности по части греха идолопоклонства; исповедуясь, я постепенно в него поверил. Если б не это, я не почувствовал бы облегчения совести и моя радость не выразилась бы, как всегда, в сумасшедшей беготне по парку, в которую я вовлек и Лорана. В беге, несмотря на то что я моложе на четыре года, я почти всегда побеждаю, потому что он задыхается.

Как я причащался на следующий день, не помню. Причастия запоминаешь не больше, чем сновидения. Однако день восьмого сентября сохранился в моей памяти, хотя прошло три года. Я отказался пойти с Лораном охотиться на жаворонков в поля Жуано. Чувство, охватившее меня

с необычайной силой, я помню ясно, потому что постоянно испытываю его и сейчас — желание остаться одному, бродить по лесам, по полям, шагать до полного изнеможения по песчаным дорогам, где немыслимо встретить никого, кроме бредущего впереди своих волов фермера, который, прикоснувшись к берету, скажет мне «*aduchats!*»[36], или пастуха с его стадом. В этих безликих ландах никому до меня нет дела. И все же у меня была своя цель. Во время этих прогулок я обычно не без колебаний выбирал одно из четырех направлений: истоки Юра, Большая сосна (исполинское дерево, привлекавшее любопытных со всей округи), дом барышень в Жуано и старик из Лассю; на этот раз я выбрал старика, может быть потому, что ему уже перевалило за восемьдесят и он мог вскоре навсегда покинуть Лассю, где он сиднем сидел всю жизнь. Он не охотился уже много лет, разве что на вяхирей в октябре. Чем заполнял он свои дни? У него был совершенно озадаченный вид, когда он узнал от меня как-то, что есть на свете такие сумасшедшие, которые покупают книги. К себе он не пускал никого, кроме доктора. Кюре заполучит

---

[36] Примечания: 36
Приветствие на местной наречии.

его мертвым, говорил он, а живым — никогда. Что касается наследников (он состоял в родстве со всеми богатыми помещиками и с нами тоже, но в очень дальнем), он спускал собак на каждого, кто осмеливался подойти к дому. Зная, что он ненавидит их всех одинаково, они все вместе потешались над этим. Единственная надежда у них была на его ужас перед смертью, который, если верить нотариусу, не позволял старику из Лассю составить завещание. Но Сегонда, которая за ним ходила после того, как спала с ним больше сорока лет, по-видимому, позаботилась, чтобы все было сделано. Она-то наверняка и унаследует его восемьсот гектаров, или, вернее, унаследует ее сын Казимир: ведь она в полном подчинении у этого скота, который никогда ничего не желал делать, только охотился на вяхирей в октябре для старика из Лассю. Остальное время года он что-то мастерил, если не бывал пьян, носил воду из колодца, пилил дрова. Мне было все равно, увижу я его или нет. Он, пожалуй, ближе к неодушевленному миру, чем к живым существам, так же как Большая сосна, как сам старик из Лассю. В них нет ничего человеческого в грозном значении этого слова. Они настолько скоты, что не принадлежат к тому роду, которого я боялся, от которого мне

не терпелось уйти.

Я шел и шел. Папоротник, еще не тронутый осенним увяданием, в то лето почти достигал моего роста, я сильно вырос только на следующий год. Папоротник был моим врагом, мне с детства внушали, что он содержит синильную кислоту. Я сбивал палкой самые надменные верхушки, а то и врубался в густые заросли и вдыхал аромат ядовитого сока, словно запах пролитой мной крови.

Когда я проходил мимо Силе, заброшенной фермы, где некогда поклонялся Гризете, я услышал топот копыт и едва успел отскочить в сторону: мадемуазель Мартино проскакала мимо, не заметив меня или, скорее, не удостоив меня заметить, сидя верхом, как Жанна д'Арк: ее золотистые кудри развевались по ветру, словно живые, да, словно живые змеи извивались вокруг ее головы Может быть, она опасалась, что я с ней не раскланяюсь. Хотя мы были родней, а Мартино состояли в свойстве со «всем, что есть лучшего в ландах», как говорила мама, мы их не замечали, они нас тоже. Не одно поколение нашего рода было в ссоре с Мартино. Еще наши деды не разговаривали друг с другом. Но мадемуазель Мартино подвергалась особому остракизму — в те времена (сейчас я осведомлен лучше) я все сводил к тому, что она

вопреки приличиям ездила верхом в мужском седле; к тому же она трудилась, была лектрисой, компаньонкой в Базасе у баронессы де Гот, особы не нашего круга, принадлежавшей, как говорила мама, к другой среде, а с ней никакие отношения были немыслимы, ее частная жизнь даже не подвергалась, подобно жизни людей нашего круга, маминому безапелляционному суждению: ведь не будем мы обсуждать нравы муравьев, или енотов-полоскунов, или барсуков. «Это баронесса де Гот… — начинала мама. — Говорят, будто… впрочем, нет ты не поймешь!»

Я видел мадемуазель Мартино только верхом: она словно приросла к своему коню, как мои оловянные солдатики. Поскольку она жила в Базасе, ее нельзя было встретить во время мессы или чьих-нибудь похорон…

Дом старика был отделен от фермы изгородью; вокруг дома росли посаженные Сегондой чахлые георгины При моем приближении стали рваться на цепи собаки и сразу же на пороге возникла Сегонда. Старик закричал из дома: «*Quezaco?*» — «Кто там?» Она взглянула из-под руки и, узнав меня, крикнула в полуоткрытую дверь: «*Lou Tchikoi de lou Prat!*» — «Малыш из Лу-Прата!» — так звал меня старик из Лассю. Дело в том, что лес,

где мой дед построил себе дом, назывался Лу-Прат и сохранял это название еще до недавних дней, когда мы с Лораном перекрестили его из-за того, что фамилия одного жирного и дураковатого мальчишки, учившегося с нами в коллеже, была Лупрат. А я настоял на названии «Мальтаверн», по заглавию пленившей меня повести в одном из «Рождественских альманахов» за 90-е годы. Но старик из Лассю знать ничего не знал, кроме «Лу-Прата».

Черный старушечий платок прикрывал волосы Сегонды. Губы были втянуты в беззубый провал рта. Появился старик, весь взъерошенный, в застиранной рваной фуфайке и в шерстяных носках, несмотря на жару. Он притворялся, будто не помнит своего возраста, но когда-то он дрался на стороне версальцев: для него Париж навсегда остался гнездом коммунаров. Он не рассказывал об этом никому, только Лорану и мне — ведь мы не принадлежали к ненавистной банде наследников, — главным образом мне, я ему нравился, я это прекрасно чувствовал, так же как нравлюсь Симону Дюберу, как нравился аббату Грилло, который всегда выводил мне на экзаменах средний балл, даже когда я заваливался.

— Он все растет! Растет! Придется положить

ему на голову камень потяжелее.

Затем последовала перебранка между стариком и Сегондой. Я не говорю на местном наречии, но все понимаю. Старик велел ей принести бутылочку пива. Сегонда уставилась на меня, словно настороженная наседка, и заворчала, что он и так много пива выпил, «недолго и живот застудить». Мало ли что я не наследник, а там кто меня знает? Ей пришлось все-таки уступить, и она поставила бутылку и стаканы на ржавый садовый столик. Увидев, что она все торчит рядом с нами, старик прикрикнул: «*A L'oustaou!*» — «Домой!» Она повиновалась, но, конечно, подслушивает в кухне, прячась за приоткрытыми ставнями.

Мы со стариком чокнулись. Он разглядывал меня из глубины своих восьмидесяти лет, ничуть не тяготясь наступившим долгим молчанием… Быть может, с какой-то смутной тоской? Впрочем, нет, слово «тоска» не подходит этому старому вепрю, ведь для него восемьдесят лет прошли как один бесконечно долгий день; ружье под рукой, бутылка медока[37] на столе — единственный зримый признак его богатства, а выглядел он таким же грязным, таким же невежественным,

---

[37] Примечания: 37
Медок — красное бордоское вино.

как самый невежественный, самый грязный из его арендаторов, боявшихся его пуще огня. И все-таки это была именно тоска, ее выдали первые же его слова:

— Я ездил в Бордо в девяносто третьем году, жил три дня в гостинице «Монтре». Там была ванная…

— И вы ею пользовались?

— Чтобы заразиться! Э!

Он замолчал, и вдруг опять:

— А обедал напротив, в «Жареном каплуне». Ну и вина там…

Он снова помолчал, потом захихикал. Я отвел глаза, чтобы не видеть двух гнилых пеньков, торчавших у него на месте передних зубов. Он спросил меня:

— Знаешь «Замок Тромпетт»?

— Но, господин Дюпюи, его снесли больше ста лет назад!

— В девяносто третьем году его еще, видать, не снесли, раз я туда ходил. — Он все смеялся. Его «Замок Тромпетт» был борделем, о котором шушукались по уголкам во дворе коллежа «грязные типы». — Недешево это обходится… Это еще не для тебя.

В ту минуту я уверился, что бессмертие уго-

товано очень малому числу избранных душ, а для остальных адом будет небытие. Впрочем, господь обещал бессмертие лишь немногим: «И в грядущих веках вечная жизнь». Или еще: «Тот, кто вкусит от хлеба сего, не умрет». Но остальные умрут. Несомненно, это была одна из тех «вспышек интуиции», которыми восхищался Андре Донзак, он утверждал, что это особый дар, восполнявший недостаток у меня философского мышления. Я написал ему в тот же вечер, надеясь ослепить его своим открытием относительно бессмертия избранных, но с обратной почтой получил письмо, в котором он высмеял эту абсурдную мысль: «*Все души бессмертны, либо не бессмертна ни одна из них*». Но в этот момент я с наслаждением повторял про себя, что не останется ничего от старика из Лассю, ничего от Сегонды, ничего от Казимира, ни вот столечко, чтобы поддержать хоть крохотный язычок неугасимого пламени.

— Ты еще не вошел в возраст…

Он, должно быть, испытывал смутное раскаяние, что заговорил со мной о «Замке Тромпетт», так как резко переменил тему и стал расспрашивать, что болтают о нем в местечке.

— Только и разговоров, подписали вы бумагу

или нет…

Я заговорил шепотом из-за Сегонды, которая наверняка подслушивала.

— Только и разговоров, скоро ли Сегонда и Казимир отхватят кусок, а может, уже отхватили…

Я коснулся запретной темы. Старик посмотрел на меня сердито:

— А ты сам что думаешь?

— О! На месте ваших наследников я спал бы спокойно.

— Почему так уж спокойно?

Я знал, что надо было ответить старику, чтобы вывести его из себя.

— Лучше мне помолчать: Сегонда подслушивает.

— Ты же прекрасно знаешь — она глухая.

— Она все слышит, когда хочет, вы сами мне говорили.

Он настаивал. Я чувствовал, что он обеспокоен, встревожен. Донзак говорит, что я возмутитель спокойствия в полном смысле этого слова. Правда, не всегда. Но в тот день, пожалуй, так и было.

— Не может быть, чтобы такой проницательный человек, как вы, господин Дюпюи, не понимал, что, пока бумага не подписана, Сегонда и Казимир заинтересованы в том, чтобы вы не

умирали.

Он проворчал:

— Не говори об этом!

— Но речь идет именно об этом, и ни о чем другом. А в тот день, когда вы подпишете, наоборот: в их интересах будет…

Он прервал меня стоном, похожим на лай.

— Сказано — не говори об этом.

Он встал, сделал несколько шагов, волоча подагрическую ногу. Обернулся и крикнул:

— *Bey-t'en*! Убирайся!

— Я не хотел вас оскорбить, господин Дюпюи.

— Да это же не убийцы: они ко мне привязаны.

Я покачал головой и засмеялся, подражая его хихиканью.

— Еще бы, пиявки всегда привязаны к хозяину, а эти вдобавок слишком трусливы, чтобы стать убийцами. Они отлично понимают, что, раз вы подписали бумагу, их первых заподозрят, если ваша кончина породит какие-то сомнения, и что ваши наследники будут вести расследование беспощадно. Тем не менее…

Я вышел за ограду; старик стоял среди георгинов, потрясенный тем, что я заговорил с ним о его кончине, может быть, еще больше, чем мыслью о грозящем ему убийстве. «Что? Что?»

— бормотал он. На его лице проступила болезненная бледность. Казалось, он вот-вот умрет на месте. Пожалуй, его убийцей мог стать я сам. Но я об этом не думал. Я наносил удары, словно в исступлении.

— ...Тем не менее, господин Дюпюи, неужели вам это не приходило в голову? В таком уединенном месте, как Лассю, где нечего бояться свидетелей, согласитесь, совсем нетрудно убрать с дороги, не подвергая себя никакому риску...

— *Bey-t'en*!

— Вот не знаю, — продолжал я задумчиво, как бы рассуждая сам с собой, — удастся ли обнаружить при вскрытии, что человека удушили, придавив периной? А еще можно вызвать крупозное воспаление легких, если привязать старика голым к кровати зимой на всю ночь перед открытым окном, конечно, если на улице ниже нуля! Но тут я тоже не знаю, как при вскрытии...

— Убирайся, не то я позову Казимира.

Я видел, что Казимир вышел из ворот фермы. Я пустился наутек, даже не обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на Лассю, куда мне теперь пути заказаны, покуда жив старик...

Ну ладно! Все это неправда. Эту историю я сам себе рассказал. Все ложь, начиная с того, что

старик сказал мне про «Замок Тромпетт». Прямо настоящий роман! Хорош он? Или плох? Во всяком случае, все здесь ложь, все отдает ложью. Я и двух слов не произнес бы — старик вколотил бы мне их обратно в глотку. Впрочем, я никогда не совершил бы смертного греха, обвинив в убийстве или покушении на убийство Казимира и Сегонду, которые и в самом деле привязаны к своему старому мучителю. Есть еще и другой вариант этой истории, которую я сам себе рассказываю: старик неожиданно решает, что его наследником буду я. Я придумываю, на что употребить эти деньги: Лассю я превращу в библиотеку, мы будем там хранить все свои книги, Донзак и я. Отгородимся от мира живых горами книг и музыкой тоже — там будет пианино для Андре, а то и орган, почему бы и нет?

Может, я сочинял эту историю на обратном пути? Не помню. Помню только, что я был умиротворен и счастлив, как бывает почти всегда, когда я причащаюсь поутру. Я размышлял о том, что годы моего отрочества протекают в мире чудовищ, или, вернее, карикатур на чудовища, одни из них любят меня, другие боятся. Ни одна девушка еще не обратила на меня внимания, как это бывает в романах, хотя в коллеже счита-

ется, что у меня «смазливое личико»; правда, я тощий и у меня нет мускулов. Андре говорит, что девчонки не любят слишком тощих мальчишек. Единственную девушку, которой я восхищаюсь, я вижу только верхом, неприступную, как Жанна д'Арк. Она так презирает меня, что даже не глядит в мою сторону. Да... Но меня как раз и пленяет в ней то, что тут я ничем не рискую, она не спешится, не подойдет ко мне, не потребует, чтобы я перестал быть ребенком и вел себя как мужчина... Думал ли я об этом тогда, возвращаясь из Лассю? Или сочиняю уже новую историю? Еще меня волнуют те девушки, что поют в церкви, обступив фисгармонию, на которой играет сестра Лодоиса... Особенно дочки аптекаря, они носят черную бархотку на шее, и при пении шея у них раздувается, как у голубки...

За время этих каникул не произошло ничего, что нарушило бы обычное течение нашей замкнутой жизни. Симона с нами уже не было. О госпоже Дюпор почти не вспоминали, прошел слух, будто она выпивает, а по словам Мари Дюбер, которая по-прежнему работала у нее поденно, она даже «вставала по ночам, чтобы пропустить рюмочку». Линия Дюпор — Симон затерялась среди других; потом — начало заня-

тий, возвращение в Бордо; Мальтаверн стал для меня сказочным островом, о котором я мечтал до наступления следующих каникул, когда я переходил в класс риторики. На этот раз произошло только одно событие: сам мэр согласился на визиты облаченного в сутану Симона к госпоже Дюпор. Мама и настоятель радовались этому, как победе, или по крайней мере притворялись, будто радуются. Происходили ли уже тогда тайные встречи господина Дюпора с Симоном? Задумал ли мэр еще в том году похитить его у церкви? По словам Симона, при встречах мэр никогда не говорил с ним о религии, он был очень любезен, советовался иногда по тому или иному поводу, рассказывал о своих политических друзьях, с которыми видится на заседаниях генерального совета департамента. Он даже был близок с молодым министром Гастоном Думергом и мог бы обратиться к нему с любой просьбой…

Этим летом Симон как воды в рот набрал — про мэра ни слова. И вдруг словно гром среди ясного неба: госпожа Дюпор явилась вчера в ризницу, после того как настоятель отслужил мессу, и открыла ему замысел своего мужа. Как говорила мама, мэр пообещал Симону взять на себя его содержание, пока он не получит диплом лицен-

циата, и даже после этого, если Симон захочет поступить в Эколь Нормаль[38] и потом готовиться к конкурсу на звание преподавателя.

По словам госпожи Дюпор, разгадать намерения Симона невозможно. Ей казалось, что он поддается искушению, но еще колеблется. Настоятель боялся своим вмешательством все испортить. Я заставил его осознать собственную тупость. Я видел, что он в трудном положении и не надеется без меня распутать весь этот запутанный клубок в голове и сердце юного крестьянина, пересаженного на семинарскую почву и неожиданно оказавшегося — пусть в масштабах столицы кантона — ставкой в той борьбе, что завязалась во Франции между государством и церковью, или, вернее, между франкмасонством и конгрегациями.

Я-то знал, что Симон увильнет от спора еще до того, как он начнется. У Симона, вероятно, есть в семинарии друг, которому он все рассказывает,

---

[38] Примечания: 38

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

но я для него существо высшей расы, я сын мадам; он любит меня, я уверен, но для него я так же недоступен, как для меня мадемуазель Мартино или вечерняя звезда. Он ничего не скажет, разве только…

Я всегда предпочитал писать, а не говорить: с пером в руке я не знал удержу.

— Я мог бы, — сказал я господину настоятелю, — написать Симону письмо, оно уже сложилось у меня в голове.

— Но он сильнее тебя в богословии…

— Как будто дело в богословии! Я знаю, с какой стороны повести наступление…

На самом деле я узнал это не более двух минут назад, и все еще было окутано туманом, но наконец-то я напал на след.

Настоятель твердил свое:

— Заставь его разговориться!

— Повторяю, он ничего мне не скажет. Да и вообще никто никому ничего не говорит. Я не знаю, в каком это кругу люди объясняются при помощи вопросов и ответов, как в романах, как в театре…

— Чего ты добиваешься? А чем же еще мы занимаемся целыми днями? Чем занимаемся мы с тобой сейчас?

— Это верно, господин кюре, но часто ли у нас

с вами бывает такая приманка для разговора? Не помню, чтобы мы с мамой разговаривали иначе, как банальными фразами, зачастую на диалекте: ведь то же самое говорят и фермерам и прислуге. Может быть, нам мешает разница в возрасте или общественном положении, только у нас нет общего языка… Но я заметил, что фермеры тоже не разговаривают друг с другом, при встрече они спрашивают: «*As dejunat?*» — «Позавтракал?» Важнейший и даже единственный интерес в жизни — это еда, которую они разминают своими беззубыми деснами, словно жвачку жуют. А влюбленные, разве они разговаривают? — вздохнул я.

Кюре повторил:

— Чего ты добиваешься?

— Если бы тут была мама, она сказала бы: «Пустомеля!» — и все стало бы ясно… Но написать всегда можно. Я могу написать Симону великолепное письмо, он будет его читать и перечитывать, будет носить на сердце…

— Ты одержим гордыней, — сказал настоятель. — Что ты возомнил о себе? — И после недолгого молчания: — Что ты ему напишешь? Ты его совсем не знаешь.

— Я знаю, в каком направлении я хочу действовать, вернее, должен действовать… Сам-то я

ничего не хочу.

Я думал посмеяться над настоятелем, но неожиданно увлекся сам. То, что я хотел написать Симону, разворачивалось вдаль и вширь перед моим внутренним взором. Мне не терпелось скорее все изложить на бумаге, чтобы быть уверенным, что это чудо свершится.

Глава II

Прошло больше года, и снова я открываю эту тетрадь: записи в ней прерваны не за недостатком материала, о господи, нет! Но все мною пережитое не поддавалось никакому толкованию, а главное — убило во мне ребенка. Нет, это неправда: я стал другим, оставаясь самим собой. Я не отказываюсь от того, что написал в семнадцать лет. Теперь я вступаю на порог девятнадцатого года и, разумеется, не стал бы по собственному почину записывать все, что было пережито. Но Донзак придает слишком большое значение — и это мне кажется странным — моей реакции на повседневные события жизни. Нет, пожалуй, это не так уж странно. Дело в том, что Донзак, будучи бесконечно умнее меня (хотя он и написал мне однажды: «*Ты не так умен, как я, но почти что…*»), страдает бесплодием, которому сам удивляется: он все понимает, но выразить ничего не может. Он не сочиняет, не творит, больше того — он не умеет излагать свои идеи. Он способен на потрясающие формулировки, но совершенно не способен на развитие мысли. Только мои сочинения обычно удостаивались

чести быть прочитанными вслух перед классом, его же — никогда. Донзака это поражает больше, чем меня. «Подумать только, что именно ты, а не я, — вздыхает он, — ты будешь выдающимся человеком, а я так и останусь никем до конца своих дней!» Но вот он в чем великолепен: он не считает, что это несправедливо. Он верит, что я стану писателем, даже большим писателем, а он будет всю жизнь преподавать латынь невеждам семинаристам. Но он верит также, что, отправляясь от любого написанного мною текста на тему, подсказанную жизнью и преломленную моим восприятием, он, Андре Донзак, совершит то, что сам я не способен совершить, то, что он называет «открытием». Открытие чего? В его понимании речь идет о выявлении некой скрытой точки, где правда жизни, постигаемая опытом, соединится с правдой, данной нам в откровении, в том откровении, которое следует извлечь из грубой породы, затвердевшей вокруг слова божьего в течение двухтысячелетней истории церкви.

И вот мы условились, что я должен черным по белому, не опуская ни одной подробности, изложить все, что произошло в Мальтаверне, доверив это только ему и никому другому, рассказать ужасную историю Симона так, как она сложи-

лась в моем сознании и продолжает развиваться, грызя меня изнутри. Я понял, что во мне ничто не может умереть, что я до краев полон каким-то странным, мучительным и мрачным миром… Что же будет, когда во мне скопится столько воспоминаний, словно я прожил две тысячи лет, как говорит Бодлер[39]? Какая чудовищная старость ждет такого человека, как я! Наверно, я умру молодым… Нет! Это неправда: я не верю, что умру молодым, я не верю, что вообще должен умереть, — я чувствую себя невероятно вечным.

Итак, вот что произошло после того, как я обещал кюре поговорить с Симоном и сломить его молчание, написав ему письмо, строки которого уже складывались у меня в уме и не ответить на которое он бы не мог.

Я спустился к Юру — речке, протекающей через Мальтаверн: я знал, что застану там Симона за рыбной ловлей. Было четыре часа дня, мимоходом я захватил в буфетной гроздь винограда. Поблескивала мокрая трава — там, где теперь раскинулись луга, было когда-то болото. Я заметил,

---

[39] Примечания: 39

Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии.

что ольха, окаймлявшая берег, отливала голубым. Вспугнутые мной сверчки и кузнечики, жаркое дыхание болотной топи, гудение лесопилки господина Дюпора, грохот тележек, доносившийся с дороги в Сор, — все впечатления этой минуты останутся во мне навсегда, я не избавлюсь от них, хотя бы дожил до глубокой старости.

Я не видел Симона, рыбачившего где-то в конце луга, но слышал его. Забравшись в ольшаник, я сел у берега, уверенный, что раз он идет вдоль ложа реки, стуча по корням и выгоняя щук и налимов, то рано или поздно поравняется со мной и не сможет не заговорить. Тогда-то и начнется большая игра.

Я сидел на коврике из мяты. Голубые и серые стрекозы плясали над зарослями осмунды[40], которую мама называет самкой папоротника. Обычный сентябрьский день каникул, я мог бы заниматься тем же, чем и остальные восемнадцатилетние юноши… А чем они, собственно, занимаются? Я боюсь даже думать об этом. Ну а я, что за демон или ангел владел мной в тот час? Или все это была комедия? Но тогда кто суфлировал мне в этой роли? Кто заставлял репетировать

---

[40] Примечания: 40

Осмунда — род папоротников; то же, что чистоуст.

перед выходом на сцену?

Я прислушивался к всплескам воды при каждом шаге Симона и вдруг в просвете между деревьями увидел его самого. Он был в трусах, ужасающе белый — той белизной, которая всегда делала для меня невыносимым вид обнаженного тела, особенно такого вот, с широким крестьянским костяком, крепко сбитого, но словно обессиленного интеллектуальной жизнью, которая изнурила этого бедного «бунтаря Жаку».

А может быть, волосатый мужской торс — явный признак мужественности — внушал мне ужас? Но я никогда не задерживался на подобных вопросах, приученный с самого раннего возраста видеть тут только «дурные мысли».

Когда Симон поравнялся со мной, я крикнул ему: «*Adouchats!*» Он оглянулся, воскликнул: «О, извините!», выскочил на берег, второпях натянул штаны поверх мокрых трусов и сунул голову в фуфайку. Он был без сутаны — это меня поразило. Я просил его продолжать свое занятие. Но он уже кончил: все равно ничего не ловится. Народ из местечка приходит вытаскивать верши чуть свет. Он бросал на меня быстрые взгляды, но тут же отводил глаза, торопясь уйти и в то же время — я решаюсь так написать, потому что это

правда и, кроме Донзака, никто никогда этого не прочтет, — покоряясь моим чарам; очень важно, что он был под властью моих чар в этот момент и что сам я был охвачен «вспышкой интуиции». Ведь Симон только и хотел сбежать, сбежать от меня. Надо было удержать его силой. Я сказал, что последние дни все только и делают, что чешут языки на его счет. Он насупился:

— Болтают? А мне без разницы. А, б..!

Как должен был он волноваться, чтобы употребить такое неправильное выражение, да еще произнести при мне ругательство! И вдобавок повторил его. Правда, его брат Прюдан каждую свою фразу словно приколачивал этим словом, и Симон на каникулах слушал это целыми днями. Я возразил, что все касающееся его, Симона, мне далеко не безразлично. И тут он, может быть впервые в жизни, надерзил одному из сыновей мадам:

— Это мое дело, а не ваше.

— И мое, потому что я привязан к вам.

Он пожал плечами и усмехнулся.

— Это настоятель просил вас заставить меня разговориться и выудить все, что ему надо?

— Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что я на стороне настоятеля и мадам.

— Но вы, однако, и не друг господина мэра.

— Нет, разумеется! Но если бы я мог вести игру — вашу игру, на вашем месте, я играл бы на все — и против мэра, и против кюре одновременно.

— Да, но раз никто вас об этом не просит… Нет! Скажите на милость! Что можете вы в восемнадцать лет знать такое, чего не знают другие?

— Я как раз знаю то, чего не знают они и знаю только я.

— Ах! Вот оно что!

Симон остановился посреди луга и пристально посмотрел на меня.

— Однако и самонадеянны же вы!

— Что знаю, то знаю, и вы тоже знаете, что я это знаю.

— Что я знаю?

— Что в Мальтаверне только я один зрячий, может быть, я и вы. Но вы слишком всем этим связаны, чтобы видеть ясно, вы слишком в этом погрязли.

— Ладно! Это уж как вам будет угодно, господин Ален. Но я желаю, чтобы вы оставили меня, к чертовой матери, в покое.

Груб со мной, первый раз в жизни…

— В покое? Бедный Симон! Да вы скоро вконец успокоитесь. Я бы мог открыть вам глаза одним

словом… Нет, пожалуй, не одним, это уже бахвальство: я должен говорить столько, сколько понадобится…

— Я не желаю, чтобы вы со мной об этом говорили.

— Тогда разрешите мне написать. Хотите, я напишу вам?

— Вы этого никогда не делали, даже когда я был удостоен первого чина, — сказал он с неожиданно прорвавшейся старой обидой, — даже когда получил высшую награду… Разве я хоть что-нибудь значу для вас?

— Вы это отлично знаете, Симон, вы не можете этого не чувствовать сейчас, когда я страдаю из-за вас…

— Ах, так! Но кто я для вас? Деревенщина Симон, которому все «тыкают»…

— Только не я.

— Да, это верно, только не вы, но для вас я всегда был Симон, а вы для меня — господин Ален, даже когда вам было четыре года. Господин Лоран, господин Ален! Скажите на милость! А, б…!

Он был вне себя. Он ускорил шаг. Мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы идти с ним рядом. Я настаивал, чтобы он мне разрешил написать ему.

— Да какое я имею право запрещать вам?

— Обещайте, что прочтете мое письмо.

На этот раз я нашел нужный тон. Он остановился. В этом месте река делала крутой поворот. На траве лежали длинные тени тополей. Было, должно быть, часов пять. Симон сказал:

— Да, конечно, господин Ален, я прочту ваше письмо, я отвечу вам. Не беспокойтесь. Но что вы можете знать обо мне, чего не знают другие?

— Первое, что я могу сказать вам сразу же, но не от своего имени, а от имени господа бога…

Он только пробормотал: «А! Ха! Вот как!» Я вел крупную игру. Но моя сила была именно в том, что я не играл: я действительно был во власти своего вдохновения.

— Эти болваны не знают, что господь возлюбил вас таким, какой вы есть, то есть юным честолюбцем. Каждая часть вашей души любезна богу, так почему же не мог он возлюбить честолюбие, которое сейчас в ней главенствует?

Хотя ни один мускул не дрогнул на его лице, я почувствовал, что он насторожился. Я продолжал:

— Все они одинаково слепы — и те и другие. Мы с вами знаем, Симон, пусть церковь действительно стала походить на изъеденные ржавчиной

трубы, которые мэр так высмеивает, а мама и господин настоятель принимают за высшую истину, но мы-то знаем, что по трубам этого древнего водопровода текут, пусть не потоком, пусть скупыми каплями, но все же текут слова вечной жизни…

Сам того не сознавая, я цитировал Донзака. Симон пробормотал:

— Э! Скажите пожалуйста, а при чем тут честолюбец? Вы ведь не знаете, что они мне предлагают. Вы сами говорите, это ржавые трубы… А жизнь, правда жизни, и вы это отлично знаете, теперь уже проходит не по ним.

— Нет, в сущности, я не согласен с тем, что сказал о старом водопроводе: ведь римская церковь, ее обряды, ее учение, даже ее история, и святая и преступная, ее искусство, наконец, воплощенное в соборах, в церковном пении, в картинах фра Анжелико[41], — прекраснее этого нет в мире ничего, меж тем как все, что олицетворяют господа

[41] Примечания: 41

Фра Беато Анджелико (1400–1455) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах.

Лубэ[42] и Комб[43], Большой и Малый дворцы в Париже[44], кажется мне самым низменным периодом человеческой истории. Но хватит. Не об этом речь. На карту поставлен Симон Дюбер, его земная судьба и вместе с тем его вечное блаженство. Выслушайте меня внимательно: чем бы ни заманивал вас господин Дюпор, этот провинциальный франкмасон, даже если это будет завидное место у сенатора Мони или даже в Париже, у Гастона Думерга…

— Откуда вы знаете?

Откуда я знал? Я попал в цель, но не совсем наудачу. Думерг приезжал к нам в прошлом году на открытие Сельскохозяйственной выставки, и господин Дюпор представил ему Симона.

— Я знаю только то, что господу угодно, чтобы я знал. Но слушайте внимательно. В мирской жизни, как бы вы ни поступали, вы все равно будете орудием той или иной партии, без дара

---

[42] Примечания: 42

Эмиль Лубе (1838–1929) — французский политический деятель, президент Франции (Третья республика; 1899–1906). Способствовал образованию Антанты.

[43] Примечания: 43

Комб Луи Эмиль (1835–1921) — французский государственный и политический деятель; масон.

[44] Примечания: 44

Большой и Малый дворцы — величественные архитектурные сооружения, в которых в 1900 г. проводилась Всемирная выставка.

красноречия, которого вы лишены, вы останетесь пешкой, вы никогда не выбьетесь на первое место, вам всегда будет недоставать…

Я заколебался, я боялся оскорбить его. На языке у меня вертелись слова, постоянно повторявшиеся в маминых разговорах: «элементарной воспитанности». Симон понял меня.

— Ах, так! Я навсегда останусь деревенщиной, черноземным, да еще бывшим церковным служкой.

— Я не это хотел сказать, но подумайте сами: сутана меняет человека и духовно и социально. Сутана — это новая кожа. Маршальский жезл в ранце простого солдата — какая чепуха! Зато кардинальская шапка за плечами умного семинаристика действительно возможна, поверьте, и только от вас зависит, добыть ее или нет. Да, все зависит от вашей воли и вашего ума. Что не помешает вам быть хорошим священником, верным своему долгу, и даже священником святым. Святые епископы тоже бывают, и даже святые кардиналы.

Какой гениальный ход! Я освятил первое место, к которому стремился Симон. Он покачал головой:

— Все это старая сказка, с этим покончено, стра-

ница перевернута. Комб спустил свою свору на травлю церкви…

— Полноте! Церковь — империя, объединившая пятьсот миллионов душ, — устоит перед всем, что обрушилось на ее французскую провинцию: ведь наше духовенство, и черное и белое, вело себя по-идиотски, попадало во все ловушки, расставленные правыми националистами, а верующие, это панургово стадо, слепо следовали за ним…

— А! Вы признаете, что были у нас ошибки?

— Да еще какие! Ошибка — слишком мягкое слово; сообщничество с негодяями из генерального штаба, совершившими подлог, чтобы держать на каторге невинного, — этому нет прощения. Да, церковь до конца расплатится за это.

Симон смотрел на меня, раскрыв рот.

— Вы признаете Дрейфуса[45] невиновным? Вот тебе на!

— Но, Симон, я признаю лишь то, что бросается в глаза, — тупой антиклерикализм Комба под стать тупому клерикализму, который царил и продолжает царить в нашем лагере; мы можем

---

[45] Примечания: 45

Дрейфус — Альфред (1859–1936) — офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности. В 1894 г. против него было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, приговорен к пожизненной каторге.

наблюдать это здесь, в нашем кантоне, как в капле воды под микроскопом: требование моей матери, чтобы арендаторы отдавали дочерей на обучение монахиням, положение учительницы светской школы, «барышни», которой чураются как прокаженной, а в церкви загоняют в угол.

Симон прошептал:

— Но тогда…

— Что тогда? Пусть не будет ни грана подлинного христианства у наших мнимых христиан, пусть получат они по заслугам еще на этом свете, это не меняет ничего в условиях задачи, поставленной перед молодым аббатом, жаждущим пробиться на первое место. Необходимо выбрать правильное направление с самого начала, взять курс на Париж, на духовную академию, затем, если возможно, на Рим. Главное, стать необходимым одному из тех, кто активно действует на церковной арене, им всегда нужна в помощь голова вроде вашей, «голова, в которой все умещается», как говорит моя мама. Они по большей части не слишком сильны в науке.

— Боюсь, что и я не сильнее.

— Не беда! Главное, иметь «голову, в которой все умещается». Основы у вас есть, я полагаю?

Томизм[46] для повседневного употребления, то, что Донзак называет «непоколебимый томизм»...

Мы остановились на лугу, прямо против дома. Симон стоял к дому спиной и не видел, что на террасе маячат две черные грузные фигуры — мама и господин настоятель. Заметив нас, они поспешно скрылись.

— Разумеется, Симон, вам нужно будет как следует познакомиться с ересью, против которой вы собираетесь бороться, — с «модернизмом». Читали ли вы хоть немного Ньюмена[47], Мориса Блонделя, Ле Руа, Луази, Лабертоньера?..[48]

Он жалобно признался, что едва знает их имена.

— Донзаку ничего не стоит дать вам полную библиографию.

— Но он ими восхищается?

---

[46] Примечания: 46

Учение Фомы Аквинского, принятое ортодоксальной католической церковью.

[47] Примечания: 47

Ньюмен Джон — (1801–1890) — английский богослов, педагог, публицист и церковный деятель. В 1845 г. перешёл из англиканства в католичество.

[48] Примечания: 48

Блондель Морис (1861–1949), Леруа Эдуард (1870–1954), Луази Альфред (1857–1940), Лабертоньер Люсьен (1860–1932) — французские представители католического модернизма.

— Да, но он не может не удивляться глупости и невежеству их противников, он знает, как следовало бы с ними спорить, стоя на точке зрения томизма. Он сумеет великолепно вооружить вас против них, причем так, чтобы ваша позиция не отдавала ретроградством. Впрочем, богословие — это только основа. Важно правильно выбрать себе специальность, например каноническое право, одним словом, какую-нибудь дисциплину в этом роде, тут я вам не советчик, так уж у меня устроена голова — в ней умещаются только определенные идеи.

Я свернул на аллею, ведущую к большому дубу, чтобы нас не могли увидеть из дома. Сумерки еще не наступили, но от реки потянуло прохладой. Симон теперь уже не пытался уйти. Хоть этого-то я добился. Он шел, опустив глаза, словно окаменев, в глубокой сосредоточенности: жесткое, мертвенно-бледное лицо без кровинки — не выделяются даже губы — с черной двухдневной щетиной на щеках, это лицо встает у меня перед глазами, когда я думаю о Симоне. Таким я увидел его, когда мы подошли к большому дубу. Он прошептал:

— Слишком поздно! Слишком поздно!

— Нет, не поздно, раз вы еще здесь.

Я сел на скамью, прислонившись к дубу. Он

остался стоять. Мне почудился трепет надкрылий готового взлететь майского жука. Ах, удержать его, удержать во что бы то ни стало!

— Большой дуб, — сказал я, — помог мне сыграть забавную шутку с господином настоятелем…

— Вы позволяете себе шутки с господином настоятелем?

Я рассказал ему о своей исповеди седьмого сентября. Сначала он не хотел верить: «Э! Рассказывайте!» Он смеялся. Никогда я не видел, чтобы он так хохотал. Раньше чем приобщать его к «модернизму», придется научить его пользоваться зубной щеткой.

— Самое интересное, — сказал я, — что я действительно с детства придерживаюсь идолопоклонства!

Я прижался к божественному дубу щекой, а потом надолго прильнул губами. Симон присел рядом. Он уже не смеялся. Он спросил, не была ли эта исповедь кощунством.

— Нет, настоятель рассудил иначе.

— Он знал, что вы неповинны в других грехах?

Я не ответил. Симон пробормотал:

— Извините меня.

— Вам не в чем извиняться. Просто я не люблю

говорить о таких вещах.

— Однако они связаны со всей этой историей, с нашим спором. Да, с тем, что господин мэр называет «грехом против природы», то есть с вынужденным безбрачием… Вы не понимаете, — сказал он с неожиданной нежностью, — вы ангел. Впрочем, полу ангел, полу дьявол, — добавил он, засмеявшись.

— Послушайте, Симон, я знаю, о чем идет речь, уж поверьте мне. Разумеется, прежде чем согласиться на эти условия, человек должен испытать себя. Но если хватит у него сил и мужества, как поможет ему это в дальнейшем продвижении! Вас ждет крутой подъем, подумайте, какое преимущество — не тащить за собой детей. Безбрачие? Но оно облегчит вам победу.

— Да, но речь идет о чистоте. А послушали бы вы, что говорит об этом господин Дюпор…

— Господин Дюпор сам не лучше других, у него две постоянные связи, да еще он работниц к себе зазывает…

— Возможно, но ведь и не хуже?

— Во всяком случае, не брак способен разрешить задачу, поставленную перед нами плотью и этим непонятным сочетанием души, взыскующей бога, с самым животным инстинктом.

Симон пробормотал:

— Но есть же такие, что любят друг друга.

— Да, Симон, есть такие, что любят. Но, может быть, это тоже призвание.

— Господин Дюпор говорит, что его во мне истребили и в вас тоже. В общем, он так полагает.

— Я сам часто обвинял в этом воспитание, которое получили мы оба, Лоран и я. Но Лоран как раз похож на всех остальных. Он даже раньше времени стал бегать за девицами. Я же родился иным… Я родился с чувством отвращения… А вовсе не ангелочком, как вы думаете… Сейчас я вас удивлю: я еще и боязлив до малодушия. Причиной всему один пустяковый случай. Вы бывали на ярмарке в Бордо, на площади Кенконс, в октябре и в марте?

— Э! Вы думаете, нас, семинаристов, водят гулять на ярмарку?

— Это изумительное место, поэтичное необыкновенно.

— Что? Бордоская ярмарка?

Крестьянин прежде всего думает, что над ним смеются.

— Да, там в каждом балагане свое небывалое представление. В каждом играют свою музыку, не заботясь о других. В общем, получается чудовищ-

ная какофония, пропитанная запахом карамели и жареного картофеля, а в стороне — подозрительный домик с женским именем на вывеске, и сквозь дыру в занавесе вдруг мелькнет рука или ляжка великанши. И размалеванные картины, где господа и дамы распивают шампанское, а у метрдотеля во фраке вместо головы череп — это смерть! А за площадью словно театральный задник — река и скользящие по небу корабли…

— Зачем вы мне все это рассказываете?

Симон смотрел на меня с подозрением Я неосторожно вспугнул его, вместо того чтобы приманить. Я снова почувствовал, как дрогнули надкрылья майского жука. Я быстро заговорил:

— Чтобы вы узнали об одном происшествии, которое помогло мне сделаться, по вашим словам, ангелом. Однажды на этой ярмарке я зашел в музей Дюпюитрена. Там были выставлены восковые муляжи органов человеческого тела. Цели, очевидно, были самые нравоучительные, но среди прочего там изображались и роды.

— Мадам разрешила вам?

— Нет, случилось так, что я вышел из дому один, с товарищем. И вдруг я увидел… Я буду видеть это до конца моей жизни, да, до последнего вздоха… На этикетке было написано: «Половой

орган негра, изъеденный сифилисом».

Некоторое время мы оба молчали. Вдруг Симон спросил:

— Что означает для вас чистота? Что сказали бы вы семинаристу, если бы он спросил у вас, зачем нужна чистота?

— Чтобы можно было отдать себя. Так ответил мне молодой священник, которому я однажды исповедовался. Отдавать себя всем, говорил он, — в этом наше призвание, и оно требует абсолютной чистоты. Тогда можно отдать себя без остатка, ни о чем не рассуждая.

— Э, нет, господин Ален! Вы что же, издеваетесь надо мной? Только что вы возвещали и сулили мне триумфы в миру, а теперь, выходит, надо отдать себя и стремиться к чистоте для того, чтобы можно было себя отдавать…

Он ухмылялся, злорадствуя, что ткнул меня носом в мои же противоречия. Я взял его за руку. Она была влажная. Я ощутил его лишенный суставов шестой палец, похожий на червя, которого можно раздавить и «выпустить сок», как говорил Лоран, когда был маленький. Преодолев отвращение, я сказал:

— Вы не понимаете меня. Разумеется, в том плане, в каком идет спор с господином Дюпором,

я не могу обещать вам ничего другого, кроме успеха в миру, который, самое большее, может сделать вас князем церкви… князем церкви и перед людьми, и перед богом. Ибо если вы добьетесь успеха, то в сане епископа или кардинала вы будете выполнять долг милосердия и по отношению к верующим, и ко всей церкви в целом. Но знайте: в любой момент стремительного бега к почестям, на любом повороте этого триумфального пути вы можете его оставить, отказаться от всего, стать святым, об этом вы тоже мечтаете, я знаю.

Откуда я это знал? Уж не оттого ли, что приписывал себе дар прозрения?

— Я — святым? А, б…!

— Да, святым. Возможно, вы не выдержите этой бешеной гонки за почестями и укроетесь в каком-нибудь захолустном приходе, а может быть, станете послушником. Но скорее я представляю вас в нищем приходе, брошенном туда, словно кусок хлеба в рыбный садок.

— А почему же у меня не будет такой возможности в Париже, в мирской среде, где я подвергнусь испытаниям?

Я не выпускал его руки, хотя теперь она уже стала совсем мокрой и скользкой.

— Нет, Симон, если только вы войдете в этот

мир, оставьте всякую надежду, вода сомкнется над вами. Я не хочу сказать, что вас не ждут там известные выгоды, но пути к богу будут отрезаны.

Он огрызнулся:

— Что вы об этом знаете? Бог не станет спрашивать у вас разрешения. Мы-то уж хорошо знаем, что его пути — не наши пути. Нам все уши об этом прожужжали.

— Знаю, и все тут, — сказал я. — Вы вовсе не обязаны мне верить, но, если вы изберете Париж, вы погибли.

Я знал, что он уже сделал выбор. Знал, что все для него кончится плохо. Он высвободил руку. Я вытер свою носовым платком. Он сказал совсем тихо:

— Я уезжаю завтра на рассвете.

Прюдан отвезет его в двуколке в Вилландро, а там он сядет на поезд, никто здесь и не заметит его отъезда.

— Если только вы не разболтаете.

— Нет, Симон, я не разболтаю.

По дороге шло стадо, я услышал крики пастуха. Симон закашлялся. Я произнес мамину неизменную фразу:

— Тянет холодом с речки.

Симон спросил еще раз:

— Вы никому не расскажете?

Он согласился, что будет лучше, если я подготовлю настоятеля и маму, чтобы смягчить удар, но не сообщу, что это случится так скоро. Он зашагал прочь по тропинке. Я направился к дому и на пороге столкнулся с Лораном, который заявил, что «смывается»: у нас сидит кюре да вдобавок еще мамаша Дюпор!.. Мамаша Дюпор? Лорана это не удивило, его ничто не удивляет.

В прихожей горела висячая лампа, хотя было еще совсем светло. Прежде всего я увидел сидевшую напротив господина настоятеля и мамы, неподвижно, словно каменное изваяние, госпожу Дюпор в траурной вуали, с пожелтевшими глазами, какую-то потерянную и неряшливую, хотя, готовясь к визиту, она, несомненно, уделила внимание своему туалету, но женщину, которая выпивает, может выдать любая мелочь. Надо было видеть, каким взглядом пронзала мама эту пьянчужку, к тому же, по-видимому, питавшую привязанность, склонность к Симону! «Просто невероятно, что только не происходит с этими людьми», — должно быть, думала она. Просто невероятно было, что госпожа Дюпор сидит здесь, у нас.

— Вы знаете моего сына Алена?

Госпожа Дюпор повернула ко мне лицо, напоминавшее мертвую маску, которую не могли оживить не то коровьи, не то птичьи глаза, из-за этих глаз она казалась порождением какого-то мифологического соития. Она ответила, не сводя с меня взгляда, что Симон ей часто рассказывал обо мне. Тогда настоятель заметил, что она может говорить свободно в моем присутствии — надо, чтобы я был обо всем осведомлен. Но у госпожи Дюпор пропала охота говорить. Она уставилась на меня круглыми глазами священной коровы. Она принадлежала к той породе коров, которая, как мне известно, считала меня съедобным.

Пришлось господину настоятелю изложить то, что сообщила им госпожа Дюпор: Симон, если ему удастся, через год закончит учение в Париже и получит там место в канцелярии радикальной партии на улице Валуа; но это лишь ширма: разработан план, который стал известен госпоже Дюпор, он состоит в том, чтобы досконально использовать воспоминания Симона о католической школе и семинарии. По словам господина Дюпора, любое из этих воспоминаний дает богатую пищу. Он взял у Симона все его школьные тетради, тщательно изучил учебники истории

и философии.

— Но как же Симон согласился?

— Его уверили, что, если рассмотрят его тетради — тетради первого ученика в классе, — это будет способствовать его назначению.

Тут вмешалась госпожа Дюпор:

— Симон слишком умен, чтобы не понять, что это предательство.

Я запротестовал:

— Симон не представлял себе, будто можно что-то извлечь из его школьных тетрадей.

Да и в самом деле, что можно было из них извлечь? Из учебников, пожалуй, еще можно. В нашем коллеже учебники для католических учебных заведений были начинены смехотворной ерундой, и мы с Донзаком составили себе из них целый репертуар. Во всяком случае, нельзя назвать предателем человека, сообщившего нечто, доступное всем. Симон хочет вкусить от запретного плода. Настоятель спросил, сказал ли он мне об этом.

— Я это понял сам. Ставка сделана.

Настоятель возразил:

— Нет! Он к нам вернется!

Я покачал головой. И прошептал:

— Он погиб!

— Погиб для нас, может быть, — пылко воскликнул господин настоятель. — Но не погиб, бедное мое дитя, нет! Нет! Не погиб!

Мне он понравился в эту минуту, наш бедный священник. Я заявил, что верю в это так же, как он. А мама, видимо, решила молчать, пока госпожа Дюпор пребывает здесь, но госпожа Дюпор словно приросла к креслу, заполнив его всей своей массой. Она смотрела на меня, не скрываясь: я чувствовал на себе ее взгляд. Тогда мама, которая во всех случаях жизни знает, как прилично и как неприлично поступать, поднялась, вынудив подняться и всех нас, кроме госпожи Дюпор, хотя и той должно было стать ясно, что мама предлагает ей уйти, правда смягчив это выражением благодарности за сообщенные сведения. Наконец госпожа Дюпор встала, подошла ко мне и проговорила:

— Приходите ко мне, пока не начались занятия. Мы поговорим о нем.

Я извинился: занятия начнутся через две недели.

— Но у вас в этом году позже, ведь вы уже бакалавр. Симон говорил, что вы остаетесь в Мальтаверне поохотиться на вяхирей.

Значит, они обо мне говорили! Вот кого я, ока-

зывается, интересовал. Мадемуазель Мартино обо мне не говорила ни с кем.

— Ну, какой из меня охотник!

— Что ж, тем лучше, у вас будет время.

Она улыбнулась закрытым ртом, как все, кому приходится скрывать плохие зубы. Кюре, негодуя, произнес властным тоном:

— Я провожу вас, сударыня! — и повел ее к выходу.

Я пошел было вслед за госпожой Дюпор и господином настоятелем, но мама приказала:

— Нет, оставайся!

Мы вернулись в гостиную. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Чтобы помолиться или чтобы скрыть свою ярость? Я думаю, она пыталась и молиться, и побороть свою ярость, но все же под конец взорвалась.

Бедная мама, одно за другим у нее вырывались слова, которых я так опасался. Она подвела итог всему, что истратила на Симона в течение десяти лет. Чем больше для них делаешь, тем больше они вас обворовывают. Ах! Как нас провели!

— Впрочем, я преувеличиваю, меня-то не провели, у меня не было никаких иллюзий. Как говорит господин настоятель, надо отдавать себя целиком и при этом знать, что взамен ничего не

получишь.

— Это, может быть, верно для господина настоятеля, — сказал я, — но мы — другое дело. Утешься, ты возьмешь свое с этого скота.

Мама оторопела:

— С какого скота?

— Этот старый вьючный скот Дюбер за триста франков в год управляет твоими десятью фермами, и только он один знает границы наших владений, так что, уйди он сегодня, мы будем зависеть от милости наших соседей.

— Кто же виноват, если ты и твой брат никуда не годитесь, если вы не способны даже запомнить межи…

— Ты прекрасно знаешь, что так этому научиться нельзя, надо тут родиться и жить здесь безвыездно. Ты сама не раз видела, как Дюбер пробьется сквозь заросли, поскребет землю там, где и знака никакого нет, и вдруг среди кустов ежевики появится межевой камень. Ты без него не сможешь обойтись. Он еще может тебя шантажировать, возьмет да и потребует втрое больше, чем ты ему платишь. И то будет смехотворно мало.

— Ну, это уж слишком! У него есть жилье, отопление, освещение, он получает молоко и

половину свиной туши.

— Да он и не знал бы, куда девать те деньги, которые ты ему недоплачиваешь. Вот он и работает даром.

Она простонала:

— Всегда ты на их стороне, против меня…

В это время вернулся господин настоятель. Он проводил госпожу Дюпор домой и сделал вид, что идет к себе.

— А… сам вернулся сюда. Нам необходимо поговорить.

— Во всяком случае, без этого дурачка. Хвалился, что уговорит Симона, а теперь его оправдывает и во всем обвиняет меня.

— Я ничего не обещал. Я был уверен, что знаю, о чем надо говорить с Симоном. И не ошибся, но теперь уже поздно.

— Во всяком случае, мы-то с вами сделали все, что могли.

Мама обращалась к кюре. Она требовала одобрения, похвального листа. Он молчал; своей худобой, крепким крестьянским костяком он походил на Симона: большой иссохший остов, и это грубое, словно вылепленное из глины лицо, и глаза, как капли глазури. Он молчал, она настаивала:

— Да или нет? Разве не сделали мы все, даже невозможное?

Кюре вполголоса бросил слово на местном наречии, я даже не знаю толком, как его писать: «*beleou*» (конечное «*ou*» почти без ударения), означает оно «может быть». Это «*beleou*» уже в двадцати километрах от Мальтаверна не поймет ни один крестьянин.

— Мы хотели дать церкви священника.

— Вопрос поставлен неправильно, — сказал кюре. — Мы не властны распоряжаться жизнью ближнего, даже если хотим посвятить ее богу, а тем более если он зависит от нас материально. Все, что мы могли сделать — вернее, все, что я, как мне казалось, желал сделать для Симона, — это понять, какова воля божия в отношении этого мальчика, помочь ему разобраться в себе самом.

Меня поразили слова кюре: «как мне казалось». Я не удержался и пробормотал:

— Ах, вот оно что, а на самом-то деле у вас были другие мотивы!

На маму снова накатил «приступ»:

— Извинись перед господином настоятелем сию же минуту!

Кюре покачал головой:

— В чем извиняться? Он меня ничем не оскор-

бил.

Я посмотрел на него и после некоторого колебания наконец сказал:

— Вы, господин настоятель, принимали, как и все мы, участие в этой смехотворной комедии. Но при этом вы помнили о своем облезлом, сыром церковном доме, где сидите по вечерам в одиночестве, об алтаре, где отправляете службу по утрам в почти пустой церкви. Вы-то знаете…

— Какое отношение все это имеет к Симону? — спросила мама.

— И о поражении, унылом поражении. Легче потерпеть его от руки противника, нежели от мнимого приверженца. Враги — те по крайней мере ненавистью своей доказывают, что церковь еще способна возбуждать страсти.

Кюре прервал меня:

— Я лучше пойду. А то ты уже заговариваешься, как скажет мадам.

Он поднялся. В эту минуту вошел Лоран. Я ненавидел запахи, которыми он был весь пропитан к концу летнего дня, но тогда я обрадовался, что он здесь. Однако его присутствия было достаточно, чтобы наступила разрядка. Ничто уже не имело значения, кроме силков, которые он поставил, или щенка Дианы, которого он, как

и подобает такому скоту, дрессировал, надевая на него парфорсный ошейник. Только мужичью полезно считать, что в мире хоть что-то имеет значение. Донзак любит повторять этот афоризм Барреса[49]. Я сказал:

— Я провожу вас до церковных ворот, господин настоятель.

Туман, поднимавшийся над рекой, не дополз еще до аллеи. Кюре сказал:

— Чувствуется осень.

Я пробормотал, сам не знаю, с состраданием или ехидством:

— И вся зима еще для вас впереди…

Он не откликнулся. Помолчав немного, он спросил, не знаю ли я, когда уезжает Симон.

— Я тебя не спрашиваю когда. Но просто, знаешь ли ты?

Я ничего не ответил. Он не настаивал, но, когда мы уже подошли к церковным воротам, я спросил, служит ли он по-прежнему раннюю мессу в семь часов.

— Можно, я приду прислуживать завтра?

Он понял, схватил меня за руку; он будет ждать меня.

---

[49] Примечания: 49

Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель и политический деятель, член Французской академии.

— Я приду чуть раньше, чтобы успеть исповедаться. Может быть, и мама придет.

— Нет, завтра не ее день.

Он ответил слишком поспешно, словно торопясь меня успокоить и успокоить себя самого. Больше мы не произнесли ни слова до самых дверей его дома. Там он сказал вполголоса:

— Я ошибся.

И так как я запротестовал: «Нет, нет, господин настоятель!» — он повторил:

— Я всегда буду ошибаться.

— Только не в самом главном, господин настоятель.

— Что ты имеешь в виду?

— Вы верите в то, что вы делаете. Может быть, вы вливаете новое вино в старые мехи, те, которыми обзавелись еще в семинарии? Но это новое вино вы обновляете каждый день вопреки старым мехам и старой теологии, которой повсюду приходит конец.

Кюре вздохнул, тихонько потрепал меня за ухо, проворчал:

— Юный «модернист»! — И ласково попрощался: — До завтра!

Глава III

Утренняя месса, ужасная сцена, разыгравшаяся между Дюбером и мамой, когда она узнала, что Прюдан отвез Симона к поезду в Вилландро, — все было вытеснено из моей памяти событиями, разыгравшимися в Мальтаверне несколько дней спустя. Но с чего начать? Я вижу себя на дороге в один из обычных вечеров, на дороге из Жуано. Кажется, всходила луна. Во всяком случае, в моих воспоминаниях царит луна. Тишина стояла такая, что, проходя через мост, я слышал, как бежит по древним камням Юр. Легкий, нежный плеск. Повсюду в этот час, во всяком случае если верить моим любимым книгам, соединяются живые существа. Раз даны декорации, должна быть дана и пьеса. Почему же я в стороне? Потому что даруются нам только декорации, все остальное — это уж наше дело, а у меня — в восемнадцать лет, — у меня не было сил… Сил для чего? Ни для того, чтобы умереть, ни чтобы жить. Я услышал кваканье жабы и вспомнил, как незадолго до смерти моя бабушка (впрочем, святая женщина) сказала, что лучше быть жабой под камнем, чем умереть. Как будто быть жабой под камнем — это не есть уже

счастье, как будто существует большее счастье на свете, чем тихо звать свою самочку и соединяться с ней под камнями или в путанице трав! Сейчас мне кажется, будто я предчувствовал, что ночью случится беда. Речной холодок, коснувшийся моего лица, был дыханием смерти… Но, возможно, все это я просто придумал.

Мама, завернувшись в шаль, бродила по аллее. Должно быть, читала молитвы, перебирая четки. Она предупредила меня, чтобы я не шумел: Лорану нездоровится, и он лег спать.

— Подумать только, ты заставляешь нас жить в одной комнате, как будто в этом сарае комнат не хватает! Понять не могу, для чего ты это делаешь.

Она не рассердилась. Только сказала, как бы оправдываясь:

— Вы никогда не разлучались.

— Этого хотела ты, а не мы: ведь у нас с Лораном разные вкусы, нам не о чем разговаривать.

Мама пустила в ход свой обычный упрек:

— Ты всех считаешь глупее себя!.. А вот кто настоящий дурень, — продолжала она с неожиданной яростью, — так это Симон. Подумать только, что он выбросил за борт…

— Да нет же, ничего существенного он не вы-

бросил. При нем осталось все, чему он научился, его диплом бакалавра — все, чем он тебе обязан и чем воспользуются другие, если только это может тебя утешить.

— Не об этом речь, ты отлично знаешь!

— Но именно эта мысль для тебя непереносима. Ну а судьба Симона тебя не очень интересует: ведь ты его не любишь. Не станешь же ты уверять меня, будто любишь Симона? А даже если бы любила, ну, так, как принято любить, в общем, так, как любит его госпожа Дюпор…

— Иди спать!

— Тогда тебе и дела бы не было до бессмертной души Симона, ведь ты любила бы в нем именно то, что смертно…

Она подтолкнула меня к лестнице:

— Ступай, ложись потихоньку, не разбуди брата, и чтобы больше я тебя не слышала… Этот мальчик убьет меня.

Я возразил, что еще рано ложиться спать. Я пройдусь по парку.

— Оденься. Хватит с меня одного больного. И когда будешь ложиться, не открывай окна, Лоран кашляет.

— Он часто кашляет по ночам, — сказал я. — Он кашляет во сне.

— Ты-то откуда знаешь? За всю ночь ни разу не проснешься.

— Я слышал сквозь сон.

Уверен, что этого я не выдумал, помню, как сам был поражен своими словами и вдруг почувствовал страх за Лорана; я хотел произвести впечатление и неожиданно сам стал жертвой своей ворожбы, но тревога моя продолжалась лишь несколько секунд. И вот я снова в молочном сумраке лунного вечера, и я такой же, каким всегда бываю в этот час, стою и впитываю в себя журчание Юра, и тихий шепот ночи, подобной всем другим ночам, и лунный свет, тот самый, что омоет могильный камень, под которым будет догнивать тело, когда-то бывшее мною. Время течет, как Юр, а Юр всегда тут, и пребудет тут вечно, и вовеки не остановит свое течение… Впору завыть от ужаса. А как же поступают другие? Они словно и знать ничего не знают.

Впрочем, я тоже не знал, что наступившая ночь со всеми ее бесчисленными тревогами… Но об этом надо рассказать, ничего не выдумывая, и составить для Донзака точный отчет, протокольную запись. Я вернулся домой. Это было за год до того, как мама решила провести у нас электричество. Горела одна-единственная лампа, висевшая

над бильярдом. Я взял подсвечник и поднялся в нашу комнату, расположенную над маминой, в комнату мальчиков. Большая комната в два окна; наши кровати стояли голова к голове, так что мы с Лораном хоть и ночевали вместе, но даже не видели друг друга, к тому же он обычно вставал на заре. По вечерам, когда мы были еще детьми, он засыпал, сидя за столом, и его часто относили в постель на руках. Последние два года он, как все говорили, «бегал», и теперь уже я спал как убитый, когда он, держа башмаки в руках, тайком прокрадывался в комнату. А утром, когда я просыпался, Лорана и след простыл.

Несмотря на мамин запрет, я твердо решил открыть окно — воздух в комнате был тяжелый. Я не узнал привычного запаха Лорана: от него всегда исходил здоровый запах, хотя и слегка отдававший псиной. У болезни свой особый запах, и я сразу его почувствовал. Лоран спал, он не храпел, но дышал тяжело. Я начал было раздеваться, когда появилась мама в халате, с заплетенной косой. Она подошла к кровати Лорана, осторожно пощупала ему лоб и шею — он и не проснулся — и сказала шепотом, что я не засну, а Лорану может понадобиться ее помощь; лучше она ляжет в мою постель, а я пойду к ней в комнату. Я не заставил

себя просить и, даже не взглянув на брата, спустился вниз, в мамину комнату; она была чуть поменьше нашей, потому что в одном углу устроили туалетную, в другом — гардеробную, между ними образовался альков, где и стояла кровать. Я с наслаждением открыл окно и скользнул в постель, в которой был зачат. Странная мысль, завораживающая и в то же время невыносимая, я прогнал ее, движимый привычкой, сохранившейся от моей прежней детской нетерпимости, когда я верил, что одна-единственная дурная мысль ставит под угрозу наше вечное спасение.

Чтобы победить искушение, я прибегнул к средству, которое помогало мне незаметно погрузиться в сон, — стал рассказывать себе историю: я всегда что-нибудь сочинял. История, которую я сейчас придумал, очень мне понравилась. В тот год я впервые прочел в «Человеческой комедии» Бальзака «Блеск и нищету куртизанок»; самоубийство Люсьена де Рюбампре в тюрьме несказанно огорчило меня, и я пересочинил его историю: Люсьен де Рюбампре не был скомпрометирован и не попал в тюрьму. Карлосу Эррере удалась его затея, он выманил у барона Нусингена огромную сумму, необходимую для женитьбы Люсьена на дочери герцога Гранлье. Я преодолел

все препятствия. Благодаря поддержке герцога и Карлоса Эрреры Люсьен получает назначение при посольстве в Риме; венчание происходит тайно в часовне посольства, таким образом, в Париже никто ничего не знает и все, что может повредить Люсьену, устранено. Через некоторое время Карлос Эррера принимает решение «умереть» и снова превратиться в беглого каторжника Жака Колена. Он притворяется, будто поражен злокачественной опухолью. Все уверены в его скорой смерти. Он ложится на операцию в частную клинику в Швейцарии, зависящую от его банды. Труп другого оперированного выдают за труп Карлоса Эрреры, и Жак Колен сматывает удочки… А я скольжу, погружаюсь в глубокий, крепкий сон, где кишит великое множество людей, и вынырну из него только утром, когда первый луч солнца проникнет ко мне сквозь решетчатые ставни.

Но на этот раз я проснулся среди глухой ночи, чувствуя себя потерянным в чужой постели, от которой пахло мамой. Я сразу понял, происходит что-то неладное. Да, я сразу понял, что дело неладно. На лестнице раздавались торопливые шаги, никто не заботился о тишине, хлопали двери. Что-то случилось наверху, у меня над головой. С

Лораном? Слышался звон тазов и кувшинов — я успокоился: должно быть, его тошнит. Я повернулся к стене. В это время вошла мама, держа в руке лампу, ярко освещавшую ее крупное серое лицо и всклокоченные волосы. Она остановилась на пороге:

— Послушай… лучше, чтобы ты знал… У Лорана открылось кровохарканье, и остановить его не удается. Доктор Дюлак и настоятель сейчас при Лоране.

Я порывался встать, но мама умолила меня не двигаться до рассвета.

— Утром ты поедешь к барышням в Жуано. Надо бежать, бежать, — твердила она как потерянная. — Я вздохну спокойно, только когда ты будешь далеко.

— Но Лоран…

— Речь идет уже не о Лоране, а о тебе.

— Но, мама, Лоран? Лоран?

Она стояла в оцепенении, держа лампу в руке, длинная седая прядь пересекала ее лоб. Она смотрела на меня горящими глазами.

— Молись за своего бедного брата, но первый наш долг — изолировать тебя. Дай бог, чтобы не было поздно. Когда я подумаю, что все эти годы ты жил с ним в одной комнате, и в Бордо, и в

Мальтаверне… И даже прошлую ночь вы дышали одним воздухом.

— А Лоран, мама?..

— Мы сделаем все возможное и невозможное, ты сам понимаешь. Завтра будет консилиум. Но лучше, чтобы ты знал… — Она заколебалась: — Доктор считает…

Потом, прервав себя, снова обстоятельно стала говорить о том, что она решила относительно меня. Словно бы несчастье имело отношение только ко мне, словно все его значение и последствия касались меня одного. Я уеду, не взяв с собой ни белья, ни одежды, только в том, что на мне: ведь все мои вещи находятся в зараженной комнате.

— Я даже не поцелую тебя на прощание, и, разумеется, ты не подойдешь к комнате Лорана. Да он и не в состоянии… Лучше, чтобы ты не видел его таким в последний…

— Нет, не в последний, мама, не в последний раз!

— Да, да! Ты ведь знаешь, я всегда все вижу в черном свете. Пойду приготовлю тебе кофе. Поспи еще немного.

Я не стану сопротивляться, я буду делать все, что она захочет. Она сумела напугать девятнадцатилетнего юношу, как пугала маленького

мальчика, чтобы он слушался. Была в Мальтаверне комната, кровать, где умер наш дедушка, а в Бордо была комната, кровать, где умер наш папа. Теперь здесь будет комната, кровать, где Лоран… Он вышел вдруг из своего ничтожества последнего ученика в классе и начал во мне свое новое существование. Не помню, чтобы он когда-нибудь произнес хоть одно слово, не имевшее отношения к вяхирям, к бекасам, к зайцам или его собакам. Он готовился в Гриньонскую высшую школу, но сельскохозяйственная наука интересовала его не больше, чем латынь или древнееврейский язык. Он любил повторять: «В нашей семье я буду крестьянином…» Но Мальтаверном он не интересовался.

— Все я должна делать сама! — жаловалась мама, но не потерпела бы, если бы мы хоть раз сунули нос в ее дела, вернее, в наши, поскольку Мальтаверн принадлежал нам, а она была только опекуншей.

Так блуждала моя мысль, пока вдруг не остановилась, словно споткнувшись: «Теперь не будет никого, кроме меня, я останусь один в Мальтаверне, я и мама». Да, это вдруг пришло мне на ум, но, видит бог, я не обрадовался, потому что быть не могло, чтобы мама не подумала о том же, что-

бы она с ее маниакальной страстью к земле хотя бы смутно этого не ощутила. Она боготворила землю, но совсем не так, как я, она ненавидела разделы… Донзак, для которого я пишу, поймет все без моих объяснений; все это еще не было мне ясно в ту зловещую ночь, ничто еще не было высказано, принято, признано. На эти ночные часы я как бы накладываю решетку моих мыслей в той связи и последовательности, в какой они сложились за последующую неделю, которую я провел у барышень в Жуано.

В ожидании рассвета я растянулся одетый на маминой постели. Мама пришла еще раз, но не переступила порога комнаты, она принесла мне кофе и сказала, что Мари Дюбер гладит мое белье и соберет для меня все необходимое. Мне оставалось только уложить книги и свою писанину, как называла мама все, что я писал. Я задремал. В полусне я услышал, как протарахтели колеса двуколки Дюбера. Вошла Мари с подносом, повязанная черным старушечьим платком, сама вся черная лоснящейся чернотой куриных перьев и вообще смахивающая на курицу своим испуганным взглядом и подпрыгивающей походкой. После бегства Симона, которому Дюберы немало способствовали, мама разговаривала с ними,

лишь чтобы отдать какое-нибудь приказание. Мари уверила меня, что Лоран сейчас задремал и мадам от него не отходит. Доктор вызвал сестру из Базасской больницы. Мари причитала: «*Ah! Lou praou moussu Laurent!*»[50]. У Дюберов любимцем был он: «*Ah! Lou praou!*»

Никогда не прощу себе, что удрал из родного дома, так и не повидав умирающего брата. Мама была на страже и не допускала меня в комнату, но я все же заглянул в приоткрытую дверь и в неверном, мигающем свете ночника на секунду увидел передвинутую мебель, разбросанное по полу белье. Я подчинился. Все произошло так, как решила мама. В девятнадцать лет я позволил ей обращаться со мной, как с младенцем. Я слабо возражал, она даже не слушала. Она говорила:

— Как только минует кризис, ты его увидишь. Обещаю тебе Я сразу же пошлю за тобой. Ты поговоришь с ним издали, все будет хорошо. Мы уложим его в саду, на солнышке. Сосновый лес в таких случаях — самое целебное.

О! Это сентябрьское утро, запах тумана… Я-то не умру, я буду жить. Мама уже отправила барышням письмо, предупредив их о моем приезде и

---

[50] Примечания: 50
Ах! Бедный господин Лоран! *(франц. диал.).*

сообщив о нашем несчастье. Мадемуазель Луиза и мадемуазель Адила поджидали меня в полном смятении: нечаянная радость моего приезда, сострадание, горе — все смешалось. Но радость преобладала, особенно у мадемуазель Адилы, обреченной на одинокое существование рядом с глухой сестрой, «которая все понимает по движению губ», в семи километрах от местечка, в этом затерянном уголке, где обрывалась единственная дорога, а дальше, до самого океана, раскинулись обширные пустынные ланды. Одна из самых старых ферм на краю огромного просяного поля. Мне приятно думать, что мы тоже родом с такой фермы. Этим утром жаворонки заливались над полями, жаворонки, в которых никогда больше не будет стрелять Лоран. Еще на рассвете для меня открыли большую комнату, где попахивало плесенью; там, как я знал, отец барышень, разорившись, покончил с собой, но никто не знал, что я это знаю. Я разложил на столе бреншвигова Паскаля, машинописную копию «Действия» Мориса Блонделя, которую дал мне почитать Донзак, «Материю и память» Бергсона и тут же пошел рыться в книжном шкафу «общей гостиной», который, бывало, в детстве доставлял мне такое счастье, какого не узнать тому, кто не испытал великого

чуда чтения, когда ничто во внешнем мире не способно смутить гладкую поверхность летнего дня каникул, когда реальный пейзаж сливается с воображаемым и даже запах дома проникает в тебя и остается там навеки, на долгие, долгие годы, хотя уже и самого дома не существует.

Не Бергсона я читал теперь, не Паскаля, не «Летопись христианской философии», а «Детей капитана Гранта», «Таинственный остров», «Без семьи». И тем не менее комната Лорана, в трагическом свете ночника, такая, какой увидел я ее в приоткрытую дверь, не выходила у меня из головы. Я не забывал о ней ни на минуту, в ней черпал я свою тоску, свое горе, но, может быть, также и счастье ощущать свои девятнадцать лет и бьющую через край жизнь.

Я услыхал, как мадемуазель Адила, которая привыкла, разговаривая с сестрой, орать во все горло, сказала кухарке:

— Если случится несчастье, вот будет завидная партия — господин Ален с его тремя тысячами гектаров…

— Э! Так-то оно так, но, пока жива его мамаша, хозяйкой будет она…

— Молчи уж, — крикнула мадемуазель Адила. — У его матери хватит и своего добра — чуть

не тысяча гектаров, дом в Ноайяне, да и наличными бог знает сколько!

— Да, но…

Я вышел, чтобы больше ничего не слышать. Лоран был жив, он жил. Мама любит нас обоих. Днем приехал господин настоятель и сообщил мне новости:

— Твоя мать, как всегда, достойна восхищения. Полночи она не отходила от Лорана, чтобы сестра милосердия могла поспать. Она решила не видеться с тобой даже издали. Она идет на эту жертву. Увы, ждать осталось недолго.

В этот день я впервые услышал роковые слова: «Скоротечная чахотка». Я услышал, как отдается во мне ее стремительное течение, навсегда уносящее моего старшего брата во тьму, куда последую за ним и я, может быть, не так скоротечно, а простым шагом; но как бы медленно я ни продвигался, все равно в конце концов уподоблюсь старику из Лассю со своими тремя тысячами гектаров и сворой нетерпеливых наследников, которых я буду ненавидеть и, так же как он, гнать от себя. Ужас собственности. Собственность — абсолютное зло. Что делать, как избавиться от нее? Я охотно отказался бы от всех благ мира сего, но только не от самого мира, только не от языче-

ской радости, которой я упивался в тот день под дубами Жуано, пока моего брата уносило стремительное течение в ночь, не знающую конца.

На следующий день я нежданно-негаданно воочию увидел в доме у барышень микроб собственности — отвратительную десятилетнюю девчонку Жаннетту Серис, их наследницу, которая в этом качестве приезжала гостить к барышням и принимать поклонение фермеров. Нелепей всего было то, что это чудовище, единственная дочь в семье, рано или поздно окажется обладательницей одного из самых больших поместий наших ланд, в котором именьице барышень затеряется, как капля воды в море. Но для этих ненасытных пожирателей земли каждый гектар имел значение. Мне Жаннетта внушала ужас. Иссиня-бледная, конопатая девчонка — казалось, что и на месте глаз, лишенных бровей и ресниц, поблескивают две из ее бесчисленных веснушек. Круглая гребенка придерживала надо лбом зачесанные назад жидкие волосы. Детей фермеров приводили к ней играть. Они подчинялись ей, как мужицкие дети маленьким боярам во времена крепостного права. На следующее утро, проснувшись, я услыхал, как мадемуазель Луиза кричит мадемуазель Адиле: «… да между ними невелика

разница, меньше десяти лет. Он подождет!» Мадемуазель Адила, должно быть, ответила только движением туб, я ничего не услышал. Глухая продолжала орать: «Без разрешения матери он не женится. Будет ждать сколько нужно...» О боже! Речь шла обо мне и Жаннетте. Об этом поговаривали в округе, как некогда о помолвке французского дофина и испанской инфанты. Но на сей раз имели в виду меня одного: Лорану эта опасность больше не грозила. В том, что для мамы все было решено, я не сомневался. И в довершение всего девчонка за мной бегала, она, это страшилище, со мной заигрывала. Значит, и она об этом думала. Именно в те дни я впервые устыдился своего невежества, своего безразличия ко всему, что касалось социальных вопросов. Я решил прочесть Жореса[51], Геда[52], Прудона[53],

[51] Примечания: 51

Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, философ, историк.

[52] Примечания: 52

Гед Жюль (1845–1922) — один из основателей французской Рабочей партии, деятель II-го Интернационала, пропагандист марксизма.

[53] Примечания: 53

Прудон Пьер (1809–1865) — французский экономист, теоретик анархизма, идеолог мелкой буржуазии.

Маркса[54]… Для меня это были только имена. Однако что такое собственность, я знал лучше, чем они. Пусть даже она воровство, на это мне плевать, но она развращает, бесчестит людей.

[54] Примечания: 54

Маркс Карл (1818–1883) — немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель.

Глава IV

Спустя два года я начинаю в Бордо новую тетрадь. Первую Донзак выпросил у меня и увез в Париж, где он поступил в кармелитскую семинарию. Ради него я снова решаюсь продолжать этот дневник. Дневник? Нет, это стройный, упорядоченный рассказ о том, что я черпал день за днем в нашей с мамой истории в течение этих двух лет. Но прежде всего это попытка понять, кем же я стал после смерти Лорана.

Кем я стал? Стал ли я другим? Юноша двадцати одного года, который готовится в Бордо к диплому лиценциата словесности, — чем отличается он от подростка, каким я был когда-то? Он тот же и обречен оставаться тем же, если только я не умру молодым, как Лоран. Старик из Мальтаверна, который живет во мне, займет в негласной истории больших ланд место старика из Лассю, но и в восемьдесят лет он останется точно таким же, каким являюсь я сейчас, а какой-нибудь мальчишка — поэт 1970 года — будет издали смотреть на него, неподвижно сидящего у порога и словно превратившегося в неодушевленный предмет.

Смерть Лорана изменила не меня, а условия моего существования. Несколько месяцев я провел в каком-то оцепенении. Мама все взяла на себя, ее чувства ко мне сосредоточились на заботе о моем физическом здоровье. У меня было «затемнение в левом легком». Она не успокоилась, пока не добилась для меня освобождения от военной службы. Я был рад этому, хотя и сгорал от стыда. В конце концов я стал еще более нелюдимым и злился на маму. Она же, избавившись от своих волнений, с каждым днем все больше и больше погружалась в дела Мальтаверна. И так как в том году мы купили автомобиль марки «дион-бутон», она то и дело отправлялась на несколько дней в деревню. Расстояний больше не существовало. Еще в прошлом году, чтобы попасть в Мальтаверн поездом, приходилось делать две пересадки. Уже под сводами Южного вокзала мы чувствовали себя оторванными от дома. Большие ланды, единственная моя отчизна, были далеки, как звезда. А теперь я знал, что она начинается сразу же по выезде из Бордо, и по шоссе, если не подведет мотор и если мы не разобьемся, можно за каких-нибудь три часа покрыть сотню километров, отделяющую Бордо от Мальтаверна.

Я пишу о чем попало, лишь бы не касаться на-

болевшей раны, которая мучительно ныла после того, как уснул Лоран. Что произошло между мамой и мной? В чем я могу ее упрекнуть? Она все берет на себя, освобождает меня от всего. Когда она, как сейчас, находится в Мальтаверне, я пользуюсь в Бордо свободой, какой не знал никогда ни один студент, — кухарка и дворецкий в полном моем распоряжении. Если я не способен воспользоваться этой свободой, то уж никак не маму я должен упрекать.

— Почему у тебя нет друзей? Почему ты отказываешься от приглашений или подпираешь стену во время танцев?

Я не танцую потому же, почему не охочусь. Это все одно и то же…

Нет, совсем не одно и то же. То, что я сейчас расскажу, уже пережитое, а не история в ее становлении, хотя история все еще продолжается. Донзак сумеет уловить разницу между истолкованным и обработанным мною документом и тем, что изо дня в день, из страницы в страницу принимает облик неизбежной судьбы. Донзак сумеет истолковать ложь, которой оборачиваются мои умолчания, и, без моего ведома, превратит ее в правду, ту правду, которую я сам хотел бы вырвать из себя, которой я домогаюсь с пугающей

меня страстью, пугающей потому, что речь идет о маме, потому что ее я постепенно разоблачаю, и по мере того, как раскрывается ее истинный образ, мне становится страшно.

Но теперь я больше не один. Я больше ей не подвластен. Явился некто. Некто. Все началось в книжной лавке Барда, в Пассаже, соединяющем улицу Сент-Катрин с площадью Комеди. Я не сразу набрел на эту мрачную пещеру, заваленную книгами. Моим книготорговцем был Фере, на Интендантском бульваре. У Барда издания «Меркюр де Франс» занимали лучшее место. Литература здесь была в чести. На витрине лежали книги современных поэтов.

Я заходил сюда по пути из университета почти каждый день, после того первого дня, когда, просматривая новую книгу — «Имморалист»[55], так погрузился в чтение, что вздрогнул от неожиданности, услыхав у себя над ухом женский голос.

— Даже если у вас нет лишних денег, советую вам ее купить. Это первое издание, а первые издания Андре Жида…

Я поднял глаза и увидел в полутьме этой пещеры мадемуазель Мари, которая продает книги и

---

[55] Примечания: 55

Повесть французского писателя, лауреата Нобелевской премии Андре Жида (1869–1951).

вообще хозяйничает в магазине (сам Бард сидит за кассой, а Балеж, горбатый приказчик, делает всю черную работу). Мадемуазель Мари в своем темном халате старается быть незаметной, но только не для тех, на ком остановит она взгляд, как, например, в тот первый день остановила на мне. И какой взгляд! Нежный, и вместе с тем насмешливый, и пугающе-проницательный. Ее привлекло и тронуло во мне, как всех, кто меня любит, именно то, что отталкивало всех прочих. Я, однако, обманул ее, сам того не желая. Я так люблю книги и так мало их покупаю, я так долго колеблюсь, прежде чем решиться на покупку, — одним словом, я настолько не способен израсходовать хотя бы франк и к тому же так плохо одеваюсь — всегда в одном и том же галстуке тесемочкой, — что она приняла меня за бедного студента. Потом я узнал, что ее все же удивило мое пальто, хотя изрядно поношенное, но явно сшитое на заказ, и дорогой кожаный портфель с инициалами. Но трудно было предположить, что у меня есть карманные деньги. Она решила, что я сын каких-нибудь сельских жителей, разорившихся или скупых, и отложила для меня несколько первых изданий.

— Заплатите в следующем месяце, — сказала

она.

Я не стал разубеждать ее, и, конечно, не из дурных побуждений. Может быть, это был стыд? Нет, скорее, счастье чувствовать себя любимым за самого себя, знать, что могу понравиться такой замечательной девушке, и не подозревающей во мне наследника Мальтаверна. В редкие вечера, когда мама посылает меня взглянуть, как танцуют другие, я отлично знаю, что все смотрят на меня одинаковым взглядом — невидимый ярлычок пришпилен к моему смокингу: тысячи гектаров ланд, недвижимое имущество. Одна и та же искательная улыбка у всех, одни и те же потуги поговорить «о том, что считается интересным». А представление этих дурочек об «интеллектуале»!.. Нет, даже думать об этом не хочется. Достаточно, если Донзак поймет, каким неожиданным счастьем с первого же дня стала эта девушка, с такой любовью смотревшая на бедного студента, за которого она меня принимала. Мое нежелание показываться с ней вместе на улице — это я узнал впоследствии — она объяснила боязнью скомпрометировать ее, таким ангелочком я ей показался; потом мы немало смеялись над этим. Но истинной причины я ей не открыл, да и сам не очень был в ней уверен. Дело

было, конечно, и в том, что стоит нам выйти из темного грота книжной лавки, как миф о бедном студенте рассеется, но главное было то, что я не отделял Мари от книжной лавки, с которой сам соединил ее, так же как не отделял мадемуазель Мартино от ее скакуна.

Я был защищен от нее и вместе с тем мог наслаждаться ею, как будто видеть ее в волшебном полумраке книжной лавки уже само по себе было для меня наслаждением. Тут не вставала передо мной ни одна из тех гнусных проблем внешнего мира, которые я, разумеется, не в силах был разрешить.

Такое положение могло бы длиться вечно, хотя бы потому, что Мари сама его приняла; оно отвечало тому образу, который она создала в сердце своем, тому моему свойству, которое она называла *noli me tangere*[56]. Если бы не случайная встреча… Но я не верю в случай, а совпадения, пожалуй, доказывают, что в нашей жизни и в самом деле все предопределено.

Хотя душой книготорговли Барда была Мари, хозяин и Балеж не одобряли того, что она разрешает многим клиентам, а я был в числе

---

[56] Примечания: 56
Не тронь меня *(лат.)*.

постоянных, рыться в книгах, которых они не покупали. Благодаря ей книжная лавка приобрела облик описанной в романе Анатоля Франса[57] «Под вязами» книготорговли Пайо, где господин Бержере каждый день встречался со своими друзьями. Мари рассказала, что ей пришлось особенно горячо защищать меня и еще одного молодого учителя из Таланского лицея, который проводит у Барда все вечера по четвергам, в единственный свой свободный день. Как раз в этот день я никогда не появлялся у Барда: по четвергам книжная лавка была набита битком.

— Он такой же нелюдим, как вы, он ни с кем не знаком…

— Но он знаком с вами, — возразил я не без досады.

Моя досада вызвала у нее улыбку, она решила, что я ревную. Было ли это так? Во всяком случае, я почувствовал ревность, едва лишь напустил на себя страдальческий вид: я полагал, что влюбляются механически, так же как, согласно Паскалю, становятся истинно верующими.

---

[57] Примечания: 57

Франс Анатоль (1844–1924) — французский писатель и литературный критик. Член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1921), деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России.

Меня беспокоил возраст неизвестного соперника. Он был на несколько лет старше меня. Он внушал ей жалость полным своим одиночеством и безнадежной горечью, которая проскальзывала в его речах, казалось, в юности он пережил какое-то непоправимое несчастье. Она говорила о нем с сочувствием, возраставшим по мере того, как возрастало мое огорчение, на сей раз непритворное; я действительно был огорчен, и вскоре Мари не выдержала. Мы были с ней одни, скрытые от чужих глаз полкой с подержанными книгами. Впервые она взяла мою руку и удержала ее в своей.

— Подумать только, — сказала она, — я даже не знаю, как вас зовут. Я знаю лишь первую букву, я видела инициалы на вашем портфеле. Какие же имена начинаются на А?.. Вас ведь зовут не Артур, не Адольф? А может, Август? Или Августин?

Я почти коснулся губами ее маленького ушка. «Ален…» — прошептал я, словно речь шла о величайшей тайне, и она повторила: «Ален», будто боялась забыть. Я спросил:

— А как вы меня называли, когда думали обо мне?

— Никак не называла. В те дни, когда вы не приходили, я думала: «Сегодня ангел не пришел…»

— Ах, — вздохнул я, — и вы тоже?

Я вспомнил те сумерки в Мальтаверне, когда Симон сказал мне: «Вы — ангел». Да, я подумал о нем именно в тот момент, когда он вот-вот должен был снова возникнуть в моей жизни! Мне самому это кажется настолько странным, что я подозреваю, уж не придумал ли я, сам того не сознавая, эту историю и так складно ее построил? Но нет, все произошло именно так. Помню, я бросился к выходу, даже не попрощавшись, а Мари шла за мной, повторяя вполголоса:

— Что с вами? Что с вами? Я не хотела вас обидеть…

— Девушки не любят ангелоподобных юношей, — сказал я. (Мы стояли с ней рядом, у порога. Ни одного покупателя в лавке уже не было.) — Впрочем, они правы.

— Потому что есть злые ангелы? — спросила Мари. Она деланно засмеялась, пытаясь рассеять возникшее между нами облачко.

— Нет, злого ангела они бы любили. Он причинил бы им страдания…

— Ну, смотря какие девушки, — сказала она. — Мне никогда не нравились грубияны. Я всегда их боялась.

— А я кажусь вам безопасным.

— Вы обижаетесь на каждое мое слово.

— А этого учителишки из Таланса, который приходит по четвергам, вы не боитесь?

— Ах, так это из-за него вы терзаетесь! Бедняга он, я изо всех сил стараюсь, но, кажется, безуспешно, скрыть от него свое отвращение. Я даже заставляю себя брать его за руку, мне даже удается удержать ее на несколько секунд в своей. Вы не поверите, но у него по шесть пальцев на каждой руке. Если б вы знали, как противно прикасаться к этому мягкому отростку, к этому хрящику, бр-р…

Я прислонился к витрине. Я спросил:

— Симон? Он в Бордо?

— Вы его знаете? Откуда вы его знаете?

— А известно ли вам, что и на ногах у него тоже по лишнему пальцу? Ну что ж, Мари, в четверг скажите ему, что одного из ваших клиентов зовут Ален и что он ангел, тогда вы узнаете все обо мне, о моей матери, о моем детстве, откуда я родом — Симон Дюбер тоже из тех мест. Сам я сегодня не стану говорить с вами о нем, я не могу это сделать, не посвящая вас во все подробности моей несчастной жизни, а это мне не под силу. Пусть уж он расчистит дорогу… А я только дополню его показания. После того как он все расскажет, мне

легче будет ввести вас в ту историю, которая, в общем-то, никому не интересна.

Она прошептала:

— Кроме меня.

Затем я выслушал то немногое, что она знала о Симоне. Он не вынес жизни в Париже и, едва защитив диплом, получил с помощью влиятельных покровителей, которыми очень гордился, назначение в Бордоский округ.

— Но он уверяет, что здесь его одиночество было бы еще ужаснее, чем в Париже, если бы он не встретил меня.

— А к своим родным он не ездит?

Об этом она ничего не знала. Он никогда не говорил о родных, как будто стыдился их. Я подумал, что, появись он в Мальтаверне, моя мать не могла бы не знать о его приезде. Я сказал «до свидания», толкнул дверь. И вдруг подумал о предстоящем мне вечере и содрогнулся. Все, что мешало мне выходить на улицу вместе с Мари, исчезло бесследно. Скоро она все узнает обо мне и моей семье. Я даже не спросил, свободна ли она, я сказал:

— Не оставляйте меня одного сегодня. Мама в деревне. Она покинула меня. Я вам все расскажу.

Мне хотелось встревожить Мари, но ее радость

заглушала всякую тревогу. Она попросила проводить ее до дому:

— Я забегу на минутку, только предупрежу маму и переоденусь.

Магазин закрывался через полчаса. Мы условились встретиться у «Гран-театр».

Это было первое мое свидание, и шел мне двадцать второй год! Сегодня вечером я буду не один. Я зашел в кафе и позвонил Луи Ларпу, нашему дворецкому, что пригласил к обеду приятельницу. Воображаю его изумление. «Даму, господин Ален?» — «Да, даму». — «Боюсь, что приготовлен только один бифштекс для вас, господин Ален». — «Откройте банку гусиного паштета и подайте бутылку вина по своему усмотрению».

Я ждал в тумане, перед дверью одноэтажного домика на улице Эглиз-Сен-Серен, где жила Мари, пока она переодевалась. Когда она появилась, это была она и не она, ускользнувшая из темной книжной лавки, от своего ремесла, а я впервые в жизни гордо выступал, ничем не отличаясь от других молодых людей в этот ноябрьский вечер, навсегда оставивший во мне свой аромат. Я торопился попасть на площадь Гамбетты и Интендантский бульвар — решусь ли признаться? — да, чтобы меня увидели с этой молодой

женщиной. Я все же спросил у Мари:

— Вы не боитесь, что вас увидят на бульваре в сопровождении молодого человека? А не то мы можем пойти в обход переулками…

Она рассмеялась:

— О! Я, знаете ли… Скорее я могу вас скомпрометировать…

Я сказал, что мы родом из Базаса и в Бордо у нас мало знакомых. Надо было, однако, за десять минут пути до улицы Шеврюс, где я жил, подготовить ее к роскошной квартире, к дворецкому.

— У нас две тысячи гектаров сосновых лесов, вот что! — брякнул я самым дурацким образом. Эта цифра, казалось, не произвела на нее впечатления. Я добавил совсем уже глупо: — Не считая всего остального.

— Хвалиться тут особенно нечем.

— Я не хвалюсь, но я скрывал все это от вас. А теперь надо же вас предупредить.

— Нет, Ален, это меняет дело. Я не буду обедать в доме вашей матери в ее отсутствие и без ее ведома. Я поведу вас в маленький ресторанчик в порту, к Эйрондо.

Я возразил, что это невозможно, что я позвонил домой, заказав достойный такой гостьи обед.

— Ну что ж, вы можете позвонить от Эйрондо и

отменить свои распоряжения.

— Вы не знаете Луи Ларпа, нашего дворецкого. Я никогда не решусь… Он открыл банку гусиного паштета. Для него это священнодействие. Кроме того, я ненавижу телефон. Я позвонил ради вас, но никогда к этому не привыкну. Я почти не пользуюсь телефоном.

— И вам не стыдно?

— Да, стыдно. Мама всегда твердит: «Каким бы умником ты себя ни считал, ты просто жалкий трусишка».

— Я вижу, что появилась вовремя.

— Вы меня презираете…

— Нет, почему же? Несмотря на ваши тысячи гектаров, вы никогда не примиритесь с этим миром, вы никогда не станете одним из них… Я встречаю их в книжной лавке, правда немногих: ведь читать они не любят. Но иногда попадаются клиенты, которые собирают редкие издания. Я наблюдаю за ними: книжный прилавок — это вроде баррикады! Я их выслушиваю, исподтишка слежу за ними, я их знаю.

— Но меня, Мари, вы не знаете. А когда узнаете…

Мы сидели в самом дальнем углу ресторанчика — раньше здесь, наверно, был матросский ка-

бачок, а теперь сюда забегали поесть ракушек, миног или — в грибной сезон — белых грибов. Мари подошла к стойке, чтобы позвонить ко мне домой. Она вернулась, смеясь до упаду, я и не знал, что она умеет так смеяться:

— Успокойтесь! Я слышала, как дворецкий крикнул кухарке: «Он все отменяет! Хорошо, что я не открыл паштет». Ну как, успокоились?

— Я просто смешон, — проговорил я жалобно.

Когда я размышляю об этом вечере, меня поражает мое жадное желание излить свою душу — нескромность, с какой я, не умолкая, говорил о себе, как будто этой молодой женщине или девушке, которую я совсем не знал, нечего было рассказать мне о своей жизни, словно само собой разумелось, что из нас двоих интерес представляю только я один. Она слушала меня весь вечер, не задавая иных вопросов, кроме тех, в которых я нуждался, чтобы окончательно освободиться от душивших меня признаний.

— Симон Дюбер вам расскажет больше, чем решусь я сам…

— Если хотите, я не стану говорить с ним о вас.

Я возразил, что, напротив, хотел бы, чтобы наш враг — а он стал нам врагом — описал Мальтаверн в самых черных красках.

— Обо мне, впрочем, он не скажет плохого, если только сам не переменился: меня он любил. — Помолчав, я спросил: — Признался он вам, что учился в семинарии, что носил сутану?

— А, теперь я понимаю, почему у него такой неприкаянный вид. Священники мяли и месили его, а потом выбросили на свалку…

Я поколебался, прежде чем спросил:

— Мари, существует ли для вас религия?

— А для вас, Ален? Я спрашиваю, хотя и знаю ответ.

Откуда она узнала? Я настаивал:

— Но вы, Мари?

Она сказала:

— Я — это неинтересно. — Потом добавила: — Для меня игра кончена, все мои карты биты — мне двадцать восемь лет. Сообщаю вам свой возраст, чтобы вы не подумали, будто я способна мечтать о вас.

Я спросил:

— Почему бы и нет? — и вдруг вскочил, словно в панике: — Уйдем отсюда!

— А счет, мой дорогой Ален!

Когда мы вышли на уже обезлюдевшую набережную, где навстречу нам попадались одни лишь подозрительные личности, я почувствовал

желание поскорее вернуться на площадь Комеди. По вечерам случалось немало нападений на улицах, особенно после полуночи. Мари сказала, смеясь, что я выпил один чуть не всю бутылку «марго» и поэтому она не слишком доверяет всему, что я наговорил о Мальтаверне.

— Нет, верьте мне. Мари. Впрочем, вы сами убедитесь, что такую историю никто не может придумать, и к тому же Симон вам все подтвердит. При жизни моего брата я думал, да и все остальные думала, что любимцем матери был я. Мое счастье было в том, что я в это верил. Когда Лоран нас покинул, мне в голову пришла постыдная мысль, к которой я несколько раз возвращался не без удовольствия: я подумал, что теперь остались только она и я. Да, я был способен на такую мысль: теперь никто больше не встанет между нами. Но все обернулось иначе; очень скоро я убедился, что никогда, ни в какой момент моей жизни я не был так далек от нее, что никогда еще мы не были так чужды друг другу. Но не человек стоял между нами, вы не поверите — между нами стояла собственность.

— Какая собственность? — устало спросила Мари больше из вежливости, чем из интереса.

— Наша, я хочу сказать — моя, потому что

Мальтаверн достался нам от отца, а теперь я унаследовал и часть, принадлежавшую Лорану. Но мама управляет всем, я передал ей мои права, и она чувствует себя полновластной хозяйкой. Разумеется, я знал ее любовь, нет, не к земле, в том смысле, в каком люблю ее я, а к собственности…

— Какой ужас! — сказала Мари.

— Нет, это не так низменно, как вы думаете. Это стремление к владычеству, стремление править необъятными пространствами…

— …Править рабами. Вы сохранили рабство. О, проводите меня домой. Я боюсь возвращаться одна…

— Но сам-то я, Мари, во всей этой истории я тоже только жертва. Конечно, я провожу вас, но выслушайте меня: при жизни Лорана, пока мы были детьми, мамина страсть к собственности не так бросалась в глаза. Мама была нашей опекуншей, забота о земле была ее прямой обязанностью. Я думаю, главное, что изменило наши отношения после смерти брата, была уверенность в том, что теперь раздела не будет, что империя останется нерушимой.

— Это чудовищно.

— Еще более чудовищно, чем вы себе представляете. Один из наших соседей по Мальтаверну

— Нума Серис, дальний наш родственник, — владеет самым крупным поместьем в округе после нашего. Он вдовец, его жена умерла от горя, он ее уморил…

— От горя не умирают, — сказала Мари с раздражением.

— Как выдерживает Нума Серис аперитивы, коньяки и вина, которые поглощает с утра до вечера и считает единственной своей усладой, — эта тайна меня мало интересует. Но я всегда удивлялся, зачем к нему ездит мама. Она уверяла, что ей необходим его совет при продаже леса или в спорах с фермерами. Но в скором времени я открыл, что связывает ее с этим гнусным типом. У него есть препротивная дочка, которую мы ненавидели, Лоран и я. Зовут ее Жаннетта, но иначе, как Вошка, мы ее не называли. Помню, Лоран незадолго до смерти сказал: «Мне повезло, я слишком взрослый, чтобы жениться на Вошке. На Вошке женишься ты». И злая шутка неожиданно превратилась в прямую угрозу…

— Почему же в угрозу? Ведь вы не маленькая девочка, которую силком выдают замуж. Признайтесь честно: в душе вы отчасти сообщник вашей матери, сам мечтающий об этом мерзком союзе, и его-то, этого сообщника, вы и боитесь.

Мы стояли перед ее дверью. Она держала в руках ключ. Она сказала:

— До свидания, Ален. Не приходите в лавку до пятницы. Накануне я увижусь с Симоном Дюбером. Может быть, все мне представится по-другому.

Дверь захлопнулась. Я остался один на тротуаре, на этой узенькой улочке квартала Сен-Серен. Я примостился на ступеньке крыльца и, упершись локтями в колени, заплакал. Мое отчаяние было непритворным, но, строго говоря, все-таки было игрой. Я упивался собственной скорбью. И тем не менее настоящие слезы текли у меня между пальцев, настоящие рыдания я безуспешно пытался удержать.

Дверь позади меня приоткрылась. Я вскочил. Мари появилась на пороге с лампой в руках. Она еще не успела снять шляпку. Она сказала:

— Хорошо, что я увидела вас в глазок.

Она повела меня за собой, предупредив, чтобы я не шумел, хотя спальня ее матери и выходит во двор. Мы вошли в узкую комнату, очевидно гостиную. Там было холодно и стоял нежилой запах. Кресла были покрыты чехлами. Даже люстра была затянута кисеей. Мари усадила меня рядом с собой на диван. Я продолжал плакать, и

она сказала:

— Какой вы еще ребенок! Вам даже не пятнадцать — вам десять лет! Так и хочется спросить: «Ну как, прошло это страшное горе?»

Она первая обняла меня. Я уткнулся лицом в ямку ее плеча у шеи. Она не шевелилась, словно боялась спугнуть птицу, опустившуюся к ней на палец, а я был потрясен сошедшим на меня покоем и счастьем. Я делал первые робкие шаги. Я позволил наконец себя «тронуть» в прямом смысле этого слова. Я согласился не быть больше «неприкосновенным». Она сначала вытерла мне глаза своим носовым платком, потом прикоснулась к ним губами, положила на них свою прохладную ладонь. И тихонько погладила меня по щеке, больше ничего. Я снова начал говорить, а она — терпеливо слушать.

— Мне стыдно, — сказал я, — что у вас создалось такое страшное представление о моей бедной маме. Я сам вижу, что многое в этой истории неубедительно. Как объяснить вам, что за человек моя мать? Единственный раз, когда я решился сам заговорить о ее планах насчет этой маленькой Серис, изложить ей причины моего отвращения, она не пожелала даже выслушать их. Вам это покажется невероятным, но она совершенно

искренне убеждена, будто все, что я называю физической любовью, не существует для людей особой породы, к которой принадлежим мы, она и я, что все это выдумки сочинителей романов, а на самом деле есть лишь долг, возложенный на женщину творцом для продолжения рода и удовлетворения скотских желаний мужчины; она призналась, что это для нее самое непонятное в сотворенном богом мире. Я согласился, что столь тесная связь души, взыскующей бога, с животной плотью способна привести дух на край пропасти. Мама бурно запротестовала, уверяя, что это испытание, через которое христианину надлежит пройти, а главное, не надо поддаваться соблазну, читая об этом в книгах, заполнивших всю мою жизнь. «Но ты — мой сын, — добавила она, — я знаю тебя и не сомневаюсь, что ты испытаешь такое же отвращение ко всему этому… Ты еще не можешь понять…»

И тут я подумал о своем отце, которого не знал, самом кротком, самом ласковом из людей. Я прошептал: «Бедный папа…» Она ответила едва слышно, не простив ему ничего: «О! Клянусь тебе, он не щадил меня. Я никогда не уклонялась». Я повторил: «Бедный папа». Помню, помолчав немного, я спросил у мамы, не терзает ли ее со-

весть, что она прочит эту несчастную Жаннетту такому мужу, как я, который наверняка станет избегать ее. «Но, дорогой мой, это счастье для нее! После того как она родит тебе сына, ты оставишь ее в покое, и она будет гордиться, что благодаря ей создано поместье, самое значительное в округе по размерам, по качеству земли. И маленькая Серис сможет облагодетельствовать все подвластное ей население, а это единственная законная услада, дозволенная женщинам нашего круга…»

Бедная моя мать! Мари удивилась, почему я не сказал маме, что подобное обожествление земли непозволительно для такой усердной христианки, как она.

— О! На этот счет у нее достаточно резонов, да и выполнение долга оправдывает все. Для мамы зло заключается в вожделении, которого она никогда не испытывала, она называет его похотью и чувствует к этому отвращение. Ей и в голову не приходит, что грех может быть связан с гордыней обладания и власти. Читала ли она когда-нибудь, то есть я хочу сказать, задумывалась ли она над иными словами господа, которые повергают меня в трепет? Нет, неправда, я трепещу не больше, чем она.

И тут мы оба замолчали.

Наконец я прошептал:

— Что сказала бы мама, если бы нас увидела?

— Тебе не холодно?

— Нет, с тобой тепло, как в гнездышке.

Мари тихо проговорила:

— «Первое *ты* с любимых уст слетело…»

Я поправил:

— «Первое *да*…»

Прошло еще какое-то время, она отбросила мои волосы со лба и прижалась к нему губами; теперь пришла моя очередь напомнить ей стихи Верлена[58]: «… порою вас целует в лоб, как малое дитя».

Мы сидели не шевелясь. Вдруг она выпрямилась и обхватила мою голову руками:

— Оставь ее! Да, свою мать, покинь ее, отдай ей все и живи один.

Я печально ответил:

— Никто не может сделать так, чтобы все это перестало быть моим.

— Ты — собственность своей собственности. Ты будешь мужем Вошки!

Я прижался к ней. После долгого молчания я

---

[58] Примечания: 58

Верлен Поль (1844–1896) — французский поэт-символист. Ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность.

сказал:

— Как мне бросить маму? Всю жизнь она была со мной. Пойми, моя драма не в том, что она захватила принадлежавшие мне земли, а в том, что она предпочла их мне.

— В том, что она изменяет тебе с ними!

— Это так, и, может быть, с твоей помощью я в конце концов сбегу от нее.

— Чем я могу тебе помочь, бедный мой малыш? Я могу открыть тебе глаза, то есть сделать еще более несчастным, но не могу вдохнуть в тебя волю, которой у тебя нет…

Я возразил, что благодаря ей уже переменился, я не мог бы и вообразить себя таким несколько недель назад; теперь я понимаю, что вырваться от матери было бы счастьем, но не вижу, каким образом смогу обойтись без нее: ведь я совершенно не способен управлять имением. Разумеется, я дорожу им — я не стыжусь этого — больше всего на свете. Мальтаверн — моя единственная любовь. Но зато земли Нума Сериса для меня ничто. А Вошка внушает мне ужас. Всю жизнь я только и слышу похвальбы матери, что она всегда добивается своего. Если ей приглянулся участок леса, она способна ждать годы, но рано или поздно приберет его к рукам. О продаже каждого клочка

земли нотариус заранее предупреждает ее или Нума Сериса. Они ведут игру вдвоем, по очереди уступая друг другу. Я был главным козырем в их завершающей комбинации, а после смерти Лорана моя мать стремится к ней с такой нескрываемой и бурной страстью, что, по-видимому, у меня нет никакой возможности вырваться из этого плена.

Мари спросила, сколько лет Вошке, и успокоилась, узнав, что ей всего двенадцать.

— Но, бедный мой малыш, в твоем распоряжении по меньшей мере семь-восемь лет, чтобы отразить этот удар, ведь прежде всего ты можешь жениться. Ты не стал бы даже думать о Вошке, не будь ты сыном своей матери и своей земли, они-то и держат тебя, они обе.

— Да, но теперь со мной ты.

Она слегка отстранилась, пропела: «Пора нам расставаться, настало время сна», потом открыла передо мной входную дверь.

Я широко шагал посередине пустынной мостовой.

Радость и сила бушевали во мне, и жертвой их стала моя мать. Теперь вслед за приговором, который я сам ей вынес, словно прорвались с запозданием все копившиеся во мне чувства. Итак,

этот вечер все поставил на свои места: отвращение, скрыть которое не могла Мари, испытывал теперь также и я. Более того, прислушиваясь к своим шагам на ступенях нашей старой парадной лестницы, я чувствовал нестерпимую злую обиду за то, что мама бросила меня одного, это же преступление — не предпочесть меня всему… Но было нечто худшее. Она, эта старая регентша, не задумываясь, предпочла своему сыну счастье управлять его империей, а сына заранее приносила в жертву, мысленно уже принесла в жертву, сочетав его с Вошкой, и нет ей оправдания, нет оправдания, даже если она никогда не знала плотской любви. Ведь она видела, как страдал мой отец. Мой отец! Отец! Нежно любимый незнакомец. Помню, как-то вечером, когда мне было лет десять или двенадцать, я возвращался из коллежа и меня вдруг осенила мысль, что ты не умирал. Не знаю уж, какую я сочинил историю, но выходило так, что ты должен был вернуться после долгого путешествия и сейчас я застану тебя дома. Я бросился бежать как безумный, расталкивая прохожих. Я взлетел по этой самой лестнице, по которой сейчас медленно шагал. Под китайским фонарем мама проверяла Лорана по катехизису. Кресло бедного папы напротив

нее было пусто. Отец, от тебя осталась лишь прибитая над маминой кроватью фотография, увеличенная Надаром[59]…

[59] Примечания: 59

Надар Феликс (1820–1910) — французский фотограф, карикатурист, писатель-романист, журналист и воздухоплаватель. Крупнейший мастер фотографического портрета. Фотографии, созданные Надаром, хранятся во многих крупных государственных фотоколлекциях.

Глава V

Ровно в пять я был в книжной лавке, и, хотя Мари нахмурила брови, я с первого же взгляда понял, что она рада моему непослушанию. Но ее еще осаждали последние покупатели: она велела зайти за ней через полчаса. Шел дождь, я прогуливался, укрывая под зонтиком свое счастье, свою гордость. Я поглядывал на свое отражение в витринах. Теперь я походил не на ангела, а просто на юношу, которого любит девушка. И не первая попавшаяся девушка. Нет, любовь не ослепляла меня: Мари стояла неизмеримо выше своего положения (ох, уж эти буржуазные понятия о положении; что тут удивительного, что Мари на голову выше всех дурочек из нашей среды!). Она была очень начитанна для женщины: в нашей семье дамы обычно читали только романы «Библиотеки легкого чтения». Особенно меня поражало в ней умение судить обо всем и общее с моей матерью стремление руководить и даже главенствовать. Приказчик Балеж без конца твердил:

— Что бы делал хозяин без нее…

В тот день, когда мы встретились под колоннами «Гран-театр», где я поджидал ее, прячась от дождя, а потом отправились в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа, пропитанное ненавистным мне запахом абсента, она поведала мне со своей ясной, почти резкой манерой то, что, по ее мнению, я должен был знать о ней:

— Я уже говорила, я не строю никаких тайных планов на твой счет, это для меня невозможно, никогда не стану я мечтать о том, о чем мечтают все девушки, которые любят и любимы…

Ее отец, сборщик налогов из Медока (я припомнил эту историю), бросил свою жену, стал играть, растратил несколько миллионов; его нашли повесившимся в каком-то сарае.

Что делать? Что сказать? Я неловко взял Мари за руку, она ее убрала. Потом твердо продолжала:

— Но я еще не кончила (бесстрастным тоном, словно давала показания в суде о трагическом происшествии).

Друг родителей устроил ее к Барду.

— Этот друг был одних лет с моим отцом, но знал его с детства. Первое время он даже был нам предан. Но это оказалось сильнее его, и рано или поздно я должна была за все расплатиться. Он преследовал меня. Моя мать закрыла глаза,

а я… в те дни мне все было безразлично. Я не представляла себе, к чему это приведет. Ты будешь удивлен: я понимаю твою мать — не ее поклонение земле, а ее отвращение к плотской любви. Я благословляю тебя, именно тебя, за то, что ты не похож на этих скотов, которые меня преследовали. Даже Балеж! Да, этот горбун. Он хвастает своими победами, и не без оснований.

Она принадлежала старику! Она согласилась на это! Я не смел поднять глаза на Мари. Почти шепотом я спросил:

— Кто вас избавил от него?

— Грудная жаба. Он боялся смерти.

Может быть, она плакала, я не видел ее глаз. Я чувствовал только неловкость, я был шокирован. Я проговорил принужденно:

— Не плачьте.

— Я плачу не о том, что произошло тогда, а оттого, что вы сказали мне «вы».

— О! Это нечаянно. Послушай, Мари, теперь я понимаю, почему ты выбрала меня. Тебя, девочку, отдали в жертву скотам, ты вырвалась от них, но в душе навсегда сохранишь страх перед ними.

Она не ответила, она хотела еще что-то сказать, я это чувствовал. После довольно долгого молчания она решилась:

— И еще меня тревожит то, что ты христианин. Ален, могу ли я оторвать тебя от того, с чем связана вся твоя жизнь?

Я повторил: «Моя жизнь?» Эти слова поразили меня. Но поразила меня не ее щепетильность, а что-то нарочитое, какой-то неуловимый оттенок в голосе. Я понял это не сразу; только час спустя, когда я медленно поднимался по лестнице своего дома на улице Шеврюс, меня охватила тревога, которую пробудила во мне Мари. Дело было не в затруднениях религиозного порядка, на которые она намекала, а в том, почему она вспомнила о них, заговорила о них. И вдруг, когда я остановился передохнуть на лестничной площадке, где попахивало газом, я произнес полным голосом: «Она притворялась». Вспышка интуиции внезапно все озарила.

Я не поддался. Этот дар, которым я так кичился, не выдумал ли его я сам? А может, меня убедил в этом Донзак. Я сходил с ума, боясь, что дурачу самого себя. Я попытался успокоиться. Шаг за шагом я восстановил в памяти все, что рассказала мне в этом кафе Мари, и скрытые мотивы и причины вдруг осветились беспощадным светом: все было заранее продумано — это очевидно, я должен был узнать из ее собственных уст о

растрате, которую совершил ее отец, об этом мрачном происшествии и обо всем, чем оно для нее обернулось. Никакие сплетни ей теперь не страшны. Она защитилась. Без сомнения, она ожидала другой реакции с моей стороны после нанесенного удара. Почему она произнесла эти неожиданные слова «ты христианин»?..

«Ты христианин, ты христианин…» Черт возьми! Это значит, вне брака, от которого она, разумеется, отказывается, больше того, якобы не допускает и мысли о нем, между нами ничего невозможно. Вот в чем следовало меня убедить. Я ответил ей весьма легкомысленно, чтобы она не беспокоилась о христианине, он охотно согласится стать грешником, с этим он уже как-то свыкся.

— Нет, Мари, не беспокойся: *felix culpa*![60] Если только грех может принести счастье…

Однако Мари не ошиблась: я никогда не порывал с религией. Для меня нестерпима даже самая мысль об этом. Как странно, что она догадалась. Откуда она это знала? Трудно поверить, чтобы женщина ее среды, по-видимому совершенно равнодушная к вопросам религии, могла по немногим сказанным мною словам заключить,

---

[60] Примечания: 60
Счастливый грех *(лат.).*

что причащение святых тайн мне куда нужнее, чем неосвященные хлеб и вино. Она это знала. Она слыхала об этом от другого. От кого?

О боже, боже! На этой мрачной площадке я вдруг увидел все и был ослеплен своим открытием. Она мне солгала. Симон Дюбер, не замеченный мною, должно быть, видел меня в лавке и сказал Мари: «Знаю я его, вашего бедного студента, знаю я вашего ангела». Они действовали заодно. Но, в конце концов, у нее не было никаких оснований предполагать, что я поражен болезнью, свойственной многим юношам, которые считают, будто ни одна женщина не может их полюбить ради них самих. Не делал ли я каких-нибудь признаний Симону на этот счет? Нет… Да! Вспомнил! Рассказывая ему о бордоской ярмарке, об этих анатомических восковых муляжах, я разоткровенничался. «Он все передал ей. И она тотчас же заговорила о своем собственном отвращении. Она играла наверняка». Я твердил себе: «У тебя нет никаких доказательств! Ты жертва арабского сказочника, который живет в тебе и неустанно придумывает всякие истории, чтобы заткнуть щели между прочитанными тобой книгами, чтобы в стене, отгородившей тебя от мира, не было ни единого просвета. Но на сей раз история, кото-

рую ты сочиняешь, — твоя собственная история. Истинная или выдуманная? Какая доля тут принадлежит воображению? Где именно перекроило оно на свой лад действительность?»

Я пересек маленькую мамину гостиную, разделявшую наши с ней спальни. Хотя два года назад у нас провели электричество, я чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу, ту самую, что еще в детстве светила мне, когда я читал, когда делал уроки, когда готовился к экзаменам. Я присел на кровать, ни на минуту не спуская мысленного взгляда со всей совокупности фактов и упорно повторяя: «Это ничего не доказывает…» Я чувствовал, что не в силах убедить себя. Да, Мари тщательно подготовилась к своей вечерней исповеди в кафе, да, она своим признанием рассчитывала нанести двойной, даже тройной удар: она заранее нейтрализовала все, что могли бы мне рассказать о ее прошлой жизни; она вменила себе в заслугу то, что у нее нет и задней мысли о замужестве; вместе с тем она напомнила мне о моей религиозной жизни и сообщила о своем решении не посягать на нее. Таким образом, если я все же не могу обойтись без Мари, то надо опять-таки вернуться к мысли о браке… Да, но маловероятно, чтобы она на это рассчитывала.

И потом, бесспорным было чувство, которое она питала ко мне. В этом я уверен. Я нравился редко, но когда нравился, я это твердо знал. В чужих желаниях я никогда не ошибался.

Я заметил, что на кровати лежит почта — газеты и одно-единственное письмо, от мамы. Я поднес его к лампе. У меня не хватает духу его переписать. К чему навязывать Донзаку это чтение? Все эти расчеты его не интересуют. Мама откладывала свое возвращение на несколько дней. *«Игра стоит свеч,* — писала она. — *Нума Серис отказался покупать Толозу, хотя это лучшие земли в округе. (Очевидно, была ее очередь совершить сделку.) Уверяет, будто у него нет наличных денег. Разумеется, они у него есть, но он считает, что получит Толозу без лишних трат, когда ты женишься на его дочери. Он и внимания не обратил, когда я сказала, что у тебя нет склонности к женитьбе. Конечно, он не подозревает о твоем отвращении. Да и зачем говорить об этом? У нас впереди по крайней мере десять лет. Твои чувства могут перемениться. Даже наверняка переменятся…»*

Ничего больше не существовало — даже от ее религии, фарисейской, близкой к фетишизму, оставалась только оболочка. Все было съедено

изнутри. Да, видимо, и внутри никогда ничего не было. Я оглядел эту комнату, которая была моей, но не носила ни малейшего моего отпечатка — вот разве только книги и журналы… Коричневые обои преобладали в нашем доме: «Ваша бабушка обожала коричневый цвет». Все стандартное, из универсального магазина: худшее из уродств — уродство, порожденное недостатком культуры.

Я взял с письменного стола фотографии произведений современной живописи, которые присылал мне из Парижа Донзак, «чтобы воспитать мой глаз». Но как составить себе представление о картине без цвета? Я никогда не видел других полотен, кроме картин Анри Мартена[61], которые висят в музее в Бордо, где мы иногда укрывались от дождя: «Тинторетто рисует свою умершую дочь» и «У каждого своя химера».

Не знаю, почему я задумался обо всем этом убожестве именно в ту минуту, в этом мертвом доме, где единственными живыми существами были двое старых слуг, которые спали в каморке под крышей.

---

[61] Примечания: 61

Мартен Анри (1860–1943) — французский неоимпрессионист, символист. Создал серию полотен, наиболее полных и законченных, вдохновляясь пейзажами юга Франции и увлекаясь поисками новых световых решений.

И как всегда, когда я бываю несчастен до того, что готов умереть — умереть буквально (Донзак знает, в нашей семье многие покончили с собой), я встал на колени перед кроватью и снова заплакал, но на этот раз так, словно прижимался лбом к невидимому плечу. Вся моя вера заключалась в этом движении несчастного ребенка, которое многим покажется глупым и малодушным; но разве из малодушия бросается в пруд загнанный олень, спасаясь от собак? Я знал, что сейчас на меня снизойдет великий покой; пусть я проживу целый век, и даже если все мудрецы и философы отвергнут Христа, и даже если все покинут его, я все равно останусь с ним; не затем, чтобы служить ближнему, как истинные христиане, не потому, что я возлюбил ближнего, как самого себя, а только потому, что мне нужен этот поплавок, чтобы удержаться на поверхности нашего страшного мира и не пойти ко дну.

Таково было направление моих мыслей в тот вечер, когда я стоял на коленях, зарывшись лицом в простыни. Я умилился душой. Снова я вернулся к мысли, к которой возвращался не раз, одно время, после первого моего причастия, я был просто одержим ею: поступить в семинарию. Но мама своей верховной властью решила, что у меня нет

призвания, и мобилизовала всех священников, с какими я мог встретиться, чтобы они отговорили меня от этого намерения. Сейчас мне двадцать один год и надо мной никто не властен. Одним махом я избавлюсь от всего. Эту проклятую собственность я оторву от себя, я оставлю ее маме. Все земли будут принадлежать ей, но это убьет ее: ведь мамина одержимость — это наследование, вечное наследование, побеждающее даже смерть. Если я устраню себя, останутся только дальние родственники… Государство пожрет все. «К тому же, — обычно заключала она, — вопрос ясен. У тебя нет призвания. Это и слепому видно». Все, что служило ее страсти, не подлежало обсуждению, было видно и слепому. Но мне-то что? Я могу уйти, даже не оглянувшись…

Боже мой, как бы ни любил я свою мать, а я любил ее до безумия, ты знаешь, что все равно я люблю ее не больше, чем тебя. Я затаил против нее обиду, которая все отравила навсегда. Истина в том, что, подобно маме, я предпочел тебе Мальтаверн, но совсем по другим причинам, чем мама: дело не в собственности ради собственности, не в обладании в том смысле, как понимает его она. Я не решился бы признаться никому, кроме Донзака: я не могу покинуть эту землю, эти

деревья, речушку, небо над вершинами сосен — моих любимых великанов, горький запах смолы и болота, для меня он (пусть это дико!) — запах моего отчаяния.

Вот о чем думал я в этот вечер. Я сорвал с себя одежду и, даже не умываясь, погрузился в сон, пошел ко дну.

Глава VI

Звяканье подноса с утренним завтраком, бледные лучи летнего солнца, заглянувшие сквозь раздвинутые занавеси, пробудили ото сна уже не вчерашнего убитого горем мальчика. Я встал, чувствуя себя проницательным и холодным; ночью, пока я спал, во мне созрела ясная мысль: я знал, что следует мне делать или по крайней мере попытаться сделать. Мари назначила мне свидание перед самым закрытием магазина; около шести часов я встречусь с Симоном, который, как уверяла она, тоже придет к этому времени. Но она забыла, что по четвергам, как она сама рассказывала, Симон проводит в лавке всю вторую половину дня, приезжая из Таланса сразу же после завтрака. Значит, я должен его подстеречь и увидеться с ним до того, как он войдет в магазин.

Это был единственный шанс узнать, состоял ли он в заговоре с Мари или же я сам этот заговор выдумал. Без сомнения, он попытается обмануть меня, но я знал, что это ему не удастся. Он принадлежал к тем немногочисленным людям, над которыми мне дана власть — власть в полном

смысле слова. Безумие писать об этом, но ведь я пишу только для Донзака, а он знает, о чем идет речь. «Один из тех, кого ты завораживаешь…» — как он говорит. Я узнаю все очень скоро, если удастся поговорить с Симоном где-нибудь хоть полчаса, только не на улице. Но как встретить его наверняка? Из Таланса он приедет трамваем, потом пешком поднимется по улице Сент-Катрин. Я не пропущу его, если с двух часов буду караулить на углу Сент-Катрин и Пассажа, разве только они решили, чтобы подготовить план сражения, позавтракать сегодня вместе… Нет, обедать она может не дома, а завтракает всегда с матерью. Она мне говорила, так у них заведено. Мать готовит завтрак для них обеих… Значит, Симон около двух встретится с ней в книжной лавке. Мне надо занять свой пост как можно раньше.

В половине второго я уже был у входа в Пассаж со стороны улицы Сент-Катрин. Несмотря на толчею, труднее всего оказалось остаться незамеченным. Сразу видно было, что я кого-то поджидаю, причем неизвестно кого; а если молодой человек неподвижно торчит на тротуаре — это уже приманка. Можно было бы разглядывать витрины, но тогда возникала опасность упустить Симона. Я сгорал от желания увидеть

его, однако сам запрещал себе об этом думать из суеверного страха, сохранившегося у меня с детства, что ничего не происходит так, как мы того ожидаем, поэтому не надо заранее представлять себе события, как нам того хотелось бы.

Тем не менее все произошло именно так: около трех часов Симон внезапно появился в поле моего зрения (меня он не видел), неповоротливый, как всегда, вытянувшийся, надутый, с приобретенной еще в семинарии важной осанкой, в твердом воротничке сомнительной чистоты, вероятно целлулоидном, и широкополой черной шляпе — словом, учитель с головы до ног, невероятно постаревший. Сколько же ему лет? Он на четыре года старше меня — двадцать пять, возможно ли? Выражение «человек без возраста» подходило к нему в буквальном смысле слова. Так старит страдание, непрерывное страдание, в котором утопал он еще мальчиком, которое, по-видимому, захлестывает его и сейчас. Понял ли я это сразу, с первого же взгляда? Нет, я выдумываю, опять выдумываю — и все же это, должно быть, правда. Мне всегда казалось, что он тонет в какой-то обжигающей его жидкости. Но я не выдумал это лицо, словно вырубленное из грубой породы. Не выдумал я и молодой румянец, на мгновение

окрасивший это окаменевшее лицо, едва он меня увидел, и мимолетную улыбку, и внезапный панический страх. «Нет-нет, не сейчас, господин Ален, только не сейчас», — заговорил он, едва я взял его за руку. Я не ошибся: он не должен был меня видеть до нашей встречи в книжной лавке.

— Послушайте, Симон, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз…

— Нет, я обещал.

— Но ведь вы не знали, что мы встретимся. Эта встреча от вас не зависела, она была угодна…

— Вы хотите сказать: угодна богу? Вы остались все таким же, господин Ален. Достаточно взглянуть на вас.

— Угодна богу? Не знаю. Я-то, во всяком случае, хотел ее. Я подстерегаю вас целый час, теперь я вас не отпущу. Мари вы скажете все, что хотите, или вообще ничего не скажете…

Тут вдруг на меня нашло вдохновение, и я произнес именно те слова, которых он ждал:

— Нам-то что за дело, вам и мне? Эта история ее не касается. Это наша история, Симон, история Мальтаверна, наша тайна…

Его окаменевшее лицо вспыхнуло снова. Он повторил:

— Наша тайна, господин Ален, наша жалкая

тайна…

— Послушайте, знаете ли вы кафе Прево, «Шоколад Прево», тут рядом, на бульваре Турни? В этот час там пусто. Мы посидим там совсем недолго, сколько вы захотите.

Симон больше не сопротивлялся. Мы вышли на площадь Комеди. Он повернул ко мне свое неподвижное лицо и заговорил. Он сказал, что ни в чем не упрекает господина Дюпора, благодаря ему он смог подготовить в Париже диплом, а благодаря Гастону Думергу получил место преподавателя в коллеже департамента Сена и Уаза. «Но они не приняли в расчет мое произношение. Я и не подозревал, какую бурю может вызвать мое произношение в Париже, особенно в классе, где учатся двенадцатилетние мальчишки. Вы, бывало, не раз говорили: „Люблю только деревья, животных и детей“. Так вот, последний пункт советую вам вычеркнуть: вы не знаете, на что они способны!» Его травили безжалостно. «Мы в Жиронде и не подозреваем, что творится в Париже, стоит лишь нам открыть рот». Тогда его назначили в Таланс. «Но даже в Талансе…» Мари обещала ему помочь исправить произношение. Она знает специальный метод. Я сказал, что он и так сделал большие успехи, его акцент почти

незаметен. Бывает ли он в Мальтаверне?

— Что вы! Это слишком дорого… Нет, дело даже не в этом. Главное, что мадам почти не выезжает оттуда, впрочем, вы и сами знаете. Не надо даже говорить ей обо мне. А я… прошу прощения, но я тоже не могу видеть мадам, буквально… Не говоря уж о госпоже Дюпор. Эта никогда не протрезвляется, просто страх берет. Родители два раза приезжали в Таланс. Я оплатил им дорогу. Прюдан как-то тоже приехал, ночевал у меня, в моей постели… Представляете…

Мы вошли к Прево. В этот час там и правда сидела только одна парочка за чашкой шоколада.

— Это напомнит вам полдники госпожи Дюпор, — сказал я смеясь.

Но Симон не засмеялся: ирония была ему недоступна, он опять замкнулся и ощетинился. Тщательно намазывая хлеб маслом, он макал его в шоколад, жадно ел и молчал. Времени оставалось не так уж много.

— Странно, что Мари решила обмануть меня, — начал я. — Почему она скрыла, что вы рассказывали ей обо мне, что она все знала обо мне от вас…

— Эта девушка говорит лишь то, что хочет сказать.

— А сама таит какие-то мысли насчет меня. Да, в конце концов, и я гожусь в мужья.

— Ну! Уж вы скажете! Она ведь не сумасшедшая. Молодой Гажак и продавщица книжной лавки! Не говоря уж о ее прошлом. Она слишком умна… И потом, она вас хорошо знает, хотя и обмолвилась как-то при мне (не говорите, что я вам передал): «Если бы я хотела вашего ангела, если бы я захотела, я получила бы его…» Мне даже кажется, она сказала: «Когда я захочу, я получу его». Но это могло означать и…

Он говорил, набив рот шоколадом и хлебом. Я сказал:

— Что ж, вот и я выскользнул из сетей.

— Какие сети? Нет тут никаких сетей. Она любит вас, понимаете? Это уж, во всяком случае, правда. Я ревновал и здорово на вас разозлился… Хотя нет, это неправда, не злился я на вас. Мне всегда казалось, что так и должно быть — вам дано все. Вот что: мы скажем, что встретились с вами на улице Сент-Катрин у Пассажа, в конце концов, так оно и было. А о чем мы не скажем — это о нашем разговоре у Прево.

Я расплатился и встал. До книжной лавки было не больше пяти минут ходу.

— Она нам не поверит, — вдруг сказал я, — так

же как не поверил ей я. Вы лжете нам обоим, Симон. То, что вы лжете ей, я еще понимаю. Но мне!

Он пробормотал:

— А что я такое для вас?

Я не ответил. Войдя в Пассаж, мы в последнюю минуту решили не разыгрывать комедии, а честно рассказать Мари, как произошла наша встреча. Она увидела нас еще на пороге лавки, в которой, как всегда по четвергам, было полно народу, окинула нас быстрым, испытующим взглядом и, не ответив на наши улыбки, снова занялась осаждавшими ее покупателями. Мы остановились у витрины. Симон сказал:

— Этого она мне никогда не простит. Но она и себе не может простить, зачем скрыла от вас, что я ей все рассказал А все-таки это правда: вы понравились ей, когда она считала вас бедняком.

В этот момент Мари, воспользовавшись передышкой, подошла к нам. На этот раз она улыбалась и, шутливо подтолкнув нас к выходу, сказала:

— Теперь, когда вы встретились, вам нечего тут делать. Я буду только мешать вам.

Когда я возразил, что мы придем за ней к закрытию магазина, она сухо запретила нам это

делать. Она обращалась к нам обоим, но смотрела на меня одного. Существовал только я. Она прикоснулась пальцем к моему лбу.

— Бог знает, что там происходит, — сказала она, — чего только вы не напридумывали… Тем хуже! К счастью, господин Дюбер не может больше ничего рассказать вам обо мне. Он ничего обо мне не знает.

Кто-то из покупателей отозвал ее. Я думал, что Симон не понял ее слов, но, едва мы вышли на улицу, он с яростью воскликнул:

— Ах, так! Я ничего не знаю о ней? Я знаю больше, чем она думает, и именно то, что она хотела бы скрыть от вас и о чем, ей кажется, я и понятия не имею…

Мне гораздо чаще приходилось быть в роли того, на кого женщина и не глядит, чем наоборот, но в таких случаях я испытывал лишь легкий укол ревности, я не ведал той горечи, почти отчаяния, которое обуревало Симона: так будет всегда, думал он.

— Что ж, мой удел — это мамаша Дюпор. Прощайте…

Я удержал его за руку и попросил проводить меня на улицу Шеврюс.

— Вы хоть немного отдохнете у меня в ком-

нате…

Он последовал за мной, но нехотя, уныло повесив голову. Что он знал? Что мог рассказать о Мари? Я вовсе не страдал. Я хотел знать. Да, пусть все в ней станет явным. Это было любопытство самодовлеющее, как бы отчужденное. Но я упустил момент, когда Симон готов был заговорить из мести, теперь нельзя было рисковать. Он поднимался по нашей лестнице почти с благоговейным чувством. Он был потрясен.

— Да, — сказал я, — лестница недурна. Двести лет назад в Бордо умели строить… Но комнаты! Во что мы только их превратили!

Я ввел его в большую гостиную, где Мунете, мамин драпировщик, «обрядил», как он выражается, окна со всей пышностью, не поскупившись на сборки, кисти, бахрому и помпоны. Симон был ослеплен.

— Это грандиозно!

— Это уродливо. Вспомните, Симон, кухню Дюберов, вашу кухню — окорока, подвешенные к балкам, деревенские ходики с тиканьем, подобным биению сердца, буфет, скромные фаянсовые тарелки, оловянные ложки, запах муки и жареного сала, а главное, та священная сень, где обитает бог, сень «Странников в Еммаусе»…

— Э! Вот еще! Посмотреть на вас — можно подумать, вы сами верите тому, что говорите…

— Буржуазная обстановка, такая, как наша, — это совершенное уродство. Едва крестьянин начинает богатеть и помышлять о гостиной, он переходит в буржуазию, то есть в уродство.

Симон повторял:

— Э! Вот еще!

Я повел его в маленькую мамину гостиную.

— Вот здесь и живет мадам! — произнес он с почтением, смешанным с ненавистью.

— Не часто она здесь живет. Подумайте, Симон, каково мне в этом старом мертвом логове! Мы вдвоем занимаем целое крыло. Но признаюсь честно: я сам создал эту пустыню. Я всегда боялся чужих…

— Особенно девушек?

— Так же, как юношей.

— Но Мари вы не боитесь. Она говорит о вас: «Я его приручила…»

По сжатым губам Симона проскользнула быстрая усмешка, которую я помнил у него с детских лет.

— Вы что-то знаете о ней, Симон, а она не знает, что вы это знаете…

— О, господин Ален! Забудьте о том, что вы-

рвалось у меня в сердцах. Будет нехорошо, если я рассажу вам… Впрочем, — добавил он, — это может помочь вам понять ее. Она рассказала вам о себе не все, но то, что она скрыла, может быть, сделает ее для вас еще дороже, а может быть, еще ужаснее… Разве с вами угадаешь?

— Кто мог рассказать вам о ней в Талансе? Да и здесь вы никого не знаете. Я вам не верю.

— Э! И не верьте. Я-то вас ни о чем не прошу!

Он снова окаменел.

— Но я, Симон, я вас прошу об этом. Придите мне на помощь, вы, знающий о ней то, что сделает ее для меня еще дороже или еще ужаснее. Нельзя оставлять меня в таком сомнении. Чего только я не насочиняю теперь?

Тоска терзала меня, но я еще и разыгрывал ее, чтобы сломить последние колебания Симона. Настоящие слезы лились у меня по щекам, но, будь я один, я, может быть, и не пролил бы их. Таков уж я есть. Да простит меня бог!

Ничего необыкновенного не было в том, что Симону все стало известно. Балеж, горбатый приказчик, жил в квартале Сен-Женес. По четвергам, как и обычно, вечером после закрытия магазина, он отправлялся домой в том же трамвае, каким ездил и Симон к себе в Таланс. Сначала они обме-

нивались лишь несколькими словами.

— Но и он тоже, этот Квазимодо, мечтает о Мари как одержимый. У него нет никого: ни семьи, ни друзей, я — первый живой человек, который слушал его с интересом и даже — он сразу догадался — готов был с такой же страстью, как и он, разговаривать о Мари без конца.

Я не стану воспроизводить здесь для Донзака рассказ Симона. Не стану восстанавливать эту сцену с мнимой правдивостью «повествования». Донзаку важно знать лишь то, что весть о страшной беде, поразившей эту девушку, угнетавшей ее и поныне, сразу принесла мне облегчение, успокоение — теперь я вздохнул свободно. Мне показалось было, будто Мари кем-то предупреждена о моей совестливости и строгости верующего христианина, но теперь я нашел объяснение в том, что Балеж рассказал Симону. У Мари, по крайней мере вначале, не было никаких расчетов, никакого намерения женить меня на себе, когда она заговорила о моей приверженности к соблюдению обрядов и таинств. Достаточно было Симону дать ей представление о моем строгом религиозном детстве, о моей матери и ее испанском католицизме, об удушающей атмосфере Мальтаверна, чтобы эта девушка,

которая все понимает, все чувствует, угадала мою драму, повторявшую ее собственную. Об отце Мари — распутном сборщике налогов — я знал, но у нее была еще и мать, очень набожная, но в своих религиозных взглядах как будто более терпимая, чем моя мама. Случилось так, что человек, носивший высокий духовный сан — не буду ничего говорить о нем, чтобы Донзак не мог догадаться, кто он, — каждый год проводил летние месяцы в Сулак-сюр-Мер, где жила семья Мари. Он был духовным наставником и матери и дочери. Мари стала его добровольным секретарем, больше того — любимой ученицей. Ему она обязана своим интересом к отвлеченным идеям, своей неожиданной для молодой провинциалки образованностью, но также, по словам Балежа, и безраздельной преданностью тому, что воплощало в ее глазах церковь, хотя на самом деле оказалось просто мужчиной.

У меня, разумеется, нет никаких оснований доверяться сплетням Балежа, пересказанным, возможно не вполне точно, Симоном. Мне достаточно было почувствовать, что трагический отлив веры, в одно мгновение опустошающий полную до краев душу, для Мари был связан с открытием (сколько юных христиан его совер-

шали!), что святой, заслуживший ее доверие, был и сам всего лишь жалким созданием из плоти, таким же, как все остальные, еще хуже, чем остальные, из-за маски, которую он обречен носить вечно. Совращенные тем, кто обратил их… да, немало я знал таких. Но я увлекся. Все это я уже сочиняю. В чем во всей этой истории я могу быть уверен? В том, что после скандала, вызванного самоубийством отца, Мари пришлось отказаться от своего положения среди руководимой прелатом молодежи, и это ей было тяжело, что друг отца, устроивший ее к Барду, тоже ученик и фанатичный последователь пастыря, порвал с ним из-за нее. Что произошло в действительности, Балеж точно не знал… Скорее всего, между двумя пятидесятилетними стариками, из которых один долго был под влиянием другого, произошла такая же ссора, какая вспыхивает из-за девчонки у двух мальчишек в баре или на улице. Полагаю, не нужно придумывать иных объяснений теперешнего полного безверия Мари и ее основанного на собственном опыте понимания моей личной драмы…

— И вы, Симон, — сказал я ему, — и я сам — оба мы, так же как она, жертвы того, что слово сына человеческого, сына божия доходит до нас лишь

через грешников. И не только его слово. Мы отождествляем его с ними. Вот причина бедствия, которое длится две тысячи лет.

— Но вы-то, господин Ален, сохранили веру.

— А вы, Симон? Вы, значит, думаете, что потеряли ее?

Он не ответил, закрыв на мгновение лицо своими уродливыми руками. Он вздохнул.

— Что значит сохранить веру? Что значит потерять ее? Я думал, что потерял ее. Господин Дюпор поручил одному из своих друзей, профессору Сорбонны, составить для меня наглядную таблицу всех доказательств невозможности существования бога. Не смейтесь, вы понятия не имеете о современной науке, господин Ален, да и я тоже…

— Но для нас с вами существует иная невозможность: невозможно предположить, будто в определенный момент истории не явился тот, кто произнес известные слова…

— Кому приписывают известные слова.

— Да, и известные деяния.

— Мы с вами — последние, кто придает этому значение. Вы никогда не выходили из своей норы, господин Ален. Если бы вы знали, насколько все это несущественно в Париже, до какой степени с этим делом покончено…

— Но мы-то с вами знаем, что это существует…

— Что вы называете «это»? То, что вам вдалбливали с детства и чего я наглотался еще в семинарии?

— Нет, Симон, напротив: то, что сопротивляется этим формулам, этому бездумному повторению, этой выучке, то, что не зависит от заложенного в нас автоматизма… Но вы меня понимаете. Только вы один и можете меня понять!

Он спросил вполголоса, со сдержанным пылом:

— Почему вы так думаете?

Но зачем преподносить Донзаку нашу беседу в упорядоченном и приукрашенном виде, тем более что все существенное в ней я заимствовал у него же? Я хотел бы подчеркнуть, выделить из контекста самое важное в этой вечерней встрече, то, что, может быть, совершенно изменило мою жизнь отныне, сделало ее совсем не такой, какой была бы она, не явись мне этот призрак — Симон… Или, вернее, нет! Надо было написать так: то, что помешало мне изменить свою жизнь в тот самый момент, когда Мари готова была круто повернуть ее течение, то, что вернуло бегущую по ландам речушку в ее старое русло между ольховых деревьев, подобных неподкупной страже…

Я уверен, что именно в этот вечер, а не позже я почувствовал, что способен относиться к своей матери как к врагу, потому что тогда, в этой маленькой гостиной на улице Шеврюс, Симон открыл мне глаза; больше он не переступал наш порог, ведь моя мать вернулась из Мальтаверна на третий день, после того как купила Толозу.

Отныне каждый четверг около четырех часов я отправлялся к Барду, где ожидал меня Симон. Мари, окруженная покупателями, улыбалась мне издали. Мы выходили вместе, Симон и я. Я уводил его к Прево. Там я старался не садиться против него, чтобы не видеть, как он макает в шоколад намазанную маслом булочку. Мы встречались с Мари после закрытия магазина, но теперь уже не в кафе на углу улицы Эспори-де-Луа (после возвращения моей матери мы стали осторожнее), а в ледяной гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен.

Но прежде всего Донзак должен узнать, что сообщил мне Симон в тот вечер на улице Шеврюс. Тайну эту открыл ему Прюдан, его брат, в день своего первого и последнего приезда в Таланс. Оказывается, моя мать была не так уж уверена в моей покорности и в своей конечной победе. Мне уже двадцать один год, и я могу стать добычей первого встречного, первой встречной. Она опа-

салась, как бы кто-нибудь, прельстившись моим богатством, не подцепил меня на крючок. Мое отвращение к браку не слишком ее успокаивало, она понимала, что женитьба была бы для меня единственной надежной защитой от Вошки. Наибольшая опасность, по ее мнению, таилась в моей студенческой жизни в Бордо. Она понимала, что я не легкая добыча. Она хорошо знала ту силу инертности, какую я противопоставлял всякой попытке соблазнить меня. Но достаточно будет одной встречи, чтобы разбудить во мне мужчину, такого же, как все, или даже хуже, чем все. Пока я не возвращусь в Мальтаверн, и не возвращусь навсегда, ей своего не добиться. Когда она наконец вернет меня и я брошу там якорь навеки, все произойдет так, как она задумала.

Главное, как объяснила она старому Дюберу (от него-то и узнал Прюдан все, о чем рассказал брату), — не дать захватить себя врасплох. «Я выпустила его из рук, — твердила она, — я чувствую, как он ускользает от меня». Когда я решу жениться, хуже всего будет, по словам мамы, если я сделаю подходящий выбор, не вызывающий никаких возражений. Но даже и тогда она сумеет найти непреодолимые преграды: преграды всегда найдутся. Я должен буду подчиниться ее

запрету, безоговорочному запрету. Вся ее сила зиждется на моей неспособности вести дела, даже думать о них. Несмотря на то что она всегда гордилась моими школьными успехами в дни распределения наград, она судила обо мне в соответствии с привычной для ее среды шкалой ценностей, которой пользовался еще папаша Гранде. Ничего не изменилось во Франции со времен Бальзака. «Никчемное создание» — вот кем я был в глазах мамы, несмотря на все прочитанные мною книги.

Если же я буду упорствовать, она удалится в свое имение в Ноайяне и оставит меня одного с моими двумя тысячами гектаров. Но и это еще не все: чтобы лишить меня всякого выхода, она взяла с Дюберов обещание переехать вместе с ней в Ноайян. Обойтись и без матери, и без управляющего я не смогу, таким образом, мне не останется ничего другого, как покориться. Это пойдет мне только на пользу, помимо моей воли, она спасет меня. Я словно слышал ее голос: «Я тебя выносила и буду нести до конца моих дней».

Вначале Симон говорил равнодушно, как бы по обязанности: «Нужно, чтобы вы узнали, господин Ален…» Но постепенно озлобление против мадам, тайно копившееся в нем с самого раннего

детства, начало прорываться в каждом его слове. Что же касается того, что испытывал я сам… Маме даже не было нужды появляться во плоти, чтобы я впал в обычное свое оцепенение. Она крепко держала меня в руках и была права, что не сомневалась в этом. Я вздохнул:

— Что ж, выхода нет!

— Да есть выход, господин Ален! Есть! Его нашла Мари. Если вы захотите, она спасет вас.

Тут он уперся и больше ничего не пожелал говорить: она сама, а не он, должна посвятить меня в свой план. И вдруг после долгого молчания он сказал с внезапно прорвавшейся приглушенной страстью:

— А я, господин Ален, клянусь вам, что если когда-нибудь не будет у вас управляющего и вообще никого… да ладно, вы знаете, границы имения мне известны не хуже, чем отцу. Подайте только знак, и я примчусь. О! Главное, не думайте, что я брошу все ради вас. Нет, я вырвусь из ада этой жизни в Талансе и снова обрету Мальтаверн.

— А Мальтаверн — это я.

Он отвернулся и встал:

— До четверга в книжной лавке.

Я слышал, как постепенно замирали на лестнице шаги Симона, потом захлопнулась тяжелая

дверь. Я вышел из своего полунапускного оцепенения или, если хотите, из оцепенения, которому не стал противиться, едва речь зашла о маме. Теперь, когда я остался один, меня захлестнула холодная ярость не только против нее, но и против Мари, позволившей себе иметь какой-то план; это было бешенство человека, который слывет таким слабым, что внушает женщинам только жалость, меж тем как в нем бушуют неисчерпаемые силы. «Они увидят, эти женщины! Они увидят!» Что увидят? Главное — сохранить холодный рассудок. Самое радостное за сегодняшний вечер то, что теперь я знаю: по первому моему зову Симон бросит все. Чтобы бежать из своего ада, сказал он. Возможно… Но ни для кого другого он этого не сделает. Что бы ни ждало меня впереди, я буду не один.

Глава VII

Моя мать вернулась из Мальтаверна через два дня, вся еще в пылу битвы за Толозу: сто гектаров сосняка и столетних дубов в пяти километрах от деревни. Нума Серис считал цену непомерно высокой. Она же не сомневалась, что превосходно поместила капитал. После ужина мы сидели с ней в уголке у камина в нашей маленькой гостиной. С рассеянным видом, какой я напускал на себя, когда обсуждались подобного рода дела, я спросил у нее, откуда она взяла деньги на покупку Толозы.

— О! Я пустила в ход резервы, они всегда у меня под рукой.

— Да, конечно, крепежный лес, сбор смолы за текущий год. Не считая вырубки сосен в Бруссе…

Мать взглянула на меня. Я сохранял знакомое ей отсутствующее выражение лица, и она успокоилась.

— Важно иметь деньги, — сказала она, — не все ли равно, откуда они.

— Для меня и это важно. Если ты заплатила за Толозу из своих личных доходов, полученных с Ноайяна, Толоза — твоя. Если же из доходов с Мальтаверна…

На маму нашел «приступ».

— Чего ты добиваешься? Наши интересы совпадают, и тебе это отлично известно.

— Но они не совпадают с интересами государства. Накладно будет платить когда-нибудь налог на наследство за Толозу, которая фактически принадлежит мне. А кроме того, не всегда наши интересы будут совпадать: я не давал обета безбрачия.

Последовало молчание, и прервать его я остерегся. Тянулось оно долго, во всяком случае, так мне показалось. Наконец мама произнесла вполголоса:

— Кто-то сбивает тебя с толку. Кто же это сбивает тебя с толку?

Я изобразил величайшее изумление, на какое только был способен. Я напомнил маме, что мне исполнился двадцать один год и, право же, я не нуждаюсь ни в чьей подсказке, чтобы заинтересоваться кое-какими вопросами. Тут она взорвалась, обвинила меня в неблагодарности: она управляла нашим имуществом осмотрительно и успешно, являя пример для всех; она неслыханно его приумножила; она уедет в Ноайян, если я этого хочу, и больше палец о палец не ударит! К этой угрозе я остался нечувствителен. Я

покачал головой и даже улыбнулся. Мама покинула гостиную и, проследовав к себе в комнату, щелкнула задвижкой, согласно неизменному сценарию, порядок которого я решил в этот вечер нарушить: я не стану, как обычно, стучаться к ней в дверь и умолять: «Мама, открой мне!»

Я подбросил в огонь полено и замер в спокойном отчаянии, но это был не тот даруемый богом покой, который предвкушал я в иные часы моей жизни. От этого покоя я отдаляюсь с каждым днем, вернее, мирские блага окружают меня все более плотным коконом, и, хотя я выступаю беспощадным судьей своей матери, оба мы друг друга стоим в своем стремлении завладеть землей, которая принадлежит всем и не принадлежит никому и в конце концов сама будет владеть нами…

На этот раз мама не возьмет верх. Ей больше не взять верх никогда. Возможно, она это предчувствовала. Я вспомнил ее восклицание: «Кто-то сбивает тебя с толку!» Должно быть, едва переступив порог, она, как всегда, стала расспрашивать Луи Ларпа и его жену о моем поведении. Обед, заказанный для дамы и через час отмененный по телефону самой же дамой, — этого было более чем достаточно, чтобы мама встревожилась. Доказа-

тельство тому я получил немедленно. Я услышал щелканье задвижки, дверь маминой комнаты отворилась. Мама не стала дожидаться, пока я приду просить прощения, и сама сделала первый шаг. Она снова заняла свое место напротив меня, как будто между нами ничего не произошло.

— Я все обдумала, Ален. Ты прав, я действительно забываю о твоем возрасте и обращаюсь с тобой как с ребенком, хотя ты уже не ребенок. Я освобождала тебя от всего, ни во что не вовлекала. Но ты ведь сам этого хотел. Для меня будет счастьем, если ты наконец заинтересуешься тем, что рано или поздно станет твоим прямым долгом! Ведь я не вечно буду с тобой.

Она умолкла, надеясь, что я встану и поцелую ее, но я продолжал сидеть неподвижно и молчал. Тогда она напомнила, что при жизни Лорана покупку каждого гектара, каждую трату она совершала только как наша опекунша и от имени нас обоих. После смерти Лорана и до покупки Толозы речь шла лишь о мелких участках. А с Толозой надо было действовать решительно: владелец мог, того и гляди, передумать. Пришлось подписать купчую и выплатить деньги в тот же день, но она признает, что напрасно так поторопилась. Теперь она сделает все, что нужно, и из

собственных средств вернет в кассу Мальтаверна стоимость Толозы.

— А если ты когда-нибудь женишься, Толоза будет моим свадебным подарком. Но в двадцать один год не женятся.

— Потому что это призывной возраст. Но от армии меня тоже оградили: я избежал и этого. А вот женитьбы мне, может быть, избежать не удастся.

— Надеюсь, что так.

Я не выразил согласия ни словом, ни знаком; молчание между нами стало невыносимым. Мы поднялись и пожелали друг другу спокойной ночи.

Еще не пробило и десяти. Полагаю, каждый из нас, сидя в своей комнате, думал об одном и том же человеке: для мамы это была незнакомка, которую я пригласил как-то вечером в ее отсутствие и которая настолько меня преобразила, что я осмелился спросить у матери отчета в покупке Толозы; но и для меня эта женщина оставалась незнакомкой, хотя я держал ее в тот вечер в своих объятиях и верил, что она любит меня. Она мне солгала, она знала, что я это знаю, и не сделала ни малейшей попытки осведомиться, что же во мне происходит…

После встречи с Симоном я не был в книжной лавке у Барда целых три дня! Мари, должно быть, прочла в этом свой приговор и отказалась от борьбы. Дикий голубь, которого она приручила, испугался и улетел: она постарается меня забыть. Такие мысли я приписывал ей. Потом я вспомнил, что Симон говорил о каком-то плане Мари спасти меня от женитьбы на Вошке. План Мари, задуманный Мари…

Я решил затаиться до четверга — дня нашего свидания с Симоном. Но на другой день после приезда мамы, возвращаясь из университета, я не выдержал. Я пытался бороться. Как всегда, я зашел в собор, это было по пути: я даже сокращал дорогу. Обычно я там задерживался. В этом месте, принадлежавшем всем людям, я чувствовал себя наиболее защищенным от людей, как бы плавающим в безбрежном море любви, заказанной мне навеки, мне, подобно богатому юноше из Евангелия, который «отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

В тот день я в соборе не задержался. Я дошел по улице Сент-Катрин до Пассажа. Не успел я переступить порог лавки, как Мари меня увидела, а я с первого взгляда почувствовал, что она страдает. Страдание состарило ее. Это была уже не молодая

девушка, даже не молодая женщина, а живая душа, страдавшая долгие годы, но теперь она страдала из-за меня. Мне известно — и Донзаку тоже — одно свойство моей натуры, не знаю, моя ли это особенность или черта эта свойственна многим людям: если я привязан к человеку, мне, чтобы быть спокойным, нужно увидеть, как он страдает. Прежде чем я обменялся с Мари хоть словом, на мою душу снизошло великое умиротворение. Мы наскоро пожали друг другу руки. Я попросил ее зайти к Прево, как только она освободится, а в ожидании пытался убить время, кружа, как потерявшаяся собачонка, в лабиринте пустынных кварталов Сен-Мишель и Сент-Круа. Потом я сидел у Прево за чашкой шоколада, предаваясь животной радости отдыха. Наконец она вошла. «Она подкрасилась», — сказала бы с осуждением моя мать.

— Я пришла не затем, чтобы оправдываться. Можете думать что хотите… Но у меня не было никаких тайных мотивов. Просто я знала: если вы встретитесь без меня с Симоном Дюбером, между нами все будет кончено раньше, чем начнется…

— Я тоже обманывал вас, Мари. Мы оба лгали, чтобы не потерять друг друга.

— Потерять можно лишь то, чем владеешь. Нет,

Ален, я не потеряла тебя.

Она не потеряла меня, она хотела меня спасти. Она видела, что мне грозит смерть, потому что для мужчины страшнее смерти вынужденный брак с женщиной, внушающей ему такой ужас, какой внушала мне Вошка. Моя мать знает, что время работает на нее, что каждый выигранный год приближает осуществление мечты, которую она лелеяла всю свою жизнь.

— Надо опередить ее, раз уж нам известно, куда направит она первый удар… Но прежде всего, Ален, все зависит от вас, и вы сами должны твердо знать, с кем вы, хотите ли вы, чтобы мы вас спасли? Симон Дюбер уверяет, что вы на это решились. Но, может быть, так было в день вашей встречи, а сегодня вы уже менее тверды?

Она искала мой взгляд, но мы сидели рядом, и мне нетрудно было уклониться. Я сказал, что готов ко всему и не готов ни к чему, что никогда больше не вернусь в ярмо, от которого мысленно уже освободился, но оставляю за собой право судить о путях, которые мне будут предложены.

Сам не знаю, как получилось, что главной темой нашей беседы стал Симон Дюбер. Она говорила о нем с увлечением и, я уверен, без всякой задней мысли, и то, что она мне рассказала,

объяснило мне истинный смысл предложения Симона бросить все и последовать за мной, лишь бы избавиться от ада в Талансе. Бедный Симон. Свой ад он носил внутри себя. В Париже он был на грани самоубийства. Он все время близок к самоубийству, его удерживают лишь остатки веры. Он сохранил их и только поэтому устоял против своих новых учителей, которые пытались использовать его в своих целях. Они уговаривали Симона написать исповедь молодого крестьянина, которого хотела сбить с пути богатая ханжа. План книги был для него составлен, ему оставалось только заполнить пустые графы. Симон взбунтовался, они не настаивали, и, поскольку он был полезен в канцелярии, его терпели… Я вдруг вспылил:

— Оказывается, я ждал вас битых два часа и слонялся как потерянный по лабиринту этих мрачных кварталов лишь затем, чтобы поговорить о Симоне…

— Да, это правда, я говорю с вами о нем, потому что боюсь заговорить о нас, потому что знаю, о чем вы подумаете… Но, собственно, почему вы можете об этом подумать? Вы знаете, чья я дочь, на сколько лет я вас старше, что я делала, или, вернее, что со мной делали за эти годы — что

сделали со мной эти старики. Ах! Какой я была в вашем возрасте, Ален, какой я была…

Нет она не играла в эту минуту, а если играла, то какая это была актриса! Самым ужасным для нее было мое молчание. Я ничего не ответил, но не оттого, что был таким бесчувственным, а потому, что единственные пришедшие мне в голову слова, слова хорошо воспитанного юноши, прозвучали бы хуже любого оскорбления.

Я должен верить, сказала она, что, вступая в этот заговор, она не ищет для себя никакой выгоды, разве лишь испытает то удовольствие, с каким освобождаем мы из паутины муху, пока ее не сожрал паук. Наконец она перешла к плану битвы: как только моя мать уедет в Мальтаверн, я сообщу ей туда письмом о своей помолвке с «продавщицей из книжной лавки Барда». Мари была согласна, чтобы я воспользовался ее именем: ведь она действительно та женщина, которая должна внушать моей маме особенный ужас — ее среда, ее возраст, все, что мама немедленно узнает о ее семье и о ее прошлом, — этого будет вполне достаточно, чтобы моя мать сразу поставила меня перед выбором: она или Мари, а так как я буду упорствовать, она удалится в свое ноайянское имение и увезет с собой Дюберов.

Тут я прервал Мари: мне казалось невероятным, чтобы Дюберов можно было оторвать от Мальтаверна. Они приросли к нему, как устрицы к своей раковине. Но Мари считала, что опасаться нечего: старик Дюбер поймет, что это просто хитрость, чтобы вызволить меня из сетей какой-то дурной городской женщины. Он, так же как его хозяйка, мечтает прибрать к рукам земли Нума Сериса и считает себя незаменимым. Он ни на минуту не усомнится, что через недельку я позову его обратно. Поразмыслив, я спросил:

— И вы думаете, она не сможет парировать удар? Вы не знаете мою мать.

— Я знаю вас, Ален. Вся ее сила — в вашей слабости. Вы хозяин всего, вы владеете всем, но она владеет вами.

Я не возражал. Мари поднялась и вышла одна. Нас не должны были видеть вместе. Мы уговорились встретиться в четверг в книжной лавке, когда там будет и Симон.

Хотя я не запоздал к ужину, мама, стоя на площадке, подстерегала мой приход. Я увидел ее большое бледное лицо, склонившееся над перилами: «Ах! Вот и ты!» Она не отойдет ни на шаг, она будет следить за мной не спуская глаз, таков будет ее первый ход. Я понимал, что замысел Ма-

ри можно осуществить лишь в том случае, если мама уедет в Мальтаверн. Она должна узнать о моей помолвке из письма. Выступить против нее с открытым забралом я не решусь никогда. А если бы и решился, она разоблачит меня немедленно. Никогда еще мне не удавалось солгать ей так, чтобы она тут же не пристыдила меня.

В течение всей зимы, не посылая никого шпионить за мной, не прибегая ни к какой слежке, она каждый четверг узнавала, что я прихожу домой после тайного свидания с ее неизвестными врагами. В те вечера, когда Мари ждала меня в доме на улице Эглиз-Сен-Серен и уводила в ледяную гостиную, я напрасно по возвращении домой мыл лицо и руки над умывальником в буфетной, прежде чем запечатлеть на маминой щеке ритуальный поцелуй, обязательный в любой самый поздний час. Моя мать притягивала меня к себе, вдыхала мой запах и сразу распознавала нечто чужеродное. Ни разу она не сказала об этом. Но я знал, что она это знает. Мы оба с жестокой проницательностью видели друг друга насквозь.

Впрочем, этой зимой она получила неоспоримые доказательства, что я ее обманываю. Я, ненавидевший танцы, стал безотказно принимать все приглашения и чуть не каждый вечер

надевал смокинг или фрак. Провожая меня, мама говорила: «Потом все расскажешь...» — и принималась расспрашивать сразу же, едва я возвращался домой. Она хотела все знать о званом вечере, и немного ей требовалось времени, чтобы догадаться, что я сам ничего не знаю, так как вовсе там не был или забежал лишь на минутку, достаточно было самых простых вопросов. На балах я никогда не задерживался. И еще одно доказательство: она ни разу не встречала меня у причастия; я устраивался так, чтобы не ходить к мессе, если мама была в церкви. Даже на сочельник я был приглашен к товарищу за город.

Луи Ларп всегда вручал маме всю почту, и она сама ее просматривала. Подозрительных писем там никогда не было. Она еще не напала ни на след Мари, ни на след Симона. Мы больше никогда не выходили вместе. Мы отказались от встреч у Прево и в кафе на углу улицы Эспри-де-Луа. Мы встречались или в книжной лавке после закрытия, в закутке Мари, или в гостиной на улице Эглиз-Сен-Серен. Теперь и думать было нечего, чтобы Симон переступил порог дома на улице Шеврюс, и весной я сам несколько раз навестил его в Талансе. Он жил на пансионе у какой-то вдовы, в одном из тех одноэтажных домишек,

которые в Бордо называют «балаганами». Симон долго сопротивлялся моему намерению посетить его: непреодолимое расстояние установилось между классами с покорного согласия бедняков и часто против воли богачей, стыдящихся своего богатства, как я.

Это была самая обычная комната, обставленная мебелью красного дерева, с окном, выходящим в сад священника, за оградой которого шла дорога на Байонну. Повсюду были разбросаны журналы и книги, но не романы, не стихи, а «Паскаль» Бутру, «Жизнь святой Терезы, написанная ею самой», «Святой Франциск Ассизский» Иоргенсена, сочинения Жана де ла Круа… В первый мой визит, когда я удивился такому выбору книг, Симон сказал: «Пополняю свое религиозное образование благодаря вам» — и тут же перевел речь на другое. В тот день я понял, что для него все теперь зависело от исполнения тайной мечты: я и он в Мальтаверне. Мечта, ни с чем не сообразная и все же осуществимая.

Хотя из нас троих Симон был самым нетерпеливым, он считал, что Мари не права, желая приступить к действиям как можно скорее, и не советовал мне добиваться у мамы разрешения на поездку в Париж или в Ниццу, откуда я мог

бы сообщить ей о своей помолвке. Симону казалось очень важным, чтобы бомба разорвалась во время пребывания моей матери в Мальтаверне, расположенном всего в нескольких километрах от Ноайяна. Тогда ее демонстративный отъезд и переселение Дюберов состоятся немедленно. Долго ждать нам не придется: несмотря на твердое намерение моей матери не оставлять меня одного, ей придется поехать в Мальтаверн проследить за сбором смолы, продать крепежный лес и подсчитать наличие сосен после нескольких вырубок.

Мы не предусмотрели, что на своем «Дионе» она может, выехав на рассвете, тем же вечером вернуться в Бордо. Дважды она оставалась в Мальтаверне ночевать, но только на одну ночь, а надолго не задерживалась ни разу. Так прошел двадцать второй год моей жизни, и за это время незаметно и постепенно Мари превратила мальчика-ангела в мужчину, подобного всем другим. Однако мальчик продолжал жить вопреки всему, и всякий раз он возрождался снова, но не затем, чтобы проклинать Мари: он прижимался к ней еще теснее и позволял себя баюкать.

Одно утешение все же было мне дано в том го-

ду: к Симону вернулась надежда. Будущая жизнь в Мальтаверне представлялась ему уходом в убежище, где мы оба — независимо от того, останусь я там или нет, — будем вместе искать и в конце концов обретем истину. Да, мы вместе совершим открытие. Какое открытие? Он говорил, что благодаря мне прозрел: все, чем церковь вызывает ненависть своих врагов, действительно заслуживает ненависти — это бывало и раньше, в любую годину истории человечества, — как заслуживает ее фарисейская религия мадам. Враги яростно нападали на те установления, перед которыми иные люди преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс[62]. Но преклонение было так же бесплодно, как и проклятия. Мы с Симоном знали, что в известный момент истории бог проявлял себя, что он проявляет себя и поныне, в судьбах отдельных мужчин и женщин, которых объединяет общая черта — стремление теснее приобщиться к кресту.

— Вам это заказано, господин Ален, потому что вы — «богатый юноша». А вот мне — нет. Я, как был беден, так бедным и останусь. Вы не

[62] Примечания: 62

Гюисманс Жорис (1848–1907) — французский писатель. Постепенно в своем творечетсе отошел от натуралистических тенденций и примкнул к религиозно-мистическим.

должны будете платить мне ни одного су сверх того, что дает моему отцу мадам. Я буду более чем вознагражден, если вы поделитесь со мной благами своих озарений, этим дарованным вам свыше светом.

Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать.

Итак, ничего не произошло. Это был мой последний год перед защитой диплома, поэтому при любом затруднении я оправдывался подготовкой к экзаменам. Мари и Симон уточняли план военных действий применительно к условиям летних каникул. Оба они в толк не могли взять, как это двадцатидвухлетний юноша боится отправиться в путешествие без матери, и не только потому, что не хочет ее огорчать, но и потому, что сам все еще остается ребенком, который, бывало, приходил в ужас, когда мать на минуту оставляла его одного в вагоне, чтобы купить газету. Во время поездок мама, еще больше чем в повседневной жизни, освобождала меня от всего. Но она никогда не помогала мне в моих занятиях, как это

делала Мари, когда я готовился к письменным экзаменам и каждый день приходил к ней на улицу Эглиз-Сен-Серен после закрытия книжной лавки. Маму я уговорил перенести ужин на более поздний час.

Так истек этот год, от которого мы ждали столько драматических событий, но который прошел без всяких историй, кроме истории нашей внутренней жизни; но об этой общей нашей истории, и даже о своей собственной, я не могу сообщить ничего, что не было бы придумано или приукрашено из желания заинтересовать Донзака. Мне кажется, моя душа как бы еле тлела — подготовка к экзаменам заставила меня все остальное, и даже бога, взять в невидимые скобки. Я больше не сомневался в Мари, потому что она страдала.

И даже бога… Здесь Донзак снова обнаружит свое влияние. Он проповедовал, что иногда надо давать своим естественным влечениям передышку. Я знал, что Мари печальна, потому что между нами скоро все будет кончено, но со времен своей работы у отца Х. она сохранила воспоминание об одном мистике, создавшем целую доктрину так называемого «таинства преходящего мгновения». Она говорила: «Эта минута принадлежит мне, ты здесь, я здесь, дальше я не загадываю».

Не могу сказать, чтобы в течение этого времени ко мне порой не возвращались сомнения насчет Мари: один раз она уже солгала, она может снова солгать. Я считал, что она вполне способна разыгрывать роль страдающего из-за меня создания, она знала, что именно это и было мне нужно, чтобы не страдать самому. Может быть, она раскрыла мне свой план не до конца. Может быть, в нем таилась ловушка, о которой знала лишь она, и в один прекрасный день я окажусь связанным с ней перед богом и людьми. Но я достаточно осторожен, меня не захватишь врасплох, я буду принадлежать ей, только пока я этого хочу… Из нас троих один Симон был упоен надеждой.

Глава VIII

Все произошло совершенно неожиданно. В июле я получил диплом с отличием. Так как я отказался сопровождать маму в Дакс, где она собиралась пройти курс лечения, она тоже не поехала, чтобы не упускать меня из виду, и мы с ней остались один на один, обмениваясь только самыми необходимыми словами в выжженном небесным огнем, словно пустыня, августовском Мальтаверне. Мы жили как ночные птицы, вылетающие из своего укрытия лишь в сумерках.

Мари, заточенная в своей книжной лавке, прощаясь со мной, не смогла сдержать слез, она надеялась, что придуманный ими с Симоном план, пусть даже и безрассудный, даст ей силы выжить в Бордо, где не будет меня. Она скоро увидит меня снова и наконец-то узнает Мальтаверн.

Моя мать решила выполнить обещание, данное когда-то старику Дюберу, — отвезти его в Лурд на паломничество, которое проводила наша епархия с 17 по 20 августа. Дюберы были в восторге, но также и в некотором страхе, потому что путешествие предполагалось совершить на мамином «дионе». Луи Ларп с женой получили

отпуск. Таким образом, я буду в Мальтаверне один с Прюданом (но он был нашим сообщником), на попечении жены Прюдана, женившегося еще в январе, — трепетавшей перед ним рабыни, которая, конечно, не скажет никому ни слова, если он прикажет ей молчать. Буржуазные дома поселка опустеют, наши дамы, эти старые овечки, отправятся либо в Лурд, сбившись вокруг господина настоятеля, либо на отдых в горные и приморские деревушки.

Мари и Симон остановятся у Дюберов. Дальше мы не загадывали. О том, что произойдет между нами, а потом между мной и мамой после ее возвращения, я старался не думать. Зато я отлично видел, как по мере приближения дня отъезда возрастало ее беспокойство, потому что я оставался в Мальтаверне один. Почему бы, спрашивала она, не провести мне эти три дня в Люшоне, она тоже приехала бы туда, поручив Дюберов господину настоятелю? Должно быть, маму покоробила резкость моего отказа, а главное, теперь я знаю, это пробудило в ней подозрения. Я заявил, что не хочу лишать себя радости остаться наедине с Мальтаверном, неожиданно освобожденным от всей своей человеческой субстанции. Она больше не называла меня пустомелей, она вглядывалась

в меня, доискиваясь, что скрывается за этими сумасбродными речами.

— Что же ты будешь делать эти три дня?

— Буду бродить. Пойду взгляну еще разок на старика из Лассю, посмотрю, каким я стану через шестьдесят лет, когда превращусь в старика из Мальтаверна.

Я дрожал, как бы мама не передумала и под каким-нибудь предлогом не отменила поездку. Я вздохнул свободно, лишь когда услышал на дороге замирающий шум автомобильного мотора, и, оставшись на террасе один, с наслаждением втянул в себя утренний туман, предвещавший знойный день, нескончаемый день ожидания. Симон и Мари должны были приехать вечерним поездом. Прюдан поедет на станцию один и привезет их в Мальтаверн прямиком через лес, где вечерами не встретишь ни души.

Жена Прюдана выскребла добела комнату его родителей, постелила самые лучшие простыни. Я велел ей приготовить на всякий случай комнату для гостей в замке (так называла она наш дом), где даме будет удобнее, так как там есть туалетная комната. Она повиновалась, не выказав ни малейшего удивления.

Я не хотел бы, чтобы описание этого вечера,

этой ночи походило на те сочинения, которым завидовал Андре Донзак в наши школьные годы. Однако же пусть знает свидетель моей жизни, что то был миг, озаривший эту жизнь, придавший ей истинный смысл, ибо то была ночь греха и вместе с тем — ночь благодати.

Я взял у Мари чемодан и пошел впереди нее в комнату для гостей, не спрашивая согласия ни у нее, ни у Симона. В светлом летнем платье и соломенной шляпке она казалась совсем другой Мари, совсем не той, что у Барда: юная девушка, которой я никогда не знал, которую знали другие. Но эта мысль причинила мне лишь мимолетную боль.

Мы собрались все трое в столовой и поели наспех в полном молчании. Мари сама предложила мне прогуляться по парку. Она вышла на террасу. Я накинул ей на плечи свою старую школьную пелерину. Она медленно сошла по ступеням. И сказала:

— Все это я уже знала заранее через вас. Как здесь все похоже на вас.

Я сказал, что, если бы она испытала разочарование, я бы ей никогда не простил.

Она знала только исхлестанные морем сосны Сулака, рядом с ними сосны Мальтаверна каза-

лись исполинами. Я взял ее под руку, чтобы она не оступилась. «А это большой дуб?» Она узнала его, хотя это был такой же дуб, как все другие; я прижался к нему губами, согласно своему ритуалу, потом мы с Мари обменялись нашим первым поцелуем.

«Больше всего я люблю в Мальтаверне…» Об этом я мог говорить без умолку. Я все уши прожужжал Мари, рассказывая о своем отвращении к живописным местам и о том, что чувствую природу только там, где могу наслаждаться ею один, один или с теми, кто любит ее вместе со мной, во мне. До речушки мы не дошли, луг был уже весь мокрый от росы, но мы стояли поодаль неподвижно и молча, вслушиваясь в потаенное журчание, которое все не умолкало и не умолкнет во веки веков.

— Почему, — спросил я Мари, — ни на берегу большой реки, ни даже на берегу океана я не испытываю того чувства, что вызывает во мне этот ручеек, где я ребенком пускал кораблики, которые мастерил из сосновой коры?

Ведь знать, что ты смертен, — совсем не то, что чувствовать это всей своей плотью. Этому научило маленького мальчика журчание Юра в те давние летние ночи, когда он замирал, вслу-

шиваясь в тишину — тишину, звенящую пением цикад, прорезанную рыданием ночной птицы или призывным стоном жабы, полную едва ощутимого шороха ветвей.

Мы остановились посреди аллеи послушать тишину. Мари прошептала:

— Мне кажется, здесь кто-то ходит. Я слышу, как шуршат сосновые иглы.

Но нет, это был просто ветер, а может, хорек: столько всяких зверушек пожирают друг друга или соединяются в ночи.

А мы сами разве ведем себя иначе? И все-таки мы совсем другие.

Эта ночь была для нас той минутой, когда мы ближе всего подошли к истине, которую предчувствовали оба (я знаю это потому, что мы долго говорили об этом, стоя босиком на балконе в час самой глубокой тишины): человеческая любовь — это одно из воплощений того, кто сотворил нас, но иной раз — и так было для нас двоих в эту греховную ночь — она похожа на любовь, посвященную творцом своему творению и творением — своему творцу, а счастье, затопившее и Мари и меня, было словно заранее дарованное нам прощение.

Я задремал. Меня разбудили рыдания. Я прижал ее к груди: отчего она плачет? Сначала я не понял слов, которые она шептала сквозь слезы:

— Никогда больше! Никогда!

— Нет, Мари, нет, навсегда и навеки.

Она возразила:

— Ты сам не понимаешь, что говоришь.

Самое странное, что в эту минуту все мои подозрения исчезли бесследно. Казалось бы, все ясно: она привела меня — возможно, без всякой хитрости и, несомненно, с любовью, — однако же привела меня к торжественному обещанию связать себя с нею навсегда, но даже такая очевидность не могла устоять перед откровением этой ночи. В том счастье, которое дают друг другу два живых существа, нет места лжи. Это, во всяком случае, верно, а для меня было еще более верно, чем для любого юноши моих лет: ведь Мари исцелила, освободила меня от тайного запрета. Может быть, это ненадолго? Нет, навсегда! Навсегда!

— Видишь ли, — сказал я, — самым неприятным, даже отвратительным для меня в нашем плане была необходимость лгать моей матери, притворно уверять ее, будто я хочу на тебе жениться. Так вот, моя радость, теперь я скажу, глядя ей прямо в лицо: «Я приведу тебе мою неве-

сту…» И это будет правдой. Ты плачешь? Почему ты плачешь?

— Твоя невеста… Ты прав: это по крайней мере будет правдой. Я буду твоей невестой «взаправду», как говорят дети.

Я спросил, разве в эту ночь не была она моей женой «взаправду»?

— Да, в эту ночь… Мне останется эта ночь.

Я сказал:

— И все ночи моей и твоей жизни…

Петухи, перекликаясь с фермы на ферму, возвестили рассвет. Скоро встанет жена Прюдана, Мари хотелось, прежде чем вернуться в свою комнату, еще раз выйти со мной на балкон, несмотря на густой туман, который ветки сосен словно сбрасывали с себя. Она вздохнула:

— Мальтаверн… Я гляжу на тебя и не могу наглядеться, как будто боюсь позабыть тебя.

Я сказал:

— Кто-то ходит по аллее.

Мы вернулись в комнату. Наверное, это был Прюдан или его жена. Из-за тумана нас все равно не было видно, а разговаривали мы совсем тихо. Последнее наше объятие было коротким. Она убежала в свою комнату, а я с наслаждением погрузился в сон, от которого меня пробудила

жена Прюдана, поставив передо мной поднос с завтраком. Даме она уже подала кофе. Я спросил, кто это ходил совсем рано, часов в шесть, вокруг дома, она или Прюдан? Нет, они не ходили. Должно быть, это… Она замялась. Мадам разрешила Жаннетте Серис играть в парке, когда мсье не будет. Она тут целые дни бегает, чувствует себя как дома. Утром она, наверное, приходила вытащить верши, которые закинула в Юр вчера вечером.

— Вчера вечером она была там?

— О да, но она хорошо спряталась, ее и слышно-то не было.

Я наспех оделся, и мы все трое собрались на совет в кухне Дюберов. Не было никакого сомнения, что моя мать поручила Вошке шпионить за нами, и теперь она все узнает сразу же по приезде. У нас уже не было выбора. Я решил уехать вместе с ними в Бордо, передав через Прюдана письмо, извещающее маму о моей помолвке. Симон переедет ко мне на улицу Шеврюс, он может спать на кровати Лорана. Правда, в августе жить в Бордо невозможно. Но «наш особняк на улице Шеврюс — настоящий ледник», — как говорит мама. Если события развернутся так, как мы предполагаем, то, едва лишь моя мать и Дюберы покинут Мальтаверн, мы водворимся там, и уже навсегда.

Из нас троих больше всех был воодушевлен открытием военных действий Симон. Он не мог не догадаться, как провели эту ночь Мари и я, но, казалось, это не причиняет ему боли.

Все утро мы просидели на кухне у Дюберов, взвешивая каждое слово в письме, которое должно было нанести первый удар моей матери и которое Прюдан вручит ей, едва она выйдет из автомобиля. Первый набросок, целиком принадлежавший мне, красноречивый и неистовый, в котором вылились все мои обиды, вызвал восторг Симона, но отнюдь не Мари, и я подчинился ее доводам. В конце концов мы сочинили короткое и корректное письмо: «*В твое отсутствие я принимал здесь молодую женщину, свою невесту, которую хотел бы поскорее тебе представить. Мы знакомы уже несколько месяцев. Она работает у книготорговца Барда и очень образованна. Юность ее прошла в суровых испытаниях…*» Я вспомнил о печальном конце ее отца: моя мать, несомненно, знала эту историю. Симон спросил: «Вы не боитесь, что ее хватит удар?» Я чувствовал, что он сам скандализован этой помолвкой (хотя и считал ее только хитроумным ходом). Приказчице от Барда выйти замуж за молодого Гажака! Это было настолько невероятно, что мадам не

поверит и заподозрит ловушку.

Следовало также заручиться молчанием Прюдана. Он всегда гордился своим братом. И вдруг Симон возвращается в Мальтаверн — и все его дипломы теперь ни к чему! Прюдан, хотя и был старшим, не мог претендовать на место отца: он не умел ни читать, ни писать и с грехом пополам считал, но возвращение Симона — каким это будет для него поражением!

Пока оба брата спорили в кухне. Мари сказала мне, что хотела бы взглянуть на Юр: ведь ночью она слышала только его журчание. Но за нами шпионила Вошка, она еще, того гляди, пойдет следом, прячась за соснами. Мне было тошно и подумать, что я могу столкнуться нос к носу с этой мерзкой девчонкой. «Я способен удушить ее!»

Мари спросила, нельзя ли выйти на берег Юра, минуя парк. Да, конечно, песчаных дорожек сколько угодно, и там уж Вошке спрятаться негде. Мы вышли. Остатки утренней прохлады еще держались в клочьях тумана, но вот запела одна цикада, потом другая, третья, и зазвенели все вразнобой. Я сказал Мари:

— Не думай, что я заставлю тебя жить в такой нечеловеческой жаре. Мы будем приезжать сюда только на время, подышать свежестью…

Мари не ответила. Она с трудом шагала по песку. Должно быть, ее все время мучило составленное нами письмо. Она сказала:

— Представляю себе чувства твоей матери, когда она прочтет письмо, и, что ни говори, она будет права. А она еще не знает, что я старше тебя на десять лет… И всего, что было со мной за эти годы… И ты… такой, как ты…

— Такой, как я? Что хорошего в этом затянувшемся детстве, в том чудовище, которое ты называешь ангелом? А ты, Мари… Люди должны были оберегать тебя, а оказались кровожадными волками…

Я увидел, что она плачет. Мы прошли лугом к берегу Юра и сели на ствол поваленной ольхи. Прижавшись ко мне, она продолжала плакать. Я сказал: «Осторожно, здесь крапива». Эта крапива вокруг нас превратится в моих воспоминаниях в мяту, в ароматные листочки, которые я растирал между пальцами. А чахлый ручеек под ольховыми деревьями — немало из них теперь уже вырублено — сольется, как всегда, с отчаянием вечного убывания; он увлекал меня за собой вместе со всем, что меня окружало, и я значил не больше, чем вырезанные из сосновой коры кораблики, которые мы с Лораном пускали вниз

по течению… А эта прижавшаяся ко мне женщина, которая больше не плакала, это бедное, служившее другим тело, заботу о котором я взял на себя до конца моей жизни…

Туман не рассеивался, но пробивавшиеся сквозь него солнечные лучи жгли невыносимо. Должно быть, днем будет гроза. Хоть бы пролился наконец дождь на жаждущие ланды, где каждый день то там, то здесь вспыхивали пожары: говорили, что виноваты пастухи, но достаточно было солнечного луча, упавшего на осколок бутылки… Какая таинственная алхимия преображает в моих воспоминаниях все ничтожные подробности, словно то, что они отошли в прошлое, дает им право на преображение!

Лучше было дожидаться часа отъезда у Дюберов, там было прохладнее. Мы рассчитывали сесть в поезд на станции Низан, в десяти километрах от Мальтаверна. Туда мы доедем на двуколке Прюдана. Я предупредил Мари, что придется ехать сразу же после завтрака, в самый зной, когда даже скот не выходит на волю. «И даже Вошка», — прошептала Мари.

Тряска в гремящей двуколке под палящим полуденным солнцем, среди роя слепней и мух, по

выбитой пыльной дороге — вот каким кошмаром закончился наш сон в летнюю ночь. Я сидел на заднем сиденье между обливавшимся потом Симоном и Мари. Руку я прижал к спинке сиденья, чтобы предохранять Мари от толчков. Она держалась прямо, неподвижная, безмолвная, а я со своим даром угадывать тайные чувства других людей — я знал, что в ее душе волшебный Мальтаверн нашей ночи превращается в проклятую землю, от которой надо бежать не оглядываясь. Мы услыхали автомобильный рожок, потом шум мотора. Стелла, наша старая кобыла, встала на дыбы. Нас обогнал «серполле», где сидело за рулем какое-то чудовище в очках. Пыль поднялась такая, что Прюдану пришлось постоять на обочине дороги.

Поезд запаздывал. Мы ждали его почти в полном одиночестве на раскаленной платформе заброшенной станции, среди клеток с подыхающими от жажды курами.

Глава IX

Мари умолила меня не приходить на улицу Эглиз-Сен-Серен в отсутствие ее матери, которая уехала в Сулак. Мы можем видеться сколько угодно в ее закутке в книжной лавке.

Наша лестница на улице Шеврюс казалась раем. За те три дня, что мы с Симоном прожили вместе, поджидая ответа от мадам, мы не раз покидали маленькую гостиную и спасались от жары на ступенях этой ледяной лестницы. Ночами, еще более душными, чем дни, нас осаждали несметные полчища самых крупных, самых ядовитых москитов, какие только водились в наших широтах. У меня была кровать с пологом: прежде чем заснуть, мне следовало только проверить, не запер ли я в клетку вместе с собой и какого-нибудь хищника. Но на кровати Лорана полога теперь не было. На второй же день я увидел, что у Симона все лицо перекосилось: москит ужалил его в веко. Он был удивлен, что меня это огорчает.

— Да это пустяки, господин Ален. Стоит ли беспокоиться из-за москитов, из-за шишки над глазом!

Спал он тем не менее отлично и на рассвете

ушел из дому. Верно, хотел присутствовать на мессе. Я не решился спросить у него, но, по правде говоря, не сомневался в этом. После завтрака мы встретились в темной, прохладной книжной лавке, где почти не было покупателей. Бард отдыхал в Аркашоне и всецело положился на Мари. Балеж был болен или притворялся больным. В витрине новинок я нашел «Антологию современных поэтов» Леото и Ван-Бевера и, читая ее, совершал открытие за открытием. Особенно нравились мне стихи некоего Франсиса Жамма: «Вот-вот посыплет с неба снег…» Они восхищали меня, «ранили радостью», но я не мог разделить это счастье ни с Мари, нечувствительной к такого рода поэзии, ни с Симоном, нечувствительным к поэзии вообще; кроме того, Симон гораздо больше нас тревожился, ожидая ответа мадам. Он торопил меня домой: «Скоро должны принести почту…»

Мы пересекли улицу Сент-Катрин и по узкой улочке Марго спустились к улице Шеврюс. Я шел немного позади Симона, глядя себе под ноги, весь поглощенный сочинением какой-то истории. Вдруг меня оглушили слова Симона, хотя он произнес их вполголоса:

— Мадам здесь! Приехала мадам!

Я поднял голову в полной растерянности. Да,

мамин «дион», наше ручное чудовище, стоял перед крыльцом. Что же нам делать? Я посоветовал Симону вернуться в книжную лавку и предупредить Мари. Я встречусь с матерью один на один и, как только смогу, присоединюсь к ним. Он не заставил себя долго просить и пустился наутек. Я трусливо позавидовал ему: ведь мне предстояло выступить в одиночку против этого опасного, разгневанного божества. Как могли мы быть настолько глупы, чтобы не ждать от нее другого ответа, кроме письма, чтобы не предположить, что она обрушится на нас сама, явившись перед нами во плоти?

Впрочем, этот приезд не был немедленной реакцией: ведь с тех пор, как Прюдан вручил ей наше письмо, прошло три дня. Очень скоро я узнал, что побудило ее примчаться на улицу Шеврюс. Едва я вошел в маленькую гостиную, где она стояла, не успев еще снять шляпку, как она прижала меня к груди:

— Бедный мой малыш! Какое счастье, что я приехала не слишком поздно.

Она не сомневалась, что стоит ей рассказать мне все об этой девице, как я от нее откажусь и не смогу больше думать о ней без отвращения. Я узнал, что, получив наше письмо, два дня она

провела словно пораженная громом. Потом она отправилась посоветоваться с господином настоятелем, и то, что она от него узнала, превзошло, по ее словам, своей мерзостью и без того омерзительную историю сборщика налогов. Когда разразился этот скандал, господин настоятель был викарием в Лепарре. В то лето он поддерживал не постоянные, но все же довольно близкие отношения с отцом Х. Таким образом, ему стал известен другой скандал, хотя и не разразившийся, но гораздо худший, чем первый.

В глазах моей матери женщина, способная соблазнить священника, духовное лицо, грешить с ним или хотя бы, поправилась она, пытаться согрешить (в том случае, если, как утверждают друзья отца Х., ничего не произошло, не следует впадать в грех необоснованного осуждения), — такая женщина одержима дьяволом, проклята и одним своим прикосновением может перенести на другого это проклятие, как постыдную, неизлечимую болезнь.

— Теперь ты видишь, ты сам онемел от отвращения…

— Да нет же, бедная мамочка, я все это знал.

— Знал?!

Изумление лишило ее дара речи. Я все знал

— и собирался дать этой девице свое имя, познакомить ее с матерью, подарить ей Мальтаверн, связать с ней навсегда свою жизнь! Она закрыла лицо руками хорошо знакомым мне театральным жестом.

— Боже мой, — простонала она, — чем я прогневила тебя?

Этот жест почти всегда сопровождался ропотом на бога. И на этот раз тоже.

— Попытайся понять, мама.

Я напомнил ей, что любое событие выглядит по-иному, если взглянуть на него с другой стороны. Орден, к которому принадлежит отец Х., встал на его защиту, приписав всю вину дурной женщине, истеричной девушке, которая желала погубить его, но ничего не добилась. Вот этот-то звон и услышал наш настоятель. Однако речь шла о совсем юной девушке, верующей христианке, преданной ученице святого отца, которая в постигшем ее жестоком горе не ведала другой опоры, кроме него.

— Я знаю, кем была она во всей этой истории, мрачное продолжение которой тебе неизвестно: маленькой мученицей. Да, вот кем она была. А теперь, — добавил я, — она будет моей женой, которую я имел счастье встретить на своем пути.

— Ты сошел с ума, бедное мое дитя, она свела тебя с ума!

Мы опасались разгневанного божества, а передо мной стояла сраженная горем мать, удрученная христианка, которую мои слова скорее утвердили, нежели поколебали в ее убеждениях. Впрочем, мне никогда не приходилось видеть, чтобы мама задумывалась над чужими доводами или хотя бы выслушивала их. Она искала носовой платок в своем ридикюле, стоя посреди комнаты, глядя на чудовище, в которое превратился ее сын. Она высморкалась, вытерла глаза. Я попытался обнять ее, поцеловать, но она отшатнулась, словно боясь моего прикосновения. Может быть, ей действительно было страшно?

— Послушай, Ален…

Она видит, что я одержим, околдован, что она ничего от меня не добьется, но я могу уступить матери хотя бы в одном — дать ей время на размышление, согласиться на отсрочку, которая, принимая во внимание мой возраст, была бы обязательной, даже если бы речь шла о нормальной помолвке с девушкой нашего круга. Мама говорила, не повышая голоса, она чувствовала под собой твердую почву. Кто может не счесть это предложение разумным? Я согласился с ней,

неопределенно кивнув головой.

— Скажем, один год… Через год мы снова обо всем поговорим.

Я почувствовал, как затягивается у меня на шее петля. Я взбунтовался и заявил, что могу ждать только четыре месяца, оставшиеся до Нового года. Четыре месяца, что ж, за это время все-таки можно передохнуть, оглядеться. Она попросила посвятить их ей целиком, не отходить от нее, не расставаться с ней до самого Рождества.

— Только в том случае, — сказал я наугад, — если в начале учебного года моя работа не потребует поездки в Париж.

— Какая еще работа?

— Моя диссертация.

— Ты пишешь диссертацию? Какую диссертацию?

— Но я же говорил тебе. Ты никогда не слушаешь, когда я рассказываю тебе о своей работе. Я пишу о зарождении движения францисканцев во Франции. Взять эту тему посоветовал мне мой профессор Альбер Дюфур.

Но она уже не слушала меня. Она сняла шляпку, медленно вытащила из нее длинные булавки. Я спросил, не собирается ли она вернуться в Мальтаверн. Разумеется, нет, она не оставит меня

одного. Она телеграфировала Луи Ларпу и его жене. Сегодня вечером они будут здесь.

— А потом поедем куда захочешь или останемся в Бордо. Я в твоем распоряжении, как, в сущности, была всегда.

Что делать? О боже! Как мог я тешиться детской надеждой (впрочем, мы разделяли ее все втроем), что действительность подчинится нашему плану, что все пойдет так, как мы решили, что поступки моей матери будут именно таковы, какими мы их себе представляли?

— У меня к тебе еще одна просьба, Ален, я думаю, ты мне в этом не откажешь: согласись повидаться с господином настоятелем. Завтра он придет к завтраку. Можешь говорить с ним, можешь не говорить, как тебе будет угодно.

Как только мать ушла к себе, я бросился в комнату Лорана, впопыхах уложил чемодан Симона Дюбера, сорвал с кровати простыни и засунул их под комод. С чемоданом в руках, изнемогая, обливаясь потом, я появился в книжной лавке перед Мари и Симоном. Мари, отпустив покупателю «Путеводитель по Юго-Западу», прибежала к нам в закуток, где Симон донимал меня вопросами.

— Ах, Симон, — сказал я ему, — клянусь вам, мадам не умирает, мадам и не собирается умирать.

Я постарался дать им точный отчет обо всем, что произошло между мной и матерью.

— Как всегда, я подчинился ей, и так оно будет и впредь…

Мари возразила:

— Но, бедный мой малыш, никогда не были вы в такой степени хозяином положения, достаточно только проявить волю. Ваша мать согласится на все, лишь бы расстроить нашу помолвку… по крайней мере в данный момент, а вообще-то не обольщайтесь: от чего она не откажется никогда — это от тысячи гектаров Сериса, от возможности воцариться перед смертью в этом неоглядном королевстве сосен и песка, в этой огнедышащей печи…

— Но, Мари, — возразил я, понизив голос, — ведь мы «взаправду» помолвлены.

Она покачала головой и, когда Симон направился в магазин, желая оставить нас вдвоем, сказала:

— Да, ты мог так думать в те недолгие мгновения нашей ночи. Будь благословен за эти мгновения. Но ты отлично знаешь, что это не «взаправду»…

— Почему, Мари? Почему?

Облегчение, которое я почувствовал, ужаснуло

меня самого. Но тут вернулся Симон, он был так поглощен своими мыслями, что, казалось, нас и не видел.

— Мы были идиотами, — сказал он. — Сначала я подумал, что Прюдан нас предал. Но нет, пожалуй, было время, когда мадам и впрямь надеялась, что заставит вас плясать под свою дудку, если бросит Мальтаверн и увезет с собой моего отца. Но ведь она должна, кажется, знать, что даже в нашем местечке найдется больше чем нужно кандидатов на его место. А то, что отец мой знает границы поместья, — это, конечно, удобно, но на худой конец ведь существует земельный кадастр.

— А может быть, — сказал я Мари, — когда моя мать узнала от господина настоятеля, как хорошо вы поставили книжную торговлю Барда, она поняла, какую выгоду вы можете извлечь из Мальтаверна. Между нами говоря, моя мать никак не заслужила своей репутации деловой женщины. Ее животная страсть к собственности проявляется лишь в том, что она чванится своими стройными соснами, а ведь многие из них давно надо было бы вырубить, они гниют и теряют всякую ценность. Если вы станете хозяйкой Мальтаверна, вы увидите, что можно будет

немедленно выручить сотни тысяч франков без всякого ущерба для имения. Даже напротив…

Она, смеясь, спросила, чего я домогаюсь: хочу соблазнить ее или внушить ей сожаление? Я запротестовал.

— Ах, — вздохнула она. — Вы истинный сын мадам. — И тихо добавила: — А воли у тебя, в сущности, не меньше, чем у нее.

— Да, — прошептал я, опустив голову. — И знаете, какая мысль преследует меня? Я знаю, на кого я буду похож в 1970 году. Я часто рассказывал вам о старике из Лассю…

Мари позвал какой-то покупатель, и она убежала, но Симон услышал меня.

— А я, господин Ален, каким буду я в 1970 году? Или, вернее, каким бы я мог быть, потому что к тому времени от меня останутся одни кости. Я не буду никем. А вот у вас будет настоящая жизнь, жизнь, о которой можно будет рассказывать, о которой вы расскажете сами, потому что меня, ее свидетеля, уже не будет в живых. Первую премию за сочинение и в 1970 году получите вы, вот увидите! А я…

— Вы, Симон — теперь мы это знаем, — вновь обретете себя, если вернетесь к своему исходному положению. То царство, от которого вы отказа-

лись, оно внутри вас и пребудет с вами повсюду, где будете вы.

— Никогда! — воскликнул он со сдержанной страстью, которой его акцент придавал комический оттенок. — Э! Уж не думаете ли вы, что я стану упрашивать их принять меня обратно!

Я не ответил, немного помолчал и, заметив, что он успокоился, спросил равнодушным тоном, встречает ли он когда-нибудь господина настоятеля. Нет, он с ним не видится, но «иногда мы обмениваемся письмами, он от меня не отступился».

— Завтра он будет завтракать на улице Шеврюс. Хотите, я приведу его в книжную лавку?

На этот раз Симон не вспылил, и его каменное лицо даже слегка порозовело, как в тот день, когда он впервые встретил меня на улице Сент-Катрин. Он сказал:

— Я был бы рад его увидеть… но только как друга, не как пастыря! С этим покончено. Больше мне никто не нужен, я сам знаю, что мне делать.

— Никто, Симон, кроме, может быть, его одного. Всегда есть кто-то, кто и в дурных и в хороших наших поступках понимает нас лучше, чем мы сами, яснее все видит. Для меня это был Донзак, потом Мари и вы тоже.

— Я, господин Ален? Я? Что я мог вам дать?

— У вас прозрачная душа, вы помогаете мне верить в благодать. Вы лишены всего, чем я был осыпан и обременен: я начинал тонуть под грузом своего большого имения, тогда как вы…

Донзак поймет, что я излагаю здесь только суть нашего разговора в комнатке за лавкой; там произошел между мной и Симоном пророческий обмен: каждый из нас ясно увидел и определил призвание другого. Не в тот день я впервые задумал писать — я писал всегда. Но именно в тот день я увидел, что могу стать писателем, пусть даже использовав как сюжет жизнь самого автора. То, что я сейчас пишу, пишу в эту минуту, я смогу потом опубликовать. Ах, последняя глава!.. Мне остается лишь перефразировать конец последней главы «Воспитания чувств»: «Он не отправился в путешествие. Он не изведал ни тоски пароходов, ни утреннего холода после ночлега в палатке, он не забывался, глядя на пейзажи и руины, не узнал горечи мимолетной дружбы… Он не вернулся, потому что никуда не уезжал…»

Когда я подошел к выходу из Пассажа, я увидел, что буйный грозовой дождь затопил наш благословенный город. Я переждал ливень вместе с другими прохожими, которые радовались и

поздравляли друг друга. Однако я испытывал чувство освобождения не только из-за грозы. Завтра я опять вернусь сюда, мы назначили здесь встречу. Но с книжной лавкой я распростился, распростился навсегда. То, ради чего я однажды появился там, пришло к своему завершению. Я вынырнул из Мальтаверна и из своего нескончаемого детства и окинул взглядом всю жизнь, которую, как уверенно предсказывал Симон, мне суждено прожить. И вот я тоже ни в чем больше не сомневался, я был уверен, был убежден в том, что не умру, хотя недуг, поразивший моего брата Лорана, каждый день уносит столько юношей и девушек вокруг и у меня самого затемнение в левом легком… Но я не умру, я буду жить, наконец-то я начну жить.

Когда дождь прекратился и мне удалось перейти улицу Сент-Катрин и по улице Марго добраться до улицы Шеврюс, я уже знал, что больше и речи нет о том, чтобы отступать с Симоном в Мальтаверн. Я устремлюсь в Париж, и да свершится все, чему суждено свершиться. Всему свой час — и вещам, и людям. Но я не утрачу тот Мальтаверн, из которого я выплываю на поверхность, я унесу его с собой, это будет мое сокровище вроде того, которое мы с Лораном закопали под сосной в надежде

вновь отыскать его на будущий год, хотя это был всего лишь ящичек с агатовыми шариками…

Донзак вправе не поверить, что все эти мысли предстали передо мной с такой ясностью сразу же после ухода из книжной лавки, пока грозовой дождь заливал Сент-Катрин. Но проблески этого видения уже были во мне, я чувствовал, что рубеж преодолен, что жизнь начинается, и это чувство радости я вновь переживаю сейчас, когда пишу. Радость! Слезы радости! Бесконечный путь, где даже грозы будут наслаждением. Мне двадцать два года. Мне двадцать два года! Разумеется, я не ликую по этому поводу: стоит подумать, как ужасно, что не пятнадцать, не восемнадцать… Я понимаю, что теперь каждый год — это ступенька, ведущая вниз. Но я останавливаюсь на пороге своих двадцати двух лет, вернее, тешу себя иллюзией, будто остановился, ибо на самом деле ни Юр, ни время не останавливают своего течения никогда.

Глава X

Мама ждала меня на лестничной площадке, но против моих ожиданий она отнюдь не была взволнована или измучена. Она стояла передо мной бледная от ярости, такая, какой я думал ее увидеть сразу после приезда, но какой она тогда не была. Бог знает что могло вывести ее из себя в мое отсутствие.

— Она спала здесь! Ты посмел уложить ее в постель своего бедного брата! Эту потаскушку!

Как же я этого не предусмотрел? Едва я вышел за дверь, она устремилась по следу, и чутье привело ее прямо к этим простыням, наспех засунутым под комод.

— Грязные простыни! Что говорить, грязи на них достаточно! Ты сам спал на них, и ты тоже! В доме своей матери, в постели своего брата! Никогда я не думала, что ты способен на такую мерзость! И ты еще смеешься, несчастное дитя! Что она только с тобой сделала!

— Я не смеюсь, я печально улыбаюсь тому, что ты снова совершаешь обычный свой грех — высказываешь необоснованные суждения. Молодая женщина, которую ты так оскорбляешь, не зная

ее, здесь никогда не была. А если бы она и пришла, то, да будет тебе известно (я на мгновение заколебался), нам не понадобилась бы постель Лорана.

Мама и бровью не повела. Должно быть, просто не поняла меня.

— Тогда кто же спал в этой комнате, на этих простынях? Кого это ты подобрал на улице?

— Но ты его отлично знаешь, мама, ты его знаешь чуть не с самого рождения.

Она решила, что я издеваюсь над ней. Когда я бросил ей в лицо имя Симона Дюбера, она на минутку онемела.

— О, только его тут не хватало! Этого отступника!

— Потеря веры еще не есть отступничество. Семинарист, покинувший семинарию, — жертва ошибки стрелочника.

— Он перешел в стан врагов, ты это отлично знаешь.

— А если я скажу тебе, что в те два дня, что он здесь жил, он каждое утро ходил к ранней мессе?

По правде говоря, бесспорных доказательств у меня не было. Возможно, он вставал на заре просто по старой крестьянской привычке. Но я не устоял перед соблазном окончательно сбить

с толку мою бедную мать, которую мне в этот момент даже стало жалко. Я сказал, что не огорчаться, а радоваться надо тому, что она от меня узнала.

— Пока ты тут делала обыск и искала следы моих преступлений, я разговаривал с Симоном — с ним-то и было у меня назначено свидание — и добился от него согласия встретиться с господином настоятелем. Не здесь, не пугайся.

Луи Ларп в белой летней куртке распахнул двери и провозгласил:

— Кушать подано, мадам.

Не помню, чтобы я когда-нибудь видел свою мать такой растерянной, как во время этого обеда, она была поколеблена в своей уверенности, в главной своей уверенности, что она всегда права, а люди именно таковы, какими она их считает, и иными быть не могут. Если я не обманывал ее и младший Дюбер действительно ходил каждое утро к мессе, значит, она судила о нем неправильно. Все, что я говорил об «этой потаскушке», ей было удобнее начисто отмести и придерживаться банальной истории о невинном мальчике, околдованном дурной женщиной. Но эту женщину она никогда не узнает. А вот Симон вновь возник перед ней. Впрочем, он никогда не

уходил со сцены, он всегда оставался предметом спора между мамой и настоятелем.

Откуда я черпаю все, что я тут пишу о маме, если не в самом себе, не в том представлении, которое сложилось у меня о ней? Не пытаюсь ли я, с тех самых пор как веду этот дневник, показать Донзаку воображаемый Мальтаверн, столь же ирреальный, как Спящая Красавица, Дракон или Рике-с-Хохолком? А что же было реальным? Моя мать, отличавшаяся здоровым аппетитом, всегда внимательная к тому, что ей подают, внушавшая кухарке трепет своими непререкаемыми суждениями, в этот вечер ни к чему не притронулась. Едва закончился обед, она удалилась к себе, предоставив мне полную возможность уйти из дому. Но я никуда не пошел; не желая терять ни глотка ночного воздуха, освеженного грозой, я распахнул все окна, но из страха перед москитами решил сидеть в темноте и даже не стал читать.

Чтение настолько заполняет всю мою жизнь (порой я спрашиваю себя, не избавляет ли оно меня от необходимости жить?), что, возможно, в двадцать два года я так и не знал бы, что скрывается за стертым выражением «внутренняя жизнь», если бы москиты моего родного города подчас не

обрекали меня на неподвижное созерцание клочка звездного неба над крышами в проеме окна. Быть может, я так никогда и не узнал бы того, что я знаю и о чем не решусь рассказать никому из страха прослыть самонадеянным дурачком или сумасшедшим. Дело в том, что слова «царство божие внутри вас» верны буквально, то есть для того чтобы в него проникнуть, достаточно погрузиться в самого себя.

Опыт, проделанный мною в тот вечер, означает важную веху в моей жизни, потому что я проник в это царство так глубоко, как никогда раньше не проникал, хотя, без сомнения, пребывал тогда в состоянии тяжкого греха. А я был воспитан в убеждении, что смертный грех безвозвратно отлучает вас от бога: это побуждает грешника махнуть на все рукой, сказать себе «погиб так погиб...» и прекратить борьбу. В тот вечер, услыхав знакомый призыв, удрученный сознанием своей греховности, я прибег к уловке Донзака, которая состоит в следующем. Надо сказать себе: «Если бы я принадлежал к сонму христиан, горячо верующих, но лишенных исповеди, как лютеране или кальвинисты, я обратился бы с мольбой о прощении к тому, кто пребывает внутри меня. Полное раскаяние, как нас учили, недоступно простым

смертным, оно уготовано лишь святым. Если же оно окажется достижимым, то достижимо и царство божие — это Сезам, который непременно откроет свои врата».

Итак, я начал думать обо всем, что произошло между Мари и мной, и установил, что не только не испытываю сожаления, но считаю свой грех не кощунством, а благодатью, что хуже всего было бы, если б вообще ни одна женщина не вошла в мою историю… Но нет, тогда благодатью было бы ее отсутствие. Теперь уже не я говорил с самим собой. Великий покой снизошел на меня. Временами я напевал на музыку Мендельсона, которой нас научили в коллеже, или Гуно, которую больше любит господин настоятель, молитву Расина:

Сердец, исполненных любви к тебе,
Господь, вовеки не смутить покоя.
Они не помышляют о себе,
По высшей воле следуют своей тропою.
О, есть ли в небесах иль на земле
То счастье, что милей блаженного покоя
Сердец, исполненных любви к тебе?

На следующее утро мама не вставала с постели.

Ставни в ее комнате были закрыты. Мучившая ее мигрень не шла ни в какое сравнение с мигренью у других женщин. Всю ночь она провела без сна, меняя компрессы на лбу. Она попросила меня извиниться перед господином настоятелем. Может быть, она преувеличила свою болезнь, желая облегчить нам свидание с глазу на глаз — ее последнюю надежду. Настоятелю было нелегко скрыть, какое счастье для него завтракать со мной вдвоем. Его дряблое, словно вылепленное из хлебного мякиша лицо, всегда такое озабоченное и печальное, было озарено невинной ребяческой радостью. Он сильно постарел, и его тонзура не нуждалась больше в услугах парикмахера, а главное, он перестал чваниться: этим он прежде всего и отличался от пастыря времен моего детства. Он утратил свой важный, самоуверенный вид.

При первых же его словах, которые во исполнение воли мадам должны были заставить меня разговориться, я уклонился. Я уверил его, что моя мать напрасно забрала себе в голову, будто единственная женщина, завладевшая моей жизнью, — это она и будто бы для меня не существует иной задачи, кроме освобождения из-под ее власти, хотя бы даже ценой безрассудного в глазах общества брака. Я остерегся внушать господину

настоятелю полное спокойствие, а лишь дал ему понять, что для меня еще ничего не решено.

— Но, — сказал я, — не я сейчас представляю для вас интерес (он хотел возразить), я хочу сказать, что не ради меня следует вам бросаться в воду, а ради Симона, с которым я вижусь теперь каждый день. Да, пришло время вытащить его на берег, но на этот раз он сам устремится туда, куда влечет его призвание, а вам останется только облегчить ему путь. И будьте осторожны, помните, что стоит вам заговорить о «духовном руководстве», как он сразу же замкнется в себе.

Он слушал меня со смиренным вниманием, и меня это трогало. Бедный настоятель, все его страстные, не знавшие применения отцовские чувства обратились на этого крестьянского парня, не бессердечного, конечно, но озлобленного и ожесточившегося, он готов был говорить о нем без конца.

— Я никогда не упускал его из виду, знаешь, я издали следил за ним, но он и не подозревал об этом. В первую зиму в Париже он заболел воспалением легких. Я завязал отношения с его хозяйкой, задобрил ее, и она сообщала мне о его здоровье — тайком, разумеется! Симон решил бы, что он при смерти, если бы узнал, что я брожу

вокруг его одра.

Мама лежала у себя в комнате, поэтому ничто не мешало настоятелю встретиться с Симоном на улице Шеврюс, а не в книжной лавке. Он согласился, «но только с разрешения мадам». Когда я, приоткрыв дверь, изложил маме нашу просьбу, она прервала меня слабым голосом:

— Ах, делайте что хотите, лишь бы он не попадался мне на глаза.

Встреча произошла в маленькой гостиной и длилась около двух часов; потом Симон отправился к себе, не простясь со мной. Они договорились, что Симон еще на год останется в Талансе, где местный священник, «святой аббат Муро» — друг господина настоятеля, — возьмет на себя заботы о нем и подготовит к возвращению в семинарию — разумеется, не в Бордо, может быть, в Иссиле-Мулино. Все это требовало немалых раздумий и хлопот.

Я со своей стороны обещал настоятелю, что скоро он увидит меня в Мальтаверне: моя мать в конце концов добилась от меня согласия на отъезд, но с оговоркой. Я заявил, что прежде я должен сделать необходимые для своей диссертации выписки в городской библиотеке. Вряд ли кто-нибудь мог похвалиться, что видел меня там

хоть раз за все это время…

Два месяца я не открывал этой тетради. То, что я пережил, не поддается никакому описанию, не укладывается в обычные слова: есть стыд, который невозможно выразить. То, что я смогу рассказать здесь об этом, будет, как и все остальное, лишь изложением событий в определенной последовательности и порядке. Итак, попытаюсь: я должен выполнить обещание, данное Донзаку… Говоря откровенно, зачем мне этот предлог? Словно сам я не испытывал горького удовольствия, снова и снова переживая этот стыд, час за часом, до самого конца моей истории, вернее, до конца одной главы моей истории, которая только еще начинается!

Я пишу это 20 октября, держа тетрадь на коленях, в нашем охотничьем домике, в урочище Шикан, затерянном в глуши, далеко от всех ферм. Стоит мягкая погода, туман, в этот день ждали большого перелета, но вяхири не летят: сегодня тепло, они прячутся в ветвях дубов и объедаются желудями. Я вижу остроносый профиль Прюдана Дюбера, его тяжелый подбородок, он высматривает сквозь вершины сосен небесные пути, по которым должны потянуться летящие стаи, если только они появятся. Раздается свист, к Прюдану

присоединяется какой-то фермер, спрашивает:

— *Rassat palumbes*?

— *Nade! Nade*![63]

Под могучими кряжистыми дубами, укрывшими нашу хижину, я всегда всем своим существом ощущаю вечность, так же как на берегах Юра проникаюсь сознанием бренности нашего бытия. Человек — это даже не мыслящий тростник, а мыслящая мошка, но и в те немногие минуты, что отпущены ей для жизни, она находит время для совокупления — вот что ужасно. Из всего происшедшего я попытаюсь записать то немногое, о чем, мне кажется, можно сказать.

Я не посещал городскую библиотеку вовсе не потому, что почти каждый вечер ходил на улицу Эглиз-Сен-Серен. С Мари я встречался только после закрытия магазина и легко мог примирить требования работы над диссертацией с требованиями своей страсти. Но в эти тяжкие тягучие дневные часы в отупевшем от жары городе я способен был только ждать… Что же тут такого? В чем, собственно, драма? Такова история всех и каждого в известном возрасте, в известный

[63] Примечания: 63

— Летят вяхири?

— Нет! Нет! *(диал.)*

момент жизни. Вероятно, нужно быть христианином, как я, или быть им хотя бы в прошлом, как Мари, чтобы думать, будто речь идет о чем-то большем, чем наша земная жизнь, когда мы уступаем инстинкту размножения, свойственному всем видам живых существ. Или, вернее, надо принадлежать к тому виду нетерпимых христиан, к которым принадлежу я: сделав уступку, они не ищут себе оправдания. Если суждено им погибнуть, они погибнут с открытыми глазами.

В одном я больше не сомневался — в искренности Мари в тот день, когда она говорила о своей боязни оторвать меня от бога, а я заподозрил, что она «притворяется». Она отказалась от бога для себя, но не для меня. Она уверяла, что я создан из сплава, в котором слилось то, что исходит от Христа и от Кибелы[64]... Но если послушать ее, во мне преобладает христианская сторона. «Я не хочу губить тебя», — твердила она. Я возражал, напоминая ей нашу ночь в Мальтаверне. Почему, вопрошали мы себя, она больше не повторилась? Почему чуть не каждый вечер я униженно возвращался на улицу Эглиз-Сен-Серен, хотя, расставаясь накануне, мы в полном согласии

[64] Примечания: 64

Кибела — в древнегреческой мифологии Великая мать богов, дарительница плодородия земли.

решали, что это в последний раз? Почему эти повторные падения так мало походили на тот наш сон в летнюю ночь, когда все счастье мира открылось мне в одно мгновение, словно наши души обрели на этот вечер, на один-единственный вечер, право соединиться в тот же миг, что и наши тела? И вот я снова обречен на отвращение. Кто вдохнул в меня это отвращение?

«Чего ты добиваешься?» — как сказала бы бедная мама. Мари не походила ни на какую другую женщину, может быть, потому, что была когда-то верующей девочкой. И в этом тоже не было лжи: ее мука бесконечно превосходила мою. Эта мука старила ее, вернее, выдавала ее настоящий возраст, тогда как я, по ее словам, сохранял свой ангельский вид, «даже крылышки не измялись», говорила она с насмешкой и тоской.

На улице Шеврюс мама, поджидая меня, бродила по комнатам с трагическим выражением лица для особо серьезных случаев. Я сколько мог тянул время под предлогом занятий в городской библиотеке. Наконец она потребовала, чтобы я хотя бы назначил дату нашего отъезда. Я отказался называть какую бы то ни было дату. По прошествии недели она уже ни о чем не спрашивала, и было ясно, что больше она себя дурачить не даст.

Она знала, откуда я возвращаюсь каждый вечер, и знала, что я это знаю. Она обнимала меня лишь затем, чтобы обнюхать, но она была слепа и не видела того, что преисполнило бы ее радостью, пойми она это: она считала, что я запутался в паутине, и это действительно было так, вернее, паутина опутывала мое тело в часы ожидания, а потом — еще несколько минут. Но о том, что ни Мари, ни я больше не помышляли соединиться навек, моя мать и не догадывалась: из моего временного порабощения она делала вывод, что я порабощен навсегда.

Вечером, после ужина, я уходил из дому, сытый и усталый. Мама знала: на этот раз я выхожу не затем, чтобы творить зло, — я всегда предлагал ей прогуляться вместе. Она отказывалась, но была спокойна. Иногда я возвращался через час, иногда попозже, если слушал музыку на площади Кенконс, где летом устраивались открытые концерты. Но чаще всего я довольствовался мороженым в кафе на площади Комеди или, невзирая на москитов, бродил по аллеям Ботанического сада, подальше от толпы, окружившей духовой оркестр 57-го полка.

Я был уверен, что теперь, в конце августа, никого здесь не встречу. Но в тот вечер на скамье

в дальнем углу площадки сада сидел какой-то молодой человек и курил трубку. Я устроился на другом конце скамьи, не глядя в его сторону. Он насмешливо спросил:

— Август, а ты в Бордо? Почему не в Аркашоне, или Понтейяке, или Люшоне?

Я узнал студента последнего курса по фамилии Келлер, одного из тех христиан, которые «идут в народ», «сеятеля», одного из тех молодых людей, которых я раздражал еще прежде, чем раскрывал рот.

— Должно быть, потому, — сказал я вызывающим тоном, — что здесь у меня есть занятия повеселее.

Он проворчал:

— Чего же еще от тебя ждать?

Когда мы с ним познакомились на факультете два года назад, этот апостол, прельстившись мной, пустился проповедовать. Но тогда книга Барреса «Под взглядом варваров» давала мне ответ на все, снабжала меня формулами для защиты от коллег «с язвительным, раскатистым смехом». От всех прочих я отгораживался «гладкой поверхностью». Я не преминул воспользоваться этим оружием и против Келлера, который вскоре определил меня как одно из самых презренных

существ в мире — обеспеченный крупный буржуа.

— А что ты знаешь обо мне? — возразил я. — Только то, что я сам позволил увидеть, чтобы ты оставил меня в покое и все это кончилось. С таким же успехом я мог представить номер в твоем вкусе, в жанре «возвышенной души».

— Что же скрывается под каждой из этих масок? Полагаю, нечто не слишком привлекательное…

— Но я ведь не прошу тебя смотреть!

Мой тон, очевидно, поразил этого христианина, и он поспешно сказал:

— Прости, пожалуйста. Признаюсь, я не имел права относиться к этому так свысока. Все мы одинаково несчастны.

— Да, Келлер, но есть разница между таким несчастным, как я, избалованным, пресыщенным, думающим только о себе, и таким несчастным, как ты, алчущим и жаждущим справедливости.

— О! Но ты знаешь, несмотря ни на что, я ищу радости… Мы должны снова увидеться, — продолжал он с воодушевлением, — я не буду читать тебе проповеди.

Я почувствовал желание рассказать обо всем, довериться ему. Я задыхался. Я сказал:

— Охотно, но я сейчас переживаю тяжелое время. Бог покинул меня.

Он взял меня за руку и ненадолго задержал ее в своей.

— «Когда думаете вы, что далеки от меня, тогда я ближе всего к вам». Знаешь эти слова из «Подражания»?

— Но дело не просто в холодности, в черствости, я творю зло.

— Ты творишь зло?

— Да, и та, с кем я творю его, не меньше меня желает, чтобы мы отказались от зла… Но каждый день наступает час, когда это не зависит ни от нее, ни от меня…

— Да, я понимаю, — сказал Келлер проникновенно. — Я буду молиться за тебя. Я близко знаком с настоятельницей монастыря визитандинок.

— О нет, — возразил я. — Не стоит труда. Это такие пустяки, меньше, чем пустяки…

— Ты называешь это пустяками?

Я встал, я снова заговорил тем тоном, который в свое время приводил Келлера в отчаяние.

— Да, я исполнен смирения, в смирении я не знаю себе равных, я полагаю, что ни один мой поступок не имеет ни малейшего значения.

— И однако же, от малейшего нашего поступ-

ка зависит наше вечное спасение. Ты в это не веришь?

— Нет, верю… Но от этого поступка не больше, чем от другого. Худшее во мне, Келлер, — это, видишь ли, не мои дела, это даже не мои мысли. Худшее во мне — равнодушие, отсутствие той страсти, которой одержим и ты, христианин, и все молодые воители — социалисты, анархисты… Худшее во мне то, что я равнодушен к страданиям других и охотно мирюсь со своим привилегированным положением…

— Ты — буржуа, крупный буржуа, его нужно убить в тебе. Мы убьем его, вот увидишь.

— У буржуазии крепкий хребет. Я родом из тех крестьян, жителей ланд, которые заставляют стариков родителей работать, пока те не подохнут, а если берут в прислуги какую-нибудь маленькую девчушку — «девку», как они выражаются, — то выдерживает она только потому, что этот возраст все стерпит…

Я замолчал, устыдившись, что доверился этой случайно встретившейся мне возвышенной душе, и встал.

— Прощай, Келлер. Не ходи за мной. Забудь все, что я сказал. Забудь обо мне.

— Неужели ты думаешь, что я о тебе забуду?

Мы увидимся, когда начнутся занятия? Обещай мне…

Бедный Келлер! Он будет молиться, страдать за меня, заставит молиться и страдать святых сестер. Какое безумие! И однако же, ничто на свете не волнует меня сильнее, чем это общение святых душ, их взаимодействие: мое раздражение против Келлера было вызвано тем, что он коснулся самых сокровенных моих тайн, но я не сомневался в его власти воздействовать на мои дела и направить их по другому руслу. Нет, я не думаю, что происшедшие на следующий день события были связаны с этой встречей в Ботаническом саду. Все, что случилось, было в порядке вещей и даже неизбежно: мама не могла больше терпеть эту неопределенность и тревогу, время шло, пора было ей вмешаться.

На следующее утро, едва открыв глаза, я уже знал, что в обычный час мне не придется звонить у дома на улице Эглиз-Сен-Серен, что Мари будет ждать меня за дверью. Дождя не было, но где-то он, должно быть, прошел, дышалось, во всяком случае, легче. Я мог весь день, словно заблудившийся пес, трусить рысцой по набережным. Я дошел до самых доков. Обратно приехал в трамвае, стоя на задней площадке, зажатый

в толпе докеров. Я побродил еще немного. Все, что я делал до ожидаемой минуты, значения не имело. В половине седьмого Мари за дверью не оказалось, я позвонил, но тщетно. Должно быть, ее задержали. Я решил прогуляться по улицам, ждать тут было невмоготу. Минут на десять я погрузился в темные недра церкви Сен-Серен, самой мрачной во всем городе, потом вернулся к дому Мари. И тут я увидел, что она переходит улицу. Она была бледна и задыхалась. Она достала ключ из кармана:

— Входи скорее.

Она втолкнула меня в гостиную с закрытыми ставнями. Не успев даже снять шляпку, она сказала:

— Сейчас я видела твою мать.

— Где ты ее видела? Ты говорила с ней?

— Да, представь себе! Я показывала книгу покупателю. Вдруг мне стало не по себе от пристального взгляда дамы в черном, довольно полной и с виду очень важной, которая вошла в лавку. Я сразу почувствовала, что это не покупательница, что интересую ее только я, и вдруг я увидела тебя, да, тебя, Ален, передо мной возник твой ангельский лик, отделившийся от этого крупного властного

лица Агриппины[65] или Гофолии[66]. Я узнала твою мать, такой я и рисовала ее себе. Пожирать глазами — оказывается, это бывает буквально так! Мало сказать: «пожирала» глазами — она рвала меня на куски. Мне казалось, я знаю, что значит быть чьим-нибудь врагом. Нет, чувствовать к себе ненависть, настоящую ненависть приходится гораздо реже, чем кажется: как будто вас убивают медленной смертью, чтобы сильнее насладиться этим, если возможно, — теперь я знаю, как выглядит ненависть.

Может быть, надо было дать ей уйти? Что бы сделал ты, Ален? Я уступила своему первому побуждению, в сущности, пожалуй, любопытству. Я обратилась к ней, спросив самым деловым тоном: «Что вам угодно, мадам?» Она несколько опешила. Потом заявила, что зашла лишь взглянуть на новинки. «Да, — сказала я, — а быть может, и на меня?» Представь себе ее лицо в этот момент. «Вы знаете, кто я?» — «Я знаю о вас все, мадам». Она побледнела как смерть, она прошептала:

---

[65] Примечания: 65

Агриппина (15–59) — римская императрица, отличавшаяся беспринципностью и крайним аморализмом.

[66] Примечания: 66

Гофолия — жена иудейского царя Иорама, которая ввела в Иудейском царстве поклонение Ваалу. Силой присвоила себе престол, истребив почти весь род Давида.

«Он говорит с вами обо мне? Теперь меня уже ничто не сможет удивить!» Я возразила: «О, я все о вас знаю не потому, что он рассказывает мне о вас, а потому, что на нем лежит ваша печать, вы сами вылепили его, он — дело ваших рук, даже когда он ускользает от вас; я знаю о вас все в той мере, в какой я знаю все о нем». Она сказала: «Все это слова…» — тем тоном, каким, должно быть, говорила тебе раньше «пустомеля». «Невозможно разговаривать в этой лавке…» — проворчала она. «Тут есть подсобное помещение, мадам. Если вы считаете для себя возможным пройти туда…» Она согласилась. Я попросила Балежа заняться на несколько минут покупателями и ввела твою мать в закуток.

— Мама — в закутке!

— Да, представь себе, в этом шкафу мы оказались, как ты любишь выражаться, нос к носу. Первые обращенные ко мне слова не соответствовали ее бешенству; очевидно, она их подготовила заранее, с холодной головой, и, мне кажется, по мере того как она их выкладывала, она сама успокаивалась и постепенно применялась к их звучанию. Она заверила меня, что воздерживалась от всякого суждения обо мне, более того, она заинтересована в том, чтобы все хорошее, что

ты говорил ей обо мне, было правдой, и хотела бы этому верить. «Но, мадемуазель, если вы действительно столь избранное существо, каким он вас изобразил (помимо ее воли презрение шипело змеей в этих словах), то невозможно, чтобы, любя Алена так, как, по вашим словам, вы его любите, вы не понимали, что ничего не может быть хуже для двадцатидвухлетнего мальчика, которому в известном отношении не больше пятнадцати…» — «Ему было пятнадцать, мадам, до того, как он со мной встретился». Она отлично поняла, о чем я говорю, стиснула челюсти, но сдержалась и продолжала: «Ничего не может быть хуже, чем женитьба на женщине, которая настолько старше его, и, простите, если я обижаю вас, но что поделаешь, на женщине с прошлым…» — «Да, — сказала я, — и с настоящим, и, почему бы и не сказать, с будущим!» Я дразнила ее из холодного расчета, чтобы она вышла из себя. Но она продолжала: «Не думаете ли вы, мадемуазель, что найдется на свете мать, которую не огорчила бы подобная женитьба? Я уж не напоминаю вам о том, что делает в буквальном смысле слова немыслимым союз между двумя нашими семьями…» — «Разумеется, мадам… прежде всего я не принадлежу к тому, что называется хорошей

семьей. А Ален, он — молодой Гажак, типичный молодой человек из хорошей семьи...»

Я с раздражением прервал Мари:

— Ты высмеивала меня перед моей матерью! Тебе хотелось блеснуть, взять над ней верх, раздавить ее, и ты воспользовалась мною.

— Что ж, — сказала она, — не стану скрывать, я испытала острое наслаждение, сводя эти счеты, я позволила себе удовольствие дерзить вовсю. Высшей дерзостью было бы сказать ей то, что вертелось у меня на языке: «Ваш сын просил моей руки, но успокойтесь, и речи быть не может, чтобы я согласилась: я люблю Алена, а не его богатство, которое вызывает у меня ужас, не его среду, которая мне отвратительна...» Я могла бы даже признать, что разница в возрасте может быть угрозой нашему счастью, и для меня в большей степени, чем для тебя. Да... Но, Ален, это значило бы выдать ей секрет, снять с нее огромную тяжесть, она сразу снова стала бы хозяйкой твоей жизни, а ты лишился бы обменной монеты, которой я тебя снабдила: ведь твоя мать готова согласиться на все, лишь бы я исчезла. Значит, надо было продолжать игру, и я сыграла ее до конца. Сначала я с ней не спорила, я дала себе труд вникнуть в ее доводы. Я признала, что с

точки зрения социальной и даже с любой точки зрения я отнюдь не являюсь той супругой, о какой мечтает мать единственного сына, да еще такого богатого, как ты… Разве лишь, добавила я, с одной целью — избавить его от худшего зла…

— О! — возмутился я. — Надеюсь, ты не бросила ей в лицо обвинение в страсти к земле, не упомянула о Нума Серисе, Вошке?

— Нет, я ничего не бросала ей в лицо, я все ей преподнесла весьма любезно — так, чтобы она не ушла, хлопнув дверью. Я вменила себе в заслугу, что теперь почти все связывавшие тебя путы порваны, но призналась, что освободила тебя еще не до конца; я объяснила, как нетрудно было бы доказать тебе, что не требуется никакого колдовства, чтобы наблюдать за тем, как растут сосны, которые растут сами по себе, чтобы заставлять фермеров собирать смолу и класть себе в карман денежки. Вместо того чтобы гноить деревья, которые давно уже следовало вырубить и к вящей выгоде заменить новыми, я научила бы тебя проводить регулярные вырубки и обеспечила бы тебе огромный годовой доход, из которого сейчас вашим фермерам ничего не достается… Но мы, сказала я, все эти порядки переменим — выручку за проданный лес мы будем делить с фермерами.

Так мы решили, Ален и я…

— Но это неправда, — воскликнул я, — не могла ты ей сказать такую ложь!

— А вот и сказала! Доставила себе такое удовольствие.

О, этот недобрый голос Мари, я не раз его слышал, когда на мгновение прорывалась горечь, накопившаяся в ней за годы ее печальной юности, но только встреча с моей матерью разрушила все плотины, и хлынул этот поток, окативший заодно и меня. Я вдруг оказался на стороне своей матери. Я понял это по вырвавшемуся у меня крику:

— Да во что ты вмешиваешься!

— А! — крикнула она в исступлении. — Вот оно что! Это почище, чем «кто тебе сказал?» Гермионы[67]! Что же так возмутило тебя: оскорбление, нанесенное матери, или, может быть, идея разделить с фермерами деньги за вырубку сосен? Так, значит, из-за того, что я хотела отнять у тебя эту кость, ты показал вдруг клыки! О, ты истинный сын своей матери! Беги, утешь ее!

Я пробормотал:

— Мари, дорогая…

---

[67] Примечания: 67

Гремиона — действующее лицо поздней пьесы У. Шекспира «Зимняя буря».

Я хотел обнять ее, но она меня оттолкнула: она была вне себя.

— А вот чего ты, боюсь, никогда не сумеешь — это вести себя с женщиной как мужчина: этому научить нельзя.

Сначала я даже не почувствовал удара и стоял неподвижно, опустив руки. Должно быть, она увидела мое перевернутое лицо и мигом отрезвела. Она простонала:

— Ален, малыш мой…

Но теперь настала моя очередь оттолкнуть ее, и я изо всех сил хлопнул входной дверью.

Глава XI

Льет дождь на дубы Шикана. От неумолчного шороха капель уединение этого затерянного в ландах уголка кажется еще более полным. У меня есть убежище — крохотная столовая, сложенная из сосновых бревен и крытая сухим папоротником, она сливается с хижиной и не отпугивает вяхирей. В комнатке камин, когда-то в нем жарили для Лорана жаворонков, которых он отстреливал в полях Жуано; он не любил охоту на вяхирей: ведь она вынуждает охотника сидеть неподвижно. Вот уже четыре года, как он лежит не шевелясь, бедный мальчуган, не шевелясь лежит то, что от него осталось. То, что осталось от этого молодого, полного жизни существа... Ничто ни к чему не приводит в этом мире. Но очевидность этой истины бессильна против тоски, порожденной определенным событием — несчастьем, уже свершившимся, непоправимым, которое мне придется нести те шестьдесят лет, что я еще отпустил себе для жизни. Попытаюсь победить эту тоску, продолжая в своей тетради нашу историю с того места, где я ее прервал, переживая ее снова, минуту за минутой, до по-

следнего сразившего меня удара.

Итак, дверь Мари захлопнулась за мной: все кончено, на этот раз все кончено бесповоротно. «Ален, малыш мой!» Ее последний призыв взбесил меня, вместо того, чтобы растрогать. Нет, я не «твой малыш». Как ты ни стара, ты все же не могла бы быть моей матерью. Я спускаюсь по улице Эглиз-Сен-Серен, я бегу к маме — кто знает, быть может, она при смерти. Она иногда жалуется на сердце, она часто говорит: «У нас в семье умирают от сердца». Луи Ларп, поджидавший меня на площадке, предупредил, что у мадам мигрень и обедать она не будет. Я, не стучась, захожу к ней в комнату. Она лежит, но не в темноте, как бывает в самые тяжелые дни. Лампа у ее изголовья зажжена. Она очень бледна, улыбается мне и как будто спокойна. Я стараюсь не выдать себя, но неужели она не заметит, что я потрясен? Она привлекает меня к себе, и я разражаюсь рыданиями, словно в былые времена, когда я получал прощение после вспышки гнева и она говорила: «Ты умеешь раскаиваться».

— Что с тобой, дорогой мой?

— Я знаю, тебе причинили боль.

— Ах, ты знаешь? Да, боль… но также и облегчение. Не все ли равно, что думает о нас эта

несчастная девушка? Главное, что в душе своей — надо отдать ей справедливость — она понимает, какое непреодолимое расстояние лежит между нею и тобой, теперь я спокойна…

— Она сказала тебе, что отказалась?..

— О! Не окончательно, но я поняла: она решила сыграть благородную роль. Она не желает твоих денег, твоих земель, твоей буржуазной среды. Это она тебе отказывает, понимаешь? (Мама рассмеялась, настолько это казалось ей нелепым.) Что ж, я вполне довольна!

Значит, все произошло не так, как рассказала мне Мари. Она изобразила передо мной наполовину вымышленную сцену. Для чего? Чтобы отомстить за то, что потерпела поражение? А она, конечно, потерпела его, раз к маме вернулось спокойствие.

— Да, я успокоилась. О, не столько из-за ее выпада против всего, что мы для нее олицетворяем, но и оттого, бедный дружок мой, что я увидела ее. Я признаю, — добавила она тут же, — у нее прекрасные глаза. Этого у нее не отнимешь. Но выглядит она много старше своего возраста: это женщина, которая трудится, ведь так?

— Да, — сказал я, — и которая много страдала.

— О! Такие страдания…

Мама благоразумно проглотила последние слова. Помолчав, я спросил:

— Вы говорили о Мальтаверне?

— Нет, разумеется! На это у нее не хватило наглости, если не считать ее тирады против земельной собственности и крупных собственников.

— Ручаюсь, она возмущалась тем, что мы не делимся с фермерами доходами от вырубки леса?

Я спросил это самым безразличным тоном. Слегка отодвинувшись, я разглядывал освещенное лампой крупное бледное лицо, на котором не выражалось ничего, кроме изумления:

— Чего ты добиваешься? Представляешь себе, как бы я отчитала ее, если бы она посмела… Но ты не ужинал, мой бедный малыш. Сегодня у нас заливной цыпленок. Иди, не беспокойся обо мне, я довольна.

Я был голоден и поел с аппетитом под одобрительным взглядом Луи Ларпа. Я еще не страдал. Может быть, я и не буду страдать? Я считался болезненно-чувствительным ребенком, а потом — подростком и сам этому верил. Но только я один знал, каким чудовищем равнодушия могу я внезапно обернуться, и не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе.

Почему Мари обрушилась именно на меня? Почему она решила выместить на мне обиду за то, что мама взяла над ней верх, как брала верх над фермерами, слугами, арендаторами, поставщиками, Нума Серисом и, более чем над всеми, над своим несчастным сыном? Быть может, Мари внезапно возненавидела во мне все, что раньше особенно любила: мою слабость, мою неизлечимую инфантильность. «Чего я добиваюсь?» Она решительно вырвалась из своего последнего сна о счастье, которое воплощалось для нее во мне… А я? А я? Растянувшись за кисейным пологом, я прислушивался к зудению москитов, круживших вокруг меня с ожесточением диких зверей. Я и не подозревал, что появление самого опасного зверя еще впереди. Я все твердил: а я? Я стиснул зубы. Нет, я не так чувствителен, как все они считают, и даже не так слаб.

Через два дня мы отправились в Мальтаверн. Накануне я ездил попрощаться с Симоном. Я назначил встречу у него в Талансе, там мы могли беседовать без помех. Мне не удалось уговорить его поехать со мной хотя бы на несколько дней. Он отказывался не только из-за мадам — больше всего его пугали Дюпоры. Симон успокоился, смягчился; имя господина Муро не сходило у него

с языка. Он отдал себя в руки господина Муро. Я признался, что совершенно не способен на такое полное, по Паскалю, подчинение своему духовному руководителю. Последний год работы в лицее теперь уже не страшил Симона. Это будет время «сосредоточенности», как он говорил. Потом он поступит в семинарию в Иси: «К тому времени вы будете в Париже, мы с вами увидимся». Для него не было никакого сомнения в том, что я поеду в Париж и по-прежнему буду осыпан и обременен всем тем, что ему дано познать только через меня и во мне. Я пошутил, что таким образом он будет познавать мир при моем посредстве и, пока я буду губить себя, он заработает себе спасение. Он произнес вполголоса: «Наше спасение, спасение нас обоих».

Я не знал, что он тоже нанесет мне удар. Я считал его безобидным, не способным причинить мне ни добро, ни зло, да, самым безобидным существом. Мы еще не обменялись ни единым словом о Мари, и я чувствовал, что за этим молчанием что-то кроется. Я привык вечно слышать от своей подозрительной и проницательной мамы: «Ты от меня что-то скрываешь». Я сам перенял у нее эту склонность доискиваться, что скрывают от меня другие. Прощаясь, я спросил у Симона, знает ли

он все обо мне и Мари? Да, он видел ее вчера. Я пожалел, что произнес это имя. Я чувствовал, что ему не хватит такта, этому крестьянину. Такта ему не хватило, он сказал:

— Знаете, ей словно больной зуб вырвали… — И добавил: — Это лучше для вас обоих. Ведь, как бы там ни было, она никогда не верила… Вы подозревали, что она мечтает о браке. В ее-то положении — да нет, что вы! Такая умница, как она, пожалуй, могла бы подвести вас к этому, но она прекрасно понимала, какой это будет ад. Она не сумасшедшая. Но, только если бы эта история слишком затянулась, она могла испортить кое-что другое, а это для нее дело решенное. Правда, старик Бард не так уж строго на все смотрит…

— А какое дело Барду до личной жизни Мари?

— Вот тебе на! Разумеется, в этом смысле между ними ничего нет, да никогда и не будет. Старику Барду семьдесят лет. В сущности, Мари выходит замуж за книжную лавку. Он и так превратился только в счетовода, а душой дела стала она. Книжная лавка, знаете ли, для нее все. Клянусь вам, она предпочитает ее Мальтаверну. Послушали бы вы, как она вспоминала о крапиве на берегу Юра, о мухах, о езде в двуколке на одолеваемой слепнями кляче, об ожидании на Низанском вокзале…

— Если мог кто-нибудь понять Мальтаверн, его истекающие смолой сосны, эту скорбную бесплодную землю, то именно Мари…

— Э, нет, господин Ален, надо там родиться и чтобы наши деды и прадеды родились там. Только мы с вами… Она городская, она и жизнь-то проводит не на улице, не на вольном воздухе, а в Пассаже.

— И вы думаете, будто Бард и она…

— О, не раньше Нового года, скорее, к середине января…

— Значит, я был последней передышкой, которую она себе позволила… Все-таки это ужасно.

— Да нет же, ведь ничего такого не произойдет, ничего и не может произойти, просто они устроят свою жизнь…

— Да и что тут такого! — воскликнул я. — Она привыкла к старикам.

— Это нехорошо, господин Ален, это нехорошо!

— Какой ужас — старики, которые стремятся приблизиться к молодым, какая мерзость! А старые писатели еще смеют говорить об этом в своих книгах, и не стыдно им? Подумать только, она была обречена на это! Правда, у нее был я. Но так оно бывает всегда. Когда Балеж уйдет на покой, она сможет нанять себе двадцатилетнего

приказчика.

— Нет, господин Ален, она вас любила, она вас любит.

— Что ж, полюбит и двадцатилетнего приказчика, а потом они убьют Барда и поженятся. Что и говорить, все это вполне в духе Золя, эта книжная лавка в Пассаже.

— О! Господин Ален, что вы! Это нехорошо…

— И в ней тоже есть что-то от Золя — то, что я всегда ненавидел. Что может понять в Мальтаверне Тереза Ракен[68]? А все-таки она его полюбила, знаете, она любила его в вечер вашего приезда, и потом ночью, и еще на рассвете, до того, как отверзлась эта раскаленная печь, и сосны, казалось, протягивали к нам ветви, благословляя ее и меня… Но нет, они благословляли только меня, они знали только меня, у нее с ними не было ничего общего.

И вдруг меня охватила ярость:

— Да, конечно же, она создана для Барда! В конце концов, она ненамного его моложе!

— О, господин Ален!

— Как только для женщины кончилась первая

---

[68] Примечания: 68

«Тереза Ракен» — роман французского писателя Э. Золя (1840–1902), главная героиня которого — молодая хозяйка галантерейной лавки в Париже.

молодость, она уже переходит в другой стан, в стан Барда.

Я не знал, что скорбь может довести меня до бешенства.

— И подумать только, — закричал я, — что все эти священники скулят втихомолку и жалуются на безбрачие, тогда как лучшее в их существовании то, что они избавлены от этого скотства. Даже у скотины это не так грязно!

— О, господин Ален, как сказала бы мадам, вы заговариваетесь. Плоть священна, вы это знаете.

Я разрыдался:

— Да, я это знаю.

Симон не имел ни малейшего представления, что нужно делать и говорить, когда такой господин, как господин Ален, рыдает перед ним. С самого детства он никогда не плакал — ни перед другими, ни даже в одиночестве. Слезы тоже были одной из моих привилегий.

Я быстро пришел в себя, вытер глаза, извинился: просто меня поразил этот брак со стариком. Но я уже начинаю привыкать к этой мысли. Так, значит, замуж она выходит за книжную лавку, чего же лучше? Все прекрасно… Я сел в автомобиль. С Симоном мы увидимся, когда начнутся занятия. Едва «дион» отъехал, я снова начал страдать. Это

страдание совсем не походило на то, что я обычно именовал страданием. Оно причиняло физическую боль, было физически невыносимым. Мари знала, она это всегда знала, она взяла себе для забавы желторотого птенца, прежде чем связать себя навсегда. Когда она станет госпожой Бард, ей придется вести себя осторожно. Как справиться с этой болью? Долго я так не выдержу. Если бы мне не надо было завтра уезжать в Мальтаверн, я разыскал бы Келлера, он отвел бы меня в свое братство — может быть, я там встретил бы кого-нибудь. Он сказал: «„Братство сеятелей“ — это дружба». Люди любят друг друга, это любовь, тут нет никакого скотства.

На следующий день мы уже были в Мальтаверне. Я и слышать не хотел ни о Люшоне, ни о том, чтобы поселиться где-нибудь в гостинице. Мама видела, что я страдаю, но считала, что через несколько дней это пройдет. Операция сделана, и сейчас наступил, как всегда, тяжелый послеоперационный период. А сама она была спокойной и нежной, какой я не видел ее уже много лет, умиротворенной, как человек, избежавший смертельной опасности. Она и не подозревала, что была буквально на шаг от величайшего несчастья, никогда не была она к нему ближе, чем в

тяжкие часы между краткими просветлениями, еще дарованными мне судьбой. Эти строки я пишу только для себя, их не прочтет даже Донзак, потому что самое постыдное, самое презренное — это сделать вид, что хочешь умереть, и не умирать. Неудавшееся самоубийство всегда вызывает подозрение, но оказаться неспособным даже на неудачу! Лучше уж не давать повода для насмешек.

Итак, что же оберегало меня все это время — после встречи с Симоном накануне отъезда в Мальтаверн и до сегодняшнего дня — от безумного желания заснуть навеки, от этого «стремления-не-жить»? Я не знаю, что известно об этом недуге врачам, но хорошо знаю, что испытывает несчастный, в чьем роду и прадед и брат прадеда утопились в лагуне Тешуэйра. Пастухи называют этот недуг «пелагрой» и говорят, что всех, кто им страдает, тянет в воду.

Я думаю, что эта болезнь, подобно всем прочим болезням, у нас в крови, она порождена тоской, отпущенной нам в смертельных дозах, она составляет самую сердцевину нашего существа, она появляется на свет вместе с нами и звучит уже в первом нашем младенческом крике.

В течение последних недель, которые я прожил

рядом с мамой, смягчившейся и просветленной, прощавшей мне все, готовой во вред себе кормить меня раками и грибами, я пришел к заключению, что от смерти меня уберегла только моя неумелость. «Ничего-то ты не умеешь делать собственными руками, — не раз с презрением говорила мне мама, — ты не способен даже стать грузчиком!» Да, и даже убить себя. Лагуна Тешуэйра сейчас совсем обмелела. А яд… разве можно купить его у аптекаря без рецепта? Я слишком труслив, чтобы решиться принять смерть, как Анна Каренина, под колесами поезда, слишком труслив, чтобы броситься вниз с высоты, слишком труслив, чтобы нажать гашетку.

Самое странное, что единственная моя опора — вера в вечную жизнь — не имела тогда для меня ни малейшего значения. За дефинициями малого катехизиса и запретами казуистов мне слышался издевательский хохот: эти болваны приравнивают к убийству акт добровольного ухода из жизни… Прежде всего не такой уж он добровольный, поскольку его необходимость заложена в нас так же, как все, что убивает нас изо дня в день, от рождения до самой смерти. В этот мой приезд земля Мальтаверна стала для меня именно тем, чем она была, — угрюмыми

бесплодными ландами, которые рано или поздно выгорят дотла. Преображал ее мой собственный взгляд, магия моего взгляда. Так же как и Мари. Земля Мальтаверна и Мари навсегда остались такими, какие есть. Я потерял над ними власть преображения. Только бы Мари не подумала, что я хотел умереть из-за нее.

Я пытаюсь молиться, но слова лишаются всякого смысла, когда я произношу их, и это прибежище, где я так часто спасался и где, как я считал, можно погрузиться в созерцание, оборачивается зияющим провалом в пустоту, в ничто.

Но, повторяю, бывают дни облегчения. Неожиданно я снова обретаю вкус к жизни. Я знаю, это ненадолго, болезнь вернется, но я пользуюсь временем, отпущенным мне для передышки. Глубокой ночью я встаю и выхожу босиком на балкон, где мы с Мари стояли, опершись на перила. И мои глаза видят все это еще раз, да, все это было — небо с угасающими звездами, вознесенные к небу вершины сосен, и мои глаза, смотревшие на них, и сжимавшееся от отчаяния сердце. Это было, я лгал, утверждая, что ничего не было, и, если я потерял ключ от этого бессмысленного мира, это еще не значит, что ключа нет.

Часы облегчения приходили все чаще, пока не

произошел случай, о котором я сейчас расскажу. Я и правда думал, что это только случай, а это был тот поворотный пункт, где судьба подстерегала меня и схватила за горло, словно все мои мысли о самоубийстве были предвестием беды, готовой обрушиться на всех нас.

Хотя в сентябре никто уже не купается возле мельницы господина Лапейра — вода там холодна как лед, — но в этот день было так тепло, что я на всякий случай захватил с собой купальный костюм. Без сомнения, меня не покидала мысль о возможности покончить все разом в этот день: ведь я, наверное, буду там один. Меня страшил конец Анны Карениной, но не конец Офелии — скорее всего, я втайне знал, что инстинктивно начну делать движения, которые не дадут мне утонуть. У меня мелькали какие-то неясные мысли о возможности несчастного случая. Я представлял себе горе матери, горе Мари. Будут говорить то, что говорят в таких случаях: предполагать судорогу, кровоизлияние. Свидетелей не будет.

Спускаясь по песчаной дороге к мельнице, я с досадой увидел, что в пруду плещется какой-то одинокий купальщик. Вода слишком холодна, долго он там не пробудет. Я решил подождать,

пока он освободит мне место, и скользнул в гущу папоротника, откуда мог наблюдать за ним, сам оставаясь незамеченным. Есть особое удовольствие — обычно в нем не признаются, но я признаюсь — смотреть на того, кто нас не видит, даже не знает, что мы здесь, и думает, что он один. Поистине удовольствие, доступное только богу. Очень скоро я заметил, что мой купальщик был купальщицей — правда, такой тоненькой и длинноногой, что легко было ошибиться. Но, пожалуй, уже не маленькой девочкой. У девочек не поймешь — девочки никогда не бывают детьми, детство им заказано. Эта, очевидно, была еще девчушкой, она купалась в мальчишечьем купальнике. Девица из местечка никогда бы себе этого не позволила. Она вышла из воды, уселась на берегу на солнышке, чтобы обсохнуть, огляделась вокруг. Был полдень — тишина и безлюдье. Она проворно спустила бретельки купальника, невинно обнажив худенькие плечики и едва наметившуюся грудь. То, что я почувствовал, совсем не похоже на то, что может подумать Донзак, — не сладострастие фавна. Нет, маленькие девочки еще не вызывают у меня дурных мыслей. Мне показалось, будто кулак, сжимавший мое горло, внезапно разжался (если бы я только знал!), будто

кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы — в том мире, которого я не знал и в который, впрочем, ничто и никто не заставит меня вступить, если я предпочту сидеть в своей комнате, где одни только книги и нет ни одного человека.

Поднявшись, девочка долго стояла под лучами солнца, и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на нее — пусть это важно только для меня одного, — я, как всегда при виде прекрасного юного тела, ощутил со всей несомненностью, что бог есть. Бог существует, вы видите сами. И тот же голос, который кричал мне в ухо: «Все перед тобой, все тебе дано, убивай и ешь…» — тот же голос шептал: «Но ты можешь выбирать: и отказаться от всего, и искать меня, и в этом единственный выход».

Девчушка исчезла в зарослях папоротника и скоро появилась снова, в коротенькой юбчонке, не слишком красивая, насколько я мог судить издали: круглая гребенка туго стягивала ее волосы, и лоб казался слишком высоким.

Но я видел ее без платья и знал, что она прекрасна — не красотой, запечатленной в уже сложившихся чертах, а той, что таится в изменчи-

вых линиях, складывающихся в пору созревания. Я подглядел мгновение между зарей и рассветом, или, вернее, между рассветом и утром, — чудо, которое продлится недолго и по-настоящему еще не началось.

Я дал ей уйти и пошел следом, держась чуть поодаль. Она шагала, то чинная и серьезная, как взрослая девушка, потом, вдруг подпрыгнув, как козленок, ныряла в чащу папоротника, наклонялась, что-то там собирала и снова шагала дальше. Неожиданно сухая ветка хрустнула у меня под ногой. Она обернулась, поднесла ручонку к глазам, чтобы рассмотреть, кто это идет за ней, и вдруг — может быть, она узнала меня? — бросилась бежать со всех ног и исчезла за поворотом тропинки. Когда я подошел к повороту, ее уже и след простыл — должно быть, скрылась в лесу.

Глава XII

Возвращаясь с мельницы, весь поглощенный мыслями о вспугнутой купальщице, я издали увидел, что мама поджидает меня на крыльце. Она крикнула, что мне пришла телеграмма, и, когда я подошел, протянула ее мне, уже вскрытую:

— Я ее вскрыла, естественно! Это Симон… хватает же наглости!

Я прочел: «*Необходимо срочно увидеться. Телеграфируйте возможность приехать завтра Таланс*».

— Если хочешь послушать моего совета, потребуй, чтобы он сначала написал, в чем дело.

— Нет, он скромнейший человек. У него, должно быть, есть серьезные причины. Я поеду завтра же утром. Надо только предупредить шофера.

— Разумеется! И автомобиль твой, и шофер твой.

В предрассветном тумане петухи Мальтаверна перекликались с петухами дальних ферм. «Крик, повторяемый тысячью часовых». Я был почти уверен, что вызывает меня Мари и что я застану ее у Симона. Мне это было даже не слиш-

ком любопытно, я твердо решил уклониться от бесполезных объяснений; когда имеешь дело с комедианткой, нет надобности притворяться, будто веришь в реальность создаваемого ею персонажа, даже если она сама в него верит и умеет обмануть себя. Донзак говорит о романах Бурже[69], что это грошовая психология Да, именно такой медной монетой мы расплачиваемся друг с другом. А кроме того, хотя я и обрел сейчас какую-то передышку на своем пути, я был в полном изнеможении, я уже ничего не чувствовал. Сидя один в автомобиле, я смеялся при мысли, что из всех моих претензий к Мари всплыло на поверхность только то, что сказала она Симону о крапиве на берегу Юра, о мухах, о двуколке и о Низанском вокзале, — ее отречение от Мальтаверна, она отреклась от него, неблагодарная, недостойная, идиотка!

Ее не было у Симона, когда я приехал, но она должна была прийти к завтраку. Бард беснуется, сказал Симон, оттого, что Мари бросит на час лавку. Она была в отчаянии, что сама не рассказала мне о своем будущем замужестве, которое

[69] Примечания: 69

Бурже Поль (1852–1935) — французский критик и романист, который с консервативных позиций католицизма и монархизма выступал против материалистического направления.

сводилось для нее только к тому, чтобы книжная лавка не попала в чужие руки. По признанию Симона, он слишком сгустил краски, описывая Мари, в какую ярость я впал, когда он без всякой подготовки сообщил мне о ее планах, думая, что мне все уже известно.

— Вы передаете каждое мое слово, — упрекнул я его с раздражением. — Вы способны все испортить. Скромность — это, к сожалению, добродетель, которой научить нельзя.

Он слабо защищался. Вероятно, на его совести было немало подобных грехов.

Мари приехала на трамвае около полудня. То, что должно было вот-вот на меня обрушиться, но чего я тогда даже отдаленно не мог представить, теперь, когда это произошло, мешает мне точно припомнить сбивчивые слова, которыми обменялись мы с Мари в комнате Симона, где он оставил нас одних. К чести Мари, должен сказать, что, увидев мое печальное лицо, она уже не думала больше ни о ком, кроме меня. Таким, видимо, я обладаю даром — пробуждать в женщинах заботливую и восторженную мать. Она нежно сжала мое лицо обеими руками и сказала:

— Мне не нравится твой взгляд.

Я, не затевая спора, выслушал все соображения

Мари по поводу ее брака, словно уже не чувствовал никакого огорчения. Те несколько часов, которые прошли после этого объяснения с Мари, после завтрака в таланском бистро, куда пригласил нас Симон, эти несколько часов кажутся каким-то бесконечно протяженным временем, паузой в моей жизни между двумя мирами. А потом — как будто истинная причина моей тоски внезапно открылась мне — и заметки о банальнейшем происшествии, заметки под портретом в «Жиронде», которую принес мне консьерж на улице Шеврюс вместе с утренним кофе, оказалось достаточно, чтобы в мгновение ока швырнуть меня в бездонную пропасть, куда я продолжаю лететь вниз головой.

Итак, в то утро, отхлебнув несколько глотков кофе, я рассеянно заглянул в газету, и мне показалось, что это галлюцинация — лицо маленькой девочки с зачесанными над слишком высоким лбом волосами, это лицо без улыбки я сразу узнал. Это была девочка с мельницы. И внизу курсивом: «*Жаннетта Серис ушла из дома своего отца господина Нума Сериса позавчера в полдень и не вернулась. Предполагают, что она бежала из дому, у девочки замечалась такая склонность. На ней была полосатая фуфайка, белые сандалии*

на босу ногу. В волосах круглая гребенка». Далее следовал адрес Нума Сериса, номер телефона. Это была Вошка! Прежде чем понять, обдумать и передумать все, что внесла эта история в мою неизбывную тоску, я не мог не усмехнуться: какую злую шутку со мной сыграли! Так, значит, это Вошка купалась возле мельницы господина Лапейра и показалась мне такой прелестной! Это не могло быть случайностью, слишком ловко все было подстроено. Как сказано в писании: «Враг сделал это…» Да, враг открыл мне ее прелесть, но что случилось с ней самой? Мое появление привело ее в ужас, она бросилась бежать, она исчезла, и, может быть, навсегда…

Я был единственным свидетелем. Надо немедленно возвращаться в Мальтаверн. Но в полдень у меня назначено свидание с Мари и Симоном. Я расскажу им все, сделаю так, как они мне посоветуют. Впрочем, скорее всего, это бегство; я не знал, что у нее есть такая склонность: ведь при мне о ней никогда не говорили. Господи, зачем ты посмеялся надо мной?

Я торопливо оделся, вышел, купил еще две бордоские газеты, увидел тот же портрет, то же объявление. Я забежал в Лионский банк и в редакцию газеты «Франс» на улице Порт-Дижо, там

всегда вывешивают последние сообщения: об исчезновении маленькой Серис не было ничего. Я вернулся на улицу Шеврюс. Признаюсь, я дрожал от страха, изнемогал от тревоги. Страха перед чем? Тревоги перед чем? Я был уверен, что надо быть готовым к самому ужасному. Если это ужасное произойдет, что ж, на этот раз я найду силы и способ перейти на ту сторону. Враг не заполучит меня, как бы хорошо он все ни подстроил.

Мне казалось, будто я обеими руками удерживаю петлю, обвившуюся вокруг моей шеи, а она с каждой секундой затягивается все туже и туже. В полдень я уже стоял за дверью и распахнул ее, не дав им позвонить. Не знаю, на кого я был похож. Мари крикнула:

— Ален, что случилось?

Я не мог говорить, я показал им фотографию. Ну и что же? Они ее видели, они даже посмеялись. Девочка убежала… Я возразил:

— Не над чем тут смеяться — это дело моих рук.

— Да ты с ума сошел, Ален!

Тогда я начал рассказывать им всю историю, сам не узнавая своего голоса. Они больше не смеялись. Мари сказала:

— Сейчас мы позавтракаем, и ты отправишься

туда. До вечера ее найдут. Как только приедешь, дашь свои показания.

Я не мог проглотить ни куска, и Мари предложила пойти выпить чашку шоколада у Прево.

— Тебе предстоит только одна неприятность — давать показания…

— И увидеть свое имя во всех газетах, — перебил ее Симон. Мари пристально посмотрела на него, пожала плечами и предложила зайти в книжную лавку — оттуда она позвонит своему постоянному клиенту, заведующему отделом хроники в «Жиронде»: может быть, он меня успокоит.

Лавка была в этот час закрыта, мы вошли через боковой вход. Приятеля Мари в газете не оказалось, но она знала его домашний телефон и довольно быстро дозвонилась к нему. Она протянула мне трубку. Да, есть новости: «Какой-то сборщик смолы видел, как девочка пробежала мимо него, ему показалось, что она чем-то или кем-то напугана или даже спасается от преследования. Этого человека непрерывно допрашивают. Пока он только свидетель, но…» Трубка выпала у меня из рук.

— Ален, ну можно ли так сходить с ума?

— Он не соврал, этот человек, она бежала, потому что испугалась. Это меня она испугалась.

Меня — ведь я видел, как она купается…

— Да, но через пятнадцать минут ты уже был в Мальтаверне и тебе вручили телеграмму Симона. Чего же ты волнуешься?

Симон покачал головой.

— Да вы что, в самом деле думаете, будто не из-за чего портить себе кровь?..

— Да замолчите вы, идиот! — крикнула она в сердцах. — Взгляните только на него. Я хотела просить вас проводить его до Мальтаверна, но пусть уж лучше едет один, чем с вами… Впрочем, нет! Я сама с ним поеду. А вы оставайтесь тут до прихода Балежа. Вы ему все объясните… И если надо, поможете. Я вернусь завтра утром.

— Но что скажет мадам, когда вас увидит?

— Она увидит также своего сына, и ей достаточно будет одного взгляда: она поймет, это вы ничего не понимаете.

Я почувствовал облегчение, я отдал себя в ее руки, ничего плохого не случится со мной, раз она рядом. Я вздохнул свободно. Автомобиль продвигался со скоростью черепахи по запруженной улице Сент-Катрин. Потом мы выехали на Леоньянскую дорогу, и вскоре начались сосны. Мари взяла меня за руку. Она спросила:

— Ты больше не боишься?

Нет, сейчас я не боялся, но я знал, что скоро это опять начнется. Я понимал, что заподозрить меня нельзя, но через десять минут я, возможно, перестану это понимать. Одно мне было ясно — все было против меня.

— Даже ты, Мари, если тебя будут допрашивать и ты расскажешь все, что тебе известно, окажешься свидетелем обвинения…

— Успокойся, малыш, ты опять начинаешь все снова…

— Помнишь, утром перед нашим отъездом ты захотела взглянуть на Юр и я повел тебя окольным путем, потому что мы знали, что девочка за нами шпионила? Помнишь, что я сказал о ней? Я сказал тебе: «Я ее задушу!»

— Ты бредишь, Ален. И вообще это не имеет никакого значения.

— И однако же, если тебя будут допрашивать, твой долг вспомнить эти разоблачительные слова.

— Что же они разоблачают, кроме минутного раздражения? Я сама разозлилась, да и каждый на твоем месте…

— Она знала, что я ее ненавижу, раз она так испугалась: достаточно ей было меня увидеть, и она бросилась в лес, где подстерегал ее этот человек.

— Ну, это уже рок, как сказал Шарль Бовари, во всяком случае, не твоя вина.

— Сухой прутик хрустнул у меня под ногой, она обернулась и увидела меня. Я мог поставить ногу рядом с этим прутиком, и она пошла бы дальше по песчаной дороге до Мальтаверна. И в тот день я увидел ее нагой, именно в тот день я открыл, что ошибался в ней, что теперь она так же не похожа на девчонку, которую мы называли Вошкой, как бабочка на гусеницу…

Помолчав, Мари прошептала:

— Какая катастрофа для твоей матери!

— Так ты ее понимаешь?

Да, она ее понимала. Больше мы не разговаривали. Время от времени она брала меня за руку и слегка сжимала ее, словно напоминая о своем присутствии: не бойся, я тут. Так говорила мама, когда мне бывало страшно по ночам. Мари знала этот мой недуг, она наблюдала его у одного из своих стариков.

— Ты сказал Симону, что я привыкла к старикам…

Он передавал ей решительно все!

— Да, он передает все. Так вот, одного из моих стариков буквально душили кошмары, которые он сам себе придумывал.

В Вилландро, где мы остановились заправиться горючим, люди у гаража что-то горячо обсуждали. Садясь за руль, шофер сказал нам:

— Этот мерзавец признался, он задушил ее. Сначала спрятал тело в овечьем загоне, а ночью довез на тачке до Юра и бросил в омут, выше мельницы.

Я закрыл лицо руками — не затем, чтобы скрыть от Мари свои слезы, а чтобы не видеть больше этот проклятый мир, уйти из которого у меня не хватало мужества.

Мама сидела одна в гостиной, ставни были закрыты. Она молчала, словно пораженная громом, и даже не обратила внимания на Мари. Да и узнала ли она ее?

— Я не хотела, мадам, чтобы он ехал сюда один после такого удара.

Мама пристально на меня посмотрела.

— Это был удар для тебя?

— Да, более страшный, чем ты думаешь: ведь это меня испугалась девочка, от меня бросилась бежать как безумная.

Мама несколько раз устало повторила: «Что это ты мелешь?» Но вскоре она насторожилась. Когда я кончил, она сказала:

— Теперь, когда преступника задержали и он

сознался, не стоит тебе ничего говорить, все это останется между нами.

— Нет, — не согласилась Мари, — это важно для того несчастного. Свидетельство Алена докажет, что девочка в самом деле испугалась, что она бежала бегом через лес, что все произошло так, как он рассказал, хотя ему и не поверили: маленькая девочка, выбившаяся из сил, запыхавшаяся…

— Да, — сказал я, — наверно, она совсем запыхалась, это ее и погубило.

Я хотел тут же пойти в жандармерию, но сейчас, по словам мамы, жандармы все были на мельнице: убийца показывал, куда он бросил тело. Я не хотел ждать. Мама сама попросила Мари:

— Вы не оставите его?

Я заинтересовал их гораздо меньше, чем ожидал. Они задержали убийцу и собирались выловить тело. Я считал своим долгом рассказать, как испугалась меня маленькая Серис, но бригадир, который допрашивал меня, очевидно, не придал моим словам ни малейшего значения. Для них это было уже ясное дело. Вернувшись домой, я проспал два часа как убитый. Я узнал, что во время моего сна мама и Мари разговаривали обо мне, или, вернее, Мари старалась объяснить маме, что за мной нужно присмотреть. Должно

быть, она поняла, что убедила маму, поскольку в шесть часов уехала на станцию, не повидавшись со мной.

— Но, — уверила меня мама, — теперь она за тебя спокойна.

Тревога, разбуженная Мари, передалась маме и хоть немного отвлекла от мыслей о маленьком трупе, который мерещился ей неотступно. Ночью мама прилегла на кровать Лорана, чтобы быть рядом со мной, и тут я сделал неожиданное открытие: оказывается, с маленькой Серис ее соединяли совсем не те низменные расчеты, которые я ей приписывал: она нежно привязалась к ребенку, не знавшему матери, и Жаннетта тоже была к ней привязана.

— Но ты не знал, да и не мог знать — ведь ты запрещал мне говорить о ней, — как велика была ее любовь к тебе.

— Ее любовь ко мне?

— Да, это кажется невероятным: ведь ей было всего двенадцать лет. Я бы никогда не подумала, что это возможно, или, пожалуй, была бы шокирована, если бы сама не видела этого обожания, этой нежной преданности, совсем еще детской, но вместе с тем и женской, хотя, разумеется, совершенно чистой и невинной. Уж мне-то из-

вестно, со мной она говорила о тебе без умолку. Знаешь, что помогает мне не роптать против надругательства над невинным ребенком? Я говорю себе: сейчас она видит, что перестал ее ненавидеть, ты плачешь о ней и никогда ее не забудешь, она теперь для тебя не Вошка…

— Но она же не знала, что я звал ее Вошкой?

— Знала. Сам понимаешь, не я ей об этом рассказала. Нума Серис услыхал об этом от Дюберов — полагаю, от твоего дорогого Симона — и как-то вечером, когда был пьян, рассказал девочке. Как она плакала, как плакала…

Теперь плакали мы с мамой. Глубокой ночью мы плакали вдвоем, мама и я, не в силах примириться с чудовищной реальностью, с тем, что вытерпело тело несчастной девочки, со всей этой скверной, с этим поношением…

— Ален, ты прочел все книги, ты знаешь все, что написано о зле, которое допущено богом: зачем же, если это ребенок, маленькая девочка, зачем, прежде чем умертвить ее, нужно было предать и тело ее и душу слепому скоту? В чем смысл испытаний, через которые ежедневно проходят дети? И мы еще знаем только то, о чем пишут в газетах. Но ежедневно, повсюду, во всем мире!..

Она умолкла, ожидая ответа. А я плакал над

маленьким обесчещенным телом, которое никогда не смогут отмыть все воды Юра. Наконец я сказал:

— Может быть, зло воплощено в ком-нибудь одном.

— Значит, этот один существует, он был создан, эта власть была ему дана.

— Мама, другого ответа нет, только это нагое (ибо он был наг), покрытое плевками, гвоздями прибитое к кресту тело, над которым насмехались книжники, — тело господне. Ответ этот девочка будет вечно хранить в своем сердце. Отныне и во веки веков. И скоро мы познаем то, что ощущаем всякий раз, причащаясь этого осквернённого, распятого и восславленного тела.

— Да, я верю, я верю.

Я услышал ее рыдания, первый раз в жизни услышал, как она рыдает от любви.

— Я любила эту малютку, как не любила никого, даже тебя. Я говорила ей: «Ты должна стать образованной, я никогда ни о чем не могла поговорить с Аленом. В нашем кругу нет подходящих женщин для такого юноши, как он». И вот, хотя она кончила только начальную школу, девочка стала брать уроки у нашего учителя, а он очень образованный, скоро защитит диссертацию. И

еще она занималась латынью с господином кюре, и он растолковывал ей вопросы, которые тебя интересуют. Он тоже теперь ими интересуется. Бедный наш настоятель, ты и не подозреваешь, какое влияние ты на него оказывал. Я мешаю тебе спать. Надо спать, мой дружочек.

— Я не хочу спать. Главное, чтобы ты была здесь.

Мы лежали некоторое время молча. Под порывами ночного осеннего ветра заговорили сосны Мальтаверна, и они вместе с нами оплакивали маленькую девочку, заживо брошенную дикому зверю, но не просто пожрал ее дикий зверь, как деву Бландену, а была она отдана на самое страшное поругание, какое только может выпасть на долю божьего творения на нашей земле, и последний ее взгляд был устремлен на искаженное, нечеловеческое лицо… Мама заговорила снова:

— Если я правильно поняла эту особу («этой особой» была Мари), ты забрал себе в голову, будто я поручила малютке шпионить за вами в мое отсутствие. Неужели ты считал меня способной на это?.. Правда, я многое ей рассказывала… Мы жили с ней так дружно, когда я бывала в Мальтаверне без тебя! Она знала все мои опасения, с тех пор как эта особа вошла в твою жизнь. Ведь мы

только о тебе и говорили. И если малышка тогда за вами подсматривала, то не потому, что я ее об этом просила, нет, это она сама, по собственному почину. Никогда бы я не поверила, что девочка ее лет может так ревновать. Она сама рассказала мне, как она страдала из-за тебя в тот вечер, в ту ночь, она мне рассказывала все. Мы друг другу все рассказывали. А я, знаешь, я не была ревнивой. Я готова была отдать свою жизнь, только бы ты полюбил ее. Она верила, что ты в конце концов ее полюбишь, и даже меня заставила в это поверить. Ужаснее всего, что это правда, ты действительно полюбил ее за час до того, как ее изнасиловали и задушили…

— Да, и буду любить до конца своих дней, буду беречь ее, носить в своем сердце эту бедную маленькую Вошку, единственную мою любовь.

Вдруг я услышал, что мама смеется. Да, она смеялась. Она сказала:

— Знаешь, как она отомстила за то, что вы прозвали ее Вошкой? Так вот, эту особу она иначе, как Крючок, не называла, потому что она знала, как я волнуюсь из-за девицы, «которая подцепила тебя на крючок».

На этот раз мы долго молчали, потом мама уснула. Ее дыхание было хриплым, казалось, оно

с трудом прорывается сквозь все еще не пролитые слезы. Я не спал, мысленно я повторял уже пройденный путь, свой крестный путь: первая остановка — смерть брата; вторая — изнасилованная девочка. Слабый, безоружный, найду ли я силы сделать еще хоть один шаг? Ах, лечь на голую землю, в заветном уголке Мальтаверна, который я в детстве называл «отрадой». Почему «отрада»? Распластаться и ждать, пока я не усну беспробудным сном.

Наконец задремал и я. Когда я проснулся, мамы в комнате не было. Должно быть, пошла к утренней мессе. А я, я не пытался молиться. Это не было бунтом, но после подобного несчастья ощущаешь пустоту — не то чтобы отсутствие, нет, просто немыслимо, что там кто-то есть, и, однако, он есть: такова тайна веры, нерушимой у тех, на кого снизошла ее благодать, веры, способной устоять даже перед убийством маленькой девочки, этим убийством, при одной мысли о котором мне хотелось выть протяжно и монотонно, как страдающее животное.

Проснувшись, каждый из нас вернулся к своей скорби, замуровался в ней снова. Чтобы избежать назойливости журналистов (мои показания появились в газетах), сегодня утром я отправился

охотиться на вяхирей. В Шикане меня никто не найдет. Кроме того, убийца сидит за решеткой, он сознался, и вся эта история уже вытеснена другими. Самое главное было найти силы, чтобы продолжать свою собственную историю, решить, в каком направлении идти. Мари написала, что мне следовало бы уехать в Париж, как только я почувствую себя в силах, *«… вырвать корни, — твой Баррес объявил это злом, но это единственное исцеление, единственная надежда на выздоровление после полученного тобой удара. Конечно, где бы ты ни был, то, что случилось, навсегда останется в тебе, но, может быть, ты наделен даром, который так восхищает тебя в других, — даром оживлять прошлое, извлекать его из могилы. Знаешь, что говорит о тебе Симон Дюбер с упорством, несколько утомительным, но, в конце концов, подкупающим? „Он будет великим человеком, вот увидите!“ — твердит он. За это я люблю его, несмотря на все его дурные черты, черты развращенного крестьянина, несмотря на то, что вы в своем Мальтаверне превратили его в чудовище. Он верит в тебя. Он любит тебя не так беззаветно, как ты воображаешь, иногда даже ненавидит, но он в тебя верит. Когда в нас верят другие, эта вера указыва-*

ет нам правильный путь. Вслед за Донзаком мы с Симоном указываем тебе твой путь, и вне его настоящей дороги для тебя нет.

Единственное препятствие — твоя мать, и, поверь, я не стану тебе советовать не считаться с ней. Если я и испытываю угрызения совести, вспоминая нашу историю, то только из-за этой бедной мадам, которую я так безжалостно упрощала, поверив образу, созданному тобой и Симоном. Помнишь, я говорила тебе по поводу ее частых отлучек в Мальтаверн, что „она изменяет тебе с твоим имением“? Что ж, теперь мы знаем, она изменяла тебе с Вошкой — все объяснялось любовью, хотя ни плоть, ни кровь тут были ни при чем».

Да, наконец я это понял: старая женщина излила на девочку всю нежность, которая никому на свете не была нужна, кроме мужа — но он был ей физически противен, или меня — но я превратился для нее в существо непонятное, принадлежащее к другой породе, хотя и вышел из ее чрева; одно мое присутствие еще больше углубляло пучину одиночества, где утонула бы бедная мадам, не будь имения, которое поддерживало ее на поверхности, и благочестивых обязанностей, размечавших, как вехами, все ее дни… Но была

еще эта малышка, которую я ненавидел, и которая любила меня, и которую она полюбила.

Да, обойти это препятствие было нелегко. Мама одобряла мое желание ехать в Париж, но просила повременить еще хоть год. Конечно, я могу готовить свою диссертацию и в Бордо. Как будто дело было в моей диссертации! Речь шла о моей жизни (во всяком случае, в этом я убеждал себя). Нужно было испробовать последний шанс, вырвать себя с корнем из этой земли, где я был ранен в самое сердце, произвести опыт пересадки — как у нас говорят, «пикировку» растения в другой грунт — ради идеи, которую внушили мне не только Донзак, Симон и Мари, но, возможно, также и дельцы, из которых я был родом, — идеи использовать свой страшный дар, сделать так, чтобы из него даже крошки не пропало. «Даже крошка не должна пропасть», — твердили, бывало, нам, детям, но тогда речь шла о корке хлеба или об огарке свечи. А теперь для меня «не должно пропасть» то, что я выстрадал сам и заставил выстрадать других: и эта девочка, брошенная убийцей в бегущую под ольховыми деревьями речку, которая будет струиться во мне до последнего смертного часа, и моя мать, подавлявшая всех, но сама теперь раздавленная горем. На этот

капитал и придется мне жить. Все, что еще может со мной случиться, как бы долог ни был мой путь, останется вне рокового круга, замкнувшего этот период моей жизни.

Мама говорила мне: «От горя не умирают. Люди не умирают от горя. Даже если они не могут утешиться, они не умирают, а вот я умру, я чувствую, что постепенно умираю. Подожди немного, не покидай меня». Я не мог ей ответить, что для меня, в двадцать два года, все это не так просто, что я сам должен постараться выжить. Каждый день я уносил с собой в Шикан томик Бальзака из библиотеки моего отца в издании Шарпантье 1839 года, где многие романы названы по-другому, чем в полном собрании сочинений. Бальзак не принадлежит к самым любимым моим писателям. Он слишком мясист (я говорю о его стиле). Но он принадлежит к тем авторам, которые наиболее непосредственно воздействуют на меня, как возбудители нежелания умирать.

Мне отвратительна порода описанных им молодых честолюбцев, их жестокость; однако же они вызывают у меня — даже у меня — желание попытать счастья на своем пути, моем пути, который мне предстоит еще открыть.

А пока что я по-прежнему нахожусь внутри замкнутого круга: все происшедшее еще не завершилось настолько, чтобы можно было его переложить на бумагу и описать. Оно не пережитое, оно то, чем я живу и сейчас. И мама здесь, она еще жива, и я не могу оставить ее умирать в одиночестве, когда в ней еще жив обожаемый образ изнасилованной девочки с открытыми глазами. Она говорила мне: «Каждую минуту, и днем и ночью, я вижу ее мертвую, но глаза у нее расширены от ужаса».

Она каждый день ходила к старому Серису, который против ее ожидания пил умеренно, но только потому, что хотел привести в порядок свои дела, а уж потом «всерьез взяться за вино».

— Поверишь ли, — говорила мама, — на похоронах, где плакали буквально все, старика Сериса, казалось, тронули только твои слезы. Он мог бы тебя возненавидеть, хотя и не подозревает, что малышка столько из-за тебя настрадалась, так нет же! Знаешь, что он мне предложил? Фиктивную продажу всех его земель, чтобы ты стал его наследником, наследником Жаннетты…

— Ни за что на свете! — воскликнул я.

— Разумеется, — сказала мама, — об этом не может быть и речи. Я была так уверена в твоем

отказе, что отказалась от имени нас обоих. Тогда он стал уговаривать меня совершить настоящую сделку, с сохранением за ним права пользования. Тебе решать.

— Но, мама, я сделаю все, что ты хочешь.

— Что я хочу? Я больше ничего не хочу. Одна мысль о том, чтобы извлечь пользу из этой смерти, приводит меня в ужас. Имение Сериса будет разделено между его племянниками и тем самым уничтожено. Этого я и хочу: пусть не останется ничего из того, что принадлежало ей. Я была бы рада, если бы все сгорело. Впрочем, Нума Серис уверен, что так оно и случится, все в конце концов сгорит.

— Но, мама, почему же сейчас все должно сгореть, а раньше не сгорело? Уже давным-давно бьют в набат и одолевают огонь…

— Потому что, говорит Серис, если в будущем и ударит кто-нибудь в набат, никто не придет больше на его зов: на фермах никого не останется. Люди не хотят жить, как волки, в этом захолустье, питаясь черным хлебом и маисовой кашей. Серис говорит, что американским ученым не нужна больше наша смола для извлечения скипидара, а спрос на сосну для шахтных креплений и железнодорожных шпал будет все время падать. И

тогда все сгорит, — повторила мама с каким-то безнадежным удовлетворением, — ведь вокруг никого не будет… И почему это только одним деревьям дарована пощада? Они тоже умрут, сгорят заживо. Уж лучше так… Ты думал, что я люблю землю ради земли. А я мечтала, как ты и малышка станете хозяевами всех этих угодий, а я буду оберегать вас обоих и ваши интересы, и смотреть на нее, и видеть, что она счастлива с тобой. Когда настоятель увещевал меня и твердил без конца: «Не унесете же вы свои фермы с собой!», я отвечала ему: «На смертном одре я буду радоваться, что передам их своим детям и оставлю все в отличном состоянии». Я уверяла настоятеля, что земельная собственность долговечна и если страдает она от разделов, то приумножается с помощью браков и наследования и потому смерть ей нипочем. Теперь я знаю, что это неправда. Но что же правда, Ален, что же правда?

Мне оставалось лишь одно: вручить себя в руки божьи и ждать от него того знака, зова, который, возможно, услышу только я и который возвестит час мой. Но я не принимал во внимание того, что без моего ведома, без ведома самой мамы происходило в ее душе, да, буквально «происходило», изменялось и неожиданно вылилось в принятом

ею решении, которое вернуло мне свободу.

В День всех святых мы пошли на кладбище отнести цветы маленькой Серис. Я был поражен, что мама не прочла «*De Profundis*», как обычно читала, приказав мне и Лорану стать на колени, когда мы приходили на могилу бедного папы: «Из глубины взываю к тебе, господи…» Может, в мамином голосе вопреки ее воле это моление звучало слишком драматически, а может, моя собственная тоска придавала ее голосу такое звучание? В этот День всех святых никто не взывал из глубины, из бездны, на краю которой, выпрямившись, стояла мама — старый дуб с еще зеленой листвой, но уже сраженный молнией. Она не преклонила колени, губы ее не шевелились. На обратном пути она сказала:

— Сейчас я приняла решение. Я не вернусь в Бордо. Я буду ждать здесь. А ты можешь отправляться в Париж, как выразилась эта особа в тот день, когда она тебя привезла: «Ему необходимо отправиться в Париж…» — твердила она.

— Но… чего же ты будешь ждать, мама?

Она повторила: «Ждать…» Я напомнил ей, что здесь не будет господина настоятеля, который решил доживать свой век в Бордо, но не во главе какого-нибудь прихода, как он мечтал и надеял-

ся, а наставником в школе женского монастыря.

— Я знаю, но его преемника мне долго ждать не придется.

Мы еще не были знакомы с новым священником: он отказался посетить нас, сначала он решил обойти всех до одного фермеров своего прихода. Он весьма резко объявил бедному настоятелю о своем твердом намерении не превращаться, подобно ему, в «священника при замке».

— Голод не тетка, — сказала мама, — скоро я увижу его здесь с протянутой рукой. А фермерам он понадобится, как обычно, только затем, чтобы освятить новый свинарник. Господин настоятель, впрочем, находит, что его преемник прав, что мы все заблуждались и будем заблуждаться и впредь.

Она шла по дороге твердым шагом, отвечая на приветствия, строго дозируя свои кивки и улыбки в соответствии с общественным положением встречного, и, однако же, в эту пору своей жизни она напоминала мне муху, у которой один мой школьный товарищ, изображая разжалование Дрейфуса, обрывал лапку за лапкой, крыло за крылом. Так и мама изо дня в день лишалась всех своих непоколебимых убеждений. Ничто не было истинным из того, во что она верила, но

самым ложным оказалось то, что она принимала за откровение. Даже если сейчас она не сознавала всего с полной ясностью, она воспринимала это как очевидность, мрачно и бесчувственно, как женщина, сраженная утратой ребенка, которого любила больше всего на свете: теперь можно отнять у нее все, она больше ничего не почувствует.

— Когда у нас ничего не остается, — сказал я ей, — когда мы чувствуем себя покинутыми, наступает час, неизбежный для каждого, и приходит наш черед воззвать: «Отец мой, почто ты меня оставил?» Этот час окончательного поражения воплощен в кресте, крест является его символом, непереносимым, неприемлемым для человека в молодом или зрелом возрасте — вплоть до того дня, когда очертания его полностью сольются с очертаниями нашего тела…

Мама прервала меня:

— И нашего сердца.

Меня поразило это слово в ее устах. Значит, она знала, что распинают всегда именно наше сердце? Неужели мы все просто не замечали, что мама жила только сердцем? Может быть, нежность, с какой она относилась к Жаннетте, проявлялась и раньше? Я попытался припомнить. В моей памя-

ти всплыло воспоминание, как после смерти отца в наш старый особняк, куда почти никому не удавалось проникнуть, раз или два в год приходила мамина подруга по монастырской школе Сара М., ирландка или англичанка; она приводила с собой маленькую девочку, «свою воспитанницу», говорила нам мама. Они приезжали откуда-то издалека, похожие на морских птиц, ветром прибитых к берегу во время бурь равноденствия. Рождение этой маленькой девочки, ее звали Андре, было связано с одной из тех тайн, о которых мама говорила: «Это вам еще рано знать». Все было нам еще рано знать, но все входило в меня и ничто теперь не должно пропасть.

Последний арьергардный бой мама дала мне, уговаривая меня поселиться в Париже вместе со студентами-католиками. Я заверил ее, что в двадцать два года я уже достаточно взрослый и меня не только не пугает отсутствие знакомых в Париже, но даже подзадоривает: начать с нуля, попытать счастья в этом вечно повторяющемся завоевании столицы юным провинциалом, без единого рекомендательного письма в кармане.

— Но как ты будешь жить?

— Ну, как всякий прилежный студент, не упускающий ни одного шанса преуспеть. А в первом

ряду удач стоят встречи с разными людьми.

Мама спросила:

— Ради добра или ради зла?

— Так просто никогда не бывает. Я уверен, что все встречи, даже самые дурные, послужат ко благу.

— Что ты об этом знаешь, бедный мой дурачок!

И в самом деле, что я об этом знал? Я сам осмыслял свою историю, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывал предвечному человеческие побуждения и сам был доволен собственным вымыслом…

Мама больше не слушала меня. Она спросила, какую сумму надо будет высылать мне каждый месяц. Я мог бы ответить, что ей незачем в это вмешиваться, что для распоряжения своим состоянием я не нуждаюсь в посредниках. Это ей и в голову не приходило. До самого конца она будет проверять мои расходы, проводить все воскресные вечера, склонившись над счетными книгами.

Глава XIII

Ноябрь выдался какой-то лучезарный. Мама проводит меня в Бордо, поможет уложить вещи и вернется одна в Мальтаверн, она это решила твердо. Но я повторял ей без конца, что ничего не хочу решать заранее и останусь с ней, если найду это нужным, хотя вижу, что от меня ей теперь помощи мало. Она не стала спорить хотя бы для виду.

За день до нашего отъезда она попросила меня пойти вместе с ней к мельнице господина Лапейра. Я признался, что и сам хотел пройти еще раз тот путь, но не мог собраться с силами.

— Вдвоем мы сможем, — сказала она.

На маме была городская шляпка, она натянула черные перчатки и раскрыла зонтик. Она не носила траур, она не имела права носить траур по Жаннетте, которая не была ей родственницей, но теперь в ее туалете не проявлялось ни малейшей небрежности, допустимой в деревне, как будто мертвая девочка, неотступно стоявшая перед ней, обязывала ее к строгому соблюдению неписаного церемониала.

Мама, которая обычно редко ходила на про-

гулки, выступала по песчаной дороге, покрытой ковром сосновых игл, особенно величаво. Когда показалась мельница, она взяла меня под руку, раньше она этого никогда не делала.

— Вот отсюда я ее увидел, — сказал я, — сначала я подумал, что это мальчик.

Мама остановилась. Она долго смотрела на спящую в запруде воду, поверхность которой не тревожило дуновение ветра. Она попросила отвести ее в то место среди папоротника, где я тогда сидел.

— Кажется, это было здесь. Да, здесь.

Она застыла, повернувшись лицом к сонной воде, и тут я увидел, как она, никогда не плакавшая при нас, прижала к глазам затянутую перчаткой руку. Она сказала:

— Дай мне твой платок.

— Пора возвращаться, мама. Вернемся ближним путем.

Она не ответила, вышла из зарослей и направилась к запруде. Нет, это невозможно, нельзя подвергать ее такому испытанию. Я взял ее под руку, но она отстранилась. О, как долго тянулись бесконечные минуты, и я все смотрел на искаженное водой отражение моей матери, одетой по-городскому, в шляпке и в перчатках, под рас-

крытым зонтиком.

— Вернемся, — сказала она наконец.

Мы пошли по песчаной дороге, которая для маленькой Серис оказалась последней дорогой в ее жизни. Я должен был показать маме, на каком расстоянии от меня то чинно шагала, то весело подпрыгивала бедная Красная Шапочка.

— Ах, — прошептала она, — вот тропинка, по которой она побежала, когда увидела тебя…

— Да, здесь она свернула в лес.

Словно отыскивая затерянный след, мама расспрашивала меня, пристально вглядываясь в землю:

— Ты уверен, что именно здесь она свернула?

В лес мама не пошла. Она стояла неподвижно, возвышаясь над папоротником, лицом к соснам, которые видели все… Я попытался взять ее за руку, но она вырвала ее и, не поворачивая головы, произнесла вполголоса:

— Все оттого, что она тебя боялась. Если бы ты просто не обращал на нее внимания, как всякий юноша твоего возраста на ребенка, она бы и не подумала бежать, ничего не случилось бы, она была бы жива. Она пришла в такой ужас, потому что знала, как ты ее ненавидишь…

— Нет, мама, нет! Она знала, и именно от тебя,

что я не хочу этого брака, задуманного из корыстных соображений.

— Не из корыстных. Это ты мне их приписывал.

— Ты никогда ничего такого не говорила, чтоб я мог считать иначе…

— Но ведь ты так ее ненавидел, что я боялась даже произнести при тебе ее имя. Раскрой я тогда рот, ты заставил бы меня замолчать, ты ушел бы, хлопнув дверью. Она знала, что ты дал ей эту мерзкую кличку. Вот отчего она умерла. Да, она была уже ранена насмерть, когда бросилась в лес. Ты давно уже нанес ей этот смертельный удар.

— Ты слишком несправедлива, мама.

Я снова хотел взять ее под руку, но она оттолкнула меня почти грубо и пошла вперед одна, а я тащился следом, повторяя: «Ты слишком несправедлива, слишком несправедлива…» Тогда она полуобернулась и сказала с вызовом:

— Да, все это ты! Все это ты…

— Неужели, мама, ты не видишь, что если я виновен в этом несчастье, то и ты тоже, ты прежде всего. Ведь ты сделала все, чтобы этот план стал мне омерзителен. Ты всегда все решала за меня, но, в конце концов, мне двадцать два года, у меня вся жизнь впереди, а ты собиралась распо-

рядиться ею по своему усмотрению, и напрасно ты отрицаешь — ни о чем другом, кроме земель Сериса, не было и речи. Никогда, ни разу в жизни, не мог я догадаться о твоей привязанности к девочке…

— Потому что я боялась рассердить тебя еще больше, если бы ты узнал, что я люблю ее…

— Больше, чем меня?

Она не ответила. Она поднималась на крыльцо Мальтаверна, останавливаясь на каждой ступеньке. В прихожей она снова оттолкнула меня:

— Мне надо побыть одной. Мне больше никто не нужен. Пойми меня, никто.

Я услыхал, как захлопнулась дверь ее спальни, и присел у камина. Поднялся ветер, сосны, размахивая ветвями, казалось, подавали мне знаки в окно. Их протяжный, жалобный стон сливался с немым криком, который готов был сорваться с моих уст, с ропотом против бога, кротким и безнадежным. Лампу я не зажег. На что мне решиться? Моей матери я сейчас не нужен, больше того, мое присутствие для нее невыносимо. И все-таки я должен охранять ее, быть рядом, чтобы откликнуться на первый ее зов. Ее враждебность смягчится, волей-неволей я стану ее единственным прибежищем: ведь, кроме меня, у нее нет

никого. Да, но если она откажется уехать отсюда, что будет со мной? Проведем ли мы с глазу на глаз всю зиму в Мальтаверне или я останусь один на улице Шеврюс, под присмотром Луи Ларпа?

Мысли мои следовали одна за другой без всякой связи. Сам не знаю, сколько времени прошло, сколько я просидел, не зажигая света, у камина. Сумерки за окном сгущались, и я различал уже только два бледных пятна вместо моих рук, лежавших на острых коленях, и тут я услышал на лестнице мамины тяжелые и медленные шаги. Ужинать было еще рано. Значит, она возвращалась ко мне. Она вошла. Я не встал с кресла. Она провела рукой по моему лбу и откинула волосы назад, как бывало в детстве, чтобы поцеловать меня, но в этот вечер поцелуя не последовало. Тем не менее она заговорила с вымученной нежностью, вообще ей не свойственной.

— Забудем все, что мы наговорили друг другу, бедный мой мальчик. Мы оба были несправедливы. Помню, я огорчалась, когда ты уверял, что между нами нет никакого обмена мыслями, что мы никогда друг с другом не разговариваем по-настоящему, как в пьесах или в романах. Ну что ж, по дороге с мельницы мы наверстали упущенное.

— Да, все это произошло против нашей воли.

— Все, что произошло, надо забыть, — во всяком случае, забудь, что наговорила я. Мне нужно было на кого-то пожаловаться, на кого-то свалить вину. И тебе тоже… Вот мы и сваливали друг на друга…

— Да, — ответил я мрачно, — как два сообщника на суде, обвиняющие один другого.

Она сказала:

— Замолчи!

Я не видел ее лица, но слышал, что она плачет. Я встал, обнял ее, попросил прощения.

— Нашей вины тут не было, мама. А то, что от нас зависело, могло привести на худой конец только к недоразумению, и оно бы рассеялось, даже очень быстро рассеялось: ведь мне не терпелось узнать, кто эта купальщица, и я узнал бы это в тот же вечер, не приди телеграмма от Симона.

— Это ничего бы не изменило. К тому времени все уже свершилось.

— Да, мама, и ни ты, ни я не виноваты в этом ужасном совпадении. Такие преступления всегда бывают вызваны случайностью. Всегда можно сказать: «Если бы девочка пошла другой дорогой…»

Она прошептала:

— Теперь все кончено. Это было, это свершилось.

Мы сидели молча. Я различал только неясную темную фигуру в кресле напротив.

— Послушай, Ален, оставим пустые слова и поговорим начистоту. Для тебя вопрос решен, тебе надо уехать. Так будет лучше для нас обоих. Ты будешь часто писать мне: в письмах люди не раздражаются. Будешь рассказывать о своей жизни, вернее, о той части своей жизни, о которой сможешь мне рассказать. Я стану заниматься твоими делами; если я заболею, достаточно послать телеграмму — «дион» будет ждать тебя в Бордо, и в тот же вечер ты приедешь в Мальтаверн.

— Да, на расстоянии тебе будет легче меня переносить, ты снова ко мне привыкнешь…

И на этот раз она не стала спорить. Но слышала ли она, поняла ли? Она спросила:

— Ты твердо решил ехать послезавтра? Один день, так или иначе, надо провести в Бордо…

— Нет, мама. Книги, которые я хочу взять с собой, у меня здесь. Автомобиль отвезет меня прямо к парижскому поезду. Он отходит в одиннадцать четыре.

— Но ведь почти все твои вещи на улице Шеврюс…

— У меня здесь есть все необходимое для студента, которым я собираюсь стать, а студента никто не станет приглашать в гости, он ни с кем не знаком.

— Но в конце концов у тебя завяжутся знакомства…

— Возможно… Но прежде чем пуститься в свет, я все-таки посмотрю, как одеваются в Париже. Вспомни, чего только не натерпелся бедный Люсьен де Рюбампре, когда явился в Париж, одетый по ангулемской моде.

— Какой еще Люсьен де Рюбампре? — спросила она рассеянно, словно не ожидая ответа.

— Полно, мама! Ты ведь читала «Утраченные иллюзии»! Я сам тебе давал.

— О, ты знаешь, я ведь не то что ты: у меня в голове ничего не держится, все сразу улетучивается.

Она принялась ворошить головешки в камине, упершись, как всегда, локтями в колени, и вдруг сказала:

— Надо телеграфировать этой особе, пусть встретит тебя на вокзале и посадит на поезд.

— Нет, мама. Меня уже не нужно сажать на поезд. Да и потом, я ненавижу вокзалы не меньше, чем кладбища. Я начну новую жизнь послезав-

тра, в одиннадцать четыре. Это будет мое второе рождение.

Жена Прюдана доложила, что ужин подан.

— Подумать только, — сказала мама, поднимаясь, — я поем с удовольствием: я проголодалась.

Мы сидели друг против друга под висячей лампой, она коптила, пахло керосином. Я вдруг почувствовал радость при мысли о скором отъезде в другой мир, в другую жизнь.

Нет, это была не радость — это было нетерпение, какое испытываешь в нескончаемом, душном туннеле: нужно вырваться из него во что бы то ни стало, как можно скорее, бежать навсегда, не оглядываясь, унося все свои сокровища в себе самом.

Мать тяжело поднялась из-за стола, и мы снова устроились, каждый в своем кресле. Она подбросила полено в камин и, как всегда, немного приподняла юбку, чтобы погреть ноги у огня. Не глядя на меня, она внезапно сказала:

— Вот я все думаю об этом, по-моему, тебе следует известить эту особу о своем отъезде и сообщить ей, когда отходит поезд.

— Тебе не кажется забавным, мама, что именно ты…

Я вовремя остановился, побоявшись причинить

ей боль каким-нибудь неосторожным словом.

— Да, — сказала она, — я дурно о ней думала. Для меня она была той особой, которая угрожала счастью моей малютки. Разве я могла вообразить в своем ослеплении, что, прежде чем погубить это счастье, погубят ее, бедную мою девочку, и какой страшной будет эта гибель. Все мне представляется теперь по-иному, и люди, и их поступки… Или, вернее, я их вижу такими, какие они есть, не хуже, не лучше. Ах, теперь мне нетрудно будет выполнять заповедь: «Не судите…» Нет, больше я не судья. А кроме того, я знаю эту особу лучше, чем ты думаешь. Я не рассказывала тебе подробно, о чем мы говорили в те два часа, когда ты спал как убитый после показаний в жандармерии. Она не разыгрывала комедию, поверь мне. Она хотела только одного — чтобы я не упускала тебя из виду. Она полагала, что ты страдаешь недугом, который она наблюдала у отца Х., сыгравшего такую зловещую роль в ее жизни. Я поняла, чем она была для тебя, чем могла быть и впредь… Да и не все ли равно теперь, она ли, другая… Она заняла бы мое место, она защитила бы тебя, охраняла, не требуя ничего взамен. Когда-то ты сказал мне: она выстрадала больше, чем любая другая девушка ее возраста. Теперь я понимаю, что это

значит: она переступила черту, за которой уже нет ничего. Раньше, хотя я и была старухой, я жила своими надеждами, ненавидела все, что им угрожало. Но теперь… почему бы и не она, в конце концов? Я протяну еще некоторое время, но не так уж долго. Ты останешься один. Так вот, почему бы и не она?

— Нет, мама, не начинай все сначала, не будем начинать сначала. Моя жизнь здесь была подобна смерти, вот от нее-то мне и нужно освободиться, и я освобожусь. Если не выдержу и погибну, что ж, чем скорее, тем лучше. Но нет, я буду жить! Я буду жить!

— Неблагодарный! Ты всегда был неблагодарным. Теперь это узнает и та особа, а я это знала всегда.

— То, что могла мне дать только она, и то, что дала она мне, я никогда не забуду, сколько буду жить на свете. Но пойми меня, мама, я тоже переступил черту, за которой уже нечего думать о счастье: речь идет о том, чтобы подчинить себе жизнь. Эту черту я переступил в двадцать два года, а ты — после шестидесяти.

Эти слова я говорил маме накануне своего отъезда в Париж. Но теперь я их перевел на бумагу. Я занимался транспонированием себя самого, с

тех пор как начал свои записи, без всякой задней мысли, только потому, что всегда был первым по сочинению и продолжал писать с привычным рвением прилежного ученика. Теперь для меня настал час взглянуть прямо в лицо искушению — и при этом не умереть от стыда, — уступить которому я смогу, лишь когда мамы больше не будет: пусть книжка в дешевом переплете, ценой в три франка станет завершением всех этих страданий. Новый, родившийся во мне человек выкажет силу и мужество, дерзнув использовать для своего восхождения собственную свою судьбу, которая станет содержанием книжки ценой в три франка, в дешевом переплете.

Мы еще долго беседовали с мамой во время этого вечернего бдения, пока наконец не разошлись молча по своим комнатам (я нес в руке все ту же сохранившуюся с былых времен керосиновую лампу, ведь электричество в нашем доме выключалось на втором этаже!), но в моей памяти не сохранилось больше ничего. Наверное, мысли мои были чем-то отвлечены, все мое внимание было поглощено возникшей передо мной очевидностью, которую до той поры я не мог ясно сформулировать: я понял, что отречение от мамы и отречение от Мари было продиктовано мне

одной и той же необходимостью; дело было не в моей эгоистичной или жестокой натуре, не в моей черствости по отношению к другим. То, что нашло наконец во мне свое выражение, то, чему я готов был подчиниться с холодной решимостью, было желание выжить, и непременным условием этого стало для меня двойное отречение.

Долгой осенней ночью, вытянувшись под ледяными простынями, безуспешно пытаясь согреться в своей деревенской спальне, я методически продумывал все от начала до конца. Керосиновая лампа еще горела, но вне узкого светового круга комната была залита полумраком, благоприятствующим призракам, живым и умершим. Я спрашивал себя, поможет ли мне полная безликость номера в парижском отеле заклясть эти призраки? Нет, я не боялся их, но начать эту новую, неведомую жизнь я смогу, лишь когда они уснут во мне и не будут отвращать меня от предстоящей битвы.

Я не останусь одинок, это я знал. Я буду любим, это я знал. Но я заранее решил не перекладывать свое бремя на чужие плечи. Достаточно я чернил себя, и не следует больше подбавлять черной краски в описание своего характера. Этой ночью у меня не было и мысли о том, чтобы использо-

вать других людей, заставить их служить моему успеху или моим удовольствиям. Я не знаю, что называет господь грехом против духа, тем грехом, который он не отпускает, но я знаю, я всегда знал, что такое грех против плоти. Малютка Серис, изнасилованная и задушенная, — это и есть чудовищный образ преступления духовного, безнаказанно совершаемого множеством людей, которые даже не знают, что они виновны, а может быть, и на самом деле не виновны. Но я, господи, что бы я ни делал, я виноват перед тобой. Я буду стараться обрести былую чистоту, потому что знаю: я не могу обойтись без тебя, и ты тоже знаешь: рожденный в другой среде, я, возможно, мог бы обойтись без всего, кроме тебя.

Так я молился в эту предпоследнюю ночь в Мальтаверне: мысли мои блуждали между прошедшими временами и грядущими, между пережитыми страданиями и теми, что еще предстоит мне пережить вместе с новыми встречами, поражениями, ошибками, болезнями и неожиданностями. Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась.

Я снова принимаюсь за эту тетрадь в комнате, такой же тихой и мирной, как моя комната в

Мальтаверне. Окно ее смотрит в узкий садик отеля «Эсперанс» на улице Вожирар, что против семинарии кармелитов. Гул Парижа глуше, чем гул сосен в парке под дыханием бурь равноденствия; я спокоен, я не страдаю. Вчера, воскресным утром, я продавал газету Санье «Демократия» у выхода из церкви Сен-Сюльпис после торжественной мессы. На второй же день после приезда я пошел на бульвар Распай. Для начала мне дали это поручение, не поглядев на мое звание лиценциата словесности, которым я, кажется, впервые похвалился. Без сомнения, они были правы, подвергнув меня такому испытанию — оно оказалось решающим: больше они меня не увидят. Пять или шесть лет назад я бы на это согласился, сейчас — слишком поздно. Итак, мне не остается ничего другого, как посещать библиотеки, записаться на факультет, слушать лекции, быть студентом среди студентов, ничем не выдавая того, что я несу в себе, хотя, возможно, мой груз не тяжелей груза, что отягощает любого из них. Но за эту историю отвечаю я, и никто другой, только я могу уследить, чтобы из нее не пропало ни крупицы, чтобы не пропало ни крупицы отрочества, не похожего на все другие. Да, это было отрочество, самое щедрое и вместе с тем

самое обездоленное, а главное — самое одинокое; и, как ни мало участников в этой драме, у какого другого юноши есть такая мать, как у меня, кто из них хранит в своем сердце оскверненную и задушенную маленькую девочку?

Последние страницы этой тетради должны ясно ответить на один, казалось бы, простой вопрос, от которого, однако, я уклоняюсь с тех пор, как приехал в Париж. Андре Донзак живет напротив моего отеля, в семинарии кармелитов, но он полагает, что я еще в Бордо. Почему я не дал ему знать о своем приезде? Сначала я рассчитывал на случайную встречу, которая казалась мне неизбежной, как будто улица Вожирар была улицей Шеврюс! Говоря откровенно, я боюсь этой встречи. Почему? Я ведь отлично знаю, что непременно должен его увидеть. Мне нужно, чтобы кто-нибудь ввел меня в Сорбонну, но не торопливый и равнодушный посредник, а друг, такой, как Донзак, который знает меня и взялся бы руководить мной, пока это будет нужно, — в Сорбонне, в библиотеках, а также в музеях. Я живу в двух шагах от Люксембургского музея, от зала Кейботта, где Андре бывает чуть не каждый день; я поклялся ему, что не пойду туда без него: он хочет видеть, как я впервые взгляну на «Бал-

кон» Мане[70]. Я подожду, я терпелив: парижские улицы стоят всех музеев.

По правде говоря, у меня есть более настоятельный повод выманить Донзака из берлоги: я жажду снова заполучить свои тетради, которые он держит у себя. Ах! Это главное! А вдруг пожар уничтожит ветхую семинарию, вдруг Донзак умрет скоропостижно… Дневник подростка. Какое безумие ставить всю свою жизнь на одну эту карту! А я поставил. Слава богу, кроме меня, никто об этом не знает и не может надо мной посмеяться.

Сейчас мне еще нужно заполнить четыре страницы еженедельного письма к маме. Душевные переживания ей ни к чему, я должен, как она говорит, «что-нибудь рассказывать». До сих пор я писал ей только о своей гостинице, о том, как меня кормят и обслуживают. В двух кратких ответах она сообщала о своем здоровье и о продаже леса.

Но давайте копнем поглубже. Донзак принадлежит, по крайней мере в данный момент, к тому же подзолу, к тем же пескам, из которых я вырвался, чтобы не умереть. Боюсь, что, как только

---

[70] Примечания: 70

Мане Эдуард (1832–1883) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

мы встретимся, одно его присутствие развеет чары Парижа. Как определить эту пьянящую колдовскую силу? Я брожу, словно хмельной, я погружаюсь в людскую реку, меня уносит ее течением, и я то плыву по тротуарам, то ныряю в бары и погребки вроде «Таверны Пантеона» на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суфло. В Бордо я был молодым Гажаком и боялся людей, но в Париже я — никто, я никому не известен, как только может быть неизвестен человек, лишенный имени, хотя, к сожалению, не лишенный лица — дело в том, что тут полно охотников за смазливыми личиками, но я их не боюсь, в подобной охоте дичь должна быть сообщником ловца, а этого, я уверен, со мной не случится.

Я шагаю в ночи до тех пор, пока меня носят ноги. Ах! Теперь я знаю, почему столько лет я бродил по лесам Мальтаверна то к Большой сосне, то взглянуть на старика из Лассю!

Первые вечера я не переходил на другой берег Сены. Я стоял, облокотившись на парапет моста — я люблю эти парапеты, на них опирались Бодлер, и Морис де Герен[71], и множество вымышленных персонажей! Я читал про себя «Пьяный корабль»

---

[71] Примечания: 71

Морис де Герен (1810–1839) — французский поэт, предшественник символистов.

(Рембо я узнал только в этом году) и Виктора Гюго[72], чей дух витал здесь над каждым камнем. Но вот однажды я перешел через Сену и теперь перехожу почти каждый вечер. Подле Лувра, у самой стены дворца, есть каменные скамьи, где по ночам никто не сидит. Я сажусь передохнуть и созерцаю прославленную, неизменную декорацию, но сейчас, в 1907 году, Стефан Пишон, Бриан, Барту (хотя, правда, есть еще Клемансо и Пикар...)[73] — просто лилипуты, резвящиеся среди шекспировских декораций. Я иду по улице Риволи до площади Согласия И там подмостки пусты, антракт: в 1907 году не происходит ничего. Все, что произойдет в будущем, я еще увижу, мне двадцать два года! Я всегда увлекался историей, сам того не зная. В Париже я это понял. Всматриваясь в оба дворца, возведенные Гарбиэлем[74], и в эти статуи, олицетворяющие города Франции, в

---

[72] Примечания: 72

Гюго Виктор (1802–1885) — великий французский поэт, прозаик и драматург, одна из главных фигур французского романтизма. Член Французской академии.

[73] Примечания: 73

Французские политические и государственные деятели периода Третьей республики.

[74] Примечания: 74

Габриэль Жак-Анж (1698–1782) — французский королевский архитектор; президент Академии архитектуры. Один из основоположников архитектурного классицизма XVIII века.

Страсбург с его венками и вылинявшими знаменами, я думаю о том, что зреет в этой Лилипутии 1907 года и что мне будет суждено увидеть…

Окончательно выбившись из сил, я делаю привал в кафе Вебера, единственном большом кафе, куда я решаюсь заходить, кроме привычных кафе Латинского квартала. От постыдного страха истратить лишний грош, связывавшего меня в Бордо, не осталось и следа. Я заказываю дюжину устриц и полбутылки «мумма». Не знаю, какой у меня при этом вид, на кого я похож, за кого меня принимают. Но, говоря по совести, вряд ли я зашел бы еще хоть раз к Веберу, если бы не пара, которую я встретил там в первый же вечер и встречаю теперь каждый раз. Первой является старуха. У нее волосы с проседью, подстриженные, как у Жанны д'Арк. Да, старая Жанна д'Арк — вот на кого она похожа. Ей подают холодное мясо по-английски и кружку пива. Она курит, не сводя глаз с входной двери. Молодая появляется ближе к полуночи, у нее усталый вид, она голодна: интересно, после какой работы она приходит сюда? На Жанну д'Арк похожа и эта, но у нее белокурые волосы и она в возрасте Жанны д'Арк. Когда я увидел ее во второй раз, она посмотрела на меня, она меня узнала. Старуха наблюдала за

ней в зеркало.

Домой я возвращаюсь в омнибусе на резиновых шинах, отыскав по цвету фонарей тот, что идет на улицу Вожирар.

Иногда в ненастную погоду я не иду дальше кафе, расположенных на бульваре Сен-Мишель. Я избегаю только кафе Арку из-за вечно толкущихся там жалких, назойливых и гнусавых проституток. В такие вечера я попадаю во власть своей навязчивой идеи. Тайна зла, являвшегося для меня лишь одним из аспектов духа, раскрывается передо мной воочию. Зверь, набросившийся на маленькую Серис в лесу у мельницы господина Лапейра, бродит, кажется мне, повсюду, но здесь за каждым чудовищем злобно следят другие, и оно мечется, сбросив маску, и все видят его безумные глаза и этот гнусный рот, который надо прятать от всех.

Я еще не решаюсь добраться до Монмартра. Латинский квартал и его фауна мне уже привычны, у меня тут есть знакомые, но Монмартр внушает мне страх. Я немало слышал о нем в «Таверне Пантеона», где всегда много народу, где любой может обратиться к вам с вопросом. Я отвечаю охотно, ведь я — никто.

Я ложусь около двух часов ночи и погружаюсь в

глубокий сон, которого не знал в Мальтаверне, где петухи будили меня на заре. В Париже я выплываю на поверхность, когда рабочий люд трудится уже несколько часов. Слишком поздно, чтобы идти к утренней мессе, разве что в воскресенье. В полдень я завтракаю вместе с другими студентами, живущими в гостинице, — единственное время дня, когда я разговариваю с себе подобными, с людьми, которые знают мою фамилию и имя, знают, из какой провинции устремился я в Париж, которые ненавидят или боготворят Морраса[75], а мне настолько безразличны, что я их просто не замечаю.

Потом я снова брожу по городу, но после полудня привалами для меня служат церкви, хотя мой дневной путь не отличается от ночного: во всем, что видели мои глаза ночью, я спрашиваю у тебя отчета, господи. Я начинаю всегда с церкви Сен-Сюльпис, к ней я пробираюсь по узкой улочке Феру, где жил студентом мой отец в последний год Империи. Внутри церкви мой маршрут тоже неизменен: я сажусь справа от

[75] Примечания: 75

Моррас Шарль (1868–1945) — французский публицист, критик, поэт. Член Французской Академии. Один из представителей воинствующего национализма.

входа перед фреской Делакруа[76]. Я чувствую себя одновременно и Иаковом и ангелом, я сам в смертельной схватке с самим собой. У меня рассеянный вид, но нет, я тверд и упорен, я требую ответа, сидя позади главного алтаря перед Святой Девой Пигаля — Донзак терпеть ее не может, а я люблю. Я остаюсь там долго, сколько могу выдержать, потом выхожу на улицу Сервандони. Добравшись до набережной, я поднимаюсь вдоль Сены до Собора Парижской богоматери. Я ныряю в него, словно погружаюсь на самое дно, как в церкви Сент-Андре в Бордо, но попадаю во власть бушевавшей здесь человеческой истории, и она заслоняет от меня бога.

Иной раз я просыпаюсь еще до рассвета. По торцовой мостовой шуршат колеса запоздалого фиакра. Мне кажется, что ничто не может случиться со мной в этом мире, что больше ничего со мной не случится, все выпито до капли, съедено до крошки, и та ночь на балконе Мальтаверна рядом с Мари, которая меня любила, — это все, что было мне отпущено. Я — нищий, уже получивший подаяние, и нечего мне больше ждать ни

[76] Примечания: 76

Делакруа Эжен (1798–1863) — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

от кого — даже горя, потому что и свою долю горя я получил в тот день, когда маленькая девочка бежала передо мной по дороге от мельницы господина Лапейра, а потом сухой сучок хрустнул у меня под ногой и она оглянулась.

И все-таки кое-что случилось, но это такая малость, что я даже не знаю, стоит ли об этом писать. Вчера вечером старая Жанна д'Арк не появилась у Вебера: может быть, заболела. Я думал, что молодая тоже не придет, однако же все время поглядывал на дверь. Она вошла в обычный свой час, села за столик, долго изучала меню, словно не зная, что все равно закажет мясо по-английски, потом подняла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась.